ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 12
ДЕКАБРЬ 1924

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Главлит № 31628. Тираж, 5200 экз.

Типография „КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“, Пименовская ул., д. 1|16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Тальгеймер.—Заметки о Ленине, как философе (продолжение) 5
Ст. Кривцов.—Партия пролетариата или мелкой буржуазии. 18

А. Деборин.—Фихте и Великая Французская Революция (продолжение) 33
Ник. Карев.—О том, с чем не следует соединять марксизм 50
И. Орлов.—Математика и марксизм 86
И. Луппол.—О новом учебнике по историческому материализму 100
И. Выдра.—Об'ективный момент в парциальном мышлении 111
И. Гросман-Рощин.—Личность, необходимость, реальность 134

Ж. Леб.—Химические основы родовых признаков, с пред. Б. Завадовского . . . 143
З. Цейтлин.—Ответ т. А. К. Тимирязеву 159
А. Тимирязев.—Ответ на возражения тов. Цейтлина 168

В. Кирпотин.—Кунов о государстве 174
С. Гиморн.—Сен-симонизм 185
Я. Мирошкин.—„Закон“ убывающего плодородия почвы в системе экономического учения Маркса 219

Ф. Шмидт.—Диалектика развития искусства 231

Трибуна.

М. Покровский.—О пользе критики, об абсолютизме, империализме, мужицком капитализме и прочем 250
А. Залкинд.—Нервный марксизм или патологическая критика 260
И. Вайнштейн.—Марксистская психология или патологический марксизм . . . 275
А. Варьяш.—Ответ т. Милонову 283

Библиография.

А. Максимов.—Обзор литературы по истории естествознания и технике 290
С. Гирчак.—Воинствующий материализм, сб. 1-й 302
Н. К.—Я. Розанов. „Исторический материализм" 306
А. Вишневский.—И. Степанов. „Исторический матер. и соврем. естеств." . . 307
Б. Завадовский.—Козо-Полянский. Новые принципы биологии" 315
И. Орлов.—Сборник по вопросам физико-математических наук 317
Н. Рубинштейн.—Н. М. Покровский. Очерки по истории революц. движения . . 319
В. Позняков. — A. Craziadei. Preis und suchpreis in der Kapitalistischen Wirtschaft 323

Сообщения и заметки.

Содержание журнала „Под Знаменем Марксизма", за 1924 г. 327

Заметки о Ленине как философе [1]).

А. Тальгеймер.

(Продолжение.)

ГЛАВА II.

Идеалистическое и диалектическо-материалистическое освещение новой революции в естествознании.

1. Задачи диалектического материализма в естествознании.

Диалектический материализм исходит из того, что материя является первичным по отношению к ощущению, сознанию, мышлению; это непоколебимый краеугольный камень всего материализма. Однако он ни в какой мере не связан догматическим определением устройства материи в деталях; наоборот, все развивающемуся естественно-научному исследованию свойств материи предоставляется полная свобода. Более того,—материализм по сущности своей обязан считаться с каждым важным успехом в области физики и других естественных наук, т.-е. их обработать.

При этом Ленин ссылается на одно место в „Фейербахе" Энгельса, которое гласит, что „с каждым составляющим эпоху открытием в области естествознания материализм неизбежно должен менять свою форму".

Можно было бы спросить, что диалектический материализм имеет общего с успехами естественно-научных исследований за пределами того, что объясняется самим естествознанием? Для идеализма всех оттенков, который противоставляет особый „философский" метод методу естествознания, у которого по каждому вопросу расходятся логическое объяснение и философское толкование, все успехи естествознания просто являются предметом философии, особого метода философского освещения. Для диалектического материализма же не существует специального философского метода естествоиспытания. Это—задача естествознания, в области которого находится не только разрозненное исследование естественных явлений, но и изло-

[1]) По поводу немецкого издания „Материализма и эмпириокритицизма".

жение всех взаимных связей разрозненных элементов естествознания, т.-е. изображение по современному состоянию науки общей картины природы. Если рядом с естествознанием (Naturwissenschaft) и может существовать „натурфилософия“, то нет и не может быть в строгом смысле слова материалистической „натурфилософии“. Энгельс—Маркс в „Анти-Дюринге“ не оставляют ни малейшего сомнения в этом, так как это вытекает с неизбежностью из теории познания диалектического материализма, которая решительно положила предел всякой спекуляции в природе и социологии и оставляет для философии как своеобразный материал лишь формальную логику и диалектику, т.-е. свойства и законы движения человеческого мышления.

„Против господствующего у французов XVIII столетия, как и у Гегеля, представления о природе, как о целом, движущемся в замкнутом кругу и не меняющемся, с вечными мирами, как учил Ньютон, и неизменными видами органических существ, как думал Линней, он (диалектический материализм) сопоставляет новейшие успехи естествознания, по которым природа также имеет свою историю во времени, миры, так же как и виды организмов, которыми они населяются при благоприятных условиях, возникают и проходят, и круговороты, поскольку они вообще допускаются, принимают неизмеримо более величавые размеры. В обоих случаях он существенно диалектичен и не нуждается более в возглавляющей другие науки философии. Когда к каждой науке в отдельности ставится требование о выяснении ее положения в общей связи вещей и знания о вещах, тогда особая наука о всеобщей связи является излишней. Единственное, что сохраняет самостоятельное существование из всей прежней философии, это наука о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика. Все остальное отходит к позитивной науке о природе и истории“ (Энгельс, „Анти-Дюринг“, Введение).

Далее: „В настоящее время, когда надо только понимать результаты естествознания диалектически, т.-е. в смысле их собственной связи, чтобы притти к „системе природы“, удовлетворительной для нашего времени, когда диалектический характер этой связи против их воли навязывается даже метафизически вышколенным головам естествоиспытателей, — в настоящее время натурфилософия окончательно ликвидирована. Каждая попытка ее возрождения была бы излишня; это был бы шаг назад“ (Энгельс, „Фейербах“, 4 отдел).

В чем же задачи диалектического материализма? Очевидно в том, к чему обычно неспособны естествоиспытатели из-за недостатка диалектического образования: в применении диалектического метода к добытым естественными науками результатам, в доказательстве при помощи этих результатов того обстоятельства, что все совершается диалектически не только в человеческой голове и в истории, но и в природе. Это становится излишним с того момента, когда естествоиспытатели сами научаются диалектически мыслить.

Но, к сожалению, все продолжается до сих пор так, как Энгельс пишет в предисловии ко второму изданию „Анти-Дюринга“ (1885):

„Но как раз представленные непримиримыми и неразрешимыми полярные противоречия, насильственно фиксированные неподвижные пограничные линии и признаки классов и придают современной теоретической естественной науке ее ограниченно метафизический характер. Сознание же того, что если это противоречие и различие и имеет место в природе, то только с относительным значением, что, напротив того, их стойкость и абсолютное значение в природу вложено лишь благодаря нашей рефлексии, это сознание составляет смысл и содержание диалектического понимания природы. К этому можно дойти под давлением накапливающихся фактов естественных наук; легче же дойти до этого, если к диалектическому характеру этих явлений итти с сознанием законов диалектического мышления. Во всяком случае естествознание находится сейчас в таком состоянии, что не может больше избегнуть диалектического обобщения. Оно может облегчить этот процесс, если оно не забудет, что результаты, в которых оно суммирует свой опыт, являются понятиями; что, однако, искусство оперировать понятиями не является врожденным или приобретаемым обычным, повседневным сознанием, но требует настоящего мышления, и что это мышление имеет такую же продолжительную историю, как опытное естествознание“.

С тех пор, как Энгельс это написал, ничего не улучшилось в способности естествоиспытателей сознательно применять диалектический метод мышления. Они до сих пор обращаются с понятиями, как кошка со своими котятами. И это несмотря на то, что естествознание с тех пор накопило огромный новый материал для доказательства диалектики в природе, в особенности же физика и химия. В настоящее время дело с диалектической способностью естествознания обстоит, пожалуй, хуже, чем во времена Энгельса и даже хуже, чем в то время, когда Ленин писал об эмпириокритицизме. Это, конечно, находится в связи с вступлением в эпоху пролетарской революции и с бегством буржуазии, в виде ответа на это, в область мистики и метафизики. Это всеобщее идеологическое течение буржуазии, в свою очередь, перекинулось в естествознание; не в его конкретные результаты, но в то, в чем оно высказывается об общей связи явлений и о вопросах теории познания. Мистический туман в головах естествоиспытателей не рассеялся, но сгустился. Основного переворота здесь можно ожидать лишь тогда, когда пролетарская революция по объему и глубине настолько продвинется вперед, чтобы проникнуть своей господствующей идеологией, идеологией диалектического материализма, во все отдельные науки. До тех пор, как правило, не естествоиспытатели сами, а марксисты, ознакомившиеся с естествознанием, будут способствовать диалектическому освещению достижений естествознания и будут отклонять идеалистические уклоны этих достижениях.

Начинающаяся с русской революцией 1917 года эпоха пролетарской революции уже давно накладывает свой отпечаток на мещанскую идеологию, а также на идеологию естествознания. Решимость признания себя сторонником материализма стала убывать. Такие фигуры, как Дарвин, Гексли, Геккель, Вирхов, Гельмгольц и другие, стали в XX веке белыми воронами.

Противоречие между метафизическим образом мышления нашего времени (при чем приходится отметить возврат к метафизике в самой грубой ее форме,—см. мою статью о 200-летии со дня рождения Канта в № 4—5 журнала) и накапливающимися диалектическими достижениями естественных наук вызывает с необходимостью самый невероятный сумбур в головах естествоиспытателей, которые, естественно, более или менее вовлекаются в это общее течение. С другой стороны, необходимо продолжительное развитие для того, чтобы распространить диалектически-материалистический метод из его главного очага в России—коммунистической партий—на практический обход естественных наук, или, наоборот, чтобы воспитать из молодого поколения марксистов школу практических естествоиспытателей. Это имеет свои очевидные причины: вызванную условиями времени необходимость для большинства марксистов посвятить себя преимущественно или почти исключительно политическим и общественным вопросам, проблемам социалистического строительства в России и революционной подготовке в других странах. Но имеются также и теоретические к тому основания. В то время, как старая формальная логика в длящейся тысячелетия работе совершенно развилась и легко и широко всем доступна, материалистическая диалектика еще далека от этой степени развития. Для того, чтобы создать доступные учебники диалектики, какие для формальной логики существуют в большом количестве, потребуется обширная углубленная подготовительная теоретическая работа.

Штаб образованных марксистов, которым располагает мировое коммунистическое движение, до сих пор еще до смешного мал в сравнении с огромнейшим интеллектуальным штабом мировой буржуазии в области как общественных, так и естественных наук, при чем необходимо еще принять в соображение, что „марксисты" II Интернационала сегодня должны быть причислены к мещанскому штабу и заняты более или менее тем, чтобы разложить марксизм при помощи идеалистического философствования (Различные статьи из кругов II Интернационала по случаю 70-летия со дня рождения Карла Каутского являются буквально народным представлением идеалистических искажений диалектического материализма. Особенного интереса при этом заслуживает оживление вновь старо-гегелевской идеалистической диалектики—соответствующее социал-демократически-буржуазной коалиции скрещение „марксизма" с метафизикой).

Теперь мы переходим к рассмотрению тех идеалистических течений в естественных науках, которые были известны уже Ленину и подверглись его критическому рассмотрению.

2. Новое понимание материи и идеалистическое течение в физике.

Книга Ленина об эмпириокритицизме совпала с разгаром кризиса современной физики, исходной точкой которого было начинающееся объединение всей физики, исходящее из области электрических явлений, а также более глубокий и тонкий анализ атома. Физическая теория относительности, которая старается теоретически обнять новые явления, существовала лишь в зачатках. В 1905 году появилась основная работа А. Эйнштейна о специальной теории относительности. Эта теория при окончании ленинского труда была лишь в зачатке и только собиралась померяться силами с более старыми физическими воззрениями. Достойно удивления, как уверенно и прозорливо Ленин сумел уже из первых зачатков выхватить характерное и существенное из новых воззрений, когда еще у физиков самих старое и новое неразборчиво перепутывалось, при чем недостаток диалектических способностей у них служил особенным препятствием к выяснению дела.

Возьмем, напр., Анри Пуанкаре, известного и крупного математика и физика. Он поясняет в своей работе „Ценность науки": „Принцип сохранения энергии поколеблен, не менее пошатнулся принцип сохранения массы. Вся масса электрона оказалась электродинамической массой, в то время как реальная или электронная масса исчезла. Масса исчезает, основы механики колеблются" и т. д. А. Пуанкаре, который не может еще достаточно теоретически охватить новых физических явлений в бесконечно малом (впрочем, он, как математик и теоретический физик, сам совершил весьма ценную подготовительную работу в этой области), спасается в идеализме. Он поясняет: „Не природа навязывает нам понятия о пространстве и времени, а мы их даем природе". Так как старая физика и в особенности старая классическая механика впали в конфликт с целым рядом новых физических явлений, то он заключает: физическая теория есть продукт человеческого произвола, большего или меньшего „удобства" для объяснения явлений, условность, а не истинное изображение объективной действительности. Дальнейшее развитие теоретической физики дало тот практический ответ на гносеологические заблуждения Пуанкаре, что оно овладело целым рядом теоретических проблем, которые большинству физиков тогда казались еще темными.

Что означает раздающийся в наше время комический вопль отчаяния: „материя исчезае"? Не что иное, как диалектическую беспомощность многих естествоиспытателей в назревшем вопросе об изменении основного физического понятия о материи. Старое физическое понятие о материи должно было быть отброшено и уступить место новому, более точному, более глубокому, более близ-

кому к действительности понятию. (Этот процесс еще никоим образом не закончился; физика еще не имеет удовлетворительной теории материи.) Это и есть то явление, при котором многие физики и еще больше, конечно, не-физики имели ощущение, как будто у них под ногами проваливается почва, как будто материя сама растворяется в ничто.

Ленин так представляет себе этот процесс:

„Когда физики говорят: „материя исчезает", они этим выражают ту мысль, что естествознание до сих пор все свои исследования в области физики сводит к трем конечным понятиям: материи, электричеству и эфиру. Теперь же остаются лишь два конечных понятия, ибо удается материю свести к электричеству. Теперь удается объяснить атом, как бесконечно малое изображение солнечной системы, внутри которого вокруг положительного электрона двигаются с определенной—как мы видели, неизмеримо большой—скоростью отрицательные электроны. Теперь весь физический мир предполагается состоящим из двух или трех элементов. (Предпосылка, что положительный и отрицательный электрон „образуют два существенно различных вещества", как выражается физик Рей, ссылка на этот труд на стр. 294 — 295.) Естествознание, следовательно, имеет тенденцию к „единству материи" (там же). Это, действительно, кроется за той фразой, которая заставляет исчезнуть материю, ставит электричество на место материи и затуманивает столько голов".

Это изложение следовало бы изменить в настоящее время сообразно с чрезвычайно быстро прогрессирующим с тех пор развитием теоретической физики во многих пунктах, о чем мы будем говорить в одном из дальнейших отделов, но существенное с точки зрения теории познания Лениным понято совершенно правильно и превосходно и точно формулировано в следующих словах:

„Материя исчезает... значит, исчезает та грань, до которой простирались наши знания до тех пор, значит, наше знание идет на один шаг впе ед; следовательно, исчезают лишь такие свойства материи, которые считались раньше абсолютными, неизменимыми, исходными (непроницаемость, инерция, масса и т. д.), а теперь оказались относительными, свойственными лишь некоторым состояниям материи. Ибо единственное „свойство" материи, от признания которого делается зависимым философский материализм, есть ее свойство быть объективной реальностью, свойство существовать вне нашего сознания".

Внутри теоретической физики диалектика сказывается раньше всего в доказательстве взаимной зависимости основных явлений, до сих пор принимавшихся, как независимые между собою, сле овательно, в доказательстве более близкого родства явлений, в установлении связи между находившимися до сих пор в резком противоречии понятиями, т.-е. в устранении остатков метафизического образа мышления в физике в направлении, указанном Энгельсом и Гегелем.

Неудивительно, что при этом попадает немного „здравому смыслу", под которым обыкновенно подразумевается консервативный, держащийся за пережитые взгляды, разум. Это бывает при каждом научном прогрессе, который кажется „здравому смыслу" парадоксальным и неразумным и тем более, чем глубже этот процесс проникает.

„Как бы ни казалось странным,—говорит Ленин,—для „здравого человеческого смысла" превращение невесомого эфира в весомую материю и наоборот, как бы непонятно ни было отсутствие у электрона всякой другой массы, кроме электромагнитной, как бы чудно ни было ограничение механических законов движения на одной единственной области естественных явлений, как бы ни было непостижимо подчинение этих законов более глубоким законам электромагнитных явлений,—все же мы здесь имеем лишь подтверждение диалектического материализма".

Впрочем, так называемый здравый человеческий смысл обыкновенно приноравливается к новому положению вещей, к новым понятиям, находит их „естественными" и само собой понятными, пока новый прогресс ему не нанесет нового удара и новое „непонятное" не выведет его опять из завоеванного равновесия.

Для диалектика ясно, что никогда не существует последних и абсолютных пределов для естественно-исторического расчленения мира как в направлении бесконечно большого, так и бесконечно малого. Ровно за целое столетие натуралисты остановились на атоме, как на крайнем пределе расчленения, и рассматривали, большей частью, этот относительный, временный предел знания, как абсолютный, принципиальный, непреодолимый. Против этого представления об атомистике, как об абсолютном пределе в познании природы, боролся уже Гегель с точки зрения диалектики; он не был в состоянии, по тогдашнему уровню естествознания, научно с этим справиться. Физика сегодня уже преодолела атом, как последнюю грань, сумела его разложить, показать его сложное строение и стоит сейчас на электроне, элементарной частице электричества, как на последнем пределе расчленения природы в настоящее время. Но и электрон не может считаться абсолютно последним,—он только в настоящем последнее звено, у которого временно остановилось естествознание, чтобы исчерпать его со всех сторон.

„Сущность" вещей или „субстанция",—замечает к этому Ленин,—тоже относительна. Она только показывает углубление человеческого понятия о вещах; и если углубление вчера не простирается дальше атома, сегодня не дальше электрона или эфира, то диалектический материализм и построен на временном, относительном, приблизительном характере таких определений на пути к познанию природы, который совершает двигающаяся вперед наука. Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, она существует бесконечно, и именно это единственно категорическое, един-

ственно безусловное признание ее существования вне сознания и вне ощущений человека, отличает диалектический материализм от релативистического агностицизма и от идеализма».

В этом смысле можно сказать, что мы никогда не будем иметь законченной, совершенной физической теории материи. Конечно, это не исключает, а скорее включает требование о полном теоретическом исчерпании и выражении современного наличного эмпирического знания о материи. Только в этом относительном, временном смысле можно в каждое данное время говорить о более или менее удовлетворяющей, „законченной" физической теории материи.

В связи с этим необходимо отметить изменившуюся форму и роль механики в естествознании. Уже Марксу и Энгельсу приходилось бороться с тем, чтобы не смешивали их диалектического материализма с механическим материализмом, хотя бы великих французских материалистов XVIII века или даже их мелких мещанских последователей XIX столетия, „вульгарных" материалистов толка Людвига Бюхнера, Карла Фохта, Молешотта и др. Они обращались против этого смешивания с двух сторон: во-первых, со стороны непризнания материализма на общественном поприще, где, как известно, Бюхнеры, Фохты и др. были вульгарными плоскими идеалистами; во-вторых же, в области самого естествознания, где Энгельс указал на то, что естествознание никак не исчерпывается механикой, так же, как нельзя все явления в природе свести к законам механики. Эта критика, которая, понятно, ничего общего не имеет с идеалистической критикой механического материализма, впоследствии была подтверждена и углублена дальнейшим развитием самой физики; и именно тем, что классическая механика сама претерпела полный переворот, значение ее в сравнении с другими областями физики было ограничено и им подчинено. Классическая механика сегодня может быть рассматриваема лишь как первое приближение к действительным законам материального движения. Что же составляет общую почву, общее содержание старой и новой физики, механики, как классической, так и заимствованной и переработанной из области электродинамики и частью подчиненной более обширной дисциплине о материальном движении? Законы материального движения. В чем состоит новое в физической теории? Расширение понятия о движении, преобразование всех законов движения по типу происходящих со скоростью света быстрых движений малейших электрических элементарных частиц, электронов, следовательно, новое завоевание и распространение законов движения электронов на всю область физики, даже за ее пределы—на область математики, геометрии. Об этом еще придется говорить дальше. Другими словами: физика и геометрия отдаленного действия, в основе которого лежит представление о движущихся с бесконечной скоростью, т.-е. вне

времени, телах, заменяется физикой и геометрией близкого действия, тел, распространяющихся с конечною скоростью с точки на точку, с элементарной частицы на элементарную частицу. Это и есть новое основоположение в физике. Этапы движения близкого действия переходят в это отдаленное действие, если в общем вместо скорости света принять бесконечно большую скорость. Это превращение можно сравнить с превращением анатомии в результате применения микроскопа. Физика отдаленного действия в действительности говорит о том, что мы пока что не можем сказать ничего определенного о распространении силовых действий в пространстве, что здесь детали слились в кажущуюся однообразной картину. Физика и геометрия близкого действия как будто разлагают нам микроскопически кажущуюся равномерной картину движения на мельчайшие составные части, заполняют прежние пустые места определенными законам движения бесконечно малого, детализируют, уточняют и расширяют до сих пор существующие законы материального движения. Эта детализация законов движения собирает целый ряд до сих пор разрозненных физических областей под одну крышу, объединяет их, обнаруживает новые связи и растворяет старые, считавшиеся до сих пор непоколебимыми, крайние противоречия. Это составляет диалектический характер революции в физических понятиях.

Если принять „механическое" за общее понятие, стоящее на другом полюсе против „идеального", как это делает А. Рей, то необходимо сказать, что по пути „механического" следуют не только Кирхгоф, Гертц, Больцман, Максвелл, Гельмгольц, лорд Кельвин, но что чистыми механистами, и в некотором смысле еще механистичнее всех других, даже крайними представителями механизма, являются те, которые вместе с Лоренцом и Лармором формулируют электрическую теорию материи и приходят к отрицанию сохранения массы, изображая ее как функцию движения. Все они вместе являются механистами, потому что исходят из действительных движений.

Видно, как Рей—и он не один!—путается в сетях пережитых понятий механики. Он не умеет понять, что материалистическая теория в физике выросла за пределы механического движения и достигла более обобщающего понятия о движении, что, следовательно, противопоставляемой парой понятий более не являются „идеально" и „механически", но „идеально" и „материалистично" вообще Механика является лишь подотделом законов материального движения, тип которого электродинамического характера.

Интересно проследить, как Рей хорошо понимает детали превращения физики, и как он не в состоянии привести их к общему знаменателю, т.-е. понять их динамически. При этом он выражается так:

„Физика электронов, которая (по духу своему) должна быть причислена к механическим теориям, имеет тенденцию распростра-

нять свою систему на всю физику. Ее дух—механистический, хотя основные принципы физики не получаются больше из механики, а от экспериментальных данных теории электричества и именно:

1) потому что она применяет наглядные материальные элементы для изображения физических свойств и их законов, она выражается в терминах восприятия;

2) она хотя не рассматривает более физические явления, как особенности механических процессов, но механистические процессы, как частный случай физических явлений. Законы механики, следовательно, стоят в непосредственной связи с законами физики, и понятия механики остаются в той же области, как физические понятия. В традиционном механизме движения, построенные по образцу единственно известных и непосредственно наблюдаемых относительно медленных движений, были избраны на основании закона опыта в качестве типа всех возможных движений. Однако новые наблюдения показывают, что мы должны расширить наше понятие о возможных движениях. Традиционная механика остается существовать полностью, но ее применение остается ограниченным только на относительно медленных движениях (как, напр., видимых тел). Для значительных скоростей существуют другие законы движения. Материя, очевидно, сводится на электрические частички, последние элементы атома...;

3) движение, перемена места остается единственно наглядным элементом физической теории.

В конце концов, что надо принять в соображение с точки зрения общего духа физики—образ физики, ее методов, ее теории и ее отношения к познанию остается абсолютно идентичным с образом механизма и физического мышления со времени ренессанса.

Видно, Рей и родственные ему физики и философы „имеют в руках все элементы, но, жаль, не хватает духовной нити".

Ленин замечает по поводу этих соображений Рея:

„Как бы ни хотели Рей и упомянутые им физики откреститься от материализма, все же остается вне сомнения, что механика была изображением медленных реальных движений, новая же физика является изображением гигантски быстрых движений. Видеть в теории изображение, близкую копию объективной реальности, вот в чем состоит материализм".

Рассуждения Рея о „полной сохранности традиционной механики" в области относительно медленных движений тоже должны были сегодня быть исправлены. Старая классическая механика сегодня переделана на основании принципа относительности, но она все же практически, конечно, еще достаточна, как удовлетворительное приближение к описанию относительно медленных движений, с которыми мы имеем дело раньше всего в ежедневной жизни, в пределах земной поверхности. Но как только мы выйдем в мировое пространство, необходимо внести поправку и уточнение этих законов.

3. „Исчезновение" материи в „энергетике" (Оствальд).

Путем прямо-таки классического маневра попадает из новейшей физической теории прямо в идеализм известный „энергетический" естествоиспытатель и „монистический" философ Оствальд, заслуги которого в специальных биологических науках не мешают ему быть одновременно образцом самого плоского, „свободомыслящего", „монистического" филистерства.

Раскрытие этого маневра Лениным является образцом диалектического остроумия.

Оствальд и вслед за ним Богданов делают следующее заключение, которое является настоящим сальтомортале: все явления в природе можно сводить в конечном счете на энергию, ее движения и превращения. Энергия—это все. Но должна ли энергия иметь носителя, подлежащее, материальный субстрат? Энергия есть движение, движение есть энергия, и—больше ничего нет.

К этому замечает Ленин:

„В действительности мысленное устранение материи, как подлежащего (Subjekt), из природы означает молчаливое принятие мысли, как подлежащего (в качестве первичного, составляющего исходную точку, независящего от материи). Не подлежащее из предложения устраняется, а объективный источник ощущения. Подлежащим же становится ощущение, т.-е. философия берклеианизируется, какой бы впоследствии маскировке слово „ощущение" ни подвергалось. Если энергия есть движение, то вы затруднение перенесли с подлежащего на сказуемое, то вы превратили вопрос: „движется ли материя?" в вопрос: „материальна ли энергия?" Совершается ли превращение энергии вне моего сознания, независимо от человека и человечества, или это лишь идеи, символы, условные обозначения и т. д.? На этих вопросах сломала себе шею также и „энергетическая" философия, это—попытка замазать новой терминологией старые гносеологические ошибки".

Доказательства того, что на этом пути можно прямиком шлепнуться в идеализм, можно найти у Оствальда самого. Так, когда он пишет:

„Что можно внешние события представить как происшествия между энергиями, можно проще всего объяснить, если явления нашего сознания сами являются энергетическими и эту свою сущность накладывают на все внешние события",—то чистый идеализм.

Посредствующим звеном, ведущим к этой аберрации, является, очевидно, то превращение, которому понятие массы подверглось в новейшей физике. В старой физике масса была неизменна, постоянна. В новой физике понятие о массе становится подвижным, изменчивым, в своем количестве зависимым от движения. Ошибочный вывод Оствальда и его последователей можно облачить в яркую форму.

Изменчивая, зависящая в изменении своего количества от движения, масса—не является массой, она есть ничто. Это типичный случай метафизически застывшего образа мышления. Оказывается, что понятия „масса“ и „движение“ (или „энергия“) должны отрешиться от своей полярной противоположности, но метафизическое мышление, чтобы спастись от этого ужаса, прибегает к героическому средству устранения массы и вместе с ней и материи и таким образом избегает диалектического соединения обоих полюсов.

„Спиритуалист,—говорит Ленин,—остается верен себе, когда он отделяет движение от материи. Движение тел превращается в природе в движение чего-то, что не представляет ни тело с постоянной массой, что является неопределенным зарядом неопределенного электричества в неопределенном эфире. Диалектика превращения материи, которое имеет место в лабораториях и мастерских, служит идеалисту (как и широкой публике, включая махистов) не в качестве подтверждения материалистической диалектики, но в качестве аргумента против материализма. Разрушаемость атома, его неисчерпаемость, превращаемость всех форм материи и ее движения, всегда скорее служили основой и опорой материализма. Все пределы в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего духа к познанию природы, что, однако, ни в какой мере не означает, что сама материя является лишь символом, условным знаком, т.-е. продуктом духа“.

Важно еще в связи с этим заметить, как математическая формулировка физических законов (дифференциальные уравнения) легко ведет к тому, чтобы оставить без внимания, позабыть лежащие в основе уравнений движения, подразумеваемые в них материальные носители движения. Немецкий физик Больцман, которого Ленин цитирует по этому вопросу, метко замечает против махистов, что „тот, кто думает отделаться от атомистики путем дифференциальных уравнений, из-за леса не видит деревьев... Если не хотеть отдаться иллюзии о значении дифференциального уравнения или вообще непрерывно растянутой величины, то нельзя сомневаться в том, что картина этого мира в своей сущности должна быть атомистической... Предметы могут, конечно, быть однообразны или различны, постоянны или изменчивы. Электронная теория развилась в атомистическую теорию всего учения об электричестве“.

И Ленин сам дает этому следующее простое определение:

„Это понятно,—если взять какое-нибудь тело за целое, то можно выразить (механическое движение) всех других тел простыми отношениями ускорения, но от этого еще тела (т.-е. материя) вовсе не исчезают, точно так же, как они не перестают существовать независимо от нашего сознания. Если вся вселенная сводится к движению электронов, то станет возможным удалить электрон из всех уравнений именно потому, что его предполагают везде содержащимся, и соотношения групп или аггрегатов электронов будут сводиться к их взаимному ускорению—если б формы движения были столь же просты, как и в механике“.

Это грубое упрощение во всяком случае ясно подчеркивает одно: что в физических уравнениях тела могут участвовать не конкретно, как таковые, а лишь в качестве величин, количеств, точек, линий, плоскостей, объемов тел, скоростей, ускорений и т. д. Из математических упрощающих абстракций, которые мне позволяют выяснить взаимоотношение скоростей или ускорений двух или многих тел, при чем формально эти тела не должны встречаться в уравнениях, как величины, — заключить, что существуют скорости и ускорения без тела — это значит обращаться с математическим формализмом, как наивный простак. Это не лучше, чем если судить по вполне допустимому математическому применению понятий о точке без протяжения, линии без ширины, о плоскости без толщины—о их существовании в материальном месте.

О характере и причинах идеалистических заблуждений части естествоиспытателей Ленин, наконец, говорит:

„Уклонения и ошибки в сторону реакционной философии, которые в обоих случаях (идеалистические физиологи 60-х годов приводятся для сравнения) есть лишь один из преходящих зигзагов, болезненный период в истории науки,—явления роста, которые вызваны лишь насильственным разрушением старых распространенных понятий“.

Причины лежат, с одной стороны, в развитии самой науки, которая пришла к поворотному пункту, должна в корне критиковать старые основные понятия, установить новые, не имея ясного диалектического сознания текучести понятий. С другой стороны, на физику воздействовало—как и на другие науки—всеобщее буржуазное течение в сторону метафизики и всевозможных других видов мистицизма.

Что же касается в частности кризиса в физике, то за половину человеческого века, прошедшую с тех пор, когда Ленин писал, построение новых физических основных понятий значительно продвинулось вперед. Идеалистическое злоупотребление, однако, вместе с тем не прекратилось. Но вместе с тем значительно более отчетливо выступил диалектический характер физической революции! Об этом будет сказано в дальнейшем.

Перевод с немецкого Рейнберг.

(Продолжение следует.

Партия пролетариата или мелкой буржуазии.

(К истории выработки программы РСДРП.)

Ст. Кривцов.

У нас сложилось представление, что расхождения внутри „Искры" выявились только по организационному вопросу. Поэтому обычно принято изображать дело так, что все разногласия между нами и меньшевиками исходят из споров по поводу § 1 Устава нашей партии. Уже теоретически такое представление не могло быть вполне правильным, так как всякая организационная схема или структура является результатом, увенчанием определенного программного построения. Относительно же интересующего нас вопроса до сих пор никаких материалов о принципиальных программных разногласиях между искровцами мы еще не имели.

Вот почему громадный интерес и значение представляют „материалы к выработке программы РСДРП", опубликованные во Втором Ленинском Сборнике, изданном Ленинским Институтом при ЦК РКП(б). Эти материалы, изданные под тщательнейшей редакцией тов. Л. Б. Каменева, бросают совершенно новый свет на вопросы, о которых мы начали говорить, и позволяют правильно установить корни разногласий между будущей партией пролетариата, чем были большевики, и партией мелкой буржуазии, чем и стали, в конце концов, в силу внутренней логики своего развития, меньшевики.

Когда внимательно прорабатываешь эти документы, следишь строка за строкой, даже больше, слово за словом за разногласиями между Лениным, с одной стороны, и пятеркой (Плеханов, Аксельрод, Засулич, Мартов и Потресов), с другой стороны, то начинаешь великолепно понимать, что здесь дело не только в том, какой термин—„сужение" или „вытеснение"—правильнее характеризует процесс хозяйственного развития России, но что из этих споров произойдет и расхождение в оценке роли мелкой буржуазии в грядущей русской революции и ее связи с социал-демократическим движением.

Мы присутствуем при проблесках будущей борьбы социал-демократической Горы с социал-демократической Жирондой, недаром же неоднократно они поминаются в наших документах.

Попытаемся сразу же наметить причины расхождения между Лениным и пятеркой, принявшего столь резкий характер, что в окончательном обсуждении проекта программы Ленин не принял участия и предпочел уехать в Лондон.

Оценивая в 1914 г. в ст. „Идейная борьба в рабочем движении" (т. XII, ч. 1, стр. 466) роль и значение в истории нашей партии группы „Освобождение Труда", Ленин написал следующие строки, которые и могут помочь нам найти корни дальнейших разногласий. „Группа „Освобождение Труда" лишь теоретически основала с.-д. и сделала первый шаг навстречу рабочему движению". Это раз, затем возьмем даже обоих членов „тройственного союза" Мартова и Потресова, и мы увидим, что окончательную шлифовку как с.-д. Мартов получил среди мелких ремесленников г. Вильны, а не среди пролетариата крупной промышленности, а Потресов даже в эпоху „Союза Борьбы" не был революционером-практиком и принадлежал к группе Струве (см. воспоминания тов. Н. К. Крупской о „Союзе Борьбы"). Это было первоначально столкновение между практиком, работавшим в гуще русского пролетариата его дней, знавшим и умевшим увязывать пятачковые интересы данного дня с конечными целями всего движения, знавшего на опыте значение различных классов в начинавшейся развертываться в России революции, и теми теоретиками, которые на основании своей практики 70 г.г. и теоретических работ открыли русский капитализм и русский пролетариат, но, будучи оторванными от конкретной борьбы, невольно сходили на излишний и ненужный схематизм. Еще в своей первой работе „Что такое друзья народа" Ленин указал на три основные задачи с.-д. работы, следуя словам В. Либкнехта: „изучать, пропагандировать и организовать", и все свои труды в дальнейшем посвятил слитному проведению этих задач; Плеханов же вынужден был вследствие отрыва от повседневной борьбы ограничиться только первыми моментами.

Поэтому мы и видим, что первый жестокий спор разгорелся вокруг вопроса о методе построения программы. В резкой, заостренной форме он выявлен Лениным. Критикуя второй проект Плеханова (документ 10, стр. 64), он говорит: „Самым общим и основным недостатком, который делает весь этот проект неприемлемым, я считаю весь тип программы, именно: это—не программа борющейся партии, а Prinzipienerklärung, это скорее программа для учащихся (особенно в самом главном отделе, посвященном характеристике капитализма), и притом учащихся первого курса, на котором говорят о капитализме вообще, а еще не о русском капитализме. Этот основной недостаток вызывает также массу повторений, при чем программа сбивается на комментарий". Раз это учебник, да еще для приготовительного класса, понятен и его язык, о котором Ленин дальше говорит: „Это—не язык революционной партии, а язык „Русских Ведомостей". Это—не термин социалистической проповеди, а термин статистического сборника" (стр. 72). И, исходя из опыта своей прак-

тики, Ленин (стр. 67) указывает общую неправильность построения таким образом программы. § 5 дает дефиницию „развитого“ капитализма вообще. § 6 говорит о расширении капиталистических производственных отношений по мере прогресса техники и роста крупных предприятий в ущерб мелким или за счет мелких, т.-е. по мере вытеснения мелкого производства крупным.

„Такой прием изложения нелогичен и неправилен. Неправилен потому, что борющийся пролетариат учится тому, что такое капитализм, не из дефиниции (как учатся по учебникам), а из практического ознакомления с противоречиями капитализма, с развитием общества и его последствиями. И мы должны в своей программе определить это развитие, сказать—возможно короче и рельефнее,—что дело идет так-то. Всякое же объяснение, почему это именно так, а не иначе, всякие подробности о формах проявления основных тенденций мы должны предоставить комментариям. Что такое капитализм—это уже само собой будет вытекать из нашей характеристики, того, что дело обстоит (resp.: идет) так-то“.

И, в противоположность учебнику для студентов первого курса за который горой стоял Плеханов, Ленин противопоставляет свой проект. Этот проект опять же не явился чем-то абстрактным, схемой капитализма, пригодной и для России и для Новой Зеландии, а результатом практики. Стоит в этом отношении вспомнить проекты программы Ленина 1896 и 1900 г.г. (см. I т. сочинений). В плане программы 1900 г. стоит „указание на основной характер экономического развития России“. В соответствии с этим и в проекте 1902 г. (стр. 40) стоит „А. Экономическое развитие России и основные особенности капитализма“ или там же дальше „А. Экономическое развитие России и общие задачи с.-д.“.

И эта конкретность постановки задачи у Ленина и абстракция у Плеханова все время сталкиваются. Задачи социал-демократов в России естественно ведь являются последствием развития именно русского капитализма, а не капитализма вообще. Но и тут идут расхождения. Плехановский первоначальный проект (стр. 15) начинается со следующего указания: „Оставлен открытым (3 голоса за и 3 против) вопрос о том, не начать ли с указания на Россию“. Но и дальше в этом проекте ни слова нет о том, что в России имеется капитализм, а просто с 10 § (стр. 18) идет указание на „русскую с.-д.“. В противоположность этому, Ленин уже в первом варианте наброска программы (стр. 31) начинает программу так: „Все быстрее развивается товарное производство в России (усиливается ее участие в международном торговом обмене), и все более полное господство получает в ней капиталистический способ производства“. Примерно такие же формулировки этого процесса дает и второй вариант в двух редакциях—первоначальной и исправленной (стр. 34)—и третий (стр. 41) и, наконец, в окончательном проекте (стр. 43) звучит совершенно как первый вариант, только с заменой слова „получает“ словом „приобретает“

В результате прений в плехановский проект проникло указание на экономическое развитие России, но вокруг этого возникли споры, на которых следует остановиться. § 17 (стр. 60) гласит: „В России капитализм все более и более становится преобладающим способом производства, выдвигая с.-д. на самое первое место“... На это Ленин (стр. 84) возражает: „Этого безусловно мало. Он (капитализм. *Ст. Кр.*) уже СТАЛ (подчеркнуто усиленно автором. *Ст. Кр.*) преобладающим (если я говорю, что 60 уже стало преобладающим над 40,—это вовсе не значит, что 40 не существует или сводится к неважной мелочи). У нас еще такая масса народников, народничествующих либералов и быстро пятящихся к народничеству „критиков“, что тут ни малейшей неопределенности оставлять невозможно. И если капитализм еще даже не стал „преобладающим“, тогда, пожалуй, и с социал-демократией бы погодить“... „Выдвигая с.-д. на самое первое место“... „Только еще становится преобладающим капитализм, а мы уже на „самом первом месте“... Я думаю, что о самом первом месте вовсе говорить не следует: это само собою видно из всей программы. Это пускай не мы про себя, а история про нас скажет“.

Критика Ленина возымела свое действие, и в комиссионном проекте мы читаем § 13 уже так: В России, рядом с капитализмом, быстро распространяющим область своего господства и становящимся все более и более преобладающим способом производства... (стр. 117). Что вызвало следующую реплику Ленина (стр. 127): „§ 13. Начало. Кланяюсь и благодарю за малюсенький шажок ко мне. Но „*становящимся*, преобладающим“ фи... фи...!!“. В результате чего в окончательном проекте мы читаем: „В России, где капиталистический способ производства (заменено капитализм) стал уже господствующим“ (стр. 143).

В данном вопросе Ленин добился своего. Вопрос был, как увидим ниже, вовсе не академический, а практический: вопрос о роли мелкой буржуазии в нашей революции. Но план построения был принят плехановский, и все мы, пропагандисты, должны были поэтому начинать толкование программы с дефиниций абстрактного капитализма вообще. И немало мук отсюда получили, как преподаватели, видя бесплодность многих наших бесед. Пусть-ка пороется в памяти каждый и наверное припомнит, как в своей практике самовольно он перешел от дефиниций Плеханова к ленинской программе. Кроме чисто-практических моментов, в пользу своего плана Ленин выдвигал и теоретическое положение: „Программа русской с.-д. партии должна быть характеристикой (и обвинением) русского капитализма и затем уже подчеркнуть международный характер движения, которое по форме своей—говоря словами „Коммунистического манифеста“—необходимо является началом национальным“ (66).

Плехановский проект (II—стр. 16) утверждает, что „непрерывное усовершенствование техники увеличивает значение крупных предприятий и тем уменьшает число мелких самостоятельных произ-

водителей, суживает их роль". Взамен этого Ленин предложил (первый вариант наброска программы, стр. 33—(А) § III) сказать „мелкое производство вытесняется крупным". И вокруг этих терминов „суживает" и „вытесняет" разгорелись горячие споры, отголосок чего мы находим в следующих словах Ленина (стр. 69): „С чисто теоретической стороны, обе эти формулировки совершенно равнозначущи, и всякие попытки конструировать между ними различие по существу совершенно произвольны". „Увеличение значения крупных и сужение роли мелких"—это и есть вытеснение. Ни в чем ином вытеснение и не может состоять. И сложность и запутанность вопроса о вытеснении мелкого производства крупным зависит вовсе не от того, чтобы кто-нибудь мог (добросовестно мог) не понять, что вытеснение означает „увеличение значения крупных и сужение роли мелких",—а всецело и исключительно от того, что трудно согласиться о выборе показателей и признаков вытеснения, resp. „увеличения значения, resp. сужения роли". Дальше следует интересное изучение теоретической стороны процесса сужения-вытеснения в самой общей форме, и заканчивается этот интереснейший пассаж (стр. 69—71) следующими словами: „Это—чистейшая иллюзия, будто слова: „увеличение значения и сужение роли" более глубоки, содержательны, широки, чем „узкое" и „шаблонное" слово: „вытеснение". Ни самомалейшего углубления в понимании процесса эти слова не выражают,—они выражают только этот процесс более туманно и более расплывчато. И я спорю так энергично против этих слов не за их теоретическую неверность, а именно за то, что они придают вид глубины простой туманности" (71).

„Человек, учившийся в семинарии" и знающий, что вытеснением является уже уменьшение доли (а вовсе не непременно абсолютное уменьшение), увидит в этой туманности желание прикрыть наготу скомпрометированной критиками „марксовой догмы". Человек, в семинарии не учившийся, только вздохнет по поводу непостижимой „бездны премудрости",—тогда как слово „вытеснение" каждому мастеровому и каждому крестьянину приведет на мысль десятки и сотни знакомых ему примеров" (71).

„Мы не можем выбирать наиболее абстрактные формулировки, ибо мы пишем не статью против критиков, а программу боевой партии, обращающейся к масое кустарей и крестьян. Обращаясь к ним, мы должны сказать klipp und klar, что капитал „делает их слугами и данниками", „разоряет их", „вытесняет их" в ряды пролетариата. Только такая формулировка будет верным изображением того, чему тысячи примеров знает каждый кустарь и каждый крестьянин. И только из такой формулировки будет вытекать неизбежно вывод: единственное спасение для вас—примкнуть к партии пролетариата" (72).

Мы видим отсюда, что спор между сторонниками „сужения" и сторонником „вытеснения" вовсе не схоластический спор, а спор, при-

водящий к оценке значения мелкой буржуазии в русской революции и ее отношения к партии пролетариата.

В плехановском проекте (10 и 11 §§ или по другой ред. XI и XII §§—стр. 59—60) мы читаем: „...растет также и недовольство трудящейся и эксплоатируемой массы существующим порядком вещей, обостряется ее борьба—и прежде всего борьба ее передового представителя—пролетариата..." (§ 10) и дальше § 11: „Международная с.-д. стоит во главе освободительного движения трудящейся и эксплоатируемой массы. Она организует ее боевые силы, разоблачает перед ней непримиримую противоположность интересов эксплоататоров интересам эксплоатируемых и выясняет ей историческое значение и необходимые условия той социальной революции, которую предстоит совершить пролетариату, поддержанному другими слоями населения, страдающего от капиталистической эксплоатации". С этими пунктами согласился и Потресов.

На это Ленин (78 и сл.) пишет следующее: „Против §§ XI и XII я имею крайне важное принципиальное возражение: они в совершенно односторонней и неправильной форме изображают отношение пролетариата к мелким производителям (ибо „трудящаяся и эксплоатируемая масса" состоит именно из пролетариата и мелких производителей). Они прямо противоречат основным положениям и „Коммунистического манифеста", и статутов Интернационала, и большинства современных программ с.-д. и открывают настежь двери для народнических, „критических" и всяких мелко-буржуазных недоразумений".

„Растет недовольство трудящейся и эксплоатируемой массы"—это верно, но недовольство пролетариата и недовольство мелкого производителя совершенно неправильно отождествлять и сливать, как это здесь сделано. Недовольство мелкого производителя очень часто порождает (и неизбежно должно в нем или в значительной его части порождать) стремление отстоять свое существование как мелкого собственника, т.-е. отстоять основы современного порядка и даже повернуть его назад".

„Обостряется ее борьба и прежде всего борьба ее передового представителя—пролетариата..." Обострение борьбы, конечно, идет и у мелкого производителя. Но его „борьба" очень часто направляется против пролетариата, ибо самое положение мелкого производителя очень во многом резко противополагает его интересы интересам пролетариата. „Передовым представителем" мелкой буржуазии пролетариат вовсе не является, вообще говоря. Если это бывает, то лишь тогда, когда мелкий производитель сознает неизбежность своей гибели, когда он „покидает" свою точку зрения и переходит на точку зрения пролетариата". Передовым же представителем современного мелкого производителя, еще не покинувшего „своей точки зрения", является очень часто антисемит и аграрий, националист и народник, социал-реформатор и „критик марксизма"

(на это В. И. Засулич меланхолически замечает: „Это грустно, но надо, чтобы этого не было“). И именно теперь, когда „обострение борьбы“ мелких производителей сопровождается „обострением борьбы“ „социалистической Жиронды“ против „Горы“, всего менее уместно сливать все и всякое обострение воедино.

„Международная с.-д. стоит во главе освободительного движения трудящейся эксплоатируемой массы“... Вовсе нет. Она стоит во главе только рабочего класса, только рабочего движения, и если к этому классу примыкают другие элементы, то это именно элементы, а не классы. И примыкают они вполне и всецело только тогда, „когда они покидают свою собственную точку зрения“.

В. Засулич так объясняет этот процесс: „Когда голосуют за с.-д., ходят на их собрания, читают их литературу. А поступать на фабрики, конечно, не могут“, пр. 3, стр. 79. Мы обращаем особенно внимание на это замечание В. Засулич. Оно нам вскроет социальные, классовые корни § 1 Устава, принятого на II съезде. Из §§ XI и XII плехановского проекта мы яснее ясного видим, что, по его мнению, социал-демократия не является классовой партией современного промышленного пролетариата, а партией всей народной массы, т.-е. типично мелко-буржуазной партией. И для мелкого буржуа его партийная принадлежность и выражается в этом невинном чтении (легальных газет, посещении законноустроенных собраний и, наконец,—верх гражданского мужества—участие в тайном всенародном голосовании, опять согласно определенному § закона. Ни о каком личном участии в жизни и делах своей партии нет и речи: своего рода сторонние посетители „своей собственной партии“. Нечего и говорить о нелегальной революционной борьбе за программные требования. Голосовать за платформу еще куда ни шло, но чтобы бороться за программные требования, да еще в рядах своей собственной партии,—ни за что. Очень рекомендуем сравнить это замечание В. Засулич с § 1 Устава, принятого на II съезде.

Ленин продолжает вскрывать основную теоретическую ошибку будущих меньшевиков. „Она организует ее боевые силы“... И это неверно. С.-д. нигде не организует „боевых сил“ мелких производителей. Она организует только боевые силы рабочего класса“ (79).

„Summa summarum. Проект говорит в положительной форме о революционности мелкой буржуазии (если она поддерживает пролетариат, разве это не значит, что она революционна? и ни слова не говорит о ее консервативности и даже реакционности). Это совершенно односторонне и неправильно“.

„В положительной форме мы можем (и обязаны) указать на консервативность мелкой буржуазии. И лишь в условной форме мы должны указать на ее революционность. Только такая формулировка будет в точности соответствовать всему духу учения Маркса... И пусть не говорят, что за полвека, прошедшие со времени „Коммунистического манифеста“, дело существенно изменилось. Именно

в этом отношении ничего не изменилось: и теоретики признавали это положение всегда и постоянно (напр., Энгельс в 1894 г. именно с этой точки зрения опроверг французскую аграрную программу. Он рассуждал прямо, что покуда мелкий крестьянин не покинет свою точку зрения,—он не наш, его место у антисемитов, пускай те его обтешут, и он тогда тем вернее придет к нам, чем больше его будут надувать буржуазные партии)—да и фактические подтверждения этой теории массами даются историей вплоть до последних дней, вплоть до nos chers amis господ „критики“ (80).

На это ясное указание слов Энгельса В. Засулич ответила: „Я помню, что ни Жорж (Плеханов), ни я и тогда с Энгельсом тут не были согласны“ (пр. 2 стр. 80).

На основании всего этого Ленин в отзыве о втором проекте Плеханова смог резко сказать: „Даже вместо классовой борьбы пролетариата поставлена „борьба трудящейся и эксплоатируемой массы“. Такая формулировка противоречит основному принципу Интернационала: „освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса“ (89). Вследствие этого упрощаются и классовые отношения между пролетариатом и мелкой буржуазией и буржуазией вообще. Мы тем самым становимся на тот путь, который привел к резолюции Старовера на II съезде по отношению к либералам. Пролетариат по данной схеме является всеобщим представителем и защитником. Этот момент не мог оставить без внимания Ленин. „Представительство пролетариатом всей трудящейся и эксплоатируемой массы должно выразиться в программе тем, что мы обвиняем капитализм в нищете масс (а не только нищете рабочего класса), в безработице „все более широких слоев трудящегося населения“, а не рабочего класса (89—90). Еще выше Ленин ополчается на исчезновение из программы диктатуры пролетариата и на неверное понимание социальной революции. Сейчас мы только указываем это, чтобы был понятен предложенный Засулич проект соглашения, в дальнейшем мы еще вернемся к этим „забытым словам“. Документ этот настолько красочен и важен, что приводим его почти целиком, опуская состав согласительной комиссии и планы ее работы.

1. Характеристика капиталистического развития дается такая, которая охватывает и Россию, но вместе с тем оттеняется различие в степени развития.

2. Фреевская (Ленинская) формулировка „вытеснение“ (мелкого производства) изменяется в направлении Жоржева (Плеханова) проекта, т.-е. не все переходят в пролетариат, а частью продолжают существовать, лишь теряя значение. Зато изложение проекта должно быть короче, и должны быть упомянуты социальные последствия капитализма: бедность, гнет эксплоатации, нищета, унижение и прочее.

3. К пункту о классовой борьбе и социальной революции (против проекта Фрея-Ленина) добавляется, что с.-д. борется против угнетения и эксплоатации не только наемных рабочих, но и всех

трудящихся и угнетенных, и освободит все трудящиеся массы, но в противоположность проекту Жоржа (Плеханова) самый пункт о классовой борьбе и социальной революции формулируется строго в духе пролетарской классовой борьбы, и добавляется диктатура пролетариата" (91—92).

Это указание на невыдержанность классовой точки зрения за живое задело Плеханова, и он отвечает Засулич: „Совершенно не понимаю, как это „формулировать пункты в духе пролетарской (надеюсь, не мартыновской) пролетарской борьбы". А я как формулировал? Вся наша программа, от начала до конца, должна иметь в виду именно эту борьбу, но если кому-либо не нравится, что в моем проекте указано на то, что пролетариат совершит революцию, поддержанный другими слоями эксплоатируемой массы, то здесь я вижу принципиальное разногласие. Дело не в том, что пролетариат совершит революцию в интересах этих слоев, а в том, что некоторые из них он может и должен привлечь для совместной борьбы с капиталом. Примеры:

1. Парижская Коммуна, где пролетариат боролся с крупной буржуазией, будучи поддерживаем мелким буржуа. Это обстоятельство не помешало Марксу и Энгельсу считать Коммуну революционным движением пролетариата и говорить, что диктатура пролетариата выглядит именно так, как выглядела Парижская Коммуна.

2. Принятие на Болонском конгрессе представителями мелкого крестьянства принципа социализации землевладения.

3. Привлечение бельгийскими социалистами крестьян через кооперацию.

Вы говорите в своем письме, что в Манифесте коммунистов все другие слои, кроме пролетариата, названы реакционными. Но ведь Манифест имел в виду тогдашнего немецкого клейнбюргера; теперь обстоятельства значительно изменились, и я думаю, что чем дальше будет развиваться капитализм в передовых странах, тем более часть мелкой буржуазии и мелкого крестьянства будет вынуждаться к переходу на сторону пролетариата. Мы не обязаны думать, как Маркс, там и тогда, где и когда сам Маркс думал бы иначе. Кроме того, я очень хорошо помню, как едко Энгельс насмехался над теми геноссами (товарищами), которые воображают, что мелкая буржуазия неизбежно должна быть реакционной" (94—95).

Итак, мы видим, Плеханов отводит за давностью лет „Коммунистический манифест", „попросту проходит мимо слов Энгельса на ту же тему в 1894 г. Что же это, как не намеки, пусть только намеки, на ревизионизм? Но в чем основная ошибка Плеханова в оценке роли мелкой буржуазии? В том, что он вопросы тактики спутал с вопросами программы. Это очень ясно показал Ленин в своем отзыве о комиссионном проекте программ.

Еще одно замечание Плеханова на проект программы комиссии (стр. 110),—он против § 12. „Организация пролетариата в особую политическую партию, борющуюся со всеми буржуазными партиями,— это и не точно и не изящно выражено: борьба со всеми буржуазными партиями не обязательна во всякое данное время. Пример: бельгийский социалистический пролетариат идет теперь вместе с одной частью буржуазии против другой ее части. Достаточно сказать: в самостоятельную политическую партию рабочего класса. „Все элементы резолюции Старовера-Потресова налицо, а равно и те элементы, из которых развился Плеханов второй Думы со своей проповедью блока с кадетами" и т. п.

Еще в замечаниях на проект Плеханова (82—83) Ленин писал: „Было бы просто смешно, если бы мы еще вздумали особо указать это в программе и заявить, что, вот, если такие-то ненадежные элементы перейдут к нашей точке зрения, то и они будут революционны! Это было бы лучшим средством разрушить веру в нас как раз у тех половинчатых и дряблых союзников, которым и без того не хватает веры в нас". В этом месте рукою В. И. Засулич приписано: „Надо, чтобы не только верили, но и шли на помощь. Вера без дел мертва есть". Дальше идет заметка рукою В. И. Ленина: „Чем больше в практической части нашей программы проявляем мы „доброты" к мелкому производителю (напр., крестьянину), тем „строже" должны быть к этим ненадежным и двуличным социальным элементам в принципиальной части программы, ни на иоту не поступаясь своей точкой зрения. Вот, дескать, ежели примешь эту, нашу, точку зрения,—тогда тебе и „доброта" всякая будет, а не примешь,—ну, уж тогда не прогневайся. Тогда мы при „диктатуре" скажем про тебя: там нечего слов тратить по-пустому, где надо власть употребить"... На эту заметку В. И. Засулич дает такую реплику: „Над миллионами-то! Попробуй-ка! Позаботься, чтобы приняли, зови" (пр. 1, стр. 83).

Под влиянием жесткой критики Ленина в комиссионный проект начинают проникать нотки о двойственном характере мелкой буржуазии, и только после гневной реплики (стр. 123): „§ 8 показывает упорное нежелание комиссии соблюсти точное и недвусмысленное условие, поставленное ей при рождении. На основании этого условия должна быть сделана вставка, которую комиссия и сделала в § 10 (при чем до вставки речь должна итти только о классовой борьбе одного пролетариата"). После этого замечания из проекта исчезло упоминание о пролетариате, передовом представителе трудящейся и эксплоатируемой массы.

И в дополнительных замечаниях на комиссионный проект (132—133) Ленин говорит следующее: „Я вполне разделяю мысль В. Дм. (Засулич жила тогда под именем Валики Дмитриевны), что у нас возможно привлечение в ряды с.-д. гораздо большей доли мелких производителей и гораздо раньше (чем на Западе),—что для осуществления этого мы должны сделать все от нас зависящее, — что это пожелание надо выразить в программе „против" Мартынова и К°.

„Со всем этим вполне согласен. Добавку того, что выражено в конце § 10, приветствую, — подчеркиваю это во избежание недоразумений".

„Но не надо же перегибать лук в другую сторону, что делает В. Дм. (Засулич). Не надо же „пожелание" смешивать с действительностью и притом с той имманентно-необходимой действительностью, которой только и посвящена наша Prinzipienerklärung. Желательно привлечь всех мелких производителей—конечно. Но мы знаем, что это—особый класс, хотя и связанный с пролетариатом тысячью нитей и переходных ступеней, но все же особый класс.

Обязательно сначала отгородить себя от всех, выделить один только, единственно и исключительно пролетариат, а потом уже заявлять, что пролетариат всех освободит, всех зовет, всех приглашает.

Я согласен на это „потом", но я требую раньше этого „сначала".

У нас в России дьявольские муки „трудящейся и эксплоатируемой массы" не вызывали никакого народного движения, пока „горстка" фабрично-заводских рабочих не начала борьбу, классовую борьбу. И только эта „горстка" гарантирует ее ведение, продолжение, расширение. Именно в России, где и критики (Булгаков) обвиняют с.-д. в „крестьянофобстве", и с.-р. кричат о необходимости заменить понятие классовой борьбы понятием „борьбы всех трудящихся и эксплоатируемых" „(Вестник Русской Революции", № 2),—именно в России мы должны сначала самым резким определением одной только классовой борьбы одного только пролетариата отгородить себя от всей этой швали,—а потом уже заявлять, что мы всех зовем, все возьмем, все сделаем, на все расширим.

А комиссия „расширяет", позабывши отгородить!! И обвиняют меня в узости за то, что я требую предпослать расширению эту „отгородку"?! Ведь—это подтасовка, господа!!

Неизбежно предстоящая нам завтра борьба с объединенными критиками—господами по-левей из „Русских Ведомостей" и „Русского Богатства"—социалистами-революционерами непременно потребует от нас именно отмежевания классовой борьбы пролетариата от „борьбы" (борьбы ли?) „трудящейся и эксплоатируемой массы".

Интересно это указание на грядущую борьбу представителей „всего народа" с представителями пролетариата, что и вышло на деле в 1917 и следующих годах, в эпоху гражданской войны.

Для понимания половинчатости, нерешительности мелкой буржуазии крайне характерен случай с поправкой Ленина к аграрной части программы. Ленин предложил в четвертом пункте нашей аграрной программы сделать следующие изменения: вместо слов—учреждение крестьянских комитетов (а) для возвращения сельским обществам посредством экспроприации или в том случае, если земли переходили из рук в руки, выкупа и т. п. тех земель выкинуть подчеркнутые слова.

Далее следует подробная мотивация этого предложения, на которой следует остановиться.

„1. В аграрной программе мы выявляем наш „максимум", наши социально-революционные требования (см. мой комментарий). Допущение же выкупа противоречит социально-революционному характеру всего требования.

2. „Выкуп" и по исторической традиции (выкуп 1861 г.), и по своему содержанию (ср. знаменитое: „выкуп—та же покупка") носит специфический привкус пошло-благонамеренной и буржуазной меры. Ухватившись за допущение нами выкупа, не невозможно испакостить всю суть нашего требования.

3. Бояться „несправедливости" того, что отрезки отнимут у людей, заплативших за них денежки,—нет оснований. Мы и без того обставили эту меру возвращения отрезок двумя узкими условиями: (1)—„земли, которые были отрезаны в 1861 г.", и (2)—„которые теперь служат для закабаления". Собственность, служащую для капиталистической эксплоатации, вполне справедливо конфисковать и без вознаграждения (А там пускай покупщик отрезок судится с продавцом, — это не наше дело).

4. Допуская „выкуп", мы возлагаем денежные платежи на крестьян, которые именно в силу отработок всего глубже стояли на натуральном хозяйстве: резкость перехода к денежным платежам может особенно быстро разорить крестьян, а это противоречило бы всему духу нашей программы".

Такое проявление „доброты" после принципиальной жесткости не пришлось по вкусу сторонникам блока с буржуазией, которая, естественно, пострадала бы от этой поправки. И поправка была похоронена по первому разряду: за нее подал один только голос сам Ленин-Фрей, против нее остальная пятерка, только у В. И. Засулич проскользнуло смущение—не будет ли это похоже на Кривенковское и Михайловского „помогание нечистоплотности" (стр. 149—151). Еще в одном месте проявилась эта же черта. При окончательном обсуждении проекта программы, при котором, как мы видели выше, Ленин отсутствовал, у Плеханова по поводу требований по национальному вопросу вырвались характерные слова (пр. 1, стр. 144): „К самоопределению. Тут надо сказать: входившими в состав империи, т.-е. употребить глагол в прошедшем времени. Если же скажете: входящими в состав государства (т.-е., стало быть, и будущей республики), то в чем же „право самоопределения"? А если „нации" не захотят входить в состав государства? Назвался груздем, лезь в кузов, надеясь, однако, что Россия не рассыпется (выделено нами. *Ст. Кр.*).

Возвратимся назад к вопросу о диктатуре пролетариата. С этим вопросом, как видим, случился казус. В ряде проектов она была потеряна. Как же это вышло? В первоначальном проекте Плеханова § VIII мы читаем: (Для социалистического переворота) „Пролетариат должен иметь в своих руках политическую власть, которая сделает его господином положения и позволит ему беспощадно раздавить все те препятствия, которые встретятся ему на пути к его великой цели.

В этом смысле диктатура пролетариата составляет необходимое политическое условие социальной революции. Такое построение у Ленина (стр. 28) вызвало ремарку „господин положения", „беспощадно раздавить", „диктатура"??? Довольно с нас социальной революции". Этой ремаркой, очевидно, он имел в виду нагроможденность терминов, одинаковых по содержанию, и только. Мы можем судить так потому, что в наброске проекта, во втором варианте, под IX № мы читаем: „Чтобы совершить эту социальную революцию, пролетариат должен завоевать политическую власть, которая сделает его господином положения и позволит ему устранить все препятствия, стоящие на пути к его великой цели. В этом смысле диктатура пролетариата составляет необходимое политическое условие социальной революции". Но в проекте Плеханова, вследствие ремарки Ленина, диктатура исчезла. И Ленин в своих замечаниях вскрывает подлинную причину этого конфуза". В проекте упущено указание на диктатуру пролетариата, бывшее первоначально. Если это и случайно сделано по недосмотру,—все же остается несомненным, что понятие диктатуры несовместимо с положительным признанием чужой поддержки пролетариату. Если бы мы, действительно, положительно знали, что мелкая буржуазия поддержит пролетариат при совершении им его, пролетарской, революции, тогда не к чему бы и говорить о „диктатуре", ибо тогда вполне было бы обеспечено нам такое подавляющее большинство, что и без диктатуры прекрасно обошлись бы (как и хотят уверить „критики"). Признание необходимости диктатуры пролетариата самым тесным и неразрывным образом связано с положением „Коммунистического манифеста", что пролетариат один только есть действительно революционный класс". На это (пр. 1, стр. 81) В. И. Засулич указывает по преимуществу на педагогические, воспитательные задачи диктатуры, говоря: „Все-таки нужно руководство (диктатура пролетариата). Он привык к общественному производству, а мелких надо еще устраивать и улаживать". В отзыве на проект Плеханова Ленин говорит: „Место диктатуры пролетариата „заняла" революция, которую предстоит совершить пролетариату, поддержанному другими слоями населения, страдающего от капиталистической эксплоатации" (89). Из письма Плеханова Засулич (см. выше) мы видели, как Плеханов, вопреки переполоха среди комиссии, вызванного потерей диктатуры пролетариата, продолжает настаивать на своем.

Тогда Ленин ставит точки над i и предлагает: „отчего же не диктатура трудящейся массы?" (124—125). Но это уже настолько пахло ревизионизмом и эсерством, что комиссия восстановила диктатуру пролетариата.

Потресов в письме Ленину указывал на „дипломатичность" его, выразившуюся в том, что он, Ленин, выступил с самостоятельным проектом программы против Плеханова. В. И. Засулич в своих письмах горестно подчеркивает нежелание Ленина итти на уступки. На первый взгляд может показаться, что здесь весь спор о будущей дирижерской палочке, о пресловутом личном режиме и т. п. Но, конечно, это будет неверно. Мы, умудренные нашим опытом, опытом открытой гражданской войны между пролетариатом и мелкой буржуазией, теперь легко сможем найти зародыши ее в тех спорах, которые велись о программе. Впрочем, об этом Ленин говорит и прямо на 133 стр., что мы привели выше.

В настоящей заметке мы далеко не исчерпали всех принципиальных споров. Интересно было бы остановиться на различном понимании социалистической революции, различии конструкции социалистического общества, споре о роли стихийности и сознательности. И много других вопросов станет перед внимательным читателем, подчас совсем из другой оперы, казалось бы, не имеющей ничего общего с программными вопросами. Приведем только один пример. Плеханов в неоднократно цитированном нами письме Засулич пишет: „Я помню, как в 1895 г. один товарищ (т.-е. Ленин) старался убедить меня в том, что в России был такой же феодализм, как и на Западе. Я отвечал, что сходства в этом случае не больше, чем между „российским Вольтером — Сумароковым и настоящим, французским Вольтером, но мои доводы едва ли убедили моего собеседника" (93). Ежели припомнить, что в широкий обиход русской исторической науки феодализм был введен только в XX веке трудами Павлова-Сильванского, мы поймем, насколько правильнее понимал и знал Россию с ее прошлым и настоящим уже тогда 25-летний Ленин в сравнении с Плехановым.

Мы забыли упомянуть, что все это страстное обсуждение продолжалось с января по май 1902 г. Равным образом мы не приводили дат документов, чтобы не загромождать изложения.

Мы начали с указания, что теперь мы, при изложении наших разногласий с меньшевиками, можем пользоваться иным материалом, а не только увенчивающим их § 1 Устава и мало, обычно, известной резолюцией Старовера-Потресова об отношении к либералам. Теперь мы с фактами в руках можем проследить зарождение пролетарского (Ленин) и мелко-буржуазного (пятерка) течений в РСДРП, естественно приведших сперва к расколу, а потом и к борьбе социал-демократической Горы и Жиронды. И лучшим подтверждением этому является даже не страстная принципиальная непримиримость Ленина, а простодушное писание В. И. Засулич, которая совершенно бессознательно обнаружила основную червоточинку меньшевизма. Всегда мелкая буржуазия устами всех своих теоретиков протестует против узости и ограниченности классовой борьбы—что же мы читаем в проекте соглашения?—„самый пункт о классовой борьбе и социальной революции формулируется строго в духе пролетарской классовой борьбы" (92). Отсюда, естественно, может появиться только тот вывод, что проект программы был ориентирован на чью-то иную, а не пролетариата, классовую позицию. Тогда мы поймем, что пролетариат—

только передовой представитель мелкой буржуазии, а не особый класс. А отсюда прямой шаг к отказу от диктатуры пролетариата или же ее сохранения для педагогических, воспитательных целей. Так только можно понять выражение письма Засулич (92): „добавляется диктатура пролетариата". Отсюда и получила ублюдочный характер программа, которая была механически склеена из двух проектов: Ленина и Плеханова, принципиально в корне расходящихся (см. слова Ленина на 130 стр.).

И для нас, большевиков, особенно ценны среди документов, опубликованных тов. Каменевым, те, которые, по его верному замечанию, дают проект программы русской пролетарской партии, каким ее хотел видеть Ленин. Это следующие документы: Проект программы РСДРП (стр. 43—50), Три поправки (51) и Поправка аграрной части программы (149—151).

Изучение великолепно изданных документов даст много, как мы попытались показать выше, для понимания истории нашей партии, но мы должны сразу же указать на трудность обработки этого материала. Чтение многих документов требует большого напряжения и уменья и для многих будет не под силу. Это надо иметь в виду, чтобы не получилось разочарования.

Но зато, кто преодолеет этот материал, тот получит громаднейшее наслаждение: он будет присутствовать при творчестве Ленина и научится познавать ленинизм в его становлении, его развитии, а это самое главное.

Фихте и Великая Французская революция.

(Продолжение).

А. Деборин.

I.

Практическое учение Фихте—право, хозяйство, мораль и государство—теснейшим образом связано с его теоретической философией. Несомненно, что теоретическая философия Фихте представляет собою некий „рефлекс" его мысли над выдвинутыми историей и, главным образом, Французской революцией практическими проблемами. Но, раз возникнув и сложившись в определенную систему, сама теоретическая философия стала источником „обработки" назревших практических проблем. Можно положительно сказать, что ко всем проблемам Фихте подходит с точки зрения своего наукоучения и, в частности, диалектического метода, как он им понимался.

Не имея возможности остановиться подробно на всех вопросах практической философии, как они ставились и разрешались Фихте, мы намерены в этой связи, прежде всего и главным образом, подвергнуть разбору проблему собственности.

На предыдущих страницах мы имели возможность познакомить читателя с фихтевской трактовкой проблемы собственности в непосредственной связи с вопросом о закономерности Французской революции. Дальнейшее развитие его взгляды на собственность получают в „Основаниях естественного права", в „Замкнутом торговом государстве" и в „Системе науки права".

Фихте, как мы уже говорили, в основу своей системы кладет идею свободы и деятельности. Свобода означает прежде всего способность активности, способность воздействовать на внешний мир. Вся практическая философия, по Фихте, имеет своим высшим принципом третье основоположение наукоучения, по которому „Не-Я" определяется „Я" в противоположность теоретическим наукам, где „Я" определяется „Не-Я", т.-е. объектами. В сфере практической деятельности субъект воздействует на объект, на внешний мир.

Но в общественной жизни человек прежде всего сталкивается с другими людьми, т.-е. такими же разумными и активными, свобод-

ными существами, как и он сам. Поэтому абсолютная свобода каждого гражданина в обществе невозможна, ибо она исключала и ограничивала бы свободу других граждан. Каждый, стало быть, должен ограничить свою свободу для того, чтобы была вообще возможна общественная жизнь. Это ограничение свободы взаимно, и оно регулируется правом.

„Правовое отношение требует, чтобы всякое разумное существо приписывало себе свободную действительность, и чтобы оно ограничивало ее признанием свободы других. Поэтому оно признает за собой исключительно ему принадлежащую область свободы, в которой оно одно выбирает, в которой другая воля не имеет значения и не действует. Я, которое признает известную область свободы своею, тем самым определяет себя в отличие от всех остальных, как волю для себя, как единичную волю, т.-е. как лицо или индивидуум“ [1]).

Разумные существа осуществляют взаимодействие посредством действенности, проявления своей активности—своей свободы. Поэтому понятие права относится лишь к разумным существам и к сфере их деятельности. „Понятие права,—говорит Фихте,—есть понятие отношения между разумными существами. Оно существует лишь при том условии, когда такие существа мыслятся во взаимоотношении друг к другу“ [2])... Словом, правовое отношение есть отношение между людьми, а не между людьми и вещами.

Бессмысленно говорить о праве человека на природу, на землю, на животных. Только через посредство лиц возможно и право на вещь. Лишь когда вместе со мной и другой „относится к той“ же вещи, возникает вопрос о праве на вещь, но это лишь сокращенное выражение для права на другого человека, права исключать других из пользования этой вещью“, как выражается Фихте. Право на вещь есть, таким образом, лишь производное право. Собственность, с этой точки зрения, представляет определенное взаимоотношение между людьми, имеющее своим объектом вещь, или, точнее, человеческую деятельность.

Правовое отношение возникает из договора, который имеет своей целью разграничение сфер воздействия людей на внешний мир. „Договор предполагает диалог, диалектическую трудность, разрешенную обоюдными усилиями разумных существ, предполагает разумное слово, обращенное к каждому и выражающее норму, как найденное решение“,—говорит Вышеславцев. Договор осуществляет, по мысли Фихте, синтез спорящих сторон, мирное разрешение спора. „Договор есть прежде всего соединение (contractus), синтез“. „Право существует только там, где имеет место спор. Контракт есть связь и единство противоположностей“ [3]).

---

[1]) Куно Фишер, История новой философии, VI т., 403—404 стр.
[2]) Fichte's, Sämmtliche Werke, 1845, III B., 55 стр.
[3]) Б. Вышеславцев, Этика Фихте, Москва, 1914 г., 399—400 стр.

Договор собственности составляет основу всякой общественной, правовой и государственной организации. Так Фихте сам говорит, что договор о собственности определяет правовое отношение каждого гражданина в государстве и составляет поэтому основание того, что называют гражданским законодательством [1]). Договором о собственности гарантируется каждому члену общества определенная часть чувственного мира, как исключительная сфера взаимодействия его с этим миром. Объектом договора о собственности является определенная сфера деятельности. Это вполне соответствует смыслу и духу учения Фихте, который на место бытия ставит действенность. Нет собственности на вещи, собственность существует лишь в отношении сферы деятельности. Собственность есть таким образом „право на свободную деятельность в чувственном мире“.

II.

Природа предназначила человека к свободе, т.-е. к деятельности, говорит Фихте. Но так как стремление к продолжению существования обусловливается деятельностью в настоящем, а настоящая деятельность обусловливается, в свою очередь, стремлением к продолжению жизни, то природа вращается здесь в заколдованном кругу Для разрешения этого противоречия природа выбрала потребность, боль, которая синтетически объединяет оба указанных момента. Голод и жажда вызывают чувство боли и страдания, заставляя человека стремиться к удовлетворению потребностей. Потребность в питании составляет, как выражается Фихте, высший синтез, объединяющий все указанные противоречия; она является первоначальным стимулом и конечной целью государства, как и всякой человеческой жизни и деятельности. Высшая цель всякой свободной деятельности человека—это возможность жить, удовлетворение этой основной потребности. Если не достигается эта высшая и основная цель, то нет и свободы. Абсолютная неотчуждаемая собственность всех людей,—стало быть, это возможность жить. Человеку отводится определенная сфера объектов для исключительного пользования. И это дается ему с тем, чтобы он имел возможность жить. Таким образом настоящий смысл договора о собственности состоит в том, чтобы гарантировать каждому возможность жить. Каждый должен жить своим трудом—вот основной закон всякого государственного и общественного устройства.

Государство должно создать необходимые для обеспечения каждого учреждения, ибо при заключении договора каждого со всеми все дали одинаковое обещание, что каждому будет обеспечено существование.

Государство не может и не должно терпеть нужду своих граждан. Если кто-либо из граждан лишен средств к существованию,

---

[1]) Fichte's Sämmtliche Werke, III B., S. 210.

то в отношении его договор уничтожен; он лишен своего, т.-е. того, что ему принадлежит по праву. От него нельзя больше требовать соблюдения законов; он может отказаться от признания чужой собственности [1]).

В другом месте Фихте выражается еще резче: „Все нарушения права,—говорит он,—оправдываются нуждой. Кто желает увековечить нужду, тот желает бесправия ради него самого, тот враг человеческого рода: это необходимо высказать и с ним следует обращаться, как с врагом“ [2]).

В государстве не должно быть ни нуждающихся, ни праздношатающихся. Каждый должен иметь возможность жить от своего труда. Не может быть такого права, которое бы не выполнило этого первого и основного условия всякого общежития. Без собственности, понятой как право воздействовать на природу в определенной, отмежеванной каждому человеку сфере, нет личности, нет вообще человека. Право собственности принадлежит, по учению Фихте, к числу первоначальных прав человека, которые предшествуют государству. На-ряду с правом собственности существует еще право самосохранения и право свободной деятельности. Все эти права составляют необходимые условия, при которых возможны личности и общество.

Все правовые отношения должны регулироваться и утверждаться не отдельными индивидуумами, а общественным целым. Эта роль общественного целого—государства означает некоторое преодоление индивидуализма. Тем не менее, Фихте в „Основаниях естественного права“ стоит еще почти целиком на индивидуалистической и, как мы увидим ниже, на цеховой точке зрения. Исходным пунктом для Фихте является личность, которая, правда, не существует изолированно, но права которой должны быть положены в основу государственного и общественного порядка. Сфера свободных действий должна быть поделена между отдельными лицами, и через это деление возникает собственность. Лишь поскольку эта сфера действий, доставшаяся каждому отдельному индивидууму, заключает в себе и объекты, эти последние становятся в качестве материала для определенной деятельности собственностью индивидуума. Все другие индивидуумы лишены права вторгаться в сферу моей деятельности и заключающихся в ней объектов.

Для лучшего уяснения оригинальной идеи Фихте мы считаем необходимым привести довольно длинные выдержки из его произведений. „Замкнутое торговое государство“ Фихте покоится целиком, как он сам это подчеркивает, на его теории собственности. Если последняя верна, то идея „замкнутого торгового государства“ также верна, являясь лишь неизбежным логическим выводом из новой теории собственности, действительно глубоко отличной от всех предъидущих.

[1]) Там же, 213 стр.

[2]) Fichte's Sämmtliche Werke, IV B., 398 стр.

„По-моему,—говорит Фихте,—основное заблуждение противоположной теории собственности—первоисточник, из которого истекают все ошибочные утверждения о ней, действительная причина неясности и хитросплетений многих учений, истинная причина односторонности и неполноты их применения в действительной жизни, заключается в том, что первую, первоначальную собственность видят в обладании какой-нибудь вещью. Что удивительного в том, что мы при господстве этого взгляда пережили даже такую теорию, по которой сословие крупных землевладельцев, или дворянство, является единственным истинным собственником, единственными образующими государство гражданами, а все остальные являются только приживальщиками, которые должны купить право на то, чтобы их терпели на всяком, угодном первым, условии?

Что удивительного в этом, говорю я, раз между всеми другими предметами земля является тем, что очевиднее всего становится собственностью и наиболее строго исключает всякое постороннее вмешательство?“ [1]).

В этом отрывке Фихте вскрывает ту социально-политическую подоплеку, которая привела его к отрицанию старой теории собственности, как она была формулирована впервые в римском праве. Фихте—революционер, ставший на сторону Французской революции, естественно относился с неприязнью к домогательствам помещиков и не мог мириться с тем, чтобы землевладельцы являлись „единственными, образующими государство, гражданами“. Наш философ исходил из того, что гражданами государства являются все его члены. Но так как и по его учению государство составляют собственники, то ему необходимо было объявить каждого гражданина собственником. Стремления Фихте были направлены к тому, чтобы наделить „приживальщиков“, т.-е. ремесленников, подмастерьев и рабочих, всеми правами гражданина и человека. В этих целях ему необходимо было установить новую теорию собственности, которая „оправдала“ бы хозяйственную деятельность низших классов тогдашнего общества. Толчок в этом отношении был дан опять-таки Французской революцией, и, в частности, заговором Бабефа.

Без собственности нет личности, нет гражданина, нет государства, рассуждал Фихте. Но так как все люди граждане, равноправные члены общества, то все граждане являются собственниками. Однако отсутствие вещей и объектов у многочисленных граждан составляет неопровержимый факт. Стало быть, право собственности не коренится в обладании вещью, а в чем-либо другом. Так возникает новая теория собственности.

„В противоположность этой теории (т.-е. старой, о которой говорилось выше. *А. Д.*) наша теория устанавливает первую и перве-

[1]) Fichte's Sämmtliche Werke, III, B, S. 441 ср. русск. пер. „Замкнутого торгового государства“ с вступительной статьей В. Невского, 1923 г., 82 стр.

начальную собственность, основу всякой другой, в исключительном праве на определенную свободную деятельность. Эта свободная деятельность определима и определяется (в смысле описания, характеристики, наименования) или только объектом, на который она распространяется,—например, право предпринять все возможное, что только захочешь в определенной области и с этой областью, и препятствовать всему остальному роду во всякой возможной модификации этой области. Фигурально и производно могла бы, впрочем, и сама эта область быть названа собственностью лица, облеченного этим правом, хотя, строго говоря, только его исключительное право на всякую возможную модификацию этой области является его собственностью. В действительной жизни мне не известен ни один пример такого неограниченного права собственности. Или эта свободная деятельность определена сама собою, своею собственною формою (ее способом, ее целью и т. д.), не считаясь совершенно с объектом, на который она распространяется,—это исключительное право заниматься каким-либо искусством (изготовлять другим платье, обувь и т. д.) и препятствовать всем другим людям заниматься тем же искусством. Здесь имеется на-лицо собственность без владения какою-либо вещью. Или, наконец, эта свободная деятельность определена и тем, и другим — ее собственной формой и объектом, на который она направлена: исключительное право проявлять над каким-либо объектом определенную деятельность и исключать всех остальных людей от такого же употребления того же объекта" [1]).

Таким образом собственность есть не что иное, как исключительное право на свободную деятельность. Собственность на предметы деятельности вытекает из права на свободную деятельность. „Свободная деятельность — источник борьбы сил", как выражается Фихте. Только когда люди начинают проявлять свою деятельность, они между собою сталкиваются, и только тогда возникает необходимость договора насчет распределения сфер деятельности. Из этого распределения или разделения сфер деятельности рождается собственность. Но каков принцип, который должен быть положен в основу этого распределения? Принцип этот должен соответствовать прежде всего законам права. В современном обществе необходимые для человеческой жизни свободные действия произвольно распределены между несколькими сословиями.

В основу разумного государства должен быть положен следующий принцип: „жить самому и давать жить другим".

„Всякая человеческая деятельность имеет своей целью достижение возможности жить. На нее имеют одинаковое право все те, которые природою вызваны к жизни. Разделение должно быть поэтому прежде всего произведено так, чтобы все могли сохранить жизнь".

[1]) Fichte's Sämmtliche Werke, III B., 441—442 стр., русск. пер. 82—83 стр.

В современном государстве одни захватили себе много, оставив другим мало. Но в государстве разума все должно быть построено согласно разумным основаниям, которые Фихте и развивает. Первым делом государства разума должно быть поэтому справедливое распределение или разделение сфер деятельности. „Каждый хочет жить возможно более приятно. И так как этого требует каждый, в качестве человека, и так как никто не является больше другого человеком, то в этом требовании все имеют одинаковое право". Всеобщий раздел должен быть произведен так, чтобы каждый мог жить настолько приятно, насколько это возможно при данных условиях. И эта часть, которая ему приходится при данных условиях, т.-е. которая выпадает ему при распределении сфер деятельности, составляет его собственность, принадлежащую ему по праву. Поэтому назначением государства является предоставление каждому того, что ему принадлежит, что составляет его собственность. В государстве разума он и получит свою справедливую долю „в сфере свободной деятельности". „Только тут впервые каждому обеспечено свое. Не то, чем он овладел благодаря слепому счастью, преимуществу над другими и насилию, а то, что следует ему по закону. В таком государстве все слуги целого и получают за это свою справедливую часть в благах целого. Никто не может особо обогатиться, но зато никто не может и обеднеть. Каждому в отдельности гарантировано дальнейшее сохранение его положения, и этим гарантировано целому его спокойное и равномерное существование" [1]).

III.

Право не является ни частью естествознания, ни частью этики,— учит Фихте. Всякое право есть право государственное. Поэтому неправильно говорить о естественном праве в смысле существования права вне государства. Правовой закон покоится на том факте, что многие свободные существа стоят друг к другу в определенных отношениях, во взаимодействии. Именно потому, что люди сталкиваются в этой всем им общей сфере, свобода одних может быть нарушена свободой других. Там, где нет возможности нарушать свободу других, там нет вообще и понятия права. В сфере чистого разума, как говорит Фихте, вообще невозможен правовой закон. В государстве разума, т.-е. в идеальном будущем обществе, право уступит свое место нравственному закону, т.-е. оно прекратит свое существование. Но необходимо, чтобы человечество прошло через ступень права и государства прежде, чем свобода получит такое развитие, что не будет надобности ни в принуждении, ни вообще в насилии. Конечной целью исторического развития человечества является достижение совершенной нравственности, торжество этики, но не абстрактной нравственности, а конкретной. Содержанием ее является

[1]) Там же, 419 стр.; русск. пер. 56 стр.

свобода, а для осуществления конкретной свободы необходимо, чтобы человечество прошло ряд ступеней в своем общественном развитии, в своем родовом бытии. Хозяйство или договор о собственности составляет основу всякого гражданского общежития. Право и государство, как мы это еще увидим, образуют различные исторические ступени в этом процессе осуществления свободы и господства рода над природой. Как право, так и государство являются, поэтому, лишь переходными ступенями, средствами для воспитания человечества. По достижении цели, средства сами собою „отмирают". Для великого мыслителя, Фихте, было ясно, что осуществление свободы, высшей нравственности возможно лишь на базисе „социалистического" устройства общества. Только при рациональном устройстве общества возможен высший расцвет нравственности, и только при нем отпадает необходимость в правовой и государственной организации.

Таким образом право заключает в самом себе внутреннее диалектическое противоречие, поскольку оно исходит из свободы и вместе с тем означает ограничение свободы во имя свободы всех. Но это ограничение, связанное с принуждением, будучи отрицанием свободы, в то же время является средством для отрицания этого ограничения и принуждения, так как оно составляет воспитательное средство для конечного утверждения свободы, когда оно станет излишним. То же самое относится и к государству. В этом смысле можно сказать, что право и государство составляют ступени свободы, как конечной цели всякого исторического развития. Стало быть, свобода или нравственность, с другой стороны, есть то „существенное", что развивается правом и государством, что раскрывается в историческом процессе, составляя внутренний его „смысл".

Но всякое право и государство имеет своим базисом, своей основой хозяйство. „Жизнь человека и его деятельность в чувственном мире,—говорит Фихте,—обусловлена известными соотношениями последнего с материей. Если люди должны сделать себя моральными, то они должны жить; и условия их жизни в материальной природе должны быть созданы, поскольку они находятся во власти человека. Таким образом самое незначительное и низкое, по мнению многих, дело стоит в связи с осуществлением цели разума. Оно имеет отношение к поддержанию существования моральных существ и их свободной деятельности, и, поэтому, так же свято, как и самое высокое" [1]).

В правильно организованном обществе все ответственны за положение каждого, и каждый, с своей стороны, должен прежде всего заботиться и о целом. Иначе говоря, так как все должны жить, то каждый должен ограничить во имя свободы всех свою свободную деятельность таким образом, чтобы они могли жить; но они, в свою

[1]) Fichte's Sämmtliche Werke, IV B., 344—345 стр.

очередь, должны ограничить себя так, чтобы он мог жить. „Так как все равны, то каждый ограничивает на почве права свободу всякого другого как раз настолько, насколько последний ограничивает его свободу. Это равенство в ограничении всех лежит в правовом законе и не зависит от произвола" [1]).

Государство и должно заботиться о том, чтобы это равенство было осуществлено в действительности. Первой задачей государства является на-ряду с „добыванием продуктов", что составляет, по выражению самого Фихте, „фундамент государства", забота об удовлетворении нужды всех граждан. „Все должны быть сыты и иметь надежные жилища прежде, чем кто-либо из них украсит свое помещение; все должны быть удобно и тепло одеты прежде, чем кто-нибудь оденется роскошно. Не может допускать у себя роскоши то государство, в котором имеется еще отсталое земледелие, нуждающееся в значительном числе рук для своего усовершенствования, в котором недостает еще обыкновенных механических ремесл. Недопустимо, чтобы кто-либо один говорил: „я могу за это заплатить". Несправедливость в том и проявляется, что один может заплатить за то, без чего он может обойтись, в то время когда кто-либо из его сограждан не находит у себя или не может оплатить насущно необходимого" [2]).

Назначение государства состоит не в том, чтобы охранять собственность в том ее состоянии, в котором оно застает своих граждан. Напротив того, государство имеет своим назначением прежде всего справедливое распределение собственности, а потом уже охрану ее. „Государство" тем самым осуществляет особый вид диктатуры, поскольку оно во имя „свободы" всех, т.-е. в целях уничтожения нужды и установления материального равенства всех граждан, обязано целым рядом „деспотических" мер, вторжением в право собственности, изменить несправедливый порядок, при котором одни владеют всем, а другие ничем. Кто ничем не владеет, тот, по учению Фихте, и не связан существующим правом и может с ним совершенно не считаться. Кто лишен собственности, для того не существует и чужая собственность. В разумном обществе все должны заботиться о каждом и каждый обо всех. Это, по мнению Фихте, вытекает из договора каждого со всеми.

Мы видим, как далеко уходит Фихте в трактовке вопросов собственности и государства от других философов. Видя сущность культуры в свободе, Фихте не становится, однако, на почву формальной свободы. В этом отношении он стоит на много голов выше своих современников, которые переживали в то время „медовый месяц" буржуазной демократии; она получила свое теоретическое обоснование в трудах философов и политических деятелей, а свое осуществление — во Французской революции. Свобода есть

[1]) Фихте, Замкнутое торговое государство, 1923 г., 87 стр.
[2]) Там же, 44—45 стр.

деятельность, т.-е. право и обязанность человека воздействовать на внешний мир.

Поэтому свобода человека предполагает собственность,— собственность в смысле исключительного права на определенную деятельность в определенной области. Взаимное ограничение свободы вытекает из взаимного и всеобщего утверждения свободы и равенства. Конечно, Фихтевское учение о собственности представляет собою в известном смысле лишь теоретическое обоснование и идеализацию цехового строя, при котором каждому предоставлена определенная сфера деятельности, закрепленная, так сказать, государством и законом.

Тем не менее, оно означает огромный шаг вперед по сравнению с римским правом. В общем его учение включает в себя и элементы прошлого, т.-е. пережитки феодального и цехового строя, и элементы будущего, т.-е. прогрессивные идеи относительно права на жизнь, права на труд и права на досуг. Его „социализм" носит крайне своеобразный характер, являясь выражением отсталых общественных отношений. Фихте стоит на почве раздела имуществ, отражая в этом отношении мелкобуржуазные предрассудки ремесленников и крестьянства.

IV.

В этой связи необходимо остановиться еще на вопросе об отношении Фихте к праву человека на „лень" или, точнее, на досуг. Это право является следствием все той же свободы, которая составляет смысл всей человеческой истории, равно как и сущность человека, как такового. Человек призван господствовать над природой, подчинить ее себе целиком, без остатка. В качестве „Не-Я" природа должна быть преодолена творческой деятельностью „Я". Она должна раствориться в „Я", должна быть поглощена им. В известном смысле Фихте требует „уничтожения", отрицания природы, что вытекает из основ его наукоучения. Культура и представляет собою процесс постепенного отрицания природы и утверждения над ней власти абсолютного „Я". Конечная цель исторического процесса состоит в торжестве свободы над природной необходимостью. Надо сказать, что Фихте, как, впрочем, и всякий идеалист, противоречит самому себе, когда выставляет требование абсолютной свободы, составляющей якобы сущность мира, и подчиняет ее так или иначе необходимости природы. В самом деле, из основных предпосылок наукоучения следует, что „Я" должно уничтожить „Не-Я," т.-е. дух должен уничтожить природу. Если свобода составляет сущность духа, сущность „Я", то очевидно, что природа, необходимость не может служить препятствием для свободы. Но Фихте сам пишет вполне здраво, что все в мире совершается согласно естественным законам, которых человек не может ни изменять, ни отменять. Значит, власть над человеком природы, „Не-Я" неустранима. И господство человека или „Я" над миром сводится к подчинению его природе и ее законам. Стало быть, „Не-Я" не является продуктом „Я", ибо в противном случае „Я" предписывало бы свои законы природе.

Как бы то ни было, но Фихте считает, что результатом исторического процесса является свобода в смысле полной „эмансипации" человека от природы, от „Не-Я". Исходя из этой мысли, Фихте приходит к весьма высокой оценке досуга, реальной свободы. Отсюда его требование, чтобы человечество „жило на земле так легко, так свободно, так господствуя над природой, так истинно по-человечески, как только это ему позволяет природа. Человек должен работать, но не так, как вьючное животное, которое погружается в сон под своей ношей и, после скудного восстановления истощенных сил, опять понуждается к таскании той же ноши. Он должен работать безбоязненно, с охотой и радостью. Ему должно оставаться время для того, чтобы душой и очами возвыситься к небу, для созерцания коего он сотворен. Он не должен жить одинаково со своим вьючным животным. Его кушание должно так же отличаться от пищи последнего и его жилище от стойла, как отлично строение его тела от строения тела животного. Это его право уже потому, что он человек"[1]). Фихте в другом произведении[2]), опубликованном лишь после его смерти, углубляет вопрос и сводит свободу и собственность к досугу. „Собственность означает теперь, по Фихте, не что иное, как свободу, досуг, приобретенный посредством труда". Чем меньше досуга остается от требуемой государством работы, тем беднее общество, и наоборот: чем больше досуга остается, тем общественное целое богаче, ибо цель государства, как и всякого объединения, есть свобода, т.-е. прежде всего досуг. Труд, работа — лишь необходимое и неизбежное средство для достижения цели государства и всякого общественного союза—возможно большего досуга, т.-е. свободы. Таким образом свобода совпадает с досугом. Но этот досуг достижим при рациональной организации производства, т.-е. труда, деятельности. Свобода включает в себя оба момента: деятельность и досуг. Задача государства состоит, по учению Фихте, в увеличении национального богатства, т.-е. в наиболее благоприятном отношении работы всего общества к его досугу[3]). Мы видим, что Фихте и здесь, в вопросе о национальном богатстве, занимает совершенно отличную от буржуазных экономистов позицию.

Этот досуг, который остается на долю каждого после выполненной им работы, есть настоящая, истинная его собственность. А досуг всех граждан, всего общества и будет истинной собственностью целого, т.-е. его свобода. Досуг означает для Фихте рост культуры

---

[1]) И. Фихте, Замкнутое торговое государство, 60—61 стр.
[2]) Fichte, Das System der Rechtslehre (от 1812 г.).
[3]) Fichte's Nachgelassene Werke, 1834 г., II B., S. 544.

и образования. Государство должно заботиться об увеличении досуга граждан и тем самым об уменьшении и сокращении продолжительности их рабочего дня. Это возможно благодаря усовершенствованию техники и правильному распределению различных отраслей труда. Сбережение труда составляет одну из главных задач государства.

До какой степени Фихте опередил своих современников в понимании противоречий современного общества, доказывает его критика национального богатства и то значение, которое он придает технике. „Внутреннее существенное благосостояние состоит в том, что при наименее тяжелом и длительном труде получаешь наиболее человеческие наслаждения. Таковым должно быть благосостояние нации, а не только некоторых индивидов. Высшее благосостояние последних часто бывает самым ярким признаком и действительной причиной бедственнейшего положения нации. Благосостояние должно распространяться на всех в приблизительно одинаковой степени“ [1]).

Фихте хорошо понимает роль и значение техники для прогресса человечества. Так как природа без нашего содействия не преобразится внезапным чудом и не уничтожит своих законов, то прогресс может быть основан лишь на нашей деятельности, на изменении природы благодаря нашему воздействию на нее и подчинению ее законам. Подчиниться законам природы значит использовать их в наших целях. Наше благосостояние зависит таким образом от нас самих, от нашей деятельности. „Мы должны заработать его (благосостояние. *А. Д.*) трудом. А для этого нет иного средства, кроме искусства и техники, при помощи которых самая незначительная сила целесообразным применением становится равной в тысячу раз большей силе. Искусство же и техника возникают благодаря непрерывному упражнению. Возникают и потому, что каждый всю свою жизнь посвящает одному единственному занятию и все свои силы и помыслы направляет на это одно занятие“ [2]).

Подобно тому, как цеховой строй послужил для Фихте в целом исходным пунктом для построения его „замкнутого“ государства с его замкнутыми сословиями, так и в вопросе о „технике и искусстве“ он не выходит за пределы цеха, где „каждый всю свою жизнь посвящает одному единственному занятию“. Он не понимает еще всего того значения технического прогресса, который приводит согласно диалектическому закону к такому разложению и упрощению производственного процесса, при котором становится возможным, чтобы каждый мог заниматься всем, что послужит, между прочим, основанием для уничтожения „замкнутых“

[1]) Fichte's Sämmtliche Werke, III B., 423 стр.; ср. также русск. пер. „Замкнутого торгового государства“, 61 стр.

[2]) Фихте, Замкнутое торговое государство, 61 стр.

сословий и профессий, т.-е. для осуществления бесклассового общества на основе равенства.

Но Фихте прав в основном, в своем требовании, чтобы государство заботилось в первую очередь о развитии производительных сил и производительности труда, без чего невозможен, разумеется, никакой прогресс, без чего невозможно увеличение досуга, т.-е. свободы и связанного с ней роста культуры. Фихте полагал, что повышение благосостояния нации возможно лишь на почве „разделения отраслей труда“.

V.

В „государстве разума“ трудящийся класс поэтому должен быть разделен на различные трудящиеся сословия или профессии, которым отводится специальная сфера деятельности, или „исключительная собственность“. Задача государства или руководящего органа должна заключаться в том, чтобы совокупный труд общества разделить между трудящимися сословиями, как выражается Фихте. В государстве разума таких главных трудящихся сословий должно быть три, при чем каждое сословие должно быть ограничено определенным количеством членов. „Каждому гражданину должно быть обеспечено соответствующее участие во всех продуктах и фабрикатах страны в обмен на результаты приходящейся на его долю работы; равно и общественным должностным лицам, но без видимого эквивалента“ [1]). Государство должно заботиться о том, чтобы каждому члену общества было гарантировано необходимое его содержание, т.-е. все необходимое для жизни. Это оно выполняет тем, что доставляет своим членам работу или гарантирует им сбыт их продуктов. Для этой цели государство должно „сделать замкнутым число тех которые занимаются одною и той же отраслью труда“ и должно „заботиться об изготовлении всего, что необходимо для содержания всех“. „Только в результате такого замыкания отрасль труда становится собственностью того класса, который ею занят“.

Существует три основные отрасли труда и соответственно этому три главных сословия, составляющих нацию. Общество для своего существования нуждается прежде всего в продуктах природы, которые добываются человеческим трудом. Добыча естественных произведений природы составляет занятие сословия производителей. Обработка этих добытых естественных продуктов для известных человеческих потребностей составляет задачу второго сословия—сословия фабрикантов или художников (der Künstler), которые подвергают искусственной, технической обработке предметы природы. Между обоими этими сословиями должно стоять третье сословие, которое занимается вместо них обменом продуктов; это—сословие купцов Каждый работник должен смотреть на себя как на общественного

[1]) Фихте, там же, 81 стр.

работника, а на свою работу как на общественное служение. Эти сословия заключают между собою договор, по которому оба первых сословия отказываются от непосредственного обмена продуктов между собою; купец, со своей стороны, отказывается от непосредственной добычи и обработки продуктов [1]).

Распределение граждан между отдельными сословиями производится государством, которому принадлежит право распоряжаться гражданами в зависимости от потребностей общества.

Основой существования общества является земледелие. Поэтому возникает вопрос прежде всего относительно собственности на землю. Земля есть, по выражению Фихте, общая опора (die gemeinschaftliche Stütze) человечества в чувственном мире, первое условие его существования. Земля не может быть предметом частной собственности. Только обществу или государству принадлежит право собственности на землю,—вот тот вывод, к которому приходит теперь Фихте на основании „опыта" Французской революции. „Земля—божья. Человеку предоставлена только возможность целесообразно ее обработать и использовать", говорит Фихте. Эта мысль в различных варьяциях развивается мыслителем как в „Основаниях естественного права" от 1796 г., так и в „Замкнутом торговом государстве", 1800 г., и в „Системе науки права" от 1812 г.

Привилегированный класс—помещики—присвоили себе землю, превратили ее в свою собственность. Но так как право присвоения покоится на труде, то очевидно, что помещики завладели землею силой. По праву же она им не принадлежит и принадлежать не может. Их личный интерес, говорит Фихте, толкает помещиков на вооруженную защиту земли против внешних врагов и заставляет их одновременно путем взаимного признания и гарантии их собственности внутри страны держать своих подданных в рабстве. Они становятся тем самым государственной властью, говорит вполне резонно Фихте. В качестве государственной власти, с другой стороны, они заставляют других работать на себя, и им действительно принадлежит право собственности на землю, поскольку они узурпировали право, присущее общественному целому. Однако, поскольку это насилие не правомерно и направлено против блага общественного целого, то такой строй подлежит уничтожению.

Итак, земля составляет собственность всей нации. Отдельным же лицам принадлежит лишь право на обработку почвы. Государственная власть производит между гражданами раздел земли, а в случае необходимости и нужды совершает периодически переделы, чтобы дать возможность каждому жить своим трудом. Только продукты труда земледельца составляют его собственность, а не земля. То, что производит сама природа без помощи человека, составляет общую

[1]) Фихте, Замкнутое торговое государство, 40 стр.,—ср. „Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre", 1845 г., стр. 233.

собственность. Продукты же, полученные в результате приложения труда, составляют частную собственность.

VII.

Таким образом социализм Фихте предстает перед нами в несколько ином свете, чем это обычно изображается теми современными „марксистами"-идеалистами, которые пожелали бы вернуться от Маркса назад к Фихте [1]).

По нашему мнению, Фихте должен быть отнесен, на-ряду с Сен-Симоном, Фурье и Оуэном, к числу великих утопистов-социалистов. Мы находим у Фихте несомненно ряд глубочайших идей; чрезвычайно поучительно применение им к разрешению и исследованию социальных проблем диалектического метода; отдельные проблемы захвачены и разработаны им в свете диалектического метода очень глубоко и интересно. Но что касается общих его исходных положений, то они, конечно, не выдерживают ныне никакой критики. Однако нас в этой связи интересует, так наз. социализм Фихте. Теперь мы уже имеем, на основании изложенного, возможность сделать известный вывод. Если под социализмом понимать обобществление средств и орудий производства, то Фихте, повидимому, довольно далек от такого понимания. В силу исторических условий борьбы нарождающейся буржуазии с феодальным строем Фихте становится на почву признания земли общественной собственностью. Но дальше этого он не идет. Фабрики и заводы остаются в руках частных собственников. Государство выполняет лишь функции регулятора, сохраняющего в состоянии равновесия все отрасли труда и ограничивающего свободу торговли и промышленности.

Фихте превосходно понимает, что современное государство является лишь ночным сторожем, следящим только за тем, чтобы никто у другого ничего не взял, и не заботится, чтобы каждый что-либо имел, что современное государство образует нацию, объединенную лишь законами и общим судом, между тем как его идеалом является нация, объединенная общим имуществом. Однако нельзя сказать, чтобы он сделал все вытекающие отсюда выводы, ибо он оставляет в неприкосновенности частную собственность на средства и орудия производства. В самом деле, Фихте сам указывает на то, что „третье сословие", или так называемое сословие „художников", распадается на два класса: одни обладают лишь рабочей силой, но лишены „материала", т.-е. средств и орудий производства, выражаясь современным научным языком; другие же являются собственниками „материалов". Задачей государства—гарантировать первым работу, а вторым сбыт их товаров [2]). В „Системе на-

[1]) Мы имеем в виду Макса Адлера, Кранольда и др.

[2]) См. Fichte, Grundlagen des Naturrechts etc., 233 стр.

уки права" он первых прямо называет наемными рабочими [1]). Замечательно, что в этом своем произведении он посвящает классу наемных рабочих уже специальную главку, но приходит к совершенно неожиданным выводам.

В „Замкнутом торговом государстве" мы имеем три класса: земледельцев (или класс производителей), торговцев и „художников". Для Фихте первенствующее значение в государстве имеют земледельцы. В „Системе науки права", на которую кстати в литературе обращено было до сих пор еще мало внимания, Фихте уже отдает себе отчет в том, что на ряду с „третьим сословием", т.-е. буржуазией существует еще особый класс рабочих [2]).

Фихте, однако, этой глубочайшей проблемы нашего времени совершенно не понял. И можно сказать, что его „социалистическое" общество покоится в известном смысле на наемном рабстве. В самом деле, какое место занимают наемные рабочие в его государстве разума?

На этот вопрос Фихте дает следующий ответ: наемные рабочие нанимаются к частным лицам на работу, если эти последние в них нуждаются. Если же они на рынке работы не находят, то государство берет на себя функции предпринимателя. Оно прокладывает дороги, строит мосты, общественные здания и пр., предоставляя им таким образом работу. Наемные рабочие в сущности составляют как бы собственность государства, которое переступает их частным предпринимателям на известных условиях. Необходимо еще подчеркнуть, что в государстве разума существуют капиталисты, предприниматели, которым государство оказывает даже всякое покровительство, и „социализированные" наемные рабочие, которыми государство как бы торгует, обеспечивая им, правда, работу и содержание, но рассматривая их как государственных крепостных. Интересно отметить еще то обстоятельство, что, по учению Фихте, государство „лишено права непосредственного вмешательства в индустрию".

Таким образом будущий „совершенный" строй представляется в таком виде: государству принадлежит право собственности на землю. Земля распределяется между земледельцами; каждый получает свой участок и обрабатывает его уже как свою собственность. Продукты труда земледельца составляют его собственность, которою он и распоряжается в общем по своему усмотрению. Время от времени государство в интересах справедливости может предпринимать переделы земли, но в общем мелко-собственнический характер крестьянского хозяйства сохраняется.

Что касается ремесл, промышленности и торговли, то здесь в в общем дело обстоит так же, как и в земледелии. Образуются строго

[1]) Fichte's Nachgelassene Werke, II B., S. 553.
[2]) Там же, стр. 584.

замкнутые ремесленные цехи, имеющие каждый свою сферу деятельности и работающие также на началах частной собственности. Наемные рабочие, как мы видели, составляют низший класс общества, который услужливо предоставляется государством в распоряжение предпринимателей, капиталистов, сохраняющих в своих руках орудия и средства производства. По нашим современным представлениям и понятиям изображенный общественный строй ни в коем случае нельзя назвать социалистическим. Государство разума Фихте представляет собою совершенно своеобразный тип общественного строя, базирующийся, между прочим, и на классовом принципе. Правда, Фихте стремится поставить все классы общества в такие условия, при которых они были бы материально обеспечены; он озабочен устранением неравенства и бедности, но на началах справедливого распределения благ или собственности. В основе его государства разума лежит „правильное" разделение имущества, но он не исходит из правильной организации производства.

Государство же осуществляет лишь контроль над производством и распределением благ. Оно устанавливает твердые цены на продукты, регулирует сбыт товаров на внутреннем рынке. Государство само также выступает в качестве производителя, фабриканта и торговца. Оно конкурирует на рынке, имеет свои государственные магазины и склады, куда поступают земледельческие продукты и фабричные изделия, как натуральная повинность от соответствующих классов. Государство, благодаря своей конкуренции, держит цены на определенном уровне, защищая таким образом интересы потребителей. Но торговлю с иностранными государствами, всю внешнюю торговлю государство сохраняет в своих руках на монопольных началах.

(Окончание следует).

О том, с чем не следует соединять марксизм.

Ник. Карев.

> Уже на первой странице г. Дюринг возвещает о себе, как „о человеке, который претендует быть представителем этой силы (философии) для своей эпохи и ближайшего будущего“.
>
> *Фр. Энгельс.*

> Поэтому мы и взяли на себя смелую попытку, так сказать, завершить предшествующую критическую работу.
>
> *А. Варьяш.*

Как и в общеполитической области — и в сфере идеологии последние месяцы мы являемся свидетелями наступления на ортодоксальный марксизм со стороны друзей, которые, по Крылову, бывают опаснее врагов. За что, за что не ругают они только „философов марксизма“, по счастливому выражению С. Ю Семковского [1]). И за то, что они слишком мало изучают Гегеля (Лукач и др.), и за то, что они слишком много его изучают; и за то, что они слишком много уделяют места полемике по вопросам современного естествознания, и за то, что они слишком мало ими интересуются, прозябая в нетях „бесплодной схоластики школьной философии“. И за то, что они чрезмерно занимаются всякими философиями, идеализмами, материализмами и т. д., — и за то, что они недостаточно хорошо знают современных идеалистов... Одним словом: если ты делаешь что-либо — скверно; если ты этого не делаешь — тем хуже! При этом то тут, то там, по градам и весям Советской России, объявляются мессии, призванные из своего Назарета обличить блудный Иерусалим, погрязающий в скрижалях ветхого завета. На смену „вере отцов“ проповедуется новый завет, долженствующий соединить ее с самоновейшими открытиями „положительной науки“, будь то психоанализ Фрейда, логические выкрутасы Гуссерля или математические откровения Ресселя и Г. Кантора.

Не угодно этого? Вы утверждаете, что все эти „новшества“ не согласимы с учением Маркса?—Тогда вы схоластики, не видящие за буквой учения его духа, жалкие книжники, не принимающие прогресса науки, совершившегося за 40 лет, прошедших со времени смерти Маркса. Тогда вы — те, кто хочет повернуть вспять колесо истории. Тогда вы — того рода марксисты, от которых открещивался еще Маркс.

---

[1]) С. Ю. Семковский, Этюды по философии марксизма, стр. 164.

Вы пробуете защищаться, указывая на то, что вы принимаете и опыты Павлова, и теорию квант Планка, все то, что идет по линии диалектического материализма, и отвергаете лишь рядящуюся под науку метафизику и мистику закатывающейся буржуазной культуры,— напрасный труд! Вам скажут, что это ничего не стóящие отговорки, основанные на незнании самых основ самоновейших учений, которыми занимаются лишь те, кто призван „двигать вперед“ марксизм.

Таков, примерно, диалог „догматика“ и „критика“ наших дней. Впрочем, вся эта „критическая“ шумиха может быть не стоила бы и десятой доли того времени, которое на нее тратится, если бы она встречала с самого появления своего на вольный свет лишь то, чего она заслуживает,—иронию.

Не в силу значительности своего теоретического оружия — его бедность поистине поразительна! — а именно в силу того, что вместо единственно заслуженной насмешки она встречает иногда и признание — нужно и ее в свою очередь подвергнуть „догматической“ критике. Мы позволим себе на этот раз попытаться разобрать, что может значить для марксизма нынешнее поветрие на соединительство с самыми рассовременнейшими буржуазными философско-научными теориями, на примере т. Варьяша [1]). К этому нас побуждают и предмет его работы, и то поистине поразительное отсутствие критики, которое проявилось в опубликованных по его докладу прениях. Перейдем же поэтому без лишних слов прямо к делу с тем, чтобы общую оценку формы и значения доклада отнести к концу нашей критики.

I. О том, как вредно иногда бывает давать некоторые обещания.

Что обещает в своей работе т. Варьяш?

Мы не беремся судить о даваемых им обещаниях в той части, в какой в них прокламируется то, что должно быть в самом исследовании автора по „истории новейшей философии“ (напечатанный доклад представляет в первой части введение к этому исследованию, как бы его методологию). Тов. Варьяш в этой части обещает уяснить для нас самих и даже „для наших противников“, почему при „определенных исторических обстоятельствах должна была возникнуть та или иная определенная идеология и каким образом эта идеология вырастала из общественных отношений, — в последнем счете — из определенной ступени и тенденций дальнейшего развития современных ей производительных сил“ [2]). И хотя не совсем верно, что „в такой недвусмысленной (?) форме эта задача еще никогда не ставилась историками философии“ — она ставилась и частично разрешалась уже историками философии—марксистами (Плехановым и др.), но несомненно все же, что всеобъемлющего объяснения всей новейшей философии и с такой исчерпывающей полнотой анализа, от базиса до самых высших идеологических надстроек,—дано до сих пор не было. Тов. Варьяш утверждает, что он разрешил эту задачу. Честь и слава ему, если это так, и если он сумел, подобно древнему Атланту, один поднять на свои плечи всю новейшую исто-

---

[1]) „Вестник Коммунистической Академии“, № 9, доклад т. Варьяша—„История философии и марксистская философия истории“ и прения по нему, стр. 253—342.
В дальнейшем, в ссылках мы будем просто указывать В., такая-то страница.

[2]) В., стр. 261.

рию мира. Но так как продукта его труда мы еще не имеем — мы в этой части и не решаемся более ничего о нем говорить. Когда будет перед нами самый продукт, — лишь тогда можно будет проверить, насколько сдержано так смело данное обещание.

Но зато с тем большей внимательностью мы должны отнестись к тем обещаниям т. Варьяша, которые уже не идут по линии задач, стоящих перед марксизмом, а выходят за их пределы. Развивая далее марксовскую мысль о необходимости при изучении истории идеологий показать, как из определенного общественного базиса необходимо вытекают определенные идеологические формы, т. Варьяш прибавляет: „Только в том случае можно преодолеть идеалистическую историю философии, если эта программа выполнится“ [1]).

Это уже аванс, который выводит нас за пределы задач, стоящих перед революционным марксизмом. Верно, что идеалистическую историю философии призвана заменить материалистическая, которая должна итти в объяснении идеологий по завещанному Марксом пути. Но является совершенно недопустимым перегибанием палки заявить, что, лишь выполнив эту программу, мы будем в состоянии „преодолеть идеалистическую историю философии“. Эта программа далеко еще не выполнена, — в деле ее выполнения сделаны лишь первые шаги; нашей задачей в настоящий момент оказывается подчас лишь восстановление подлинных воззрений великих мыслителей прошлого, вульгаризуемых, искажаемых и замалчиваемых буржуазными историками мировоззрений, а тов. Варьяш спешит уже объявить нам, что мы не справимся с идеалистической историей философии, не выполнив, если можно так выразиться, нашей программы-максимум. Это — дурного тона максимализм, дающий такие авансы врагам марксизма, которые очень и очень опасны. У нас все еще большая бедность исследовательских сил, пролетариат только начинает пересматривать с точки зрения своего мировоззрения наследство буржуазной культуры — а ему уже кричат: все или ничего! Что мы не просто придираемся к словам и имеем не просто неудачную формулу, следует и из другой цитаты тов. Варьяша страницей раньше: „Одним словом, мы должны понять исторически появившееся мировоззрение, чтобы после (курсив наш. *Н. К.*) быть в состоянии их критиковать и опровергать“ [2]). И после этого скромнейшее заявление, взятое нами эпиграфом к статье: „Поэтому мы и взяли на себя смелую попытку, так сказать, завершить предшествующую критическую работу“ [3]).

Пока тов. Варьяш до этого говорил о смене задач, стоящих перед диалектическим материализмом, о том, что на данном этапе, как очередная задача, выдвигается задача социологического анализа корней идеализма, — он был прав. Но когда эту совершенно верно намеченную перспективу он сводит в конечном итоге к тому, что „одним словом“ вначале следует понять исторически появившиеся мировоззрения, а после лишь можно их критиковать и опровергать — он дает неоплатные в настоящий момент и потому вреднейшие залоги идеализму. Мы согласны — дает совершенно бессознательно, поскольку надеется на то, что он сам от имени пролетариата, так сказать, уже приготовил за них выкуп своим трудом, но ведь должна же быть мера самовлюбленности. Может быть, пройдут еще годы и десятиле-

[1]) В., стр. 262.
[2]) В., стр. 261.
[3]) Там же.

тия, прежде чем марксистская наука сумеет с своей точки зрения переработать историю хотя бы последних столетий и выяснить со всей конкретностью всю сложную цепь опосредствований от базиса к надстройкам, обусловливавшую развитие философии. Мы все уверены, что это будет достигнуто тогда, когда идеалистическое мировоззрение будет уже давным давно сдано в архив человеческой истории, принадлежать лишь ее прошлому. А на данной ступени классовой борьбы, нимало не умаляя значения указанной задачи, мы должны критиковать и опровергать идеализм, хотя бы мы и не могли в каждом отдельном случае полностью установить со всей конкретностью всех промежуточных к нему звеньев от порождающего его общественного строя. Не все или ничего, не ранее или потом, а *и* то, *и* другое. В противном случае нам грозит опасность самим придать идеализму более сил, чем он их имеет для своей собственной защиты. Мы должны и логически опровергать идеализм, и вскрывать его социальные корни, и исторически объяснять происхождение тех или иных идеалистических заблуждений человеческого рода. Туманные формулировки, путающие на-ряду с верным ложное, у т. Варьяша подчас на одной и той же странице, — лишь затуманивают подлинные задачи борьбы против идеалистических заблуждений, которые, говоря словами т. Варьяша, мы „должны обезвредить и в нашем собственном лагере“ [1]).

Мы так подробно остановились на этом пункте т. Варьяша потому, что в нем прорывается как раз то нездоровое, что есть во всей работе т. Варьяша — стремление во что бы то ни стало раскрасить идеализм, подчеркнуть слабость якобы нашей критики его, наше непонимание его, выдвинуть как очередную задачу борьбу с какими-то грезящимися тов. Варьяшу призраками, считающими „вдумывание и основательное понимание идеалистических систем — эклектизмом“ [2]). Кто и где это утверждал? Эклектикой марксисты всегда считали не добросовестное изучение идеализма, а весьма мало приемлемое стремление под флагом внимания к современной буржуазной философии провести соединение ее принципов с Марксом. Это — эклектика и, к сожалению, как мы покажем в дальнейшем, именно этот мозоль жмет у т. Варьяша, и именно поэтому он так стремится заранее обезвредить опасное для себя оружие.

Современный марксизм вовсе не подобен романтическому Робинзону, живущему на необитаемом острове. Каждое обещание, даваемое им, обещание, в зависимость от которого ставится успех его борьбы с врагом, становится неоплатным векселем, выданным перед лицом противника и, что еще важнее, перед лицом масс, и потому весьма похожим на того воробья из пословицы, которого, раз выпустив, нельзя уже поймать.

И поэтому пора покончить с тем, чтобы современные басенные герои клялись именем Маркса там, где отвечать за их несдержанные речи марксизм не может.

Перейдем, однако, от того, как т. Варьяш надавал несбыточных и потому вредных авансов идеализму, попутно прогремев в пространство слово осуждения неизвестному адресату за непонимание идеализма, к тому, как он сам этот идеализм понимает и критикует.

И не окажемся ли мы и здесь вместо строгого храма науки в веселом мире овидиевых метаморфоз?

[1]) В., стр. 259.
[2]) Там же.

II. Теория и метод.

Начнем с самых общих вопросов, поднимаемых т. Варьяшем.

Одной из проблем, выдвигаемых им, является проблема теории и метода—является ли исторический материализм теорией или только методом? Тов. Варьяш выступает против имеющегося „и в наших собственных рядах“ взгляда, по которому исторический материализм есть только метод. Этот вопрос он ставит в связь с другим вопросом—о соотношении логического и исторического, о том, как совместить внутреннюю логическую обусловленность идеологий с исторической их обусловленностью общественным бытием. Так, напр., с одной стороны, математические истины—результат выведения их согласно определенным логическим законам, с другой — продукт определенного общественного строя. Не получается ли здесь некоторого дуализма в марксизме?

Тов. Варьяш разрешает проблему так: товарищи, защищающие имманентную закономерность в истории идей, неправы (жаль лишь, что и здесь т. Варьяш ограничивается намеками, не называя авторов, имен). Они толкуют исторический материализм только как метод, что́ неверно. „Когда хотят спасти имманентную закономерность в истории идей, тогда обычно (согласно результатам нашего общего логического обзора) проблему—является ли исторический материализм теорией или методом?—решают следующим образом: исторический материализм не является теорией в строгом смысле этого слова; он представляет собою только метод, учение о способе отыскания действительных исторических законов. Не из исторического материализма, но из самой истории, согласно историческому материализму, следует выводить отдельные исторические законы“ [1]). Однако „вопрос, является ли марксизм, диалектический материализм, только одним из возможных подходов, путем которого мы можем охватить более или менее адэкватно действительность, или же марксизм является не только методом, а и обширной теорией, которая уже определяет известный метод, как наилучше соответствующий этой теории, этот вопрос возникает совершенно естественно. Раз теория дана, то она по своему внутреннему свойству уже определяет и метод, но нельзя сказать, чтобы то же самое было и обратно. Если я употребляю определенный метод, то из него еще не вытекает определенная теория“ [2]).

И как бы в пояснение к этому, в другом месте, т. Варьяш развивает следующий ряд мыслей. Автор рецензии в „Вестнике Европы“ в 1872 г. на марксовский „Капитал“ писал, что целью исследования, преследуемой Марксом, было „выяснение тех частных законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие и смерть данного социального организма и заменение его высшим“. Однако т. Варьяшу „ясно, что не все законы могут быть относительными, должен быть такой закон, который не относителен. И Маркс нашел этот закон в изменении форм производительных сил, т.-е. в их развитии и упадке. Но совершенно ясно и то, что этот закон не является лишь формальным принципом исследования, по которому мы обнаруживаем настоящие, т.-е. частные, законы; напротив, частные законы являются

[1]) В., стр. 270.
[2]) В., стр. 310.

с марксистской точки зрения частными случаями одного общего закона, который уже независим от времени и места, т.-е. который имеет значимость по отношению ко всем историческим эпохам. И это не может и быть иначе, так как простое содержание этого высшего закона высказывает факт изменения по определенной, независимой переменной... Иными словами, закон изменения производительных сил и на-ряду с этим и изменение всех других общественных констеляций, как результат изменения производительных сил, является не только методом исследования, но и общим законом самого общества. Иначе бы мы не могли предположить, что этот метод имеет объективную значимость. В противном случае мы должны были бы стоять на точке зрения экономии мышления, по которой тот или другой принцип имеет лишь субъективную значимость, служа для нас принципом упорядочения явлений... Резюмируя, мы должны сказать: частные законы суть частные случаи одного общего закона и поэтому они могут быть выводимы из него, если нам даны соответствующие, ограничивающие исторические условия“ [1]).

Извиняемся перед читателем за длинные выписки, но для полноты картины и совершенной ясности действительных намерений автора дадим еще одну цитату: „Фактические события являются объектом исследования и образуют последнюю инстанцию проверки теорий, подобно тому, как в физике найденные экспериментально факты дают как материал для теории, так и ее проверку. Вывести что-либо можно только из более общих объективных материальных отношений. Каковы бы ни были возникшие на основании опыта общие законы, остальные частные законы должны быть выводимы из этих общих законов. Мы сможем вывести из исторического материализма специальные законы только в том случае, если мы станем рассматривать его, как теорию. Правда, исторический процесс часто протекает в обратном порядке. В большинстве случаев сначала находятся специальные законы и только позднее общий. Однако между простым нахождением закона и его систематическим выведением существует значительная разница“ [2]).

Теперь все в самом деле ясно. Метод имеет объективную значимость лишь постольку, поскольку он вытекает из определенной теории, в противном случае он лишь принцип упорядочения явлений, теория же есть не что иное, как установление некоторого общего закона, из которого должны быть выводимы все частные законы. Раз дана теория—из нее следует определенный метод, если дан метод—с ним еще не связана никакая определенная теория.

Учение о том, что марксизм представляет из себя целое миро-воззрение, искажено до неузнаваемости.

Правильную точку зрения на соотношение теории и метода, совершенно верно, хотя и чисто внешне, формулирует сам т. Варьяш, когда он говорит в одном месте, что „исторический материализм представляет собою столько же теорию, сколько и метод“ [3]).

Что такое метод с точки зрения диалектического материализма? Диалектический материализм никогда не рассматривал метод, как

[1]) В., стр. 271—272.
[2]) В., стр. 273.
[3]) В., стр. 273.

нечто субъективное, как принцип упорядочения явлений. Это—махистское понимание метода. Именно потому мы можем посредством нашего метода верно истолковывать и группировать явления, что он выражает формы движения самой действительности, отражает ее закономерность.

Говоря словами Гегеля, „абсолютный метод действует не как внешняя рефлексия, а берет определенное из самого предмета своего, так как этот метод сам есть его имманентный принцип и душа“ [1]). Поэтому нельзя сказать, подобно т. Варьяшу, что из пользования определенным методом не следует еще никакого определенного мировоззрения, никакой определенной теории. Это — палец эклектизму. Именно эклектики прикрывают свое стремление позаимствовать везде, где можно и где нельзя, самоновейшие методы, полагая, что от этого их теория не перестает быть девственной во всей ее чистоте. Нельзя стать на точку зрения экономии мышления, не будучи феноменалистом. Метод не есть нечто оторванное от теории, мировоззрения, что может быть противопоставлено им, оторвано от них. Метод—это теория в практике, точно так же, как теория есть не что иное, как система метода. Говоря словами все того же Гегеля, метод расширяется в систему, когда в круг рассмотрения включается содержание познания, добытое посредством метода [2]).

Именно теоретики II Интернационала всегда замазывали ту неразрывную и двустороннюю связь, которая существует между теорией и практикой, теорией и методом практического действия. Им это нужно было для того, чтобы, оторвав теорию от метода, открыть путь для соединения ее с „теориями“ же Канта, Маха и др. Тов. Варьяшу это нужно для того, чтобы проложить путь своему построению марксовской „философии истории“, и своему пониманию взаимозависимости основного и частных законов в историческом материализме.

Что такое, по Энгельсу, философия диалектического материализма? Это—логика и диалектика, т.-е. методология знания. Что такое исторический материализм? Это—применение диалектического материализма к изучению общества, т.-е. методология общественных наук. Он есть не что иное, как результат и метод изучения действительной истории человеческого рода.

По Ленину, величайшее социологическое открытие Маркса заключалось в выработке понятия „общественно-экономической формации“. Марксизм показал, что каждая такая система производственных отношений [3]) является, по теории Маркса, особым социальным организмом, имеющим особые (курсив всюду наш. *Н. К.*) законы своего зарождения, функционирования и перехода в высшую форму, превращения в другой социальный организм“ [4]). Марксизм является методом изучения этих формаций, законов их развития. Метод материалистического понимания истории, указывающий на способ добывания средств к жизни, как на движущую силу исторического развития, должен не конструировать историю из ее вечных и неизменных законов, не выводить из метода ее содержание, а находить в

[1]) Гегель, Наука логики, ч. 2, стр. 202.

[2]) Там же, стр. 209. У Гегеля—„выведенное из метода“, как следствие гегелевского идеализма.

[3]) Кстати, только у Ленина мы находим единственно методологически выдержанное и правильное определение общества, как „совокупности производственных отношений“. См. Ленин, Собр. соч., т. I, стр. 74.

[4]) Н. Ленин, Собр. соч., т. II, стр. 73.

конкретной истории действительные законы ее развития, тем самым подтверждая свою истинность.

Тов. Варьяшу непонятна самая возможность такой постановки вопроса. У него исторический материализм—застывшая система, по отношению к которой даже те, кто считает ее методом, должны не посредством нее, а согласно ей изучать историю. Метод у него живет вне действительной истории, служа ей лишь некоей чисто внешней меркой. И, наоборот, для самого т. Варьяша исторический материализм превращается в метафизическую конструкцию, поистине в „философию истории“. Частные законы исторического развития оказываются лишь частными случаями одного общего закона, из него выводимыми. Качественные различия, порождаемые между ними историческим развитием, отменяются чисто логическим движением понятия. Место историзма Маркса занимает логизм современной буржуазной философии. В этом „короткий смысл всей длинной песни“ т. Варьяша о методе и теории.

Тов. Варьяшу нет никакого дела до того, что, идя его путем, нельзя объяснить ни одного шага не в той маловразумительной „истории“, которая разыгрывается в его собственной голове,—а в той подлинной истории, которую в муках диалектического развития переживает человечество. Ему нет никакого дела до того, что из основного положения исторического материализма „не сознание людей определяет бытие, а, наоборот, общественное бытие опре еляет сознание“, никак нельзя вывести конкретный закон, определивший падение античного мира, а можно лишь вывести указание, как искать этот конкретный закон, метод его отыскания. Тов. Варьяшу нет никакого дела до того, что марксизм не имеет своей особой „философии истории“, так как не ищет в ней ни осуществления каких бы то ни было целей, ни логического развития понятия, ни произвольно создаваемой нами морализующей концепции.

Что ему до всего этого, когда он призван „завершить“ предшествующую критическую работу, и внутренний голос зовет его, подобно голосам святой Иоанны, спасти Францию. А там, где речь идет о „завершении“ марксизма, естественно нет места вечному беспокойству метода, там область „вечных и неизменных“ логических конструкций. Столь же вечных, сколь и их творцы.

В связи с этим нам остается сказать лишь два слова о приводимой т. Варьяшем цитате из марксовского предисловия ко 2-му изданию „Капитала“. Почти все цитаты из Маркса и Энгельса, приводимые т. Варьяшем, обладают одним, весьма странным, свойством—из них никак не следует то, в подтверждение чего они приводятся.

Так и в данном случае. В подтверждение своего понимания исторического материализма тов. Варьяш приводит следующие слова Маркса: „Конечно, способ изложения не может с формальной стороны не отличаться от способа исследования. Исследование должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того, как эта работа закончена, может быть надлежащим образом изложено действительное движение. Раз это удалось, и жизнь материала получила свое идеальное отражение, то на первый взгляд может показаться, что перед нами априорная конструкция“ [1]).

[1]) В., стр. 270—271.

Что из них следует? Во всяком случае не то, за что ратует т. Варьяш. Прежде всего следует различать между систематическим изложением в марксовом „Капитале“ законов определенной общественно-экономической формации, капитализма, с возможностью выведения, по т. Варьяшу, частных законов истории из одного общего закона. Это совершенно разные вещи. Цитата в данном случае у т. Варьяша очевидно—ни к селу, ни к городу. Во-вторых, ведь у т. Варьяша речь идет не об изложении предмета, а о выведении законов, которых лишь ограничивают соответствующие исторические условия. Метод же исследования и отыскания законов у Маркса есть метод не выведения их из одного общего закона, а метод выведения их из анализа самого исторического материала. Но историческое развитие, представляющее собой смену различных общественно-экономических формаций, не поддается выведению ни из какого универсального закона. Неужели это нуждается в доказательствах для марксиста?

Резюмируем. Тов. Варьяш неправильно понимает соотношение теории и метода, не дав при этом точного определения ни одному, ни другому. Его борьба против понимания исторического материализма, как методологии общественных наук, приводит лишь к стремлению притянуть в исторический материализм совершенно чуждую марксизму идею о выведении из одного общего закона исторического развития всех частных законов, идею, попахивающую логическим идеализмом, построить quasi-марксистскую „философию истории“.

Правильное понимание соотношения теории и метода — метод и теория неразрывно друг с другом связаны. Они взаимно обусловливают друг друга. Метод есть применение теории на конкретном материале, теория есть рефлексия метода, система метода. Это нисколько не колеблет нашего положения, что марксизм есть целое и цельное мировоззрение, поскольку он с точки зрения своего метода подвергает критике все современное знание, поскольку марксистская система взглядов на природу и общество, законы их развития, противопоставляется всем другим, как „монистический взгляд“, как точка зрения пролетариата [1]).

Задача революционных марксистов в этом вопросе заключается в том, чтобы в одинаковой мере избежать обеих крайностей: и отрицания роли теории, и гипостазирования теории в некую самодовлеющую систему, не из действительного мира выводящую его законы, а из якобы независимого от условий времени и пространства закона выводящую конкретные законы действительности. К этому мы должны добавить, что самый закон изменения производительных сил, как основы общественного развития, формулирован т. Варьяшем совсем не по-марксистски. Развитие производительных сил вовсе не относится к развитию остальных проявлений общественной жизни подобно тому, как в математике относится независимая переменная к ее функции. Здесь не функциональная, а причинная зависимость, переходящая во взаимодействие. У т. Варьяша и в этом пункте формально-логическая метафизика на почве неумеренной любви к математическим сравнениям. Но об этом еще ниже.

Итак, неправильно изложив постановку проблемы теории и метода в марксизме, дав в известной части неверное ее разрешение,

[1]) У Плеханова, особенно горячо защищавшего точку зрения на марксизм, как на цельное мировоззрение, мы находим положение, что „душу марксизма составляет его метод“ (Сочин., том I, стр. 24).

естественно, т. Варьяш заблудился в трех соснах и в вымученной им проблеме дуализма истории и логики в марксизме.

Постановку проблемы мы уже видели. А вот ее разрешение: „Итак, если мы согласимся с тем, что исторический материализм представляет собою столь же теорию, сколько и метод, то мы должны будем отрицательно ответить на вопрос об имманентной закономерности идеологии. Содержание идеологии нужно вывести имманентно из логических принципов, но эта имманентность всегда останется относительной. Она будет представлять собою следствие из принятой логики; но в этом случае сама, принятая в качестве масштаба, логика будет являться историческим продуктом, уничтожающим прежние логические теории, созданные для иных научных целей, и уничтожаемые позднейшими, как устаревшее орудие, не удовлетворяющее больше новым достижениям науки. Так исчезает противоречие между логической имманентностью и исторической зависимостью“ [1]).

Таким образом посредствующим звеном в передаточном механизме изменений от базиса к логическому развитию наук являются обусловленные ростом производительных сил изменения в самом логическом аппарате человечества. Именно развитие логики служит таким посредствующим звеном. Здесь все верно, за исключением двух вещей: 1) нельзя непосредственно перепрыгивать от производительных сил к логическим теориям, 2) в какой связи все это находится с критикой тех „в наших собственных рядах“, которые рассматривают диалектический материализм, как методологию?

К чему вся тирада о теории и в какой связи это стоит с соединяемой с ней у т. Варьяша проблемой истории и логики? И вновь мы на некоем маскараде. Именно потому т. Варьяш так ожесточенно критикует всех, стоящих якобы за имманентную закономерность в истории идей, что сам-то он, как мы видели на примере с основным законом исторического материализма, стоит на точке зрения „теории“ в том смысле, что на данной ступени логического развития она представляет собой определенную логическую конструкцию, из которой выводимы все частные и конкретные законы. А так как этот чисто формальный логизм у т. Варьяша соединяется с своеобразно понятой ролью математики, то мы в сущности имеем здесь перед собой некий quasi-марксистский панматематизм.

К рассмотрению проблем, связанных с этой группой вопросов, мы и перейдем сейчас.

III. Математика и диалектика.

В чем суть здесь наших разногласий с. т. Варьяшем?

Мы оставим в стороне мелочи и возьмем лишь то основное, что находим во всех его работах. И в статье в Inprekor'е о Марксе, как математике, и в докладе, и в статье в № 6—7 „Под Знаменем Марксизма“ (1923 г.) о „Формальной и диалектической логике“ — везде и всюду стремления т. Варьяша сводятся к тому, чтобы отождествить математику с диалектикой, изобразить Маркса, как математика par excellence.

[1]) В., стр. 273—274.

Мы оставим в стороне при этом приводимые т. Варьяшем ссылки на неопубликованные рукописи Маркса по математике, так как о них можно будет говорить лишь тогда, когда они будут расшифрованы и напечатаны.

Пока же можно говорить лишь о том, что мы действительно знаем печатного из наследства основоположников марксизма о математических познаниях и работах Маркса. Мы знаем, что Маркс был весьма образованным математически человеком; Энгельс писал, что он один мог бы подходить для того, чтобы издать математические рукописи Гегеля, зная в достаточной мере для этого и математику, и философию (письмо к Ланге от 29 марта 1866 г.).

Какой вывод отсюда можно сделать о направлении марксовских работ по математике? Если строить догадки—лишь тот, что они лежали по линии работ Гегеля. Впрочем, для этого вывода не нужно и догадок, если вспомнить, что в области метода Маркс сам печатно, в предисловии к основному труду своей жизни, называл себя учеником Гегеля. Таким образом наш анализ отношений диалектики и математики должен необходимо включать в себя рассмотрение того, как относился к математике Гегель, как к анализу Гегелем математики относились основоположники марксизма, как к Гегелю и к диалектике относятся столь любезные сердцу т. Варьяша современные математические школы.

Мы позволим себе пройти мимо уверений т. Варьяша о том, что он, не зная ранее об аналогичных стремлениях Маркса, шел уже много лет марксовским путем [1]). Каким путем шел много лет до сих пор т. Варьяш, выяснится в дальнейшем. Вообще же каждый веселится по-своему: один—отождествляя малое с великим, другой—забавляясь этим зрелищем для богов. Для наших целей достаточно и того, что т. Варьяш находит в „Капитале" вид „почти математического сочинения" [2]) и в другом месте—рекомендует в математике искать „аксиоматику диалектики" (статья в Inprekor'е). К этому можно разве добавить еще, что в своей статье о „Формальной и диалектической логике" т. Варьяш писал, что „первым, кто понял, что калькулятивная логика (Logik-Kalkul, так называют эту логику) является самой общей, абсолютной логикой (курсив наш. *Н. К.*) был англичанин Луис" [3]).

Тов. Варьяш хочет искать в математике „аксиоматику диалектики". В литературе (см. полемику с Варьяшем т. К. Милонова) уже указывалось, что соединение слов аксиоматика и диалектика является совершенно бессмысленным с диалектической точки зрения. Отвлекаясь от этой ошибки т. Варьяша, однако, следует поставить другой вопрос—можно ли вообще теорию диалектики построить на анализе математического материала. Известно, как относился к математике основатель современной диалектической логики Гегель. Он полагал, что „движение математического доказательства не принадлежит предмету, а является действием, внешним ему... Очевидность... познания, которой математика гордится и кичится перед философией, покоится на бедности ее цели и на недостаточности ее материала, а потому такого рода, что философия должна ею пренебречь... Материал, на который математика распространяет сокровище своих истин, есть пространство и единое. Пространство представляет собою наличное

[1]) В., стр. 277.
[2]) В., стр. 258.
[3]) „Под Знаменем Марксизма" № 6—7, 1923 г., стр. 213.

бытие, на котором понятие записывает свои различия, как на пустом мертвом элементе, где эти различия остаются также неподвижными и безжизненными. Действительное не есть пространственное в том виде, как оно рассматривается в математике; такой недействительностью, какую представляют собою предметы математики, не занимаются ни конкретное чувственное созерцание, ни философия. В такой недействительной сфере может быть также только недействительное истинное, т.-е. фиксированные мертвые положения; на каждом из них можно остановиться; следующее начинается для себя снова, причем первое само не двигается к другому, и таким образом не возникает необходимой связи благодаря природе самого дела... Принцип величины, различия, не постигнутого в понятии, и принцип равенства, абстрактного, безжизненного единства, не могут сочетаться с чистым беспокойством жизни и абсолютным различием. Эта отрицательность, следовательно, только как парализованная, именно как единое, становится вторым материалом математического познания, которое, представляя собой внешнее делание, сводит движущее само себя начало до степени материала для себя, чтобы получить в нем безразличное, внешнее, безжизненное содержание" [1]).

Таким образом материалистический смысл гегелевской критики математического познания сводится к тому, что, во-первых, математическое познание, оперируя понятием величины, не улавливает качественного многообразия действительности, окрашивая ее в сплошной серый цвет, во-вторых, представляя собою чисто внешнюю рефлексию над предметом, математическое познание не улавливает закона предмета, становления его сущности, внутренней природы дела, оперируя мертвыми и безжизненными количественными и пространственными абстракциями.

В более позднем и более зрелом труде, в „Науке логики", давая исключительно важный для диалектики анализ высшей математики, из которого впоследствии исходил в „Анти-Дюринге" Энгельс, Гегель писал о границах математического познания: „Математика вообще не может доказать количественных определений физики, так как последние суть законы, обоснованные на качественной природе моментов (курсив Гегеля. *Н. К.*); не может сделать этого по той простой причине, что математика не есть философия, не исходит от понятий, и что поэтому качественное, если только оно не почерпается леммaтически из опыта (последний курсив мой. *Н. К.*) лежит вне сферы математики. Поставление достоинства математики в том, что все входящие в нее положения должны быть строго доказаны, часто побуждало забывать об ее границе; таким образом казалось несогласимым с ее достоинством считать опыт источником и единственным доказательством опытных предложений; позже сознание этой истины более развилось" (последний курсив наш. *Н. К.*) [2]). Не в бровь, а в глаз тем, кто и в наше время хочет из логических аксиом дедуцировать „строго аналитически" всю характеристику мировых явлений, как процессов [3]). Идеалист, но диалектик, Гегель умел видеть глубже опытную по происхождению и ограниченную по задачам природу математических абстракций, нежели современные марксисты, к сожалению, учившиеся вместо Гегеля и Маркса по Больцано и Г. Кантору.

[1]) Гегель, Феноменология духа, стр. 18—21.
[2]) Гегель, Наука логики, ч. 1, кн. 1, стр. 184.
[3]) См. статью Варьяша—„Под Знаменем Марксизма", № 6—7, 1923 г., стр. 221. В дальнейшем ссылки на эту статью просто „П. З. М.".

Таким образом, по существу, анализ Гегеля вполне совпадает с точкой зрения Энгельса. Математика не есть по происхождению своему продукт чистой мысли. Источником и единственным доказательством ее положений, применяемых в опыте, является лишь сам опыт. Но, отвлекая в опыте от предметов чисто внешнюю, количественную и пространственную их характеристику, математическое познание схватывает лишь статическое, безжизненное состояние предмета, фиксирует его мертвые, внешние определения, не выражает движения его содержания, качественной его природы. Оно так же формалистично, как и законы формальной логики, на основе которых развиваются его положения. Оно соответствует действительности, лишь поскольку оно обнаруживает свою ценность в опыте, как момент качественно-количественного развития, как момент меры. В самой математике этот качественный момент приводит к ней в области анализа бесконечно-малых, там, где появляется понятие отношения. В противоположность арифметическому, чисто внешнему действию, говорит Гегель, „переход от функции предельной величины к ее дифференциалу должно, напротив, понимать так, что последний имеет совершенно отличную от нее природу, именно, как было объяснено, что он есть возврат конечной функции к качественному отношению ее количественных определений“ [1]). В связи с этим к высшей математике оказываются неприменимыми законы форм логики, и вступают в силу законы диалектики. Можно сказать, что в математике есть настолько же диалектики, насколько нет в ней низшей арифметики, ибо уже дробь есть определенное отношение, выход за ее пределы. Можно в тех или иных целях пытаться чисто формально-логически дедуцировать из аксиом ряда натуральных чисел весь высший анализ, но и в этом случае неизбежны противоречия, но и в этом случае в конечном счете всякое подлинное движение вперед для целей опытной науки неизбежно приводит к введению качественного момента.

Стоит с этим сравнить хотя бы следующее место из Энгельса:

„Совершенно неверно, будто в чистой математике разум оперирует только над продуктами собственного творчества и воображения. Понятия числа и фигуры взяты исключительно из реального мира... Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения реального мира, стало быть—весьма реальный материал... Но, чтобы быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в чистом виде, необходимо совершенно отделить их от содержания, оставить это последнее в стороне, как нечто совершенно безразличное“ [2]). Тождественность в данном случае воззрений Энгельса и Гегеля не нуждается в доказательствах.

И далее: „О полном непонимании природы диалектики свидетельствует уже тот факт, что г. Дюринг считает ее орудием простого доказательства (т. Варьяш сказал бы чистым методом, не обусловливающим никакой определенной теории. *Н. К.*), подобно тому, как ограниченное воззрение может считать таковым формальную логику или элементарную математику (курсив наш. *Н. К.*). Даже формальная логика представляет, прежде всего, метод для отыскания новых результатов, для перехода от известного к неизвестному; то же самое, в гораздо более высоком смысле, представляет

[1]) Гегель, Наука логики, ч. 1, кн. 1, стр. 172—179.
[2]) Фр. Энгельс, Анти-Дюринг, 3-е изд., испр. М. Е. Ландау, Москва 1923 г., стр. 46—47.

диалектика, которая к тому же, прорывая горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения (курсив наш. Заметьте, т. Варьяш, диалектика, метод, прорывая форм. логику, содержит в себе зародыш „более широкого мировоззрения“. *Н. К.*). Элементарная математика, математика постоянных величин (или столь любезная сердцу т. Варьяша арифметика, оперирующая рядом натуральных чисел), по крайней мере в общем и целом, движется в границах формальной логики; математика переменных величин, значительнейший отдел которой составляет исчисление бесконечно-малых (как раз отдел, к которому пренебрежительно относится „современная“ математическая школа Г. Кантора), есть в сущности не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям“ [1]).

И словно предвидя более чем за 50 лет путаников, отождествляющих математику с диалектикой, Энгельс замечал:

„Как математика переменных относится к математике постоянных величин, так диалектическое мышление вообще относится к метафизическому. Это не мешает, однако, тому, чтобы большинство математиков признавало диалектику только в области математики, а среди них есть немало таких, которые с помощью методов, добытых диалектическим путем, оперируют на старый, ограниченный метафизический лад“ [2]) (курсив наш. *Н. К.*).

Этого совершенно достаточно для вполне отчетливого представления об отношении к математическому познанию основоположников марксизма. Диалектика не покрывается математикой и не опирается на математику. О том, чтобы в математике искать ее „аксиоматику“, нет и речи. Диалектический момент появляется в математике с переходом от постоянных величин к переменным, к высшему анализу, с появлений противоречий бесконечного и конечного, с появлением качественного момента.

Там же, где господствуют столь близкие сердцу т. Варьяша дедукция и выведение,—там место формальной логики.

Таким образом эмпирическое происхождение математических аксиом, безразличность и потому ограниченность их предмета и диалектическая природа математики переменных величин, высшего анализа—вот основные положения марксистской, диалектической точки зрения на математику.

Как же смотрят на задачи и пути математического познания современные математические школы, соединять которые с материалистической диалектикой хочет т. Варьяш. Для примера мы возьмем воззрения крупнейшего современного математика, Георга Кантора. В чем будет заключаться его точка зрения?

Теоретико-познавательная точка зрения Г. Кантора—чистейший идеалистический рационализм, который, как мы покажем далее, в общих вопросах мировоззрения составляет и болячку т. Варьяша.

Кантор различает субъективную или имманентную реальность понятий, идей, чисел, поскольку они адэкватно понимаются в рационалистическом смысле (ясно и отчетливо) и транссубъективную или транзиентную реальность, поскольку их следует рассматривать как выражения или отображения процессов и отношений во внешнем мире, противостоящем интеллекту [3]).

[1]) Там же, стр. 154—155.
[2]) Там же, стр. 141.
[3]) Новые идеи в математике, сб. № 6: „Учение о множествах Г. Кантора“, стр. 30.

И в примечании к этому, после ссылки на Платона, Спинозу и Лейбница, он пишет: „Лишь со времени новейшего эмпиризма, сенсуализма и скептицизма, равно как и вытекающего отсюда кантовского критицизма (даже его! *Н. К.*), стали искать источник знания и достоверности в чувствах, или, по меньшей мере, в так называемых чистых формах созерцания мира представлений, признавая необходимым ограничиваться ими. По моему убеждению, эти элементы не доставляют вовсе надежного познания, ибо последнее может быть получено лишь с помощью понятий и идей; внешний опыт может, в лучшем случае, дать лишь толчок к созданию этих идей, по существу же они образуются путем внутренней индукции и дедукции, как нечто, что до известной степени лежало уже в нас и лишь было пробуждено и доведено до сознания“ [1]).

Оказывается, что и математикам в области философии приходится верить не более, чем физикам.

Далее, как бы развивая свою мысль о вне-опытном происхождении математических понятий и положений, Кантор выдвигает идею свободной математики, которая может быть „связана лишь тем само собой разумеющимся условием, что ее понятия должны быть свободны от внутренних противоречий и должны также находиться в неизменных, установленных определениями отношениях к установленным ранее, уже имеющимся налицо, испытанным числам“ [2]). Таким образом проповедуется тот самый идиотизм математической специализации, верящий в свободную дедукцию всего своего содержания из некоторых весьма тощих положений, заимствованных у логики, о котором Энгельс писал: „Этими тощими положениями (основным математ. аксиомами) ни в математике, ни вообще где бы то ни было никого не прельстишь. Чтобы подвинуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения, отношения и пространственные формы, взятые из реальных тел. Представления о линиях, поверхностях, углах, многоугольниках, кубах, шарах и т. д,—все заимствованы из действительности, и нужна известная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия получилась от движения точки в пространстве, первая поверхность от движения линии, первое тело от движения поверхности и т. д.“ [3]).

Таким образом в области философии математики, в области взгляда на природу математики, марксизм не имеет ничего общего с самоновейшей математической школой Г. Кантора.

Посмотрим, однако, чего стоят сами по себе самоновейшие открытия Кантора в области бесконечного, учения о трансфинитных числах, на которые так умиляется т. Варьяш. Оговариваемся, что мы не берем на себя задачу выяснения специально математического значения тех или иных положений Кантора. Нашей задачей является только подвергнуть методологической критике с точки зрения диалектического материализма понимание Кантором бесконечного.

Начнем с того, что, как мы помним, в области трактовки диалектического момента в высшей математике и в области понимания бесконечного (см. указания Энгельса) марксизм стоит на точке зрения Гегеля.

---

[1]) Там же, стр. 74—75.
[2]) Там же, стр. 32.
[3]) Фр. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 50.

Для Кантора „у Гегеля все темно, туманно и противоречиво“ [1]). Его бесконечное и гегелевское бесконечное резко отличаются друг от друга.

Как известно, Гегель различал двоякого рода бесконечное: дурное-бесконечное, как „количественный процесс в бесконечное“ и собственно-бесконечное, представляющее качественный момент в количественном ряду. По Гегелю—бесконечное противоречиво в себе, но это не плоская противоречивость формально-логического рассудка, а диалектическая противоречивость, снимаемая в вечном переходе конечного в бесконечное и обратно [2]). Бесконечное и конечное лежат не по разные стороны друг от друга, не абсолютно-исключающие друг друга противоположности, а „оба они, конечное и бесконечное, суть это движение (курсив всюду Гегеля. *Н. К.*), возвращающее их к самим себе через их отрицание; они суть лишь опосредования в себе, утверждение обоих содержит в себе отрицание обоих и есть отрицание отрицания [3]). Реальное есть бесконечное, но не бесконечное, лежащее по ту сторону конечного, а бесконечное самого конечного, бесконечный процесс становления конечного. Это есть единственно приемлемая для диал. материализма точка зрения на их взаимоотношения, так как лишь на этом пути отрезается всякий путь дуализму конечного мира и бесконечного, трансцендентного миру, лишь на этом пути отрезается путь всяким попыткам, спекулируя на идее бесконечного притянуть в науку боженьку.

У Г. Кантора тоже два типа бесконечного: собственно-бесконечное (Eigentlich-Unendliches) и обычное, становящееся бесконечное [4]). Но между этими двумя родами бесконечного нет никакой взаимной связи. Собственно-бесконечное Г. Кантора представляет собою вполне застывшую величину, ничем не похожую на гегелевский диалектический бесконечный процесс. Из рассмотрения аналитической функции комплексной переменной величины,—пишет Кантор,—„следует полная закономерность того, чтобы мыслить в этом случае бесконечное, как расположенное в некоторой, вполне определенной точке“ [5]). Перефразируя слова Энгельса — дюринговское бытие вне времени (в сущности имеющееся у Канта) есть сравнительно рациональное представление по сравнению с этим бесконечным, „расположенным в некоторой вполне определенной точке“.

Я утверждаю,—далее пишет Г. Кантор,—„что, как мне кажется, я доказал этой работой, как и прежними своими опытами, что после (курсив всюду мой. *Н. К.*) конечного существует Transfinitum (которое может быть названо также Suprafinitum), т.-е. безграничная иерархия определенных модусов, которые по своей природе не конечны, но бесконечны, и которые, однако, подобно конечным числам, могут быть детерминированы с помощью известных, строго определенных и отличных друг от друга чисел“ [6]).

В этой своей постановке проблемы бесконечного Г. Кантор считает одним из своих ближайших предшественников чешского теолога Б. Больцано, выступавшего с критикой гегелевского бесконечного. С другой стороны, к Больцано же примыкает в известной степени столь великий по т. Варьяшу Гуссерль и, таким образом, получается

---

[1]) Новые идеи в математике, сб. № 6, стр. 111.
[2]) Ср. у Энгельса, Анти-Дюринг, стр. 62.
[3]) Гегель, Наука логики, ч. 1, кн. 1, стр. 81 и далее.
[4]) Новые идеи в математике, сб. № 6, стр. 15.
[5]) Там же, стр. 5.
[6]) Там же, стр. 21—22.

в данном случае целая цепь логической метафизики от Больцано через Г. Кантора и Гуссерля... к марксисту, призванному „завершить предшествующую критическую работу“, т. Варьяшу. Но только то, что у буржуазных и поповских метафизиков было продумано и сказано до конца, у т. Варьяша исчезает в рассуждениях о заслугах Маркса в области математики, о новой логике и т. д., и т. п.

Г. Кантору его понятие собственно-бесконечного нужно для вполне определенных целей. Мы уже видели ранее, что у него есть два вида реальности — имманентная и транзиентная. Как и у всех рационалистов, у Кантора „связь обеих реальностей имеет свой собственный корень в единстве Всего, к которому мы сами принадлежим“ (обращаем внимание читателя на это Все с большой буквы, столь напоминающее все клятвы т. Варьяша именем космоса) [1]). При этом различаемые Кантором различные числовые классы „являются представителями мощностей, имеющих действительное место в телесной или духовной (?!) природе“ [2]). Читателю должно быть ясно уже, к чему все это гнет. На почве рационализма и самоновейшей математической науки возрождается самое откровенное мракобесие. Г. Кантор различает три ступени абсолютно-бесконечного: „абсолютное, поскольку оно имеет место в Deo extramundano; transfinitum, в concreta seu in natura naturata; 3—абсолютно-бесконечное in abstracto, как актуально-бесконечное, трансфинитные числа, трансфинитные порядковые типы, поскольку оно может быть познано человеческим познанием“ [3]). Г. Кантор занимает позицию, безусловно утвердительную в отношении существования всех трех ступеней абсолютно-бесконечного [4]). Стоя на точке зрения непротяженности последних элементов материи, подобно Лейбницу и Босковичу [5]), Г. Кантор выражает свою солидарность с теми, кто стремится „к гармонии между верой и знанием“ [6]), считая лишь, что путь, которым он идет, дает наилучшее обоснование бытию божию и всей теологической схоластике.

Так, на почве самоновейшей науки, соблазняющей т. Варьяша, обосновываются строго-математически догматы христианской церкви.

Корень дела здесь в том, что из подчиненного момента, служения науке, математическое познание превращается в самодовлеющую универсальную систему, из которой выводится вся мировая характеристика, говоря языком т. Варьяша. На самом же деле, математика имеет лишь постольку значимость, поскольку применяется к опыту, поскольку не отрывается от его содержания; там же, где улетучивается это содержание, остаются лишь мертвые петли математической фантазии, ничего не дающие для познания реального мира.

И поэтому же так бесплодны попытки т. Варьяша, не понимающего природы марксизма, понять природу диалектического метода.

Иллюстрацией к его злоключениям на этом пути может быть помещенная им в № 6—7 „Под Знаменем Марксизма“ за прошлый год статья „Формальная и диалектическая логика“. Это тоже своего рода попытка измерить море решетом, построить диалектику по типу формальной логики.

---

[1]) Там же, стр. 31.
[2]) Там же, стр. 30.
[3]) Там же, стр. 82.
[4]) Там же, стр. 91.
[5]) Там же, стр. 84.
[6]) Там же, стр. 79.

Мы уже знаем, что самой общей, „абсолютной“ логикой для т. Варьяша является логика калькулятивная. Немудрено отсюда, что он и диалектику приравнивает к своего рода Mathesis universalis, как она некогда представлялась Лейбницу [1]) (вспомним отношение Г. Кантора к Лейбницу,—как известно, у близких симпатии сходятся). Логика в этих условиях перестает уже быть методом нашего познания для изучения реального мира, а превращается в теорию, в специфическом смысле т. Варьяша. Он различает прикладную логику, логику, которую мы употребляем в тех или иных науках при изучении действительности, и логику как общую теорию мира, законы которой— „законы самого мира“ [2]). Мы просим читателя особенно тщательно продумать весьма тонкое, но решающее различие, которое есть между этой точкой зрения и диалективным материализмом, и не понимая которого т. Варьяш имеет возможность называть себя марксистом. И с нашей точки зрения логика отражает законы самого мира, не есть только плоский прием нашего разума. Верно отражая законы развития действительности, диалективная логика служит надежным орудием их изучения. Но мы не отождествляем логику и законы мира. Они отождествлены лишь в идеалистической логике Гегеля. Логическое развитие понятия не тождественно с развитием действительного мира, второе не выводимо из первого. Мы не выводим законы развития мира из нашей логики, а познаем их при помощи нашей логики, именно потому объективно верно познаем, что сама диалективная логика является отражением законов развития реального мира. Истина конкретна, — вот великое основоположение материалистической диалектики.

Для тов. Варьяша же то обстоятельство, что „логические множества, как самодержащие себя, неизбежно понимаются нами, как психические, указывает лишь на то, как глубоко вкоренился в нас психологизм“ [3]). Он чистому психологизму противопоставляет столь же чистый логизм. По т. Варьяшу „логические отношения должны уже быть не психическими феноменами... но чем-то твердым, реальным, материальным и т. д., конечно, не атомами, но самыми общими реальными отношениями мира и его процессов“ [4]). Это в лучшем случае рационалистический материализм. Марксизм же стоит на исторической точке зрения, согласно которой наше познание, наша логика не есть ни только психический феномен, ни нечто вполне адэкватное самой действительности. Мы познаем действительность в цепи относительных, но объективных истин и познаваемые нами логические категории и законы, не давая абсолютного познания действительных законов мира, дают их относительно-объективное познание, именно поэтому могут служить орудием нашей практики, бесконечно приближаясь к абсолютной истине в процессе научного познания.

Тов. Варьяш же верит, что наша логика дает нам вполне законченную истину в себе. Это есть не что иное, как отражение идеалистической точки зрения Больцано, Кантора и Гуссерля, неизбежно ведущей к логическому формализму (раз имеешь абсолютную истину— познание развития мира заменяет выведение его из абсолютной истины, одного основного общего закона, по т. Варьяшу) и к религии.

---

[1]) „П. З. М.“, стр. 224.
[2]) „П. З. М.“, стр. 224—5.
[3]) Там же, стр. 224.
[4]) Там же.

Что т. Варьяш не чужд первому пути, доказывает вся его статья о логике, к которой мы еще вернемся, что ему грозила опасность и второго пути, свидетельствует его выступление по докладу Фогараши о „Консервативном и прогрессивном идеализме", сделанном в „Обществе социальных наук" в Будапеште [1]). Там речь шла об основном этическом законе. Фогараши выдвигал в качестве такового понятие достоинства. Варьяш критиковал его с точки зрения Канта и развивал свою точку зрения:

„На основании всего этого становится уже более ясной необходимость включения другого главного морального принципа, который, однако, ни в коем случае не может быть понятием „достоинства". Этот закон должен быть таким, который не выводим из другого закона, наоборот все должно из него вытекать. Этот закон, по-моему, следующий: мораль тождественна с абсолютным знанием. Выражаясь более наглядно: мораль является таким (к сожалению, трансцендентным) (курсив всюду наш. *Н. К.*) миром, в котором абсолютная истина стала фактом, т.-е. знанием, понимая под истиной всю истину. Необходимо особо подчеркнуть, что если чего-нибудь нехватает у этого знания, оно уже не тождественно с моралью. Например, с моральной точки зрения бесценно то сознание, в котором поместились бы все естественно-научные истины, но из психологических истин нехватало бы хоть одной. Для того, чтобы кто-нибудь мог быть добрым, недостаточно находиться в состоянии простого, пустого благонамерения в отношении к другим,—мораль есть активная, действенная доброта, а это без глубокого переживания души, желаний, страданий, стремлений другого человека не имеет даже смысла. Вот смысл великого учения Сократа, что добродетель—знание. Глупый или невежественный человек не может быть моральным (курсив наш. *Н. К.*). По вышеприведенному определению, конечно, никто не морален, потому что ни у кого нет абсолютного знания. Однако, все-таки можно сказать, что такое сознание, в котором фигурировала бы только одна из отраслей знания: естественно-научная, было бы имморальным, ибо нехватало бы у него формы морального осуществления... Из всего этого по логической необходимости дается путь политики и педагогики (курсив наш. *Н. К.*). Моральным может быть лишь только то воспитание, которое не пренебрегает ни одной из двух отраслей знания. Моральной может быть лишь та политика, которая делает возможной такую педагогию. Под педагогией мы подразумеваем, конечно, не только воспитание детей, но и воспитание людей. Осталось бы еще доказательство того, что сознание воспитываемо в вышеопределенном направлении. Здесь оратор указывает на свою статью о „Военных страстях".

---

[1]) Fogarasi Béla. Konservativ és progressiv idealismus. Budapest, 1918. Любопытно, что в своем докладе Фогараши говорит: „с точки зрения теории познания монизм является позитивизмом, т.-е. он признает действительностью лишь данные факты, не признает второго мира или несколько миров, кроме того, который мы можем обнаруживать своими чувственными органами. Вот почему учение Маха о чувствах, позитивизм Авенариуса стали дополнительной составной частью прогрессивной политики; отсюда стремление Ленина, Фрица Адлера, находящих глубокую, необходимую связь между учениями Авенариуса и Маха, с одной стороны, и революционным социализмом—с другой" (стр. 10). И тов. Варьяш тогда находил возможным в своей речи в общем соглашаться с соображениями докладчика, ни слова не упомянув об этом диком сопоставлении Ленина и... Фридриха Адлера!

„Таким образом построенная этика была бы абсолютной и поэтому-то не сочувствуют ей „реалистические люди". Но и их относительная этика не может быть иной, как осколком этого абсолюта, той частью, которая является актуальной. В практике немыслимо никакое поведение, кроме релятивного. Но должна существовать абсолютная мера, которой мы должны мерить релятивное, чтобы иметь компас на море прогресса и уметь определять: вперед ли или назад ведет наш путь. А для этого нужна абсолютная система мер. Вот что означает нормативная автономия о которой теперь так много говорят. Автономный—это значит абсолютный. Не совокупность действий или намерений составляет этику, а абсолютная этика устанавливает различия частных действий на добрые и злые. Они подлежат измерению и этика является мерилом. Все это глубоко обосновано у Канта". И в заключительном слове Фогараши об этом выступлении т. Варьяша мы читаем: „Методологически важнейший пункт соображений Александра Варьяша я вижу как раз в том, что он сущность этического действия отождествляет или приводит, по крайней мере, в неразрывную связь со средствами, необходимыми, по его мнению, для достижения наших этических целей. Этой целью, по его мнению, является содействие мировому развитию и средства мог бы дать только всемогущий и всеведущий ум" [1]).

Что все это не имеет никакого касательства ни к марксизму, ни к материализму, ни к коммунизму,—ясно всякому нашему читателю. Для нас важно сейчас лишь отметить пути, идущие от этих воззрений т. Варьяша к тем воззрениям, на основе которых он сейчас хочет „завершить марксизм", и, кичась которыми, он считает для себя возможным остальных марксистов провозглашать невеждами по части идеализма.

Именно и лишь потому, что эти старые воззрения т. Варьяша прорываются у него и сейчас, мы считаем возможным вспоминать о них.

Совершенно очевидно, что понятие абсолютной истины т. Варьяша заимствовано у Больцано и Гуссерля. Но совершенно очевидно также, что нынешнее понимание взаимозависимости основного и частного законов у т. Варьяша вполне примыкает к печатно высказанному им в 1918 г. воззрению, по которому „абсолютная этика устанавливает различия частичных действий на добрые и злые". Это того типа метафизика абсолютного, которая не видит конкретного и не понимает, что лишь анализ этого конкретного может давать нам объективную, конкретную же истину. Для того, чтобы уразуметь это, тов. Варьяшу было бы достаточно прочитать хоть несколько популярных примеров из Чернышевского, приводимых Плехановым. У него того типа метафизика, которая конструирует некую абсолютную систему знания, наподобие канторовского Абсолютного с большой буквы и придавая ему моральную ценность прямо ведет к „всемогущему и всеведущему уму",—к богу. Так, метафизически и архи-логично т. Варьяш, вслед за Кантором, вступает в обитель вечного. Воистину завершение... но чего именно?

В связи с тем же, что у т. Варьяша сами логические отношения становятся „твердыми и материальными", действительно „твердые, материальные" предметы из нее исчезают. Диалектику заменяет логика логических отношений [2]). Т. Варьяш не понимает, что у Маркса (и у Гегеля) отношения не заменяют собой объ-

---

[1]) Там же, стр. 33—34, 36.
[2]) „П. З. М.", стр. 216.

екты, так как иначе исчез бы субстанциональный момент, то, что относится, а что лишь все без исключения объекты включаются в общую цепь опосредований, теряют свой застывший и изолированный характер, переходят одно в другое. Формы процесса диалектического развития объективного мира и дает нам диалектическая логика, находя себе подтверждение и в диалектическом развитии мира в целом и во всех отдельных его проявлениях. Понимая диалектическую логику, как логику отношений, логически выводимых одно из другого, путем чисто формальной „импликации", ничего общего с диалектикой не имеющей, т. Варьяш спотыкается и на „эфтом месте".

В докладе, принимая теорию относительности Эйнштейна и полагая, что она примиряет гипотезы Лоренца о неподвижном эфире и Герца—об увлекаемом эфире, тов. Варьяш пишет: „Это, конечно, не есть еще доказательство, что сами процессы в природе протекают диалектически. Уничтожение одной гипотезы другою, более широкой, само предполагает постоянство течений природных процессов. О диалектике в природе можно иметь право говорить только рассматривая естественную зависимость в целом, космологически. Ибо в каждый момент времени отношения зависимости мира являются постоянными, т.-е. подчиняются одним и тем же законам и, таким образом, эти законы для любого момента времени тождественны. Если же принять во внимание космические периоды, тогда возникнет и изменение законов, т.-е. процесс сделается диалектическим" [1]).

Выражаясь языком т. Варьяша, его разум представляет замечательный сегмент универсума, отличающийся тем, что в нем сконцентрированы все заблуждения всех современных путанников в марксизме. В данном случае перед нами своего рода лукачевщина, под флагом диалектики законов протаскивающая в марксизм отрицание диалектики явлений в природе, то самое, чему столько глав „Анти-Дюринга" посвятил Энгельс. И тов. Варьяш, приводит еще после этого в подтверждение своему взгляду цитату из энгельсовского же „Анти-Дюринга"! Разбирать по существу этот пункт не входит в нашу задачу, так как он разобран уже в ответе А. М. Деборина Лукачу [2]). Заметим лишь, что та же точка зрения проводилась т. Варьяшем и в статье о логике, когда он писал, что высшему закону формальной логики — закону противоречия, не подчиняются лишь самосодержащие себя множества, не самосодержащие же себя множества, не „истинные" [3]), подчиняются целиком законам формальной логики. И здесь математический формализм вновь торжествует свою победу.

Таким образом по всему фронту мы видим у т. Варьяша торжество метафизики и идеализма. Завершение их мы имеем в его понимании истины.

Как мы видели уже, он ищет истину, главным образом, в сфере математической логистики. Но как у него обстоит не с этой призрачной и формальной истиной, а с той действительной, объективной истиной, соответствием понятия предмету, которую признает марксизм? И здесь столь же грустный, как и по всей линии, ответ: она исчезает. Кто слишком много гоняется за абсолютным и сверх-земным, тот теряет земное.

---

[1]) В., стр. 268.

[2]) А. Деборин, Георг Лукач и его критика марксизма. „Под Знаменем Марксизма", 1924 г., № 6—7.

[3]) „Под Знаменем Марксизма", стр. 223—224.

Логика т. Варьяша, чисто формальная, приводит его и к чисто формальному выводу относительно истины: „Верное предположение можно вывести из всех возможных (как верных, так и неверных) предпосылок" [1]). Отсюда „вообще говоря факты остаются фактами, а гипотезы (т.-е. те предпосылки, из которых хотят вывести факты) меняются, и притом зачастую нельзя решить верны они или нет (таким-то образом и возникла теория „als'ов" (будто бы). См. Vaihinger. Die Philosophie des Als'ов). Это—чистейший идеалистический релятивизм. Здесь и не пахнет критерием практики, на котором покоится все здание марксистской гносеологии. Это—все, что угодно, но не марксизм. Известно, что философия Файгингера представляет собою реакционную философию загнивающего буржуазного мира.

IV. Идеализм и материализм.

Так как наша статья и без того очень растянулась, а нам еще предстоит разобрать злоключения т. Варьяша с теорией Фрейда, и так как основное в этой части уже подготовлено всем предыдущим, мы постараемся в этой главе быть по возможности краткими.

Т. Варьяш, утверждает, что он — материалист. Но материализм и идеализм он также, естественно, должен понять „не так, как все". Где же пролегает с его точки зрения водораздел между ними?

Как известно до сих пор все марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, основное отличие материализма и идеализма видели в том, как разрешается проблема отношения сознания и бытия, мышления и материи. Тех, кто брал в основу первое—считали идеалистами, второе—материалистами. Для т. Варьяша—все наоборот. Самое радикальное, „какое только можно мыслить" (вот радикальный-то товарищ!) различие между материализмом и идеализмом проходит по линии понимания причинности. Идеалисты—те, кто смешивает причинную связь с законом достаточного основания. Но это совершенно недостаточный радикализм, вернее—это типичный радикализм, подменяющий основные различия между борющимися партиями видимо архи-радикальными и скользящими по поверхности противоречиями. Совершенно прав был в прениях П. Юшкевич, когда говорил, что указываемое т. Варьяшем смешение причинности и принципа достаточного основания характерно не для идеалистов вообще, а для известной „группы философов рационалистического толка" [3]). Перенося различие между идеализмом и материализмом в побочную, производную от остальных различий область, т. Варьяш тем самым лишь затуманивает основные различия, определяющие собой и все частные различия в отношении тех или иных проблем или категорий.

---

[1]) „Под Знаменем Марксизма", стр. 219. „Улучшение" формулы т. Варьяшем в примечании ничего не изменяет в этом положении по существу, как, впрочем, признает и он сам.

[2]) Там же, стр. 220.

[3]) В., стр. 326. Любопытно, что подчеркивание различия логического основания и причины мы имеем и у чешского теолога и идеалиста Б. Больцано, учителя Гуссерля, против которого якобы выступает Варьяш. См. „D-r B. Bolzanos Wissenschaftslehre", B. 2, S. 349. „Основания и следствия суть истины, таким образом не то, что имеет действительность, подобно причинам и действиям". Это вполне совпадает с общей конструкцией т. Варьяша, для которой логическая цепь импликаций представляет вполне законченную „истину в себе". Вся премудрость т. Варьяша в делах логики вполне совпадает с этим источником, ничего общего с марксизмом не имеющим.

Мы не имеем здесь возможности подробно разбирать всю ту путаницу, которая имеется у т. Варьяша в связи с ролью так называемых мыслительных функций. Ограничимся поэтому лишь несколькими замечаниями.

Т. Варьяш утверждает, что „ничего похожего на индивидуальную психологию вообще не существует". Однако, далее, развивая эту мысль, он подразделяет психологию на две части: „Существует психология содержаний и психология функций". „Психология содержаний есть общественная психология", поэтому со временем эта психология окончательно уступит место историческому материализму" [1]). Остается еще анализ психологии функций.

Мы столь радикально, правда, как т. Варьяш, не настроены, и не думаем, чтобы исторический материализм поглотил без остатка общественную психологию, так как он представляет не психологическую теорию, а метод изучения общественной жизни в целом. Но роль коллективной психологии. Следовало бы, может быть, лишь добавить, что на смену современной психологии и должна притти психология, которая соединяла бы социальный анализ психики с физиологическим анализом нервной системы, материальной основы психики, не жертвуя при этом ни одной из этих сторон в угоду другой. Однако, как и всюду, в своем логическом танце на острие ножа марксистского анализа, и в данном случае т. Варьяш говорит и то, что следует, с марксистской точки зрения, и не то. А именно, совершенно метафизически у него психические функции отрываются от содержания психики. Послушайте, что он пишет:

„Мыслительные функции... являются константами, факторами, которые за определенную фазу истории не изменялись и, следовательно, могут в качестве постоянного условия объяснять только мыслительные действия по их психической структуре, но не исторически выступавшие единичные содержания отдельных систем. Последние могут быть объяснены только изменениями, имевшими место в материальных условиях общественной жизни человечества" [2]). По существу—это кантовская точка зрения, как бы затем не путаться в вопросе об изменчивости этих функций, ибо нигде до конца эта изменчивость не продумана. Здесь разорваны формы и содержание мышления. Это реставрация точки зрения т. Варьяша в 1918 г., когда он говорил по докладу Фогараши, что „необходимой и достаточной предпосылкой этики является тот факт, что априорные интеллектуальные понятия обладают самостоятельной сущностью и без ограничивающей функции трансцендентальных схем. Категории, значимость которых распространяется за пределы действия этих схем, суть трансцендентальные идеи, и одной из областей, к которым они относятся, является этика" [3]).

Мы оставляем в стороне все схоластические умствования т. Варьяша с психическими функциями, понятием психического события, переживания и т. д. Разбор всего этого, невозможный без параллельного разбора гуссерлевской феноменологии, не может дать ничего для марксизма. Также оставим в стороне идею ступенчатой структуры сознания по тем же самым основаниям. Возьмем еще лишь самую общую постановку т. Варьяшем проблемы идеализма.

[1]) В., стр. 289.
[2]) В., стр. 255.
[3]) Op. cit., стр. 34.

Прежде всего бросается в глаза переоценка всех ценностей т. Варьяшем в области истории идеализма. Для него крупнейшие идеалисты—Лейбниц, Гегель и Гуссерль [1]). Почему?—спросите вы. Если с точки зрения последовательности по части идеализма—то где же действительно основные враги—Платон, Фихте, Беркли, Юм? Если с точки зрения того, что прогрессивного внесено ими в историю мысли для подготовки диалектического материализма — то точно так же, пожалуй, более чем Гуссерлю и Лейбницу диалектика обязана Платону, Канту, Фихте и Гегелю. Гегеля т. Варьяш, правда, упоминает, но нигде нет ни одной цитаты из него, везде упоминания—и ни одного анализа его точки зрения. Наоборот, гуссерлевской феноменологии, лейбницевской универсальной математики и методологии—сколько угодно. Лейбниц был гениальным человеком, но он мертв для нашего времени, как мертв и другой исполин мысли, так импонировавший Марксу—Кеплер. То же, за что цепляется у него т. Варьяш, понятие бессознательного, идея mathesis universalis были следствием его идеалистического понимания мира и формально-логической точки зрения на методы познания. Гуссерль, один из упадочных философов упадочной эпохи буржуазной культуры, схоласт и метафизик, менее всего может импонировать марксизму и как исследователь и даже как противник. И в данном случае нынешние воззрения т. Варьяша находятся в неразрывной связи с его прежними взглядами, сформулированными им на этот предмет все в той же речи по докладу Фогараши, опубликованной в 1918 г.: „Оратор (А. Варьяш) считает не большой ошибкой также тот взгляд, что метафизический идеализм находится в логической связи с консерватизмом. Он так же не связан с последним, как позитивизм не связан с прогрессом. Метафизика и позитивизм относятся к интеллекту, а не к морали. У них нет ничего общего. Та связь, которая исторически демонстрируема, является противоречивой. Бывали прогрессивные метафизики (Спиноза, Фейербах, Штирнер, Больцано) и консервативные сенсуалисты (Бэкон, Гоббс, Дестют де-Трасси, Тэн").

Тут, что ни слово—то перл! Тут и признание того, что идеализм не связан с реакцией (читатель сравнит сам это с современной архирадикальной точкой зрения т. Варьяша, что всегда идеализм был реакционен) и чудовищная трактовка Фейербаха наравне с Штирнером и Больцано, как метафизика (!), в противопоставлении Дестюту де-Трасси и Тэну. Какая-то вальпургиева ночь на вершинах философии!

Корни своеобразной переоценки т. Варьяшем идеализма заключаются в его понимании происхождения идеализма и в его понимании его природы.

Происхождение идеализма он объясняет так: „Только метафизически гипостазированное представление об общих понятиях и кроме этого смешение этих общих понятий с их предметами, совокупностей с элементами, могло породить идеалистическую философию" [2]). При всей относительной правильности этой точки зрения (этим путем шел идеализм в древней Греции от пифагорейцев через Платона) она вовсе не объясняет происхождение идеализма, так как отвлекается от социально-классовых его причин. Кроме того и иной логический путь возникновения идеализма был указан Плехановым в его преди-

[1]) В., стр. 265.
[2]) В., стр. 268.

словии к книге тов. Деборина „Введение в фил. диалектического материализма“—от анимизма через религию. С отмиранием религии, последних остатков анимизма, параллельно отмиранию классов, должен отмереть и идеализм.

Как и в отмеченных нами во вступлении замечаниях, т. Варьяш и в данном случае прокладывает путь такому пониманию идеализма, которое обеспечивает ему возможно более длительное существование. Он пишет: „Идеалистическая философия возможна только при более или менее резком отделении друг от друга общественных наук и естествознания, с одной стороны, и отдельных отраслей естествознания—с другой... Однако, как разрыв между природой и обществом дал исторические и логические возможности выразить материю, как определенное состояние и порядок представлений, так великие открытия, которые сближают взаимно природу и общество, должны непрестанно уменьшать перспективы для развития идеалистической философии. Тем не менее до ее окончательного исчезновения осталось еще много пути. Не может быть подвержено никакому сомнению, что процесс, который начался вместе с объединением физических дисциплин, растянется на много столетий (курсив наш. *Н. К.*). Осталось еще объединение физики и химии, затем химии и биологии, после биологии и психологии. Мы, таким образом, находимся только в самом начале этого периода. Покамест этого объединения не будет, идеалистические системы не отомрут окончательно; однако, вместе с новыми положительными открытиями число их сторонников будет все сильнее и сильнее убывать.

Идеалистические системы были и будут возможны лишь постольку, поскольку в силу естественной тенденции общественного развития не уничтожится пропасть между природой и обществом. Это долгий процесс, однако, до его окончания остатки идеализма не вымрут [1]).

Так идеализму обеспечивается мирное житие еще на протяжении нескольких столетий. Т. Варьяш, являя собой образец доброты, заботится не только о себе, но и о будущих поколениях, предвещая им невозможность преодолеть идеализм до окончательного объединения всех наук, времени осуществления которого сейчас нельзя даже предвидеть. Это называется воистину „обезвредить раз навсегда“ идеализм „в нашей собственной среде“ и „завершить“ марксизм. Это—якорь надежды тонущей буржуазной идеологии, провозглашаемый именем самого ортодоксальнейшего марксизма и самой рассовременнейшей науки.

Впрочем, надо сказать, что откладывая гибель идеализма на несколько столетий, т. Варьяш с своей точки зрения еще слишком оптимистичен. Это выясняется сейчас же как только мы приступаем к выяснению природы идеализма, того, что определяет собой в современном обществе различие мировоззрений. Оказывается, что по т. Варьяшу идеализм является не чем иным, как „проекцией“, результатом того, что человек универсализирует свои психические законы, в то время, как материализм есть результат обратного процесса, интроекции. „Под интроекцией понимается душевный процесс, состоящий в том, что человек бессознательно отождествляет явления и закономерности внешней природы со своими психическими процессами. (Этот естественный процесс, если он примет ненормальные размеры, вызывает вместе с другими компонентами так называемый

[1]) В., стр. 307.

исторический характер.) Противоположность этой активности образует проекция, состоящая в склонности рассматривать природу и ее закономерность, как некоторый род или частный случай процессов сознания и его закономерности. Если эта склонность под влиянием общественной среды превращается в некоторую принципиальную точку зрения, если психические законы универсализируются и превращаются в метафизические законы космоса, то возникают различные формы идеализма“ [1]). Таким образом различие материализма и идеализма переносится в плоскость различия психических структур людей, в плоскость, где и не пахнет социально-классовым анализом. А так как эти функции носят у т. Варьяша почти неизменный характер, то, очевидно, что даже через несколько столетий надеяться на уничтожение идеализма не приходится. Разве что вымрут определенные человеческие характеры. О том, что вся эта чепуха ничего общего с марксизмом, ищущим корней различия идеологий в общественном бытии, не имеет—говорить не приходится. Следует лишь отметить откуда они взяты—и здесь мы переходим ко второй (вслед за его логизмом)—противоположной—стороне т. Варьяша, к его фрейдизму. Как ему удается при этом сочетать чистейший логизм в общей методологии с чистейшим психологизмом (фрейдизмом) в конкретном анализе, остается спросить только у него самого, да у тех наших отечественных фрейдистов, которые с неменьшей грацией ухитряются соединять фрейдизм, чистый субъективизм, со столь же чистым объективизмом рефлексологии. Но разве есть какие-нибудь границы для эклектики?

Откуда же взяты проекция и интроекция тов. Варьяша? Они списаны у фрейдистов слово в слово. Вот что, напр., на ту же тему пишет правоверный ученик Фрейда венгерец Ференци: „Что не невозможно и вовсе не бесплодно психологически рассматривать условия возникновения философских систем, можно здесь показать на одном примере. Психоаналитические исследования больных привели к различению двух противоположных механизмов вытеснения... Пациенты—параноики склонны к тому, чтобы неприятные субъективные душевные происшествия ощущать как воздействия внешнего мира (проекция); невротики же интенсивно переживали также происшествия внешнего мира (например, в других людях), „интроецировали“ часть внешнего мира“. По аналогии с этим Ференци хочет понять и различие философских систем. „Материализм, который, отрицая „Я“ (?!), целиком растворяет его во внешнем мире, можно рассматривать как в высшей степени совершенную проекцию; солипсизм же, который отрицает весь мир, т. е. снимает его в „Я“, есть высшая ступень интроекции“ [2]). Совершенно очевидно, что за исключением терминологических различий, здесь по существу одна и та же точка зрения. Это точка зрения не одного Фрейда, а всех фрейдистов. Уже Ференци ссылается на Фрейда. Но в психоаналитической литературе есть и специальная большая работа, посвященная этому предмету,—К. Юнга [3]). Там, дается подробная история всей этой психологической типологии характеров и мировоззрений. Приведу наиболее близкий и известный нашей читающей публике пример

[1]) В., стр. 295.

[2]) S. Ferenczi. Populäre Vorträge über Psychoanalyse. 1922. Статья „Psychoanalyse und Philosophie“, S. 120.

[3]) Последняя глава этой книжки, систематическая, переведена с сокращениями, в причесанном виде, на русский язык: К. Г. Юнг, Психологические типы. Психоаналит. библиотека. Вып. III. Гиз. 1924 г., стр. 96.

известного прагматиста и философа религии Джемса, строящего целую схему психологических типов, обусловливающих различия в мировоззрении. По одну сторону он помещает тип рационалистический, оптимистический, религиозный, монистический, догматический, по другую—эмпирический, сексуалистический, материалистический, пессимистический, атеистический, скептический, аморалистический и т. д. Вот уж воистину где смешались в кучу: кони, люди!.. И ныне этот перепев из весьма старых песен и побасенок, помогавших буржуазии затуманивать массам классовую суть идеологических споров, выдается за завершение учения Маркса.

Итак, идеализм т. Варьяш понял в конце концов и объяснил, но не как марксист, а как эклектик в лучшем случае. Он не понял материалистически ни его истории, ни его природы. Но зато на трудном пути его усвоения он встретился с самоновейшей психоаналитической школой Фрейда и, конечно же, немедля с ней обручился, ибо нельзя же находиться в противоречии ни к чему, выдающему себя за науку. Возвыситься же до анализа того, что есть действительно материалистическая наука и что ею не является—не дано.

Последуем же вслед за нашим автором еще за один круг идеалистического ада—к фрейдизму.

V. Фрейдизм и марксизм.

Прежде всего, как оценивает т. Варьяш психоанализ Фрейда? Для него психоанализ—не что иное, как возрождение материализма XVIII века в применении к психологии и общественным наукам [1]). Завоевания психоанализма для т. Варьяша—завоевания „положительной“ науки, а „наш материализм ведь никогда не стоял и не будет стоять в противоречии с положительными знаниями“ [2]). Не выходя за пределы метафизического материалистического взгляда XVIII века фрейдизм, с точки зрения т. Варьяша, выдвигает те же бессознательные функции, что и Маркс, проливает новый свет на „механизм сна, на психические расстройства, на образование мифов и религии, на примитивные учреждения людей: тотем, табубрачные обычаи, ритуалы, религиозные представления и представления о душе, проблему смерти, первые образования авторитета власти и постановлений“ [3]). Даже „авторитета власти и постановлений“. Это положение стоит запомнить.

Такова оценка. По существу психоанализ здесь представлен, как крупный шаг по пути материализма (хотя бы в духе материализма XVIII в.,—известно как высоко оценивали его всегда марксисты по сравнению с современным буржуазным декадансом), как достижение положительной науки, предвосхищенное в свое время Марксом (в области бессознательного) и вполне согласуемое с основами его мировоззрения.

Рассмотрим же, где в действительности кончается Маркс и начинается Фрейд.

Основное понятие фрейдизма, в его философской части, как совершенно правильно замечает т. Варьяш, есть понятие бессознательного. Тов. Варьяш это бессознательное психоанализа целиком отождествляет с бессознательным Маркса. „Я думаю,—пишет он,—что школа Фрейда не выдвигает принципиально (курсив наш. *Н. К.*) новых взглядов на бессознательность, в сравнении с тем, что было уже выдвинуто Марксом и Энгельсом“ [1]). Это бессознательное и в представлении т. Варьяша носит несколько своеобразный характер. „Сознание строится на ощущениях, восприятиях, воспоминаниях, понятиях и т. д. Ничего подобного нельзя предпослать в бессознательном. Эта инстанция как будто является связующим звеном между физиологическим и психическим“ [2]). Существование так понятого бессознательного т. Варьяш находит возможным истолковывать даже как аргумент против идеализма [3]).

Рассмотрим же несколько внимательнее бессознательное Фрейда. Здесь нас могут интересовать лишь принципиальные его основы, поскольку, с точки зрения т. Варьяша, принципиально оно согласуемо с марксизмом. Прежде всего у Фрейда царство бессознательного представляет собой особый мир, в котором заключаются не только латентные мысли, т.-е. сохраняющиеся в нашей психике („душе“, как любит говорить Фрейд) ранее виденные представления, но и „особенные, отличающиеся определенным динамическим признаком, а именно такие, которые остаются вдали от сознания, несмотря на свою интенсивность и действенность“ [4]). Это бессознательное в последних работах Фрейда охватывает не только часть содержания нашей психики, но даже часть нашего „Я“ [5]). При этом сознание оказывается представляющим собой лишь поверхностный слой нашего „душевного“ аппарата, под которым „шевелится хаос“ бессознательного. Мы здесь не можем разобрать всех чисто-мистических построений, которые на основе этого выводятся Фрейдом во „тьме психологии глубин“, связанных с понятиями сверх—„Я“, „Оно“ и т. д. Достаточно прочитать любому незараженному еще этой гнилью человеку „Я“ и „Оно“, чтобы навсегда получить достаточно сильную прививку против фрейдизма. Нам важно сейчас отметить иное. Всячески сгущая и обесценивая роль сознания, Фрейд—этот „современный материалист XVIII века“, при этом совершенно отчетливо представляет какое имеет это значение для общего мировоззрения. Говоря о „Я“, он пишет: „Я“ прежде всего телесно, оно не только поверхностное существо, но даже является проекцией некоторой поверхности“... „Возвращаясь к нашей оценочной шкале, мы должны сказать: не только наиболее глубокое, но и наиболее высокое в „Я“ может быть бессознательным. Таким образом нам как бы демонстрируется то, что раньше было сказано о сознательном „Я“, а именно, что оно прежде всего „Я“—тело“ [6]). „Я“ называется здесь в мире бессознательного представителем реального внешнего мира. И как ни кажется парадоксальным, в сфере, представляющей по т. Варьяшу переход от материального к психическому, действительно именно чисто психическое оказывается представителем материального. Но очень легко вскрыть причины этого чудесного превращения. Они лежат в том, что мир фрейдовского бессознательного на самом деле вовсе не представляет собой чего бы то ни было, хотя бы в отдаленной степени прибли-

[1]) В., стр. 260.
[2]) В., стр. 340.
[3]) В., стр. 302, 291.

[1]) В., стр. 316.
[2]) В., стр. 307.
[3]) В., стр. 293.
[4]) З. Фрейд, Основные психологические теории в психоанализе. Гиз. 1923 г., стр. 77.
[5]) З. Фрейд, Я и Оно. Изд. „Академия“, стр. 13.
[6]) Там же, стр. 23, 24.

жающегося к материальному, а полную ему противоположность. К нему не применимы категории, представляющие собой отражение структуры реального мира. Оно находится вне времени и пространства. Оно—особый мир, управляемый особыми законами. Наоборот—сознание является не чем иным, как функцией особым образом организованной материи, из ощущений, из опыта, от воздействующей на него материи получающего и свое содержание и форму. Фрейдовское бессознательное оказывается чисто психической и оторванной от физического сферой.

Фрейд и сам это прекрасно понимает. Он отвергает материализм. Рассматривая возможное объяснение латентных мыслей, памяти, чисто физиологическим путем, без помощи особого мира бессознательного, он пишет: „В этом вопросе мы должны быть готовы услышать возражение со стороны философов, что латентное представление существовало не как психологический субъект, а только как физическое предрасположение к возобновлению того же психического явления,—а именно этого самого представления. Но на это мы можем ответить, что такая теория собственно далеко переходит границы психологии, что она просто обходит проблему, держась того взгляда, что „сознательное“ и „психическое“ тождественные понятия и что теория эта, очевидно, неправа, отрицая за психологией право объяснить своими собственными средствами такое обычное явление в ее области, как память“ [1]). Фрейдизм стремится построить чистую психологию, путем чисто субъективного анализа содержания нашей психики, будучи в этом отношении прямо противоположен чисто физиологической школе Павлова.

Если бы т. Варьяш внимательно читал даже только идеалистов, он твердо знал бы это и не стремился осуществить смехотворную идею—представить психологическую теорию Фрейда, как имеющую нечто принципиально общее с материализмом. В статье о бессознательном гуссерлеанца Морица Гейгера мы находим следующую цепь рассуждений: для материалистов душевное—не что иное, как следствие, побочный продукт, аттрибут материального мозгового процесса. Отсюда для них исключено заранее, чтобы из рассмотрения одного только душевного можно было получить связную причинную цепь. Скорее в объяснении сознательного психического явления следует обращаться к материальным явлениям в мозгу, всякий перерыв в сознании должен быть понят из материальной основной цепи явлений. Куда же могут быть вдвинуты тогда еще бессознательные душевные явления, между материальным мозговым процессом и его продуктом, сознательными душевными явлениями? Было бы бесполезным удвоением материальной причинности вклинивать еще бессознательную душевную причинность. Все функции, которые приписываются душевно-бессознательному, при этой материалистической концепции мира, могут с неменьшим успехом объяснять мозговые процессы как и гипотетическое бессознательное [2]).

И Гейгер в данном случае совершенно прав.

Материализм совершенно не нуждается в том бессознательном, какое строит Фрейд и какое признают все его некритические и „критические“ ученики. И Фрейд, и Ференци, и ряд других психоанализтиков не только всегда были бесконечно далеки материализму, но сами указывали ту философскую систему, у которой они многому учились и которая наиболее близка всему их построению. Это—система Шопенгауэра. Упадочная психология Фрейда вполне гармонирует с его реакционной философией. Сам Фрейд неоднократно писал о Шопенгауэре: „То, что этот мыслитель говорит о сопротивлении (противодействии) какому-либо мучительному явлению действительности, настолько совпадает с содержанием моего понятия о вытеснении, что только благодаря моей неначитанности я имел возможность сделать это оригинальное открытие“ [1]). И далее: „Только очень немногие, вероятно, вполне уяснили себе, каким важным по своим последствиям шагом является для науки о жизни предположение о бессознательных душевных процессах. Но поспешим прибавить, что психоанализ не первый сделал этот шаг. Можно указать на знаменитых философов, как на предшественников, прежде всего на великого мыслителя Schopenhauer'a, бессознательную „волю“ которого в психоанализе можно отождествить с душевными влечениями (курсив наш. *Н. К.*). Кстати это тот же мыслитель, который в незабываемых по силе словах напоминал людям о все еще недостаточно оцененном значении их сексуальных стремлений. Преимущество психоанализа состоит лишь в том, что он не отвлеченно утверждал эти оба столь мучительных для нарцизма положения о психическом значении сексуальности и о бессознательности душевной жизни, а доказал это на материале, который касается лично каждого в отдельности и заставляет его выяснить свое отношение к этим проблемам. Но именно потому он и вызывает к себе все то отвращение и сопротивление, которые пощадили благодаря робости великое имя философа“ [2]).

Но как же быть с марксовским бессознательным, открытым т. Варьяшем? Ведь есть же у нас явления памяти и т. д., которые как бы свидетельствуют о том, что должен существовать некий подвал в нашей психике, в котором до поры до времени хранятся ее богатства? Как материалистически объяснить механизм обмолвок, „вытеснения“ и т. д., по которому Фрейд, как и его ученики, как будто собрали огромный фактический материал?

В полемической статье дать ответ на эти вопросы, подробный разбор теории мы, естественно, не можем. Отметим основное, решающее, что определяет собой все остальное.

Марксовское бессознательное ничего общего не имеет с бессознательным Фрейда. Собственно говоря то, что у Маркса т. Варьяш называет бессознательным, правильно было бы назвать подсознательным [3]). Бессознательное, подсознательное, в этом смысле не есть какая-то особая сфера духовной жизни, как у Фрейда. Тов. Варьяш пишет, что „идеологии почти всегда создаются классами бессознательно“ [4]). Это „почти“ здесь восхитительно. Всегда или не всегда? Если всегда, то есть особый мир в нашей психике, в котором формируются наши воззрения, прежде чем они доходят до порога сознания. Если, нет, то тогда бессознательное возникновение идеологии есть не что иное, как непонимание или ложное, недостаточное понимание классом своей собственной природы, определяемое всем его общественным бытием. Это бессозна-

---

[1]) З. Фрейд, Основные психологические теории в психоанализе, стр. 74—75.

[2]) Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, hrsg. v. E. Husserl, B. 4, статья M. Geiger'a „Fragment über den Begrift des Unbewussten und die psychische Realität“, s. 24—25.

[1]) З. Фрейд, Основные психологические теории в психоанализе, стр. 25.

[2]) Там же, стр. 198.

[3]) В данном случае мы пользуемся указанием А. М. Деборина.

[4]) В., стр. 336.

тельное — социально вполне объективное понятие, которое, однако, не предполагает никакого особого механизма в индивидууме. То, что исторический процесс появления пролетариата и марксизма был продуктом развития слепых общественных сил вовсе еще не означает, что он, совершаясь бессознательно, совершался в особом мире бессознательного. Фрейдовское же бессознательное, индивидуальный особый мир бессознательного в нашей психике, не имеет места в марксизме. Материалистическое бессознательное в этой области — подсознательное, физиологический процесс, не имеющий своего отражения в сфере сознания. Воспоминания, привычки, инстинкты и т. д., все это сохраняется не в сейфах некоего особого хранилища душевной жизни — бессознательного, а в тех материальных процессах, которые совершаются в нашем мозгу и которые в определенные моменты выявляются в виде того особого свойства материи нашего мозга, которое носит имя сознания.

Когда т. Варьяш путает стихийное возникновение идеологии с бессознательным в духе Фрейда [1]), и в подтверждение этому приводит цитату из Маркса, где Маркс говорит о том, что нельзя эпоху судить по ее сознанию, а наоборот, это сознание следует выводить из противоречий материальной жизни,—то только диву даешься, как далеко может завести желание на клетке слова увидеть надпись „буйвол".

Из того, что нельзя об эпохе судить по ее сознанию вовсе не следует у Маркса, что следует о ней судить по ее бессознательному, по тому, какие его функции выступают в ту или иную эпоху (ср. „Философию истории" т. Варьяша [2]). Это было бы чистейшим идеализмом. Об эпохе следует судить по ее производственным отношениям и производительным силам, идеология же, сознание есть отражение конфликта между ними, будучи сама целиком и полностью его производной. При этом только идеология пролетариата дает истинное познание движущих сил общества, все же остальные идеологии дают их искаженное, поверхностное, ложное понимание. Несовершенство и ложность их являются следствием той общественной роли, которую играет породивший их класс. Бессознательное здесь не результат бессознательной выработки идеологии индивидуумом, а социально-бессознательное, если можно так неуклюже выразиться, результат несовершенства познавательных средств общественных классов, несовершенства, целиком определяемого общественным бытием этих классов. Здесь и намека нет на фрейдовское бессознательное, с которым „принципиально" согласен т. Варьяш, и которое представляет особую сферу в индивидууме, пролегающую между материей и сознанием, в то время, как у Маркса ложная и недостаточная идеология есть необходимая составная часть общественного сознания, определяемая соответствующим общественным бытием, в конечном итоге—способом производства материальной жизни людей данного общества. И опять — кинематографический фокус, видимый шаг в сторону материализма на деле оказывается шагом человека, бессознательно запутавшегося в трех соснах идеализма.

Не спасает поэтому дело и если представлять бессознательное не так, как оно представлено у Фрейда, в виде носителя, главным образом, сексуального начала, libido, а если превратить его в некую мистическую, изначальную и „затормаживаемую" в человеке энергию, бурно прорывающуюся в революционном порыве [1]). Это—эмоционально-психологическое, а не материалистическое понимание истории. К тому же такое понимание бессознательного не ново и для фрейдистской литературы, где его развивают наиболее реакционные ученики Фрейда, вроде Юнга и Пфистера, соединяющего психоанализ с богословием. И уж если искать в чем-либо положительное у Фрейда, то его можно найти единственно только в том, что он обратил в анализе нервозов больше внимания, чем делалось это до него, на их сексуальную сторону, чем и вызвал против себя всеобщее гонение со стороны как известно чрезвычайно щепетильной буржуазной науки. И именно эта, и только эта сторона фрейдизма, совпадает с современными выводами физиологии о значительной роли желез внутренней секреции во всей деятельности нашего организма и т. д. Но и эта, правильная мысль, благодаря неверным общим предпосылкам, субъективизму и психологизму метода, превратилась в фрейдизме в нечто всеобъемлющее и в конечном счете ложное, поскольку сексуальный момент заполонил все и вся и вместо того, чтобы быть подчиненным моментом по отношению к социальному, стал претендовать на роль господствующего. Наши же отечественные горе-фрейдисты восприняли как раз дурное во Фрейде, его попытку истолковывать психологически социальные явления, его понятие бессознательного. Естественно, что кроме беспросветной путаницы, у них в головах ничего более получиться не могло.

У т. Варьяша, впрочем, в данном случае увлечение психоанализом является наследством его прежних воззрений. О них в официальном отчете психоаналитиков об их успехах за 1914—1919 г.г. мы читаем в обзоре венгерской литературы:

Т. Варьяшем был опубликован на венгерском языке в период 1914—ноября 1916 г. ряд статей по психоанализу. Вот их перечень: 1. Varjas, Sandor. Totem és Tabu (Тотем и Табу). 2. Az ideges jellemröl. (По поводу книги „О нервных характерах" А. Адлера). 3. Wandlungen des Freudismus. 4. Besprechung von A. J. Storfer, Marias jungfräuliche Mutterschaft. 5. A háboru a pszichoanalizis szempontjából (Война с точки зрения психоанализа). 6. A háborus szenvedélyek növekedese és togyàsa (О военных страстях).

О развиваемых им в этих статьях точках зрения мы читаем: в реферате о фрейдовском „Тотем и Табу" тов. Варьяш „подчеркивает, что новаторская гипотеза Фрейда о тотем и табу тем отличается от обычных гипотез, что хотя она не имеет прошлого,—она имеет будущее" [2]). Разбирая книгу Альфреда Адлера, отпавшего от Фрейда ученика, т. Варьяш приходит к заключению, что теория Адлера была бы приемлемее, если бы она не содержала известной односторонности. В противоположность Адлеру т. Варьяш подчеркивал тогда роль именно сексуальных причин в болезнях. Однако, одновременно, он полагал, что „Адлер был первым (курсив наш. *Н. К.*), кто сумел объяснить великие социальные феномены повелевания и повиновения". В двух последних докладах он старался достигнуть компромисса между Фрейдом и Адлером, что, как меланхолически прибавляет обозреватель-фрейдист, ему, естественно, не удалось [3]).

---

[1]) В., стр. 316.
[2]) В., стр. 292—3.

[1]) См. статью А. Залкинда—„Фрейдизм и марксизм"—в „Красной Нови" за 1924 г. кн. 4, стр. 183—4.
[2]) Bericht über die Fortschritte der Psychoanalise in den Jahren 1914—19, Beihefte der Internat. Zeitschrift für Psychoanalise, hsrg. v. Freud, Nr. III, Internat. Psychoanal. Verlag, 1921, S. 372.
[3]) Там же, стр. 375.

Далее, излагая статьи т. Варьяша о войне, обозреватель сообщает о них следующее: „Александр Варьяш, опираясь частью на фрейдовские истины и адлеровские заблуждения, ищет... основную причину войны в воле к власти (?!), которая как он полагает, сильнее воли к жизни“ (!) [1]). Продолжая далее излагать следующую работу т. Варьяша о военных страстях, автор замечает, что в ней Варьяш „покидает совсем почву психоанализа (вы ожидаете, читатель, что в сторону—марксизма, нет...), он устанавливает так называемую „фрустрацию“ (Frustration), обозначающую отклонение нормального течения приятного чувства, невозможность его кульминирования, как новый основной принцип объяснения бессознательной душевной жизни. Страсть есть такая фрустрация, которая в себе самой, во фрустрации, находит свое наслаждение. Сильнейшая фрустрация—влечение к господству и власти, которая в соединении со вторым, устанавливаемым Варьяшем новым основным принципом потребности души в конфликтах, является основной причиной войны (?!). Дальнейшее углубление в эту искусственную теорию, которая называет себя психоаналитической, но целиком находится вне рамок психоанализма в нашем смысле, излишне“ [2]).

Ортодокс-фрейдист в данном случае прав. И если мы извлекли на свет божий сейчас эту старую (1916 г.) вычурную теорию т. Варьяша, соединявшую А. Адлера с Фрейдом на почве вульгарного психологизма, то лишь потому, что и в 1924 г. он повторяет ее под флагом „завершения“ марксизма, хотя и в прикрытом виде.

Стоит с этим сравнить хотя бы то место из последнего его творения, где он говорит о принципе меньшей ценности А. Адлера (Minderwertigkeit). Т. Варьяш пишет, что „принцип этот утверждает, что отклонения человеческих действий, мыслей, чувств, желаний и стремлений от некоторой логически-идеальной меры, которая, конечно, нигде не существует, объясняются из принципа, противостоящего принципу рациональности и отчасти совершенно его снимающего, который гласит: ни человеческое тело, ни человеческое сознание не представляют собой идеальных машин. И в том и в другом проявляются возникающие из органических оснований частичные функциональные нарушения. Однако, работоспособность в направлении минус в борьбе за существование должна компенсироваться, или даже больше чем компенсироваться, работоспособностью в другой области в направлении плюс. Например, люди, имеющие слабое телесное строение или неприятную наружность, но сильный ум, будут стремиться усовершенствовать свои дарования при помощи усердных занятий и приобретения фактических знаний. Слабенькие и болезненные и при этом не обладающие значительным интеллектом, станут на службу своих утрированных телесных недостатков и чрезвычайной чувствительности ко всяким болезням. Кроме того, они будут работать с тенденцией обесценения всех тех благ, которыми они не обладают.

„Адлер понимает свой принцип, как чисто индивидуальный, однако и этот принцип может быть обращен в общественный. Бессилие и малодушие также играют в истории классов важную роль. Так, например, Плеханов в своей критике Лабриолы замечает по этому поводу следующее: „В тех случаях, когда данное племя оказывается вынужденным признать над собой превосходство другого, более развитого племени, его рассовое самодовольство исчезает и вместо него является подражание чужим вкусам, прежде считавшееся смешным, а иногда даже отвратительным“ [1]).

[1]) Там же, стр. 383.
[2]) Там же, стр. 383—4.

Цитата из Плеханова, как очевидно всякому марксисту, тут не при чем. Кто объясняет бессилие и малодушие классов из законов психологии, а не из общественного бытия, тому нечего повторять азы марксизма. Нам важна эта цитата лишь для того, чтобы показать насколько еще сильна в т. Варьяше адлеровская закваска. С этим стоит сравнить еще выше цитированное нами замечание т. Варьяша об успехах психоанализа в деле объяснения истории религий (что совпадает также с его прежними работами о „тотеме и табу“ Фрейда) и в деле объяснения „образования авторитета власти и постановления“. Как мы видим по всей линии и тогда, в 1916 г., и сейчас, в 1924 г., т. Варьяш идет все тем же чисто психологическим, фрейдистским путем, с тем лишь разве оттенком, что он не чистый фрейдист, а и здесь—эклектик, сочетающий Фрейда с его блудным учеником—Адлером. Для характеристики же теории Адлера, у которого т. Варьяш в свое время целиком заимствовал всю теорию „воли к власти“, мы позволим себе привести лишь отзыв самого Фрейда:

„Теория Адлера характеризуется не столько тем, что она утверждает, сколько тем, что отрицает; она состоит из трех неравноценных элементов: довольно приличных вкладов в психологию „я“, излишних, но приемлемых, переводов установленных психоанализом фактов на новый жаргон и из искажения и запутывания последних, поскольку они не соответствуют предпосылкам „я“. Психоанализ всегда признавал элементы первого рода, хотя и не обязан был уделять им особого внимания. Гораздо интереснее было показать, что ко всем стремлениям „я“ примешиваются либидинозные компоненты. В противоположность этому, учение Adler'а подчеркивает эгоистические добавления к либидинозным влечениям. Это было бы значительным выигрышем, если бы Adler не пользовался этим, чтобы отрицать из-за компонентов влечений „я“ либидинозные душевные движения“... „При этом Adler настолько последователен, что даже считает самым сильным мотивом полового акта желание указать женщине свое превосходство, быть сверху. Я не знаю, защищает ли он эту нелепость и в своих трудах“... „Третья часть учения Adler'а—перетолковывание и искажение неудобных аналитических фактов,—содержит то, что окончательно отмежевывает от анализа нынешнюю „индивидуальную психологию“. Основная мысль системы Adler'а, как известно, гласит: цель самоутверждения индивидуума, его „воля к власти“, проявляется доминирующим образом в форме „мужского протеста“, в образе его жизни, в образовании характера и в неврозе“ [2]). Можно судить после такого исходного пункта насколько теория Адлера близка марксизму.

Круг путаницы т. Варьяша завершился. Нам остается еще отметить, что высасывая из пальца проблемы психических функций, понимаемых в кантианско-фрейдистско-адлеровском стиле, сколь ни ужасно подобное сочетание, и приводя в подтверждение всему этому завету Энгельса с его замечанием о необходимости разрабатывать формальную сторону возникновения идеологических представлений на основе данных производственных отношений, т. Варьяш лишь еще

[1]) В., стр. 295—6.
[2]) З. Фрейд, Основные психологические теории в психоанализе, стр. 59—60, 61.

более увеличивает размах путаницы. Ибо у Энгельса формальная сторона проблемы есть не кантианская проблема того, как наполняются содержанием наши психические формы, не проблема переработки их „в психо-физическом котле“ [1]), а проблема того, каким образом в данном уже материале пробивает себе путь и создается новый материал, соответствующий изменившимся экономическим условиям жизни общества. Чтобы понять это, стоит дочитать лишь до конца цитируемое т. Варьяшем письмо Мерингу от 14 июля 1893 г. Т. Варьяш не понимает, что здесь путь исследователя лежит не через изучение роли психического аппарата, являющегося постоянным, по т. Варьяшу, и лишь чередующим свои функции,—это кантианская точка зрения [2]), а через изучение классовой психологии, вытекающей из определенных классовых интересов, ее посредствующей роли в сложном механизме передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам.

К этому вполне примыкает развиваемая т. Варьяшем в другом месте нелепейшая теория убывания аффектов, очевидно, отголосок его прежних фрустаций, по которой убывание аффектов у людей никогда не достигает нуля, а так как у разных людей разная возбудимость к аффектам, то способность к конфликтам у „революционных характеров больше, в то время, как обычно зародыши конфликта практически рассеиваются противодействием сознания, постоянным уменьшением их интенсивности. Резюмируя все эти процессы и понимая их не индивидуально, а социально, получится ясная картина игры диалектических, т.-е. друг другу противостоящих сил, из которой, однако, результирует отнюдь не нуль, а исторические борьбы“ [3]). Таким образом у революционеров сознание выступает как сдерживающий революционность момент, при чем все это должно, будучи понято социально, объяснить историческое развитие!

Этим и закончим обзор блужданий т. Варьяша в роли некоего буриданова осла между фрейдизмом и Альфредом Адлером.

* * *

Наши странствования по трудам т. Варьяша закончены. Остается подвести итог.

После всего изложенного невозможно уже отрицать насквозь эклектический характер всех его трудов.

А чем же вреден эклектизм в наши дни? Чем вредно поветрие соединительства Маркса с Кантом, Маркса с Махом, Маркса с Богдановым, Маркса с Гуссерлем, Маркса с Фрейдом и т. д. и т. п., непрерывной чередой проходящее через всю историю марксизма. Что означает оно? Оно означает давление на марксизм чуждых пролетариату стихий, крестьянства, городской мелкой буржуазии, мелкобуржуазной интеллигенции. Эти общественные эклектики, выражаясь языком т. Варьяша, оказываются и эклектиками идеологическими. Обогащение марксизма, обработка с его точки зрения данных современной эпохи, перерастание его в ленинизм, неразрывно связаны с разрешением задачи их критики. Ленинизм в области философии означает, прежде всего, беспощадную борьбу с философской эклектикой за диалектику, за диалектический материализм, партийность в философии.

[1]) В., стр. 281—294.
[2]) В., стр. 298.
[3]) В., стр. 297.

Чем вреден эклектизм? Тем, что он, подчас сам того не замечая, протаскивает в идеологию пролетариата чуждое ей содержание под флагом необходимости изучения идеализма, необходимости сочетания марксизма с псевдоположительной наукой, механически соединяя марксизм с последними достижениями буржуазной культуры вместо того, чтобы диалектически разобрать их. Покрывая оружие пролетариата ржавчиной, он притупляет его для борьбы. И поэтому очередной задачей марксистской критики является начинающему воинствовать эклектизму противопоставить воинствующую диалектику, воинствующий материализм так, как его понимали Маркс и Ленин.

Математика и марксизм.

И. Орлов.

Математический фронт.

Марксизм представляет собою цельное, законченное мировоззрение, которое охватывает не только ту или другую группу наук, но все отрасли знания, в том числе естествознание и математику. Но в то время, как по вопросу о диалектике в естествознании мы имеем уже довольно много работ, в области математики в этом направлении сделано слишком мало. Между тем для марксизма весьма важно вполне ясно и точно определить свое отношение к математике и математическому методу; важно, во-первых, ввиду огромного значения математики в системе научного знания и, во-вторых, ввиду особенностей математического метода, которые часто истолковываются в идеалистическом духе и используются для борьбы против материализма. Поэтому необходимо определить, какое место в системе наук марксизм отводит математике и какое значение имеет, с его точки зрения, математический метод. Попытаемся наметить ту позицию, которую марксизм, по нашему мнению, должен занять по отношению к математике. Без сомнения, здесь мы имеем еще один фронт, на котором должна происходить борьба с идеализмом и с ходячими „истинами" официальной науки буржуазных университетов.

Происхождение аксиом.

Энгельс с полной определенностью высказывается против допущения аподиктически-достоверных априорных суждений в науке вообще и в математике в частности. Он оспаривает также ходячее мнение о том, что математика представляет собою чистый продукт творчества разума. Энгельс в „Анти-Дюринге" в немногих словах, но с исчерпывающею ясностью, определяет тот путь, каким должна итти материалистическая теория в данном вопросе.

„Вовсе не верно, что в чистой математике разум оперирует только над продуктами собственного творчества и воображения. Понятия о числе и фигуре возникли не иначе, как из реального мира. Десять пальцев, на которых люди научились считать, т.-е. произво-

дить первую арифметическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, нужно иметь не только предметы, подлежащие счету, но и способность отвлекаться, при наблюдении этих предметов, от всех прочих их свойств, кроме числа, а эта способность есть результат долгого исторического эмпирического развития. Как понятие о числе, так и понятие о фигуре заимствованы исключительно из внешнего мира, а не возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определенные формы, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было дойти до понятия о фигуре. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения реального мира, стало-быть, весьма реальный материал. То, что этот материал является в крайне абстрактной форме, может только для поверхностного взгляда скрыть его происхождение из внешнего мира" („Анти-Дюринг", I отд., I подр. Априоризм).

Многие философы пишут „Число" с большой буквы; оно для них служит как бы символом свободного творчества разума. Поэтому как нельзя более кстати указание Энгельса, что десять пальцев всего менее похожи на продукт творчества разума. В самом деле, десять пальцев—это первое „вполне упорядоченное множество", изученное человеком, и даже „класс вполне упорядоченных множеств", так как пальцы у всех людей расположены одинаковым образом. И счет первобытные племена начинали с того, что устанавливали „одно однозначное соответствие" между упорядоченным от природы множеством десяти пальцев (или „отрезком" этого множества), с одной стороны, и теми предметами, которые нужно было сосчитать,—с другой. Постепенно реальные пальцы заменялись воображаемыми единицами, и „вполне упорядоченная система" становилась объектом созерцания. Таким образом столь абстрактная „теория множеств" современной математики в существенной части представляет собою простое педантически точное описание обычного процесса счета. „Единицы" теории множеств отражают свойства реальных объектов, подражают последним, и совсем не похожи на продукты свободного творчества. Если мы два или несколько предметов из внешнего мира мысленно соединим в единство, то от этого предметы нисколько не изменятся и останутся отдельными, самостоятельными. Абстрактные единицы математики ведут себя точно так же, хотя „продукты свободного творчества" могли бы иметь другие свойства. Отсюда вытекают правила счета: $1+1=2$ и т. д. Но если бы числа были на самом деле чистым созданием разума, тогда наш обычный счет должен был бы представляться, в сущности, чем-то совершенно нелепым, а считать должны были бы так: $1+1=3$, $3+1=7$, $7+1=15$ и т. д. В самом деле, соединяя два объекта мышления мы должны были бы получить и их единство, как третий, вполне равноправный объект мышления, и, следовательно, всего 3, и т. д. Но этого нет, а

следовательно, основные посылки арифметики и теории множеств не имеют никакого отношения к идеальному миру, а отражают свойства и отношения реального, эмпирического мира.

Но отсюда следует, что суждение $1+1=2$ и т. п. есть синтетическое суждение. Указанное суждение представляет собою простое описание мысленного или реального эксперимента, результат которого зависит, как мы видели, от природы единиц, т.-е. от природы реальных объектов и их мысленных отражений. Обычно такие суждения рассматриваются, как определения, а определения рассматриваются, как условные соглашения относительно значения терминов. В другом месте [1]) я разобрал теорию определений в математике, поэтому здесь я ограничусь лишь тем, что укажу наиболее существенную ошибку в общепринятом учении математиков об определении. А именно, в математике определение рассматривается, как уравнение между новым термином, с одной стороны, и комбинацией терминов уже известных,—с другой. Новый термин называется определяемым, а комбинация известных терминов—определяющим. Новый термин получает смысл лишь с того момента, когда он приравнивается комбинации уже определенных терминов и становится после этого названием, т.-е. сокращенным обозначением для комбинации терминов. Определяющее всегда может быть подставлено на место определяемого во всяком суждении без изменения смысла последнего; поэтому определение дает не новую истину, а только удобный способ выражаться. Таково общепринятое учение. Но здесь допускается нелепая посылка, будто комбинация известных терминов сама по себе может иметь какое-либо значение. Но простая постановка рядом или соединение в одно целое нескольких слов или знаков не создает никакого понятия и вообще не имеет никакого смысла. Несколько известных терминов в определении не просто поставлены рядом, но их соединение представляет некоторое построение, и, следовательно, оно синтетично; только результат построения мы условливаемся назвать так или иначе. Отсюда вытекает важное следствие: если нам скажут, что какая-либо формула, напр., $5+7=12$, может быть выведена из определений, то это вовсе не значит, что она имеет аналитическую или условную природу. Определения заключают в себе построения, они, следовательно, синтетичны, а потому и все, что из них выводится, носит характер построения. Мы должны, таким образом, вслед за Кантом, признать синтетическую природу арифметических операций.

Не иначе обстоит дело и в геометрии. Аксиомы и определения современной геометрии доведены до высокой степени абстракции. Аксиомы Евклида представляют собою в значительной степени еще описания мысленных экспериментов над различными фигурами; но аксиомы новейшей геометрии уже нельзя представить наглядно, так

[1]) См. И. Орлов, Чистая геометрия и реальная действительность,—„П. Зн. М.“. № 11—12, 1923 г.

как они выражают весьма абстрактные соотношения. Но это, как говорит Энгельс, „только для поверхностного взгляда может скрыть их происхождение из внешнего мира“. То, что Энгельс утверждал, вопреки педантам университетской науки того времени по отношению геометрии Евклида, в настоящее время безоговорочно принимается почти всем ученым миром математиков. Все они признают, что система Евклида эмпирична, что она содержит описание наглядных отношений. Теперь уже не геометрию Евклида, а новейшие абстрактные системы геометрии рассматривают, как свободное творчество разума. Но при этом забывают, что новые системы аксиом получены в результате дальнейшей абстрагирующей обработки тех же наглядных соотношений, тех же аксиом Евклида.

Представим себе, что мы берем зеленые листья растений и высушиваем их и затем отделяем всю мякоть, оставляя только тончайшую сеть жилок. Полученное таким образом изящное кружево весьма отлично от зеленых листьев, и в то же время мы можем его исследовать, а результаты применить к листьям. Аксиомы Гильберта относятся к аксиомам Евклида, как такое кружево к зеленым листьям. Хотя аксиомы Гильберта не могут быть представлены наглядно, но все существенные отношения наглядных образов в них вполне точно скопированы.

После построения абстрактной системы ее происхождение забывают; вследствие этого возникает легенда о „свободном творчестве“. Т.-е. происходит как раз то, о чем говорил Энгельс: „Но, как и во всех других областях знания, на известной ступени развития абстрагированные от реального мира законы были выделены из реального мира, противопоставлены ему, как нечто самостоятельное, как извне явившиеся законы, согласно которым мир должен двигаться. Так было с обществом и государством; так же точно чистая математика была впоследствии применена к миру, хотя она была заимствована из этого самого мира и представляет всего лишь часть его составных форм, и именно только поэтому вообще она к нему применима“ („Анти-Дюринг“).

Применение диалектического метода.

Вторым существенным вопросом является вопрос об отношении математики к диалектическому методу. Этот вопрос сводится к вопросу об отношении диалектического и рассудочного мышления. Указанный вопрос недостаточно разработан, но в марксистской литературе намечено вполне определенное его решение. Плеханов в предисловии к „Л. Фейербаху“ Энгельса говорит следующее: „Как покой есть частный случай движения, так и мышление по правилам формальной логики (согласно „основным законам“ мысли) есть частный случай диалектического мышления“.

В статье о книге Массарика („Критика наших критиков“) Пле-

ханов говорит: „Энгельс ставит диалектическое мышление выше метафизического, но ему и в голову не приходит отрицать относительную правомерность этого последнего. В известных пределах метафизическое (иначе рассудочное) мышление совершенно необходимо. Но это далеко не достаточно для правильного понимания процессов природы и общественной жизни. Его надо дополнить диалектическим мышлением. Такова мысль Энгельса, разумеется, говорившего в этом случае не только от своего лица, но и от имени Маркса. А г. объективный критик (речь идет о проф. Массарике) приравнивает эту мысль к полному отрицанию метафизического (рассудочного) мышления, и это выдуманное им отрицание он приводит, как довод против диалектического материализма".

Все вышесказанное с достаточной ясностью определяет нашу задачу: необходимо выяснить, в каких границах правомерно и необходимо рассудочное мышление в математике, и каким образом оно должно быть дополнено диалектикой. Все теоремы выводятся из аксиом при помощи только правил формальной логики. Формальная логика господствует при разрешении специальных вопросов чистой и прикладной математики. В этих пределах она законна. Но математики пытаются определить значение математического метода, отношение его к внешнему миру, его происхождение и проч. также при помощи только рассудочного мышления. Но в таких проблемах рассудочное мышление, взятое само по себе, терпит полнейший крах, здесь оно не видит ровно ничего, что выходит за его пределы. Чисто рассудочное мышление не может ни определить места математического метода в общей системе знаний, ни выяснить связь абстрактных аксиом с реальной действительностью. Математики, когда они рассуждают об общем значении метода, изолируют математику от всего, что не есть она сама, и рассматривают свой метод, как единственный, универсальный метод, имеющий абсолютное значение, представляют его, как свободное творение разума. Такие рассуждения представляют собою уже чистейшую идеалистическую метафизику. Вопрос о значении математического метода может быть разрешен только диалектическим мышлением.

Нам говорят: в реальной действительности нет ни прямых линий, ни точных кругов, ни треугольников и т. п., никаких объектов, о которых рассуждает математика. Для рассудочного мышления нет, а для диалектического есть! Все те соотношения, о которых рассуждает математика не приближенно, но совершенно точно, имеют место в природе. Но только они находятся в природе не в чистом и абстрактном виде, но в связи с бесчисленными другими соотношениями. Конечно, фигуры, начерченные рукой человека, всегда не точны. Но ось вращающегося тела есть точная прямая. Кривые, которые точки вращающегося тела описывают по отношению к оси, суть точные круги, треугольник, определяемый любыми тремя материальными точками, есть точный треугольник и т. д. Но рассудочное мышление

требует, чтобы математические соотношения находились в природе в том же голом и абстрактном виде, как и в теории; так как этого нет, то оно отрицает существование точных математических соотношений в действительности. Но компетенция формально-рассудочного мышления прекращается там, где оканчиваются специально-технические проблемы математики.

Следующее изречение Эйнштейна также служит примером грубо-метафизического мышления: „Математика постольку верна, поскольку не относится к действительности, и постольку не верна, поскольку относится к действительности" („Геометрия и опыт"). Здесь также из того факта, что математические соотношения не существуют в природе в чистом виде, выводится, что они или вовсе отсутствуют в природе, или существуют только приближенно. Правильным будет как раз обратное: математика верна, поскольку она относится к действительности; поскольку же она не относится к действительности, о ней нельзя сказать ни того, что она не верна, ни того, что она верна.

Рассудочное мышление игнорирует то обстоятельство, что математика имеет только вспомогательное значение в общей системе опытных знаний. Рассудочное мышление, далее, считает свои „доказательства" единственно возможными и абсолютно убедительными. Диалектический материализм должен ограничить и эти притязания. Дедуктивный вывод одного суждения из посылок на основании закона противоречия по существу вовсе не является доказательством, так как выводные суждения при этом являются условиями посылок [1]). Действительным доказательством может считаться только опыт, только полное и систематическое совпадение следствий математических теорий с фактами.

Итак, диалектический материализм признает в определенных границах значение рассудочного мышления, точно определяя эти границы; но вне этих границ отрицает за рассудочным методом какую-либо ценность. Диалектика должна заключаться не в математическом методе, а в нашей оценке этого метода. Отсюда следует, что в указанных границах, т.-е. при разрешении специальных математических проблем, было бы неправильным пытаться заменять формально-логические рассуждения диалектическими, требовать от математического метода, чтобы он не базировался на формальном законе противоречия, требовать от математических понятий, чтобы они включали в себя единство противоположностей и т. п. Это было бы именно полным отрицанием формально-логического метода, но о таком полном отрицании формальной логики Маркс и Энгельс, по свидетельству Плеханова, вовсе и не помышляли. Кроме того диалектика, развиваемая математическим методом и след. a priori, представляла бы

[1]) См. об этом И. Орлов, Логика формальная, естественно-научная и диалектика,— „П. Зн. М." № 6—7, 1924 г.

совсем не то, что нам нужно, и имела бы даже отрицательную ценность, так как такая диалектика совпала бы с метафизикой.

Помимо всего вышесказанного, диалектика имеет огромное эвристическое значение при разработке математических проблем. Математические исследования, даже самые абстрактные, всегда направляются созерцанием, т.-е. наглядным представлением. Но математическое созерцание, в общем правильно отражающее свойства реального пространства, становится бессильным там, где дело касается бесконечно большого, бесконечно малого, непрерывности и т. п. Здесь становится необходимым диалектическое созерцание, т.-е. созерцание, не боящееся противоречивых, непредставимых комбинаций. Диалектическое созерцание разрывает формально-логическую ткань и часто открывает перед математической теорией новые горизонты. Однако это не противоречит предыдущему, так как подобные вторжения диалектики не поддаются систематизации и не могут быть развиваемы из аксиом. Между тем математическая теория использует новые открытия и постепенно восстановляет разрушенную вторжением диалектики формально-логическую ткань. Самым ярким примером подобного рода следует считать открытие дифференциального исчисления. Дифференциальное исчисление было открыто при помощи диалектического созерцания и не могло быть открыто иным путем. Новый метод не мирился с формальной логикой, и все его понятия включали в себя единство противоположностей. Но впоследствии французский математик Коши построил теорию пределов, при чем все операции, необходимые и достаточные для производства вычислений, были обоснованы при помощи формальной логики. Теория пределов в дальнейшем была усовершенствована другими математиками. Таким образом рассудочное мышление заделало брешь; это его право, такой процесс относительно законен. К этому вопросу мы далее возвратимся.

Математика и логика.

Метод математики, как сказано, основывается на формальной логике. Рассмотрим поближе, что это означает. Формально-логические или дедуктивные умозаключения представляют собою вывод одних суждений из других, на основе применения „законов мышления“, преимущественно законов тождества и противоречия. „Законы мышления“ представляют собой чисто формальные правила; применяя их, мы вовсе не должны принимать во внимание смысла понятий, с которыми мы имеем дело. Например, на основании только закона тождества („A есть A“) нельзя проверить справедливость равенства $a(b+c)=ab+bc$, так как здесь идет дело об изменении порядка действий. Но если нам дано какое-нибудь равенство (и след. числовое тождество), напр., хотя бы $x=\sin y$, то мы, не входя в рассмотрение значения терминов, имеем право подставлять в каком-либо выражении одно на место другого. Формальный закон тождества является таким образом принципом подставки.

Точно так же на основании закона противоречия („A не есть не-A“) нельзя вывести, что белое не есть черное (это предполагает опыт), или что прямая линия не есть кривая (это предполагает обращение к наглядному представлению); но можно вывести только, что черное не есть не-черное, прямая не есть не-прямая. Таким образом мы можем вовсе не знать смысла тех терминов и понятий, над которыми совершаем формально-логические операции. Однако к последовательному применению указанных двух приемов—подстановка и исключение противоречия—могут быть сведены решительно все формально-дедуктивные выводы. При „доказательстве“ какой-либо теоремы из посылок вытекает вывод. Почему же он „вытекает“? Очень просто: если мы допустим суждение, противоречащее выводу, то мы вступаем в противоречие с посылками; исключая противоречие, мы должны принять вывод. Отсюда вытекает важное следствие: всякое математическое доказательство является доказательством „от противного“. В математике различается вывод „от противного“ и прямой вывод; но в конечном счете всякий вывод является выводом от противного, так как прямой вывод также основывается на законе противоречия.

Отсюда следует и другой, не менее важный вывод: дедукция не есть доказательство, а есть нахождение новых условий, при которых только и могут быть истинны исходные посылки. Так, если мы, исходя из равенства сторон в треугольнике, выводим равенство углов, то по существу это значит только, что стороны могут быть равны только под условием равенства углов. Если мы из постулата о параллельных Евклида выводим, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым углам, это значит, что только в том случае, если последнее условие выполняется, может быть правильным постулат Евклида, и т. д.

Все вышесказанное относится не только к силлогистическому выводу, но и к так называемой логике отношений. Формальный вывод, т.-е. вывод без обращения к созерцанию, возможен лишь там, где логические операции можно в конечном счете свести к двум элементарным операциям: подстановке и исключению противоречия.

Быть может, для некоторых покажется странным, каким образом можно без конца развивать математическую систему и получать все новые и новые выводы, исходя из небольшого числа постулатов и применяя к ним два формальных принципа—законы тождества и противоречия. Однако никто не найдет странным, что можно производить бесконечное число построений при помощи трех предметов: листа бумаги, карандаша и линейки и при помощи двух простых операций: постановки точек и проведения прямых.

Но указанные предметы мы можем заменить понятиями, а операции—постулатами существования. Существование точек, существование прямых, определяемых каждой парой точек, существование плоскости, определяемой тремя точками,—вот постулаты, предста-

вляющие, так сказать, логический эквивалент бумаги, карандаша и линейки; и всевозможные выводы из этих постулатов на основании законов тождества и противоречия имеют значение логических эквивалентов построений на бумаге.

Геометрию возможно строить, во-первых, как чисто эмпирическую систему: тогда мы при помощи линейки и карандаша делаем на бумаге построения и затем при помощи измерений и т. п. эмпирических приемов определяем их свойства. Геометрия может быть развиваема и как дедуктивная система; построения при этом заменяются выводами из постулатов. Всякий раз, когда мы берем точку вне линии, мы должны ссылаться на постулат, что вне линии существуют точки; когда мы проводим прямую через две данные точки, мы должны ссылаться на постулат, что через всякие две точки возможно провести прямую и т. д. Всякая ссылка на постулаты, таким образом, аналогична построению фигуры или эксперименту над ней. В качестве следствий из постулатов мы можем получить неопределенно большое число абстрактных построений, которые служат посылками при выводе теорем. Развивая далее указанные посылки, мы определяем ближе свойства различных классов отношений или абстрактных фигур. Таким образом получаются абстрактные математические системы.

Строгое применение законов тождества и противоречия дает гарантию того, что дедукция ничего постороннего не внесла в данные посылки. Мышление, рассматривающее только форму посылок, развивает последние, не прибавляя ничего от себя к их материалу. Если вывод сделан ошибочно и заключение не вытекает из посылок,—это равносильно тому, как если бы к данным постулатам произвольно присоединили новое самостоятельное суждение. Если в результате ошибки выводное суждение не только не вытекает из посылок, но и противоречит им,—это значит, что один из данных постулатов произвольно отвергается. И только в том случае, если выводы всюду правильны, ничто не вносится произвольно в систему данных постулатов и ничто в ней не отвергается.

Теперь мы видим, к чему сводится задача формально-математического метода. Из всего вышесказанного с очевидностью вытекает, что формальная логика представляет собою совокупность вспомогательных технических приемов для разработки некоторых проблем и имеет значение и ценность в строго определенных границах. Выводы формальной логики дают нам не материально истинные суждения, а только лишь суждения, вытекающие из своих посылок. При помощи законов мышления и основанных на них выводов, силлогических и иных, неочевидные суждения можно представить как необходимые условия непосредственно очевидных суждений. На этом роль формальной логики, а следовательно, и рассудочного мышления заканчивается.

Рассудочное мышление само по себе не может дать правильной оценки ни исходным пунктам рассуждений, ни конечным выводам.

Механизация умственной работы и диалектика.

Простые формально-логические правила имеют то преимущество, что они, комбинируясь, дают начало сложным методам, которые могут быть применяемы чисто механически. Так все правила счета выводятся формально-логическим путем, а затем их применение носит настолько механический характер, что все операции счета, вплоть до возведения в степень и извлечения корня, могут быть выполнены счетной машиной. Точно также и силлогические выводы могут быть выполнены машиной, каковая и была построена английским логиком Стенли Джевонсом. Все остальные арифметические и алгебраические выкладки точно также можно рассматривать, как вычислительный механизм, который применяется в значительной степени автоматически. В сущности, дифференциальное, интегральное, вариационное исчисления, векторциальный анализ, аналитическая механика и проч. и проч. представляют опять-таки не что иное, как гигантские вычислительные аппараты, позволяющие механизировать решения самых разнообразных задач, сводить их к единообразным приемам.

Абстрактная геометрия точно так же представляет собою механизм, который позволяет из одной выведенной теоремы получить неопределенно большое количество теорем путем простой интерпретации или перевода терминов. Подставляя на место абстрактных понятий различные конкретные образы, мы получаем различные теоремы.

Из механики мы знаем, что, как бы ни была сложна машина, какими бы тонкими и остроумными ни были детали ее механизма, она представляет собою комбинацию всего лишь двух простых машин: рычага и наклонной плоскости. Аналогично этому, нет ничего странного в том, что все математические методы представляют собою комбинации применения двух формально-логических правил: закона тождества и закона противоречия.

Таким образом математик стремится по возможности механизировать математическую работу, но это вовсе не значит, что он занимается механическим трудом. Математика можно сравнить с искусным инженером, который применяет к делу и вновь конструирует самые тонкие и сложные механизмы. Применение к делу уже существующих математических методов требует огромных знаний и специальных комбинаторных способностей. Но всякий сколько-нибудь выдающийся математик берется за исследование все новых проблем, для чего ему приходится конструировать все новые математические механизмы.

В разрешении новых проблем математик руководится уже не формальной логикой, но прибегает к интуиции или наглядному созерцанию пространственных и числовых отношений. Наглядные представления в области геометрии и арифметики получены нами, как уже сказано, из опыта и потому во многих вопросах дают вполне надежное руководство. Но там, где опыт кончается, наглядное пред-

ставление не только отказывается служить, но и заводит нас буквально в тупик. Так происходит во всех вопросах, относящихся к бесконечности. Рассмотрим такой пример. Пусть две прямые, лежащие в одной плоскости, пересекаются в точке A. Одна прямая неподвижна, другая же вращается вокруг точки B (не совпадающей с A). Пусть прямая вращается в таком направлении, что точка A пересечения прямых убегает вдаль. Спрашивается, отстанут или не отстанут прямые друг от друга, исчезнет или не исчезнет точка их пересечения. С одной стороны, наглядное представление ясно и несомненно показывает, что прямые отстать не могут, и точка пересечения не может исчезнуть. В самом деле, точка пересечения могла бы исчезнуть в бесконечной дали, только пройдя всю длину прямых до конца, но прямые конца не имеют и, след., не могут разойтись. Но, с другой стороны, наглядное представление с тою же очевидностью и несомненностью показывает, что, при продолжении вращения, прямые неизбежно разойдутся, и точка пересечения неизбежно исчезнет. Как могла исчезнуть точка пересечения прямых? На этот вопрос наглядное представление ответить бессильно; таким образом наглядное представление завело нас в тупик, из которого рассудочное мышление не может найти выхода.

Отсюда вытекает необходимость диалектического созерцания, которое не считает показаний рассудочной „очевидности" безусловно достоверными, которое не боится непредставимых комбинаций, вбирающих в себя единство противоположностей. Так проективная геометрия допускает, что противоположные бесконечно удаленные точки прямой справа и слева тождественны, и что, следовательно, прямая имеет только одну бесконечно-удаленную точку. Прямая рассматривается, как бесконечный и в то же время замкнутый образ. Отсюда следует, что точка пересечения наших прямых при вращении одной из них не исчезает, а переходит через бесконечность.

Такого рода диалектическое созерцание играет огромную роль в математике при разрешении новых необычных проблем. При изобретении и первоначальной разработке дифференциального и интегрального исчисления, математики обнаруживали полное пренебрежение к наглядному созерцанию и к рассудочной логике. Одну и ту же величину они то рассматривали, как имеющую численное значение, то приравнивали к нулю, то принимали зараз и то и другое. Один и тот же отрезок рассматривался и как отрезок прямой, и как отрезок кривой; дуга совпадала с хордой; ускорение движущегося тела рассматривали так: брали разность скоростей в начале и конце некоторого промежутка времени и делили на это время, а промежуток времени выбирали такой, в котором начало и конец совпадают, т.-е. равный нулю. Математики говорили при этом, что, применяя новый метод, они пренебрегают весьма малыми величинами; но в то же время они с полным правом считали, что даваемые ими решения задач не приближенны, но абсолютно точны.

Это было стихийно-диалектическое мышление. Поэтому Гегель писал, что математике „не удалось оправдать употребления бесконечного посредством понятия (понятия в собственном значении слова). Его оправдания сводятся, в конце концов, на правильность результатов, достигаемых при помощи этого определения, результатов, доказываемых из чуждых ему оснований, а не к установлению ясного понятия о предмете и о приеме, посредством которого достигаются эти результаты, так что даже самый прием признается неправильным" („Наука Логики", кн. I, 157 стр. русск. пер.).

Однако произошло не то, чего он хотел, так как дифференциальное исчисление постепенно обосновывалось при помощи формальной логики, при чем диалектические приемы вытеснялись. Эта замена диалектических приемов решения задач формально-логическими вытекала из того же стремления механизировать труд математика. Диалектическое мышление по своему существу не поддается механизации; оно не может быть разложено на несколько простейших приемов, которые могли бы быть скомбинированы в схему и автоматически применяться. А если попытаться проделать такую механизацию диалектики, то она тем самым перестанет быть диалектикой. Следовательно, для того, чтобы механизировать методы решения задач, необходимо все, что возможно, обосновать при помощи формальной логики, т.-е. свести к законам тождества и противоречия. Было бы бессмысленно, следовательно, пытаться вводить диалектику в механизированные вычислительные аппараты, но диалектическое мышление должно руководить конструкцией и применением таких аппаратов.

Рассмотрим, исходя из каких первых предложений можно формально-логически обосновать методы исчисления бесконечно-малых.

Представим себе ряд чисел или множество, упорядоченное по одному измерению. Фиктивный член ряда, обладающий только теми свойствами, которые общи всем членам ряда, называется переменной величиной. Вследствие этого переменная величина служит представителем для всех членов ряда и может быть любым членом замещена; каждый член ряда называется частным значением переменной, а весь ряд в целом—областью изменения переменной.

Если между всякими двумя частными значениями переменной существует, по крайней мере, одно частное значение, не совпадающее с первыми, то переменная называется непрерывной.

Если ни одно частное значение переменной не превосходит конечной величины a и если между a и всяким частным значением переменной существует, по крайней мере, одно частное значение переменной, то a называется верхним пределом переменной.

Если ни одно частное значение переменной не опускается ниже определенного числа b, и если между b и всяким частным значением переменной существует, по крайней мере, одно частное значение переменной, то b называется нижним пределом переменной.

Если нижним пределом переменной является нуль, то переменная называется бесконечно-малой величиной.

Если частные значения переменной следуют одно за другим сверх всяких границ, то переменная называется бесконечно-большой величиной.

Рассмотрение бесконечно-больших величин, а также величин, имеющих конечные пределы, можно свести к рассмотрению бесконечно-малых; в самом деле, если u — переменная, то $a - u$, а также $u - b$ бесконечно-малые величины; если n — бесконечно большая величина, то $\frac{1}{n}$ — бесконечно-малая. Из указанных определений можно вывести формально-логическим путем все правила дифференциального и интегрального исчисления.

Итак, дифференциальное исчисление механизировано. Но диалектика вовсе не устранена. В основе приведенных определений лежит диалектическое созерцание бесконечного, которое направляет построение определений, а следовательно, и конструкцию вычислительного аппарата. В самом деле, определения предполагают существование упорядоченных множеств, таких, в которых между всякими двумя членами существует бесконечно большое число промежуточных членов. Эти ряды чисел или простираются в бесконечность, или же приближаются к нулю, так что между нулем и всяким числом ряда существует бесконечное число промежуточных звеньев. Определения только описывают то, что представляется в диалектическом созерцании, выделяя соотношения, необходимые для дедукций, и опуская остальное.

Заключительные выводы.

Подводя итог всем предшествующим рассуждениям, мы можем сказать, что формально-логический метод в математике, как один из важных моментов в процессе познания природы, вполне законен и необходим; но тот же самый метод, поскольку не рассматривается как единственный и абсолютный, становится идеалистической ложью.

Все математические операции сводятся к применению двух формальных правил—законов тождества и противоречия, и по существу являются не доказательствами, но разысканием все новых условий, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы посылки можно было считать правильными. Различные отделы математики представляют из себя весьма сложные вычислительные аппараты, механизирующие приемы решения математических задач. Механизировано может быть только рассудочное, но не диалектическое мышление; мож т быть построена только формально-логическая, но не диалектическая машина. Поэтому внутри математических аппаратов нет места диалектике, но только диалектическое мышление дает правильную оценку математическому методу, конструирует основы математических аппаратов и направляет их действие.

В основных посылках математических систем в чрезвычайно абстрактном виде отражаются некоторые соотношения, взятые из реальной действительности.

Критерием ценности всякой математической системы является опыт, практика, главным образом возможность естественно-научных применений. Давно известно, что математика развивается в тесной связи с естествознанием и что те задачи, которые выдвигают перед математикой физики и астрономы, направляют развитие математики по единственно плодотворному руслу и дают стимул для усовершенствования математических методов и конструкции новых.

Есть, конечно, направления математической мысли, которые уводят математику в такую область абстрактных определений и формальных тонкостей, где не может быть и речи о какой-либо связи с реальным миром, о каких-либо практических естественно-научных приложениях.

Теоретики идеализма считают, пожалуй, такие отделы математики наиболее ценными и интересными, но диалектические материалисты не могут считать их чем-либо другим, кроме как утонченным интеллектуальным спортом, порождаемым научной модой. Это во-первых, а во-вторых, мы не можем согласиться и с тем, что такого рода теории, оторванные от действительности и не контролируемые ни опытом, ни созерцанием, могут быть правильно конструированы в техническом смысле. Однако здесь мы не можем остановиться на разборе таких теорий. Вопрос о них должен быть поставлен особо.

О новом учебнике по историческому материализму [1]).

И. Луппол.

Введение в учебные планы наших высших учебных заведений обязательного курса исторического материализма давно уже выдвинуло необходимость появления учебного пособия, в первую очередь для студентов, по указанному предмету. Конечно, эту необходимость можно оспаривать, выдвигая тот мотив, что лучшими пособиями при изучении теоретических основ марксизма являются некоторые работы классиков, Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина. Само собою разумеется, что без изучения таких работ невозможно знание марксизма, а следовательно, и исторического материализма. Но работы указанных авторов являются первейшими и основными источниками; наличие же источников не только не исключает, но предполагает наличие пособий к ним в помощь изучающим: комментариев, изложений, наконец, систематических сводок всего или основного материала, т.-е. того, что в свое время называли компендиумами. В таких пособиях вовсе не следует усматривать схоластики, казенщины, рутины. Самый факт постановки школьного преподавания и изучения исторического материализма волей-неволей предопределяет характер тех орудий и средств, коими это изучение должно осуществляться.

Классические произведения диалектического материализма в силу особых вполне понятных причин получили форму произведений полемических, боевых, нападающих. „Анти-Дюринг" Энгельса, „К вопросу..." Плеханова, „Материализм и эмпириокритицизм" Ленина—лучшие и свежие доказательства этому. С нашей точки зрения, это не недостаток теоретической марксистской литературы, а ее достоинство. Бойкая, живая и острая полемика не стареет, она напоминает о тех боях, какие приходилось выдерживать диалектическому материализму, она по самой форме своей выявляет действенный момент теории марксизма. Изучение молодежью подобной литературы отмене не

[1]) По поводу книги И. П. Разумовского, Курс теории исторического материализма, Гос. Издат., Москва 1924, стр. 271.

подлежит. Марксистская литература в полемической форме существует и сейчас и не может не существовать, поскольку есть критика основ марксизма извне марксизма или изнутри „марксизма". Но ни старая полемическая литература, ни литература наших дней не исключают возможности и необходимости учебных пособий, марксистской литературы in usu scholarum. Не следует забывать, что Маркс собирался писать в положительной форме своего рода логику диалектического материализма, что Ленин приветствовал и давал предисловия к хорошим марксистским учебникам.

Учебник, учебная книга необходимы в дидактических целях. Учебник, пускай даже компиляция,—но, конечно, хорошая компиляция,—по самому существу своему, дает в систематической форме путем положительного построения всю совокупность вопросов и решений по ним, входящих в тот или иной круг знания. Учебник по историческому материализму, в связной, систематической и положительной форме излагающий сущность марксистского понимания общественных явлений, конечно, не фальсифицирующий и не извращающий это понимание,—это то, что нужно нашим вузам не вместо, а при наличии преподавателя и классической марксистской литературы по отдельным вопросам. В учебнике, связывающем, поясняющем, иногда дополняющем отдельные классические работы, у нас ощущается, если не крайняя,—поскольку несколько таких пособий уже имеется,—то значительная нужда.

В наличии нескольких учебных пособий по историческому материализму и в появлении новых следует видеть не досадный разнобой, а искания новых методических путей и лучших типов формы и построения. Негодные (а у нас есть и такие пособия по историческому материализму) тем самым устраняются, талантливые и оригинальные не то что приобретают соперника, но на-ряду с новыми позволяют преподавателю и учащимся остановить выбор на более подходящем и удобном. Именно с такой точки зрения следует подходить к каждому выходящему у нас новому школьному пособию по историческому материализму.

Таким именно пособием по заданию является недавно вышедшая книга И. П. Разумовского „Курс теории исторического материализма". Книга представляет собою запись лекций, читанных студентам Саратовского Государственного университета. По форме она является типичным учебником с разбивкой материала на крупный и мелкий шрифт, с подразделениями глав на параграфы, со списком рекомендуемой литературы. Характером учебного пособия определяется далее и содержание вводной главы с размежеванием смежных дисциплин и проблем и наличие вполне уместного, в качестве именно заключительной главы, краткого очерка развития теории. Однако это же внешнее обозрение книги должно будет уже привести к выводу, что название ее курсом несколько притязательно. И по внешним размерам и по внутреннему объему трактовки отдельных

проблем книга И. Разумовского не курс, а всего лишь университетский учебник; происхождение этого учебника из лекционного курса не превращает его в курс исторического материализма; для этого нужно было бы значительно расширить рамки каждой главы. К числу дальнейших внешних, но, к сожалению, трудно исправимых качеств учебника И. Разумовского следует отнести его тяжелый для учащихся, хотя бы и вузов, слог, его, зачастую специфически академический, гелертерский язык. То, что могло бы быть изложено коротко, просто и ясно, то получает такую сложную форму и ученую видимость, которая способна только затруднить студенту усвоение сути дела. В результате иногда книга не только не оказывается пособием, но сама требует пособия.

Первая глава учебника И. Разумовского, как сказано, выясняет место исторического материализма в марксизме и пытается наметить различие между буржуазной социологией и марксистской, на точке зрения которой стоит автор. Вторая глава трактует о предпосылках методологии познания; соответственно этому здесь излагаются основы гносеологии марксизма и его методологии в узком значении этого слова. Следующие две главы посвящены выяснению сущности материализма и диалектики. С пятой главы начинается анализ проблем собственно исторического материализма: социальный базис, классы, политическая и идеологическая надстройки. Предпоследняя глава дает краткий очерк развития общественных структур, т.-е. как бы представляет материал, изложенный уже раньше, но не в вертикальном разрезе, а в разрезах горизонтальных. Последняя глава, как сказано, занята очерком развития марксистской теории. Таково внешнее построение книги.

Поскольку учебник предназначается для социально-экономических вузов, нельзя считать недостатком в педагогическом отношении выделение в первые главы обще-теоретических вопросов. Студент, читатель, предполагается, уже имеет сведения о сущности материалистического понимания истории; перед углубленной проработкой этого предмета он должен ознакомиться с обще-методологическими основами марксизма. Только при таком расположении материала может быть достигнуто осмысливание проблем исторического материализма.

Те главы и параграфы книги, материал для которых автор находил у марксистов-классиков, ведутся по способу изложения с привлечением большого количества цитат. Это использовывание цитат само по себе не может быть поставлено в вину автору учебника. Учебник не есть исследование или монография. Автор учебника, самостоятельно работавший и давший нечто оригинальное по одному-двум вопросам, не может не прибегать при составлении учебника к трудам и работам других; тем более это должно иметь место в учебнике по историческому материализму. Однако не должно быть злоупотребления цитатами, нагромождения их, а именно это имеет

место во второй половине книги т. Разумовского. Пестрота цитат, взятых у различных авторов из различных книг с различием в стиле, неблагоприятно отражается на достоинстве учебного пособия. И этим грешит разбираемое пособие.

Таковы те качества, какие относятся к внешности учебника И. Разумовского. Самый разбор книги, затрагивающей, с одной стороны, массу вопросов, а, с другой, многие из них добросовестно излагающей на основании ценной марксистской литературы, должен, очевидно, сосредоточиться на тех сравнительно немногих в данном случае положениях, в которых автор пытается дать свою оригинальную точку зрения или хочет выдать свои взгляды в качестве взглядов основоположников марксизма.

Последнее обстоятельство имеет место у И. Разумовского по вопросу о природе причинности. Автор, конечно, стоит на точке зрения причинной связи явлений. Но он не удовлетворяется традиционным в марксизме пониманием причины, оно кажется ему „столь же несовершенным и связанным с первобытными представлениями, как понятие цели". Ему далее кажется, что если мы говорим „причина", то мы непременно антропоморфизируем явление. „Лишь бедность и унаследованность способа выражения заставляют нас употреблять выражение „причинная связь" для обозначения гораздо более сложных взаимоотношений между явлениями". Современная наука, по И. Разумовскому, видите ли, отказывается от понятия причины и употребляет понятие функциональной зависимости. Этим последним автор также не удовлетворен. Он говорит о „более своеобразном и проникновенном" разрешении этого вопроса у Маркса.

Каково же это разрешение? По И. Разумовскому, причинная связь явлений есть „цепь отношений, взаимно обусловливающих одни другие и взаимно отражающихся одни в других"; равным образом причинная закономерность явлений у автора выступает, как „отражение общего отношения в конкретных явлениях". Таким образом автор, неудовлетворенный „антропоморфизмом" причины, подменяет ее взаимным отражением явлений или отношений.

При такой постановке вопроса проблема причинности, столь существенная в марксизме, по-просту снимается, устраняется, и вместо нее выступает взаимодействие без какого бы то ни было направляющего и производящего момента, — взаимодействие, взаимное отражение, рефлексия, и только. Автор, как полагается, ссылается на Маркса, приводит цитату из „Введения к Критике политической экономии", где Маркс говорит, что производство есть также и потребление, что производство и потребление—каждое непосредственно—заключает в себе свою противоположность и т. д., словом, то всем известное место, где говорится о производстве, обмене, распределении и потреблении, как о частях единого целого. Автор знает, что логически эти положения Маркса восходят к учению Гегеля об „явлении" (II отдел II книги „Науки логики"). Это верно, но ведь вопрос в том,

идет ли там—и у Маркса и у Гегеля—речь о причине и действии, или о кое-чем другом.

Если бы автор поглубже вник в соответствующие страницы „Введения", он увидел бы, что Маркс дает здесь блестящие иллюстрации и обоснование к ним материалистической диалектики так называемого (у Гегеля) „существенного отношения", но отнюдь не причинности. Производство и потребление взаимно заключают в себе „свое другое", свою противоположность, если угодно, отражаются друг в друге; это, собственно, диалектика (в логически чистой форме) положительного и отрицательного. В данной связи мы имеем то же отношение и между капиталистами и пролетариями: каждый имеет в другом свою противоположность, и притом свое другое. Но здесь нет еще места категории причинности, причины, как порождающей из себя, производящей деятельности, в чем, собственно, и состоит природа причины.

Когда Маркс говорит о производстве, обмене, распределении и потреблении, как о частях целого (скажем, экономики), то он дает здесь опять-таки блестящие образцы материалистической диалектики целого и частей, а до диалектики причины и действия еще далеко; здесь нет еще деятельности, порождающей новое действие, а есть лишь отражение, взаимное отражение внутри одного и того же отношения. Такова же природа диалектики внутреннего и внешнего, силы и ее обнаружения. Автор, прибегающий (и в этом его известное достоинство) к Гегелю, должен понять, что даже в диалектике силы и ее обнаружения нет еще диалектики причины и действия. Сила обнаруживает самое себя и в своем обнаружении проявляется та же сила; причина же переходит в действие, порождает принципиально иное явление (действие), хотя по содержанию они тождественны. Конечно, не приходится говорить, что ни сила, ни причина никаким антропоморфизмом в глазах диалектика страдать не могут. И. Разумовский задумался над данными страницами у Маркса, правильно нашел им у Гегеля соответствующий идеалистический прототип, но не увидел того, что в данном случае речь идет не о категории причинности. Объявивши же „существенное отношение", говоря в гегелевских терминах, „абсолютным отношением", он, конечно, не мог не притти к подмене марксистской причинности „взаимным отражением отношений".

При такой точке зрения логический вывод будет лежать далее не в функциональной зависимости, а в беспорядочном, ничего не объясняющем взаимодействии. Мир должен предстать перед нами в виде совокупности монад, но только (в противоположность лейбницевым) монад „с окнами", взаимодействующих монад. В приложении к общественным явлениям это будет старая знакомая марксизма: теория факторов. Таковы логические выводы из концепции „причинности" И. Разумовского, которую он выдает за концепцию Маркса. Нужно сказать, что, к счастью, в силу непоследовательности мысли

автора, эта его концепция не влияет на дальнейший ход изложения; он как бы забывает о своей теории взаимного отражения отношений.

В этой же связи вызывает сомнение, с последовательно материалистической точки зрения, и трактовка И. Разумовским „случайности". Есть ли случайность лишь субъективная категория? Конечно, можно возразить так, как некогда один бойкий товарищ ответил Ленину: нет такого явления, которое не имело бы основания, все причинно обусловлено. Такой ответ—не более, как трюизм, и, конечно, не составляет открытия Америки. Но дело в том, что каждая категория должна обладать известной познавательной ценностью. Сказать, что „в явлениях нет места случайности", значит ничего не сказать. Случайность выступает перед нами не только той своей стороной, по которой она есть непознанная необходимость, но и иной стороной, имеющей определенную познавательную ценность. Нужно понимать случай, как факт, входящий в область лишь внешней действительности, который разыгрывается лишь на поверхности явлений, как говорил Гегель; такие факты не имеют внутреннего основания. Они возникают из внешнего столкновения обстоятельств (совпадение, инцидент) и потому имеют характер единичных фактов, не отражающихся на общем ходе, скажем, исторического развития. Точка зрения И. Разумовского не может принять такой диалектической концепции случайности, но, как мы видели, она не является и точкой зрения причинности. Выходит, что не капитализм имманентно порождает (переходит в свое действие) коммунизм, не взирая на отдельные случайности, а капитализм и коммунизм взаимно отражаются! Мимоходом заметим, что автору не везет с принципом причинности и в других случаях, напр., когда он лейбницевский принцип достаточного основания приравнивает к закону причинной обусловленности. В этом отношении у старика Гегеля тоже можно было бы кое-чему поучиться.

Новизной и притом весьма сомнительной ценности представляется нам формальное разграничение, проводимое И. Разумовским в отношении понятий: диалектический материализм и материалистическая диалектика. Хотя, с точки зрения самого автора, понятия эти соотносительны, имеют смысл во взаимной связи и неприемлемы одно без другого, однако он пытается трактовать диалектический материализм лишь как теорию познания, а материалистическую диалектику как „философские предпосылки марксизма вообще". Нужно сказать, что соответствующий параграф учебника является как раз образчиком не столько путаности мысли, сколько надуманного, запутанного изложения, отсутствия простоты и ясности, столь необходимых в учебном пособии. На-лицо стремление автора создать искусственное расчленение вполне ясного понятия, стремление, напоминающее вымученные попытки схоластиков находить нарочито „различения" там, где их нет или они не нужны.

Диалектический материализм в узком значении есть теория познания,—говорит автор. Но диалектический материализм понимается и в более широком значении, именно, как „философские предпосылки марксизма вообще"; тогда это будет, видите ли, уже материалистическая диалектика. Но диалектический материализм в широком его понимании включает в себя материалистическую диалектику; значит, первое понятие более широко?—спросит читатель-учащийся.—Нет!—Но,—продолжает автор,—диалектика включает теорию познания. Значит, диалектика шире теории познания?—спросит опять читатель в недоумении.—Опять, нет. Марксистская гнесеология и диалектическая методология „в своей „совокупности и составляют теорию познания в широком смысле". Оказывается, значит, что теория познания поглотила теперь диалектику, как методологию. Вот вся эта игра словами, „широкие и узкие смыслы"—как раз то, что должно быть в учебниках в минимальном количестве. Повторяем, различия между диалектическим материализмом и материалистической диалектикой И. Разумовскому провести не удалось и, конечно, прежде всего потому, что его нет. Если это делается только для того, чтобы поставить логическое ударение в первом случае на субъекте (материализм), а во втором—на предикате (диалектический), то в педагогических целях можно и должно, конечно, сосредоточивать анализ раздельно, последовательно на обоих моментах, но для этого вовсе не нужно изыскивать некие принципиальные различия там, где их нет. Можно, конечно, говорить, и марксисты говорили об „историческом материализме", о „материалистическом понимании истории", о „монистическом понимании истории", даже о „синтетическом понимании истории", наконец, об „экономическом материализме", у французов по традиции говорят об „экономическом детерминизме", но пытаться схоластически искать различения этих понятий и, главное, заносить их в учебники для заучивания—нелепо; это, действительно, будет засушиванием живого дела, весьма неблагодарным занятием.

Досадный характер таких надуманных положений И. Разумовского оттеняется еще тем, что, в сущности, по данному вопросу у него имеются и вполне правильные, ценные мысли (в иной связи и в иной форме они высказывались уже А. М. Деборином). Это правильное положение, если его выразить словами учебника, гласит: „Марксистская теория познания (мы бы сказали: диалектический материализм. *И. Л.*) разрешает одновременно вопросы: онтологический—вопрос о том, что существует, каковы основные элементы существующего и их взаимоотношения... и гносеологический вопрос о том, как и в какой мере это существующее познаваемо. Но обе эти проблемы разрешаются не раздельно, а одновременно,—в плоскости методологической" (стр. 53).

Действительно, диалектический материализм не может отмахнуться и не отмахивается от гносеологической и онтологической проблем. Он решает их, „снимает" их в гегелевском словоупотреблении; обе эти проблемы не исчерпывают диалектического материализма, они разрешаются в проблему методологии. Методология знания на основе действия и действия на основе знания, единство теории и практики,—вот что составляет сущность и вместе с тем живой нерв диалектического материализма.

К сожалению, И. Разумовский, сформулировав приведенное выше положение, не развивает его и, что еще досаднее, не строит изложения по такому пути, по какому это следовало бы сделать, исходя из указанного тезиса. Диалектический материализм должен быть проведен и показан и в гносеологии, и в онтологии, и методологии. Вместо этого автор сперва говорит об общих предпосылках методологии (в то время как она, как синтез, должна быть в конце), затем о материализме (гл. III), после о диалектике (гл. IV). Таким образом пропадает внутренняя последовательность и логический ход развития проблем.

Несомненно, что тема учебника (исторический материализм) несколько усложняет дело. Но в данном случае осложнение вносится прежде всего самим автором, его трактовкой исторического материализма как социологии, что якобы путем размежевания с буржуазной социологией у него должно означать методологию познания, изучения общественных явлений. Вот поэтому-то, хотя автор и говорит о действенном моменте и о Ленине, эта действенность у него логически не вытекает из хода мыслей. Марксистскую методологию нужно мыслить, как мы сказали, не только как методологию знания на основе действия, но и действия на основе знания.. В таком аспекте нужно брать и проблему классов, и проблему партий, и государства, и, в частности, диктатуру пролетариата. Между тем логика т. И. Разумовского приводит неизбежно к тому, что проблема партии вовсе выпадает (одна страница), диктатура пролетариата смазывается (фигурирует лишь в главе об исторических типах общественных структур).

Кардинальный вопрос из области собственно исторического материализма,—понятие общества,—решен И. Разумовским более удовлетворительно, чем это делалось в последнее время (Бухарин, Энгель, Трахтенберг и др.), но все же оставляет желать лучшего. Автор начинает с перечисления признаков общества. Первый признак—люди: „наиболее важным элементом общественной жизни... являются, несомненно, составляющие его люди". Конечно, „человека" из „общества" не выбросишь. Но какую познавательную ценность имеет такой признак? „Человек" входит уже в „общество", и потому сказать, что первый признак общества есть люди, это значит сказать, что первый признак треугольника есть три угла. Это есть лишь „пустое тождесловие". Конечно, говорят об обществе пчел, муравьев, но ведь это то же самое, что говорить об обществе деревьев, камней. Мы слышим уже громкие обвинения в „антропоцентризме" и прочих грехах. Но ведь одно из двух: или мы говорим об обществе в обыденном, житейском словоупотреблении,

и тогда, конечно, можно говорить не только об „акционерном“ обществе, но и о „приятном“ обществе и т. д.; или мы говорим об обществе, как социальной категории, и при том в марксистском понимании этого слова. Тогда ни о каком обществе пчел говорить не приходится, ибо далеко не всякое общество людей (важнейший признак!) будет обществом. Стоит только вспомнить различие между Gemeinschaft и Gesellschaft. Если бы автор внимательно прочел „Что такое друзья народа...“ Ленина, он увидел бы, в чем сущность марксистского определения общества. Разъяснение Лениным конкретности этого определения остается никем не превзойденным.

Люди, по Разумовскому, составляют „конститутивный“ признак общества; познавательную ценность этого признака мы только что видели. На втором месте стоит у автора признак „социально-психологический“ (!); это—то, что устанавливает общение, связи между людьми: орудия труда, средства сообщения, памятники культуры, язык, нравственные и эстетические воззрения и т. д., и т. п. Читатель видит, что мы благополучно выбрались уже из звериного царства, но все еще витаем в сфере Gemeinschaft, а не Gesellschaft. Только третьим признаком общества, как целого, автор считает признак „экономический“: производство, общественные отношения производства. Только теперь говорит нам автор о том, что „понятие производства неотъемлемо от понятия общества“. Между тем, в согласии с Марксом, именно с этого нужно было начинать. Общество есть только там, где есть определенные производственные отношения. Ежели говорить о труде, о трудовых связях, как конститутивном элементе общества, то ведь и пчела трудится, не только что капиталист. Но производственные отношения будут только там, где есть люди, а люди начинаются только там, где есть общество. Общество выступает прежде всего как совокупность производственных отношений. При чем, конечно, такое определение будет голой, ничего еще не дающей абстракцией, если мы не определим производственных отношений. Каковы эти отношения? Если перед нами будет совокупность капиталистических производственных отношений или иных, но вполне определенных, то только тогда мы можем сказать, что пришли к конкретному понятию общества и только такое понятие будет уже обладать всей познавательной полнотой и ценностью. В учебнике все это должно быть особенно четко выявлено, тем более, что автор претендует, на, так сказать, методологическую точку зрения; к сожалению, этой четкости по данному вопросу нет; он приходит к „экономическому“ признаку, но уже после признака „социально-психологического“.

Обозрение книги т. Разумовского, которой, несомненно, суждено стать распространенным учебником, отнюдь не должно итти страница за страницей. Мы выбрали несколько существенных пунктов и на этом в краткой статье могли бы остановиться. Из положений, имеющих более второстепенное значение, укажем на следующие:

В своих историко-философских экскурсах автор подчас обнаруживает излишнее согласие с старыми буржуазно-идеалистическими учебниками по истории философии. Так, определенно не повезло французским материалистам. Откуда, напр., т. Разумовский заимствовал свое суждение о Дидро, как деисте, как менее оригинальном мыслителе, чем Гольбах? Деистическая точка зрения Дидро относится, скажем, к 1747 году, но после этого Дидро-материалист жил еще около сорока лет. Нельзя поэтому вписывать на страницы учебника вывод о том, что Дидро оставался деистом. Тогда, пожалуй, и Маркса можно считать идеалистом потому только, что он был им до 1842—1843 годов.

Нельзя так просто отделаться положением, что французскому материализму „были чужды идеи последовательного развития организмов“. Конечно, материализм XVIII века не дошел до развернутой теории эволюции видов, это общеизвестно, но как раз ему—а не идеализму XVIII века—не были чужды идеи последовательного развития организмов. Стоит вспомнить того же Дидро, далее Робинэ, Ламеттри („Человек-растение“), Бюффона. Идеи развития организмов носились уже в воздухе во второй половине XVIII века, и к чести материалистов того времени следует отнести то, что именно они были носителями этих идей. То же явление имеет место и в историческом очерке развития диалектики. И. Разумовский не забыл ни Зенона, ни софистов с Сократом, но он забыл об элементах диалектики у французов. А в этом отношении и Робинэ, и Дидро, и Дом-Дешан могли бы кое-что дать; по части Робинэ помог бы и Гегель,— не даром великий диалектик XIX века уделяет достаточно места забытому материалисту XVIII века.

В главе, трактующей о диалектике, хотелось бы видеть большей подробности и полноты. Автор в специальном параграфе останавливается на переходе количества в качество, в специальном параграфе останавливается на отрицании отрицания; в таком случае следовало бы дать читателям и логический анализ перехода возможности в необходимость, тем более, что это весьма существенно для уразумения общественно-исторических явлений. Автору, стоящему на методологической точке зрения, следовало бы остановиться и еще на некоторых категориях диалектики.

В параграфе „Философские и научные формы общественного сознания“ есть и упрощенство проблемы, и некоторая путаница. Сказать, что „идея беспредельности и развития бытия была несомненно подсказана Дж. Бруно стремлением к расширению нарождающегося торгового капитала“, значит только выдать крупный вексель по объяснению и доказательству такого тезиса. Между тем, доказательство у т. Разумовского отсутствует. Здесь же имеются еще большие отголоски суздальски простой мининской схемы: „религия, философия, наука“. Философия, оказывается, по-просту продолжает начатое религией дело; философия „в определенный период“ сменяет религию. Как, любопытно было бы знать, следует понимать эту смену?

Так, что религия вовсе исчезает и на ее место становится философия? Отношение философии к науке тоже представлено в мало вразумительной форме.

Мы не останавливаемся на многих таких положениях автора, которые, хотя и имеют сравнительно второстепенное значение, все же подлежат исправлению и переработке в следующих изданиях учебника. Надо думать, что такая переработка в силах автора. Уже в первом издании он дал доказательство тому, что принимает к сведению замечания критики и не считает свои взгляды не подлежащими исправлению. Мы имеем в виду собственную концепцию И. Разумовского по вопросу о природе идеологии. В свое время, как, вероятно, помнит читатель, концепция И. Разумовского, порывавшая с марксистской традицией, базировавшаяся на некоторых положениях Энгельса, имевших специальное значение и смысл, наконец, концепция, встречавшаяся на практике с целым рядом непреодолимых препятствий, встретила дружный отпор в марксистских рядах. Теперь автор заключает эту свою точку зрения в мелкий шрифт и, таким образом, не навязывает ее читателю-учащемуся. Это, несомненно, положительное качество книги как учебного пособия. Можно даже пожелать, чтобы специальные точки зрения по отдельным вопросам внутри марксизма были представлены таким способом и в отношении еще некоторых проблем, по которым внутри марксизма нет еще полной договоренности. Тем самым учащийся не только бы воспринимал готовые результаты, но и вводился бы в круг теоретических дискуссионных вопросов.

Внимательное обозрение книги И. Разумовского должно привести к выводу, что она в общем удовлетворяет своему назначению в качестве университетского учебного пособия. Конечно, должны быть заново переработаны отдельные параграфы, прежде всего те, в которых автор хотел навязать марксизму несвойственные ему взгляды. Это, как сказано, имеет место в отношении тех проблем и понятий, которыми марксисты-классики по тем или иным причинам не занимались. Затем должны быть пересмотрены те отдельные положения автора, которые недостаточно им продуманы и носят отпечаток изложения наспех и без специальных исследовательских экскурсов. Наконец, подлежат некоторой технической правке места с неправильными переводами (напр., неверный плехановский перевод одного из тезисов Маркса о Фейербахе) и излишне загроможденные цитатами. Не помешал бы и общий пересмотр формы изложения и стиля.

С такими усовершенствованиями книга И. Разумовского, несомненно, принесет пользу всем серьезно взявшимся за изучение исторического материализма.

Объективный момент в парциальном мышлении.

Р. Выдра.

Качественный характер парциального мышления.

В 1882 г. Энгельс, ознакомившись с обычаями и образом жизни первобытных племен Сев. Америки, писал Марксу в письме от 8/XII: „Для того, чтобы уяснить себе окончательно параллель между германцами Тацита и северо-американскими краснокожими, я проштудировал первый том твоего Банкрофта. Сходство тем более поразительно, что способы производства существенно различны: здесь—рыболовы и охотники, не занимающиеся скотоводством и земледелием, там—кочевое скотоводство, переходящее в земледелие. Это доказывает, что на этой ступени способ производства оказывается менее решающим, чем степень разложения древних уз кровного родства и древнего взаимного общения полов в пределах племени“. Возвращаясь восемь лет спустя к тому же вопросу об отношении „базиса и надстройки“ в первобытном обществе и пытаясь последнюю охарактеризовать более конкретно, Энгельс в письме к К. Шмидту от 27/X 1890 г. писал: „В основе этих (доисторических) различных неправильных представлений о природе, о строении самого человека, о духах, волшебных силах и т. д. лежит по большей части лишь отрицательно-экономическое (nur Negative Oeconomisches): низкое экономическое развитие до-исторического периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины, ложные представления о природе“.

В этих утверждениях, особенно в последнем, можно усмотреть полное превращение того отношения, которое исторический материализм устанавливает между идеологией и экономикой: низкое экономическое развитие имеет своей причиной ложные представления о природе! Что в современном обществе и на протяжении так назыв. исторического периода идеология оказывает обратное действие на экономику и выступает по отношению к ней в известной мере в качестве причины, является необходимой частью диалектического материализма: разрозненных и изолированных друг для друга причин и следствий не существует. Доказательству этого положения в борьбе с вульгарным материализмом было посвящено немало сил самим Марксом, Энгельсом, Плехановым и мн. друг. Но дело в отношении идеологии первобытного общества заключается как будто не в этом. То специфическое значение, которое она имеет на низших ступенях, сообщает ей какое-то особое качество, позволяющее Энгельсу без

ссылок на обратное действие идеологии устанавливать ее в качестве причины низкого экономического развития. Хотя этот факт оказался в полном противоречии со всем материалистическим мировоззрением, он нисколько не испугал Энгельса. Им был только поставлен новый вопрос об особом значении идеологических процессов первобытного общества, специальных законах их движения и действия и более сложной связи со всей общественной организацией. При этом, по мере того, как рос конкретный материал, относящийся к первобытному обществу, вопрос все более и более расширялся. Если в начале речь шла о „неправильных представлениях о природе, о мифах, религии, то постепенно с ознакомлением с разнообразными процессами идеологии, как счисление, классификация, языковые формы и пр., вставал вопрос обо всем первобытном сознании в целом, о способе восприятия, связи представлений—о первобытном мышлении, охватывающем все стороны жизни.

До поры до времени процесс собирания материалов, их систематизации и толкования находился в руках специалистов-психологов и этнологов. Поскольку дело касалось форм мышления, революционеры-материалисты выступали на более непосредственной и боевой почве—на отношении формального или метафизического и диалектического мышления. Практические потребности борьбы заставили Маркса и Энгельса и их учеников вскрыть ограниченность и недостаточность метафизического мышления, обнаружить его историческое место и показать, что оно составляет лишь момент диалектического мышления. „Как полет есть частный случай движения, так и мышление по правилам формальной логики (согласно „основным законам“ мысли) есть частный случай диалектического мышления“,—так формулировал это отношение Плеханов [1]). Одновременно с этим были установлены те факты, которые лежали в основе возникновения и развития обеих форм мышления: изучение отдельных предметов привело к укреплению формального мышления, изучение процессов проложило дорогу диалектическому мышлению.

С выполнением этого дела, т.-е. с обнаружением и установлением исторического места формального мышления, как момента диалектического мышления, была решена только одна часть задачи. Ибо, как только решение было найдено, сейчас же встал другой вопрос: а вот это самое формальное мышление, является ли оно исходным пунктом всякого развития сознания и не включает ли оно в себе какие-либо другие моменты, другие типы мышления? Или, быть может, его следует считать постоянным и неизменным на протяжении всей истории человечества? Казалось бы, что так оно и есть. Казалось бы, что иначе и не может быть, если принять во внимание основные законы формального мышления. В чем они заключаются? В законах тождества и противоречия. Если перевести их со школьного языка на обычный и если вспомнить, что это—законы, не писанные в учебниках логики, а законы мышления, то они означают следующее: непредубежденному, немистифицированному (каким должен бы быть первобытный) человеку вещи даны так, как они есть. Дерево для него—дерево, копье—копье и т. д., а не то и другое вместе: дерево—копье и копье—дерево. Кажется совершенно естественным, что вещи сперва даны в своей непосредственности. Даже Гегелю, отцу современной диалектики, не удалось избегнуть такого „естественного“ представления. В своей „Феноменологии духа“, имеющей специальной целью показать историчность всех форм человеческой идеологии, начиная с чувственной достоверности, через самосознание, разум и т. д. до абсолютного духа, Гегель начинает с непредубежденного, совершенно наивного человека, „схватывающего“ вещи, как они есть: „Знание, которое первоначально или непосредственно является нашим предметом, не может быть ничем другим, как самим непосредственным знанием,—знанием непосредственного или существующего“ [1]). Установив этот исходный пункт, Гегель желает показать диалектику отношения: субъект—объект на данной ступени. Полагая, что самые простые формы, в которых объект выступает даже на самой низшей ступени сознания, суть пространственно-временные отношения, Гегель задает своему воображаемому (очевидно, еще немистифицированному, непредубежденному) субъекту вопрос: Что такое „здесь“? и сам отвечает: „Здесь“, есть, например, дерево. Если я повернусь, то эта истина пропала и превратилась в противоположную: здесь не дерево, а дом. „Здесь“ само не пропадает, но сохраняется в пропадании дома, дерева и т. д.“ [2]). Критика, которой подвергает этот пункт Фейербах, будучи по существу правильной, нисколько не затрогивает, однако, исходной точки зрения Гегеля. Она остается непоколебленной Фейербахом и заключается в том, что в приведенных различных отношениях: субъект—объект—в первом случае дерево дано субъекту, как таковое, в чистом своем виде, а во втором—дом дан субъекту, как таковой. Если охарактеризовать этот приписываемый наивному человеку мыслительный процесс, посредством которого удерживается строжайшее различие между деревом и домом,—различие, при котором только и возможно гегелевское „пропадание“, то как раз и придется прибегнуть к „основным законам“ мысли, т.-е. тождества и противоречия. Иными словами, мышление самого что ни на есть первоначального сознания—наивного реализма—оказывается формальным мышлением. Таким образом Гегель, начав борьбу с метафизическим мышлением, отодвинул лишь его за пределы досягаемости, к начальному пункту развития человеческого сознания.

Маркс перевернул гегелевскую диалектику, поставив ее на ноги. Одной из составных частей этого процесса превращения было обнаружение материалистической подкладки в переходе от формального мышления к диалектическому. Но, как уже было указано, при решении вопроса сейчас же возник другой: о предшествовавших формах мышления. Параллельно с этим, но с другой стороны, подходила к тому же вопросу положительная наука в лице сравнительной психологии и этнологии. Точка зрения развития, одержавшая одну победу за другой, проникла также и в область мышления. Огромный эмпирический материал, накопившийся со временем относительно мышления первобытных народов и обнаруживший у них отсутствие общих понятий, зачаточные формы счисления, практические обычаи и воззрения, несовместимые с „нормальным“ мышлением, все более настойчиво требовал построения известного моста между первобытным и нашим мышлением, установления между ними непрерывного ряда промежуточных ступеней. Исследование велось по двум направлениям. Одно из них определялось тем исходным пунктом, что современное мышление по своей форме богаче и совершеннее первобытного и что, следовательно, дело сводится к тому, чтобы проследить

[1]) Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах. Предисловие Плеханова. XXIII, изд. 1919 г.

[1]) Гегель. Феноменология духа. Перев. под ред. Радлова. 1913 г., стр. 43.
[2]) Там же, стр. 45.

рост этого формального богатства и совершенства. Теория эволюции Спенсера рассматривала первобытное мышление, как низшую ступень современного, как его неразвитое состояние, качественно, однако, однородное с ним. Существенные поправки в ход развития вносит теория, приписывающая особое значение чувственно-двигательным моментам, играющим важную роль в представлениях и их связях первобытного мышления. Рибо в своей „Эволюции общих идей" характеризует развитие мышления, как рост способности отвлечения и способности обобщения, начиная со смутного родового образа (imago générique) и кончая наиболее абстрактными понятиями современной формальной логики. Но и здесь, как и в первом случае, мы не выходим за пределы чисто-количественного рассмотрения явлений.

Другое направление, главным образом, этнологическое в качестве своего исходного пункта и предмета исследования берет содержание первобытного мышления. Дать более или менее рациональное, научное понимание всей той мистики, религиозных представлений, обрядов и пр., которые составляют содержание первобытного мышления,—такова задача указанного направления, нашедшего свое главное выражение в анимистической школе. Но как она, так и эволюционистская школа имеют под собой ту общую почву, что обе стоят на количественной точке зрения и обе одинаково односторонни: одна рассматривает исключительно формальную сторону, другая—исключительно его содержание.

Первую попытку объединения обеих сторон и рассмотрения первобытного мышления в целом, при чем не только как процесс количественного изменения, но как связанный с определенным качественным моментом, представляет собой Дюркгейм со своей школой. Анализ тех средств, которыми первобытное мышление ориентируется в пространстве, создает свои роды и виды, обнаруживает его качество, отличающее его от нашего: коллективность и зависимость от социальной структуры. Потребовался огромный материал и умение разбираться в нем, чтобы это качество было уловлено. Но одно дело „уловить" качество, другое—суметь найти его организующую силу, его действие на первобытное мышление в целом, на все стороны его проявления, на вытекающую из него практику, словом, на всю жизнь первобытного общества. Это оказалось возможным при полном отказе от малейшей попытки выведения или объяснения той или иной стороны жизни первобытного общества, исходя из нашего мышления. Всякое оперирование нашими понятиями означает своего рода метафизику, то жонглирование „человеком вообще", над которым смеялся Маркс. Всякое привнесение в первобытное мышление наших представлений, наших мотивов, наших законов есть уже абстракция, отрыв от конкретного первобытного мышления, как такового. Отказ от чисто-количественной точки зрения, от взгляда на первобытное мышление, как на уменьшенное наше мышление, как на такое, которое можно построить, вычтя из нашего мышления некоторые элементы или взяв их в минимальных дозах,—является первым необходимым условием понимания первобытного мышления. Такую всесторонне развитую качественную точку зрения можно приобресть лишь в результате рассмотрения конкретного первобытного мышления, как оно дано само по себе.

Огромное значение качественной точки зрения для диалектики ясно само собой. Ибо здесь-то мы и подходим с другой стороны к тому вопросу, который был поставлен вначале: о моментах, включенных в формальное мышление, о предшествовавших ему типах мышления. Ясно, что только тогда можно будет говорить в полной мере о действительном историческом месте формального мышления, когда будет показано, что оно не только составляет момент диалектического мышления, но само включает предшествующие типы мышления. Без определения самих этих качественно различных типов мышления невозможно говорить о диалектике идеологических процессов. На это совершенно правильно указывает т. Бухарин в своей „Теории исторического материализма": „Не нужно думать также, что мышление всегда было мышлением одного и того же типа. Выше мы видели, как некоторые почтенные ученые объясняют возникновение науки таинственной и вездесущей способностью к причинному объяснению, не позволяя себе даже задать вопроса, да откуда же появляется эта в высшей степени приятная склонность. Между тем теперь может считаться вполне доказанной изменяемость типов мышления. Так, наприм., Леви-Брюль (Levy-Bruhl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures) в книге, специально посвященной способу мышления дикарей, характеризует это мышление совсем не таким, как современное „логическое" мышление; он называет его до-логическим (pré-logique) мышлением" [1]). Действительно, схватить это качество во всей его непосредственности и конкретности, обнаружить его конкретные формы, показать его действие на все решительно стороны жизни первобытного общества, развить его, как единый, монистический принцип,—такова задача, которую удалось более или менее разрешить именно Леви-Брюлю. Удалось потому, что он отказался под давлением опытного материала от абстрактной точки зрения и обратился к первобытному мышлению во всей его конкретной действительности. Хотя он рассматривает до-логическое мышление в статическом состоянии, а не в процессе образования, хотя он не указывает конкретно связи этого типа мышления со всей общественной организацией первобытных племен, берет его в качестве готового продукта, тем не менее именно Леви-Брюлю удалось точно и ясно сформулировать специальные законы и формы первобытного мышления: коллективные представления и закон партиципации.

Это приводит к совершенно иному взгляду на отношение между первобытным мышлением и современным. Переход от одного к другому невозможен без скачков. Иными словами: в действительной человеческой истории необходим был длительный процесс разложения одного и образование другого типа мышления. В то время, как господствующая (ее бы можно было назвать рассудочной) точка зрения на образование формального мышления видит в нем исключительно количественное нарастание определенных черт, простое поступательное движение,—качественная теория Леви-Брюля рассматривает тот же процесс, как сложное, сопряженное с моментами разложения и возникновения, движение. При таком взгляде совершенно ясно выступает организующая сила законов мышления, их действие на все виды деятельности. Практика и теория оказываются единым, цельным процессом. Здесь нет места изолированному развитию отдельных сторон его, как способности восприятия, системы счисления, языка, практических обычаев и пр. Все дано в целом и во взаимной связи. Изменение в одной части немедленно сопровождается изменением других и приводит к перерождению всей системы, всего типа мышления.

Таковы новые, диалектические моменты, присущие теории Леви-

[1]) Бухарин, Теория исторического материализма, стр. 237, изд. 1922 г.

Брюля. Представляя огромные преимущества по сравнению с прочими более или менее метафизическими теориями, она все же дает нам диалектику неполную, касающуюся исключительно формальной стороны дела. Леви-Брюль не доводит своего дела до конца. Он рассматривает первобытное мышление, как нечто готовое, хотя и сложное, но не нуждающееся, в свою очередь, в историческом процессе для своего возникновения. Между тем, сама сложность и богатство первобытного мышления служат доказательством весьма длительного пути, лежащего впереди, и коллективных представлений и закона партиципации. Игнорирование этого обстоятельства обрекает Леви-Брюля на вращение исключительно в пределах формальной стороны первобытного мышления. Связь его со всей общественной организацией первобытного общества оказывается поэтому исключительно формальной. Отсюда и то понятие мистичности, к которому вынужден прибегнуть Леви-Брюль. Что означает по существу эта мистичность, обнаружится в дальнейшем. У Леви-Брюля она объективно играет ту роль, что скрывает историчность самого первобытного мышления, коллективных представлений и закона партиципации и их связь с реальной организацией первобытного общества, с его практикой и опытом. Энгельс обвиняет себя: „Мы все на первых порах считали и должны были считать особенно важным выведение политических, правовых и прочих идеологических представлений и обусловленных этими представлениями действий из основных экономических фактов. При этом мы из-за содержания не обращали достаточного внимания на формальную сторону: на род и способ, каким указанные представления и пр. соединяются“ [1]). По отношению к Леви-Брюлю это обвинение может быть перевернуто: слишком много внимания форме, очень мало—содержанию. Хотя перегибание палки и понятно в отношении Леви-Брюля, как исследователя-пионера, прокладывающего новые пути, вынужденного бить в одну точку, чтобы преодолеть сопротивление „некоторых почтенных ученых“, тем не менее, это не может помешать разрушению идеалистических иллюзий Леви-Брюля и обнаружению действительного объективного значения найденных им коллективных представлений и закона партиципации.

Коллективные представления.

В основе первобытного мышления, как и всякого другого, лежат наиболее простые психические факты-представления. Они являются фундаментом, на котором строится все идеологическое здание. В них можно видеть первый результат отношения: субъект—объект. Каковы же эти представления первобытного мышления? Они прежде и раньше всего коллективны. В чем это выражается?

„Определяя коллективные представления лишь в общих чертах и без дальнейшего углубления, можно сказать, что представления, называемые коллективными, могут быть опознаны по следующим признакам: они общи всем членам данной социальной группы; они передаются в ней от поколения к поколению; они навязываются индивидам и возбуждают в них, в зависимости от случая, чувство почтения, страха, обожания и пр. по отношению к своим объектам. В своем существовании они не зависят от индивида. Не потому, что они охватывают коллективный предмет, отличный от индивидов, составляющих социальную группу, но потому, что являют также черты,

[1]) Из писем Энгельса к Мерингу от 14/VII—1893 г.

в которых нельзя отдать себе отчета исключительно лишь при рассмотрении индивидов, как таковых“ [1]).

Указав эти характерные черты коллективных представлений, Леви-Брюль немедленно противопоставляет свое понимание господствующей точке зрения. Основная ошибка последней заключается в том, что она подходит к первобытному мышлению с меркой современного мышления, по преимуществу индивидуального. „Чтобы понять механизм всякого рода установлений (особенно в первобытных обществах), следует сначала отделаться от предрассудка, заключающегося в том, чтобы думать, что коллективные представления вообще и первобытных обществ в частности, подчиняются законам психологии, основанной на анализе индивидуального субъекта“ [2]). В наиболее сильной степени страдает этой ошибкой анимистическая школа. В своем исследовании она исходит из трех пунктов: 1) представления первобытных племен могут быть объяснены на основании правдоподобия и вероятности, 2) они могут быть выведены из рассмотрения индивидуального сознания и 3) они являются результатом непредубежденного отношения индивида к опыту. Все три пункта вызывают самые серьезные сомнения. Действительно, что означают в данном случае правдоподобие и вероятность? Не говоря о том, что правдоподобие и вероятность достаточно дискредитировали себя в качестве методологических принципов, они в применении к первобытному мышлению представляют недопустимую абстракцию, совершенно искажающую действительное положение вещей. Характерные черты первобытного мышления ускользают и остаются неуловимыми, раз они приноравливаются к нашему, заменяются им. В качестве исходного пункта берется, в лучшем случае, средний тип современного общества, ему противополается „человек вообще“, долженствующий представлять человека первобытного общества, и начинается чистологическое распространение наших представлений на первобытное сознание, распространение, имеющее не больше цены, чем любая метафизика.

Не лучше обстоит дело со вторым исходным пунктом анимистической школы—с возможностью выведения первобытных коллективных представлений из индивидуального сознания. Говорить о ней по отношению к первобытному обществу, где индивид сливается со всем остальным племенем, где он непосредственно ощущает самые тесные хозяйственные, кровные, идеологические связи,—значит итти против самых очевидных, неоспоримых фактов. Никакого индивидуального сознания у первобытного человека нет и быть не может.

Точно также нет и не может быть у него того „чистого“ опыта, о котором говорит анимистическая школа. Такого „чистого“ опыта, лишенного всякого практического взаимодействия между объектом и субъектом, нет и в современном обществе. В бесконечно большей степени это относится к первобытному обществу. „Представление об индивидуальном человеческом духе, подходящем непредубежденно к опыту, является такой же химерой, как представление о человеке до общества“ [3]). Анимистическая школа дает объяснение целому ряду представлений первобытных людей, исходя из необходимости для них найти причинное объяснение явлениям, которые не

[1]) Levy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris 1922, P. 1.
[2]) Там же, стр. 2.
[3]) Там же, стр. 14.

могут на такой низкой степени найти свое естественное объяснение. К чему это приводит? К населению и размножению огромного числа духов. Между тем, еще вопрос, нуждается ли так первобытное мышление в таком причинном объяснении. „Рассматривая коллективные представления, которые в первобытных обществах включают веру в духи, распространенные повсюду в природе и внушающие обычаи, относящиеся к этим духам, совсем не кажется, чтобы они представляли результат интеллектуальной любознательности по отношению к причинам. Мифы, похоронные обряды, земледельческие обычаи, симпатическая магия совсем не говорят о необходимости рационального объяснения: они отвечают нуждам, коллективным чувствам иной настоятельности, силы и глубины“ [1]).

Как это далеко от „чистого“ опыта!

Опыт, по Леви-Брюлю, охватывает не только пассивное восприятие окружающего мира, но и земледельческие обычаи, похоронные обряды и пр., имеющие практическое значение виды деятельности первобытных племен. Но если даже обратиться к пассивной стороне опыта, к коллективным представлениям, то и тут сказывается резкое отличие Леви-Брюля от общепринятой точки зрения. Обычная форма, в которую выливается эта сторона опыта, такова: субъект подвергается воздействию объекта и отражает его в себе. Вопрос о том, когда начинается этот опыт, решается так же просто: в момент возникновения объекта субъект получает свое представление о нем. История каждого чувственно-созерцательного опыта дана в истории вступления во взаимное отношение готовых субъекта-объекта. Так ли обстоит дело с опытом первобытного сознания? Нет ли здесь еще каких-либо осложняющих моментов? Леви-Брюль на очень ярких примерах показывает, что, помимо непосредственной истории отношения субъект-объект, мы встречаемся с очень сложной историей воздействия со стороны всего племени на индивидуальный чувственно-созерцательный опыт. Огромная масса уже готовых, преднаходимых обрядов, ритуалов, всякого рода условностей приводит к тому факту, что никогда окружающий мир не является первобытному индивиду в своем чистом, незаинтересованном, лишенном всякого эмоционального и практического смысла, виде. Простое отношение субъект-объект имеет свою историю не только в органическом развитии первого, но и в общественной организации его. „Эти коллективные представления приобретаются весьма часто индивидуумом при обстоятельствах, способных произвести наиболее глубокое впечатление на чувствительность. Это, в частности, справедливо по отношению к тем, которые передаются ему в момент, когда он становится человеком, сознательным членом социальной группы, когда церемония посвящения заставляет его пройти новое рождение, при котором секреты, от которых зависит сама жизнь группы, сообщаются посреди таких страданий, которые подвергают его нервы наиболее ужасным испытаниям“ (29). Правда, эмоционально-моторный момент восприятия уже до Леви-Брюля стал предметом исследования, но опять-таки с чисто-индивидуальной точки зрения. Его же заслугой является вскрытие общественного характера указанных эмоций и движений.

Результатом подобного воздействия общественной организации на первобытное мышление является то, что оно ничего не воспринимает так, как мы. „Насколько социальная среда, в которой они живут, отличается от нашей и именно потому, что она отличается, настолько внешний воспринимаемый ими мир отличается от того, который мы воспринимаем“ (37).

[1]) Там же, стр. 15—16.

Само собой разумеется, что первобытный человек, подвергаясь непосредственно воздействию социальной среды, не сознает его как нечто отдельное, видоизменяющее его „чистый“ опыт. Первобытное сознание имеет в себе только результат, воплощающий в себе пройденную им историю. Поскольку же она ускользает от него и в то же время присутствует в нем, она сообщает ему характер чего-то нереального, фантастического или, как говорит Леви-Брюль, мистического. Конечно, эта мистика ничего общего не имеет с мистикой средневековой или современной. Она служит лишь специальным термином для характеристики тех черт первобытного сознания, которые получаются в нем в результате общественного воздействия на индивидуальный опыт. Но в качестве непосредственного момента восприятия внешнего мира „мистичность“ окрашивает все его элементы, она сообщает им все то, что навязано общественным воздействием или, вернее, объект дан первобытному сознанию не непосредственно, а через посредство социальной призмы—через тот факт, что первобытные представления не индивидуальны, а коллективны.

В чем же это конкретно сказывается? В классификации всех объектов реального мира на основе несуществующих свойств, проистекающих из тотемической формы общества. Животные, растения, органы человеческого тела, орудия и изделия, дороги, страны света,—все эти объекты уже в восприятии даны не в „чистом“ своем виде, а неразрывно вместе с необъективным значением и смыслом так, что последние отодвигают даже на задний план объективные свойства, зачастую остающиеся для первобытного мышления незамеченными. Вернее, оно не различает между ними. Особенно характерна эта черта в отношении к собственным изделиям, оружию и т. д. Известна консервативность, присущая первобытным народам в выработке своих изделий. Объяснение подобной консервативности ссылкой на консервативность первобытного сознания есть лишь идеалистический обход вопроса. Материализм видит в ней следствие отсталости и медленного темпа развития первобытной техники и основанной на ней общественной организации. Но здесь дана одна сторона дела, та, которую Энгельс называет nur negative Oekonomisches. С положительной стороны, как реально существующий факт, консерватизм, во-первых, должен быть вскрыт в своей конкретной форме и, во-вторых, найти свое актуальное значение в первобытном общественном строе, как он есть, а не по сравнению с более высоко развитым. В коллективных представлениях мы действительно находим конкретную форму консерватизма. Она заключается в значении, которое имеют в глазах первобытных людей мельчайшие подробности и детали как процесса производства, так и готовых продуктов. Без какой-либо незначительной детали или украшения вещь не может войти в употребление. Малейшее нововведение лишает изделие всякого смысла. Совокупность всех подобных представлений создает как бы непреодолимую ограду вокруг процесса производства, процесса, охватывающего не только объективные свойства предмета, но и нереальные, фантастические, коллективные, преобразованные в индивидуальные и ставшие поэтому „мистическими“. Таким образом консерватизм выступает не в общей своей форме непосредственного отношения к деталям изделия, а в форме идеологического посредства к ним через фантастические представления о них. Последние в одинаковой мере, что и объективные представления, регулируют и контролируют процесс производства и пользования готового продукта.

Но здесь-то и возникает основной вопрос. Если объективные и „коллективные“ свойства животных, растений и пр. предметов внешнего мира не отличаются друг от друга в восприятии первобытного сознания, то каков же смысл объекта? Где его независимое существование и действие, которыми он отличается от всякого рода фантастики, будь она коллективной или индивидуальной? Для Леви-Брюля этот вопрос возникает мимоходом и так и не получает ответа. Он лишь указывает, что объект неразличимо присутствует в коллективных представлениях. Между тем совершенно ясно, что подобно тому, как средние века не могли питаться католицизмом, точно так же и первобытные племена навряд ли могут насытиться своими коллективными представлениями. И здесь-то обнаруживается, как это будет видно и из дальнейшего, основной недостаток Леви-Брюля. Перейдя на историческую и качественную точку зрения в развитии формального мышления, напрягая все усилия к выяснению сложности первобытного мышления, Леви-Брюль остановился на пол-пути. Он со всей тщательностью вскрывает процесс образования индивидуального мышления под воздействием всего коллектива, забывая, что и последний имел свою историю, что сама сложность коллективных представлений в свою очередь есть результат длительного общественного развития. Конечно, основной своей задачей Леви-Брюль считает показать именно эту сложность, как качественное отличие первобытного сознания от нашего. Но выполнение ее нисколько не устраняет вопроса об истории этого готового, хотя и сложного продукта—коллективных представлений, и месте, которое занимает в ней объект. Наоборот, чем яснее выступает перед нами сложность коллективных представлений и, так сказать, закутанность в них объекта, тем настоятельнее вопрос об источнике подобной сложности. Ибо дело научного исследования заключается не только в констатировании фактов, но, главным образом, в отыскании причинной и объективной связи между ними. Показать, что формальное мышление—не вечное установление, что оно возникло в определенный момент, что оно развилось из другого типа мышления, показать самый тип мышления, так сказать, схватить его в его непосредственности, так, как он дан тем, кто им оперировал,—все это одна сторона дела. Выяснить же объективный смысл коллективных представлений, т.-е. показать, как они совместимы с существованием племени в природе — составляет вторую, дальнейшую сторону дела, на которую диалектический материализм не может закрывать глаза. Отчасти косвенный ответ дает и Леви-Брюль, указывая, что у первобытных племен нет восприятия, как чисто познавательного, пассивного акта, что восприятие включает в себе практическое действие, т.-е. вторжение объекта и его действие на психику. Следовательно, дело сводится не к одной лишь психической субъективно-коллективной стороне, но и к объективной,—принудительному действию природы. Оно само по себе должно составить историю развития коллективных представлений и быть поставлено в связь с ними. Но к этому мы вернемся, когда будем рассматривать деятельность первобытных племен. Во всяком случае, из самой теории коллективных представлений явствует, что они являются родом идеологии, предназначенной в готовом виде новым поколением и служащей ему гарантией сохранения уже достигнутых навыков и ориентации в окружающей среде. Само собой разумеется, что, раз возникнув, коллективные представления оказывают свое обратное воздействие на материальный образ жизни племени и на все остальное содержание и форму его мышления. К числу последних относится, в первую очередь, закон соединения и связи представлений, формирующийся уже не только под действием объективной связи, но и под давлением тех черт, которые присущи коллективным представлениям. Каков этот закон? Леви-Брюль дает ему название — закон партиципации (соучастия).

Закон партиципации.

Леви-Брюль хорошо знает, что связи и отношения, устанавливаемые нашим мышлением, не субъективны, что в основе их лежат связи и отношения, существующие между объектами, отражением которых и являются как наши представления и понятия, так и их связи. Леви-Брюль знает, что в основе этого процесса лежит опыт. Но что такое для первобытного мышления опыт? „То, что мы называем опытом и последовательностью явлений, не находит у первобытного человека ума, просто готового воспринять их и расположенного пассивно подчиниться их впечатлению. Наоборот, первобытный ум прежде всего занят огромным числом коллективных впечатлений, вследствие которых объекты, каковы бы они ни были, живые существа, неодушевленные предметы или изделия, вышедшие из рук человеческих, не являются иначе, как облеченные мистическими качествами“ (76). „Последовательность во времени является элементом связи. Но он не всегда необходим, он не всегда достаточен. Если бы дело обстояло иначе, как объяснить, что последовательность наиболее постоянных и наиболее очевидных явлений остается всегда скрытой от примитивов? Например: „Джа-Луо“ не ассоциируют дневной свет с восходом солнца: они рассматривают их, как две совершенно различные вещи, и представляют себе, что этот свет превращается в ночь...“ (75).

Как видно, Леви-Брюль считает, что преобладающее значение в опыте первобытного индивида имеет не объект, а те коллективные представления, которые внушены индивиду всем племенем. Результатом подобного положения вещей оказывается установление между явлениями такой связи, которая основана на коллективных представлениях, а не на объективных свойствах вещей. Последние вступают в отношения, зависящие от коллективных представлений. „...Существует,—говорит Леви-Брюль,—элемент, который всегда налицо во всех этих отношениях. Под различными формами и в различных степенях все включают в себе некоторую „сопричастность“ между существами или предметами, которые соединены в коллективных представлениях. Вот почему, за неимением лучшего термина, я назову указанный принцип примитивного мышления „законом соучастия“—партиципации, принцип, который устанавливает связь и соприкосновения коллективных представлений“ (76). Закон партиципации влечет за собой целый ряд чрезвычайно важных последствий. Он определяет собою всю картину мира в первобытном мышлении не только в статическом состоянии, но и ее динамику. Фантастические связи и отношения, причудливые взаимодействия, непонятные с нашей точки зрения провалы и пробелы,—все это оказывается естественным следствием господства закона партиципации. Законы тождества и противоречия, выражающие постоянный момент бытия вещей и их конечное существование и раздельность, для первобытного мышления не существуют. „...Коллективные представления первобытного мышления, предметы, существа, явления могут одновременно быть самими собой и не самими собой... они теряют или приобретают силы, свойства, мистические действия, которые обнаруживаются вне

их, не переставая находиться там, где они суть" (17). Логическая сторона тотэмизма оказывается совершенно несоизмеримой с обычным представлением о нем, включающим в себе некоторую внешность между тотэмом и племенем и определенное отношение между ними. У первобытного мышления, руководимого законом партиципации, нет этой внеположности и раздельности самого себя и тотэма... Действие, оказываемое церемониями на тотэмический вид, более, чем непосредственно: оно внутренне (имманентно). Каким образом примитив может усомниться в их действительности? Наиболее сильная логическая достоверность бледнеет по сравнению с чувством сожительства (симбиоза), которое сопровождает коллективные представления, столь живые и действенные" (96). Пуповина, связывающая индивид со всем родом, оказывается вовсе не столь непосредственной, а, наоборот, включенной в весьма прочную идеологическую оболочку, сотканную на основе закона партиципации. Те же парциальные связи первобытное мышление устанавливает между особью и видом и, наоборот, между животными и людьми, между предками и живущими и т. д. Характеризуя в общем действие закона партиципации, Леви-Брюль приходит к следующему выводу: „Дологическое мышление синтетично по существу: я хочу сказать, что синтезы, которые его составляют, не включают в себе предварительных анализов, подобно тому, как это делает логическое мышление и результат которых запечатлен в понятиях. Иначе,—связи представления даны в главном, в самих представлениях" (114). Но если связи представлений даны в главном, в самих представлениях, то возникает тот же основной вопрос: какова роль объективной связи вещей и явлений? Неужели она не оказывает никакого сопротивления той фантастике, которая пытается заменить реальные отношения?

Конечно, при подходе к первобытному мышлению у нас возникают двоякого рода задачи. Первая заключается в том, чтобы найти удовлетворительное, т.-е. соответствующее действительности, понимание процессов первобытного сознания и их связи со всей общественной организацией. Выполнением этой задачи и занят Леви-Брюль. Он обнаруживает такой принцип, на основании которого мы в состоянии отдать себе отчет во всей фантастике, „неправильных представлениях о природе", составляющих главное содержание первобытного сознания. Закон партиципации объясняет нам не только восприятие первобытным сознанием мнимой связи между предметами и явлениями, но и замечательные явления памяти первобытного сознания и его способности абстракции, и основы его обобщения, и классификации, и особенности речи, и отличительные черты счисления. Так, память играет совершенно особую роль в первобытном сознании. Коллективные представления, пронизанные насквозь чувственно-двигательными моментами, навязанными индивиду коллективом, так и переходят всей своей совокупностью в память. Она сохраняет все богатство оттенков, чувств, интересов, реакций, обычных практических действий —словом все то, что дано в самом коллективном представлении и сообщает ему характер коллективного руководства в индивидуальном и конкретном опыте. В такой роли память замещает первобытному мышлению наши понятия. „Наше богатство общественной мысли передается заключенным в иерархию понятий, которые согласованы и соподчинены одно другому. В первобытных обществах оно (богатство) заключается в подчас неизмеримом числе сложных и многообразных коллективных представлений" (116). Факты поразительной памяти, засвидетельствованные всеми исследователями

и необъяснимые с обычной точки зрения, оказываются естественным последствием господства закона партиципации. То же самое относится к абстракции. Выделение характерных черт объектов происходит на основе закона партиципации под действием мистических свойств, которые и выделяются. „Для нас существенное отношение рисунка к тому, что он изображает, сводится к отношению сходства... Наоборот, то, что прежде всего интересует дологическое мышление, это— отношение образа (так же, как и предмета) к мистической силе, присущей ему. При отсутствии этой партиципации форма предмета или рисунка не имеет никакого значения" (127). Бо́льшая часть обобщений производится на основе тех же коллективно-индивидуальных или, как говорит Леви-Брюль, мистических свойств. Классификация объектов (животных, неодушевленные предметов), в свою очередь, зависит от коллективных представлений, при чем здесь резче всего сказывается социальная подкладка процесса: „...Все предметы природы— животные, растения, звезды, страны света, цвета, неодушевленные предметы, вообще—все расположены или были расположены когда-то в тех же классах, что и члены социальной группы" (139). Непрерывность и общность объектов находит свое основание в едином элементе, вытекающем из коллективных представлений. Целый ряд особенностей первобытного языка обусловлен действием того же закона партиципации. Употребление вместо обычного глагола—глагола, модифицированного самыми разнообразными приемами, характеризующими принимающих участие лиц и предметов; большое количество форм, служащих для выражения различных особенностей действия, обозначаемого глаголом: непосредственное прошедшее или будущее, давно прошедшее или отдаленное, повторение, продолжительность; различные формы для: я буду бить (вообще), утром, днем, вечером, ночью, снова и т. д., замещение временных отношений пространственными. Первобытное мышление требует не только выражения относительного положения вещей в пространстве и их расстояний. Слово должно также выразить детали форм, размер, способ (характер) движения, различные обстоятельства, в которых оно может происходить. Приставки к глаголу выражают: 1) форму и размер, 2) вид действия специально на определенные предметы, 3) определенные направления движения, 4) форму и движение, 5) движение в определенной среде, 6) определенное движение или определенную форму. То же самое относится к суффиксам. Вообще говоря: „общей тенденцией является описать не только впечатление, полученное от предмета, но и форму, очертания, появление, движение, способ действия предметов в пространстве, одним словом, все, что может быть замечено и обрисовано" (175).

Та же конкретность обнаруживается и в счислении первобытных народов. Характерны в этом отношении заявления Леви-Брюля, звучащие весьма марксистски: „...Как бы парадоксальным ни показалось это заключение, несомненно верно, что в низших обществах человек исчислял в течение долгих веков, не имея чисел" (231). „Ошибка представлять себе „человеческий дух" создающим числа, чтобы считать, в то время как, наоборот, люди сначала считают с трудом и большим напряжением, прежде чем получат подобные числа" (234). Счет совокупностями, отдельные числительные для разных предметов и конкретных событий (одушевленных, круглых, длинных, плоских предметов и пр.), изменение числительных на подобие глаголов по временам, наклонениям, лицам и числам, наличность так-называемых лимитных (предельных) чисел,—все это говорит о

том, что первобытное мышление употребляет слова „выполняющие функции чисел“, или лучше, оно прибегает к „совокупностям-числам“, конкретным представлениям, в которых число еще не различимо (231).

Приведенный материал служит подтверждением правильности точки зрения Леви-Брюля на основной закон—закон партиципации, конституирующий все виды деятельности первобытного мышления. Имея в руках этот закон в качестве руководящей нити, мы можем проникнуть в самую лабораторию, центральную станцию, которая управляет процессами образования и действия элементов первобытного сознания. Факты первобытного сознания в свете закона партиципации теряют свой загадочный характер, перестают быть для нас фантастическими, оказываются в причинной зависимости от основного принципа и входят поэтому в рамки научного исследования в точно определенной области.

Но как бы естественным ни казалось все первобытное мышление с точки зрения закона партиципации, остается все же другой не менее естественный вопрос: каково объективное значение всей этой сложной механики? Пусть она находится в полном соответствии с законом партиципации, но ведь роль первобытного мышления не сводится исключительно к тому, чтобы весьма строго выдерживать указанное соответствие. Помимо этого, первобытному мышлению приходится ориентироваться и действовать в определенных пространственно-временных отношениях. „Последовательность во времени,—говорить Леви-Брюль,—является элементом связи (только ли? *Р. В.*). Но он не всегда необходим, он не всегда достаточен. Если дело обстояло иначе, как объяснить, что последовательность наиболее постоянных и наиболее очевидных явлений остается всегда скрытой от примитивов?“ Т.-е. как же это не необходим и недостаточен? Если под необходимостью и достаточностью понимать исключительно логические формы, то с этим можно согласиться. Но если под необходимостью понимать объективную, независящую от какого бы то ни было мышления форму бытия, то придется ответить утвердительно там, где Леви-Брюль отвечает отрицательно. Он указывает на „самые очевидные явления“, как связь между дневным светом и солнцем, которая ускользает от первобытного мышления. Леви-Брюль не остается только в данном случае верен самому себе, ибо он хочет нашу „очевидность“ подсунуть первобытному мышлению. И дело, наконец, не в „очевидности“. Сам Леви-Брюль дает достаточно доказательств в пользу того, что первобытное мышление пронизано практикой, заинтересованностью, а отнюдь не „очевидностью“. А какое практическое значение имеет на той ступени развития, на которой находятся народы с первобытным мышлением, последовательность между восходом солнца и наступлением дня? Почти никакого не имеет. Она представляет для них самый практически отдаленный факт, который они с успехом могут не принимать в соображение. Но отсюда до общего утверждения, что последовательность во времени не необходима и недостаточна для первобытного мышления—дистанция огромного размера. Вот, если бы Леви-Брюль показал, что первобытное мышление путает в той последовательности, в которой необходимо провести охоту, а потом съесть добычу, именно, что первобытные люди иногда сначала съедают добычу, а потом отправляются на охоту за ней, тогда можно было бы говорить в такой категорической форме о никчемности последовательности во времени. До тех пор, пока это не показано, последовательность во времени играет роль объективного момента и в партициальном мышлении.

Об отождествлении индивида с тотэмом Леви-Брюль говорит: „Действие, оказываемое церемониями на тотэмический вид, более чем непосредственно: оно внутренне. Каким образом примитив может усомниться в их действительности? Наиболее сильная логическая достоверность бледнеет по сравнению с чувством симбиоза, которое сопровождает коллективные представления, столь живые и действительные“. Вполне возможно, что логика здесь бессильна; но в известных случаях выступают на сцену более внушительные аргументы в виде принудительного и независимого от сознания действия объекта.

Короче говоря, вторая задача, которая встает перед каждым исследователем — выяснение объективного значения фактов с знания—совершенно ускользает от сознания Леви-Брюля. Хотя у него встречаются ссылки на „социальную структуру“, но что он понимает под этим, остается совершенно невыясненным. По существу, Леви-Брюль вращается исключительно в области форм сознания и в ней одной ищет последних причин образования и изменения его собственных форм. Теряя из виду действие объекта, Леви-Брюль оказывается не в состоянии понять действительное значение нарисованной им картины первобытного мышления: основание его существования заключается в нем самом. Если даже допустить, что Леви-Брюль сознает связь между первобытным мышлением и социальной структурой, то он все же оказывается в том положении, которое в свое время характеризовал Маркс как отрыв „тайны Святого Семейства“ от ее „светской основы“. Говоря о факте раздвоения мира, „в результате которого получаются: религиозный, существующий в представлении мир и мир действительный“, и о попытке Фейербаха свести религиозный мир к его светской основе, Маркс продолжает: „Он (Фейербах) не замечает, однако, что после решения этой задачи главная часть остается еще не сделанной. Светская основа отделяет себя от самой себя и водворяется в облаках, как самостоятельное царство. Этот факт может быть объяснен только отсутствием в ней цельности и присутствием множества противоречий. Следовательно, надо сначала понять, в чем заключаются ее противоречия, а затем надо революционизировать ее путем устранения противоречий. Так, например, поняв, что тайна Святого Семейства заключается в земной семье, мы должны подвергнуть эту последнюю теоретической критике и практическому преобразованию“ (4 тезис о Фейербахе). Поскольку мы в первобытном мышлении, руководимом законом партиципации, имеем тот же мир представлений, независимый от действительного мира, „главная часть дела“ оказывается опять такой в теоретической критике (опуская практическое преобразования) тех противоречий, которые присущи материальному образу жизни первобытных племен. Каковы эти противоречия? Энгельс определяет их кратко: отрицательно экономическое, т.-е. низкое развитие производительных сил. Выяснить их более конкретно, на основе накопившегося материала о первобытном хозяйстве,—вот в чем заключается „главная часть дела“. Необычайная сложность и длительность технического прогресса, ставящие, с одной стороны, каждое достижение под удары неприспособленности всего племени, необходимость, с другой стороны, сохранения при слабых средствах связи и обучения, трудность приобретения технических навыков и легкость их потери, несовершенное разделение труда, определяющее более или менее случайный характер технического усовершенствования, с одной стороны, и приводящее его необходимо в противоречие со всем уровнем техники именно

вследствие несовершенства разделения труда—с другой,—таковы основные противоречия хозяйственной жизни первобытных племен, объективирующиеся в коллективных представлениях и законе партиципации, представляющие их, так сказать, светскую основу и их действительную объективную причину. Роль первобытного сознания сводится, таким образом, не только к соответствию с законом партиципации, но и к действительному обслуживанию низкого уровня развития первобытной техники и хозяйства. Таким образом необходимость, которую устанавливает Леви-Брюль и которая заключается исключительно в действии психического закона партиципации, сама оказывается производной, следствием другой необходимости, присущей противоречиям хозяйства первобытного племени. В ней и заключается объективный момент необычайной сложности первобытного мышления, момент, который объясняет нам, как люди с парциальным мышлением не только представляли себе мир, но могли в нем существовать. Еще резче это обнаружится при рассмотрении обычаев и организации первобытных обществ.

Практическая деятельность первобытных обществ.

Цель, которой задается Леви-Брюль при рассмотрении практической деятельности первобытных обществ, заключается в том, чтобы показать соответствие и зависимость практики от типа мышления. Основными занятиями на данной ступени развития являются охота и рыбная ловля. Само собою разумеется, что они требуют выполнения и наличности определенных объективных условий. Но в практике первобытных обществ охота и рыбная ловля сопряжены с целым рядом обрядов и обычаев, которые никакого объективного значения иметь не могут. Тем не менее, они для первобытного сознания имеют совершенно одинаковое значение, что и сама охота и рыбная ловля. Более того, охота без предварительных обрядов не имеет в глазах первобытного мышления никакого значения, обряды вместе с непосредственной охотой составляют нечто единое и цельное. „Мистические действия,—говорит Леви-Брюль,—не являются простыми предварительными приготовлениями к охоте или рыбной ловле, как, например, месса св. Губерта, в то время как действительное преследование дичи или рыбы остается существенным актом. Наоборот, для до-логического мышления это действительное преследование имеет не большее значение. Что существенно, так эти мистические действия, которые единственно в состоянии обеспечить присутствие и поимку добычи. Если они не состоялись, не стоит труда пытаться“ (263). Танец бизона у сев.-американских индейцев, танец медведя у сиу, песнопения, посты, ограничения в видах пищи,—все эти действия неразрывно связаны с охотой и составляют с ней одно целое. Значение их для до-логического мышления заключается в том, что они обеспечивают или наличность, или поимку дичи. Каким образом? С точки зрения до-логического мышления, дело обстоит совсем просто: все действия, проделываемые над образом, имеют то же значение и для их предметов,—образы и предметы тождественны или находятся в „соучастии“, и потому все подобные обычаи вполне естественны, т.-е. вытекают из господства основного закона партиципации. С той же естественной необходимостью вытекают и прочие обычаи, как поведение охотника во время охоты, запрещения для остающихся, обычаи после охоты и т. д. „Словом,—говорит Леви-Брюль,—в этих родах деятельности, как и в восприятии, до-логическое мышление

ориентировано иначе, чем наше, имеет общественно-мистический характер и управляется в своих коллективных представлениях законом партиципации“ (283).

Действительно, с точки зрения „схватывания“ нового качества, суть дела заключается в том, что практические действия первобытного общества несоизмеримы со „здравым человеческим рассудком“, даже наполненным любым религиозным туманом. Как бы густ ни был последний, он устанавливает отношения первопричины, ближайшей причины и т. п. Неразличимость же причин и следствий, которая присуща практическим обычаям до-логического мышления, исключает религию. В том готовом виде, в котором мы встречаем указанные обычаи—эта неразличимость дает нам новое качество, проникающее во все церемонии и практические действия. Церемония Intichiuma, проводимая по отношению к дичи, дождю и имеющая целью воздействовать на них в ту или иную сторону, отношение к болезням, их лечению, приготовлению лекарств,—вся эта разнообразная деятельность имеет своим источником не объект с его самостоятельными связями и отношениями, а замещающие их связи и отношения, вытекающие из закона партиципации. Одним из наиболее ярких выражений нереальных связей, устанавливаемых до-логическим мышлением, является магия. В некоторых случаях она имеет целью воздействовать на события, уже отошедшие в прошлое, т.-е. необратимость временного ряда для до-логического мышления не существует! Все может быть связано со всем,—таков принцип практических обычаев первобытных обществ. Он проливает свет на целый ряд спорных вопросов, встающих по отношению к поведению первобытных обществ в таких случаях, как смерть, рождение, детоубийство, посвящение и пр. Основной факт, из которого необходимо при этом исходить, заключается в том, что „восприятия примитивов не обуславливают реальность своих объектов возможностью контролировать ее посредством того, что мы называем опытом: в большей части, именно, невидимое и неосязаемое, с их точки зрения, и обладает наибольшей реальностью“ (353). Поэтому смерть не рассматривается как более или менее краткий момент, вырывающий члена племени из окружающей среды вследствие видимого разрушения. Последнее не имеет в глазах до-логического мышления решающего значения. До выполнения целого ряда церемоний—первых похорон, последних похорон, лежащего между ними промежутка, охватывающего сопричастность умершего к племени и продолжающегося неделями и годами,—смерть не считается завершенной. В течение этого времени „человек первобытных обществ живет со своими мертвыми, как и с живыми, окружающими его“ (353). Поэтому же погребение вместе с мертвым его вещей или, наоборот, уничтожение их имеет совсем не столь наивное значение—обеспечить мертвому возможность существования в лучшем мире. Необходимо помнить, что вещей, как таковых, для до-логического мышления не существует. Они всегда чьи-либо вещи (не в смысле собственности, а в смысле причастности). Человек не есть только тело, но тело со всем, что причастно к нему, как оружие, утварь и пр. Смерть его влечет и смерть всех этих вещей, нуждающихся также в погребении, как и сам умерший. Они не могут перейти к другому, так как они в качестве, так сказать, безучастных—немыслимы.

Подобная точка зрения объясняет нам также основной вопрос об отношении первобытного мышления к причинам смерти. До-логическое мышление никогда не рассматривает смерть, как естественное явление. Она всегда насильственна и причиняется мистической силою

кого-либо непосредственно или через колдовство. При чем даже самые очевидные причины, как рана, внутренние повреждения, не имеют значения; имеет его только то, что устанавливает сопричастность на основе коллективных представлений. Отсюда и поиски виновного по самым случайным, с нашей точки зрения, признакам. Они, однако, перестают быть случайными, как только взглянешь на них с точки зрения закона партиципации.

„Но подобно тому, — говорит Леви-Брюль, — как человек, испустивший дух, еще совсем не мертв, точно так же ребенок, появившийся на свет, весьма мало рожден. На нашем языке рождение, как и смерть, занимают несколько моментов времени" (402). Совсем иначе обстоит дело с до-логическим мышлением. Смерть и рождение существуют для него не как естественные явления, а как факты, связанные со всем племенем. Вместо смерти и рождения—исключение и включение в племя. И так как эти процессы весьма сложны и длительны, то только по своем завершении они приобретают определенное значение. По отношению к рождению это влечет за собой весьма важные последствия. Считать ли новорожденного членом племени, когда над ним еще не произведено никаких действий приобщения или посвящения? Леви-Брюль указывает, что с точки зрения до-логического мышления на этот вопрос приходится ответить отрицательно. В этом пункте мы находим объяснение детоубийства. Он утверждает: „если мать хоть раз дала грудь новорожденному, он никогда не убивается" (403). Т.-е. до того момента, пока не произошло никакого соприкосновения с одним из членов племени, новорожденный не рожден и не существует для до-логического мышления. Критикуя экономические и половые мотивы, выставляемые в качестве объяснения обычая детоубийства, Леви-Брюль говорит: „Но, с одной стороны, мы не видим, чтобы детоубийство было всегда ограничено случаем, когда мать кормит грудью одного ребенка, или тем, когда она боится, что муж ее берет себе другую женщину. С другой стороны, этих мотивов было бы недостаточно, если бы коллективные представления делали из детоубийства, практикуемого в момент рождения,—этот пункт весьма важен,—акт почти безразличный, потому что новорожденный еще в бесконечно малой степени участвует в жизни социальной группы". Да и самое убийство новорожденного не похоже на смерть взрослого. С точки зрения до-логического мышления, новорожденному только отсрочивается появление на свет. Ибо умереть он не может. Умереть—значит быть исключенным из социальной группы. Но он и не был включен в нее.

Таково в основном, по Леви-Брюлю, действие закона партиципации на обычаи и практику первобытных обществ. Непосредственная борьба за существование, добывание пищи, обычаи, регулирующие внутреннюю организацию племени, его рост, взаимные отношения индивидов,—все это имеет форму, определяемую исключительно господством закона партиципации и коллективных представлений. Но форма не остается без влияния на содержание. Она определяет собою целый ряд практических действий, который, хотя и находится в полном согласии с ней и вытекает из нее, но по существу протекает в природе и в объективной социальной среде, на которые оказывает свое действие и в свою очередь испытывает их действие. Каков объективный результат их и каково их объективное значение,—представляет собой вопрос наибольшей важности. Ибо, если коллективные представления и закон партиципации можно с некоторым допущением и включить в тесные рамки психологии до-логического мышления, то практическая деятельность по самому существу своему разрывает эти

рамки, вторгается в объективный ход вещей, который в свою очередь заявляет ощутительно о своем независимом существовании и действии. Не принимать их в расчет, значит делать из первобытных людей своеобразных „коллективных" беркленианцев, не знающих ничего, кроме своих коллективных представлений. И тут для нас остается тот же важнейший вопрос о роли объективного момента в деятельности первобытных обществ.

Мы уже указывали, что в своем готовом виде их практические обычаи действительно обнаруживают и иллюстрируют перед нами способ действия на них закона партиципации. Но можно ли согласиться с общим выводом, вытекающим из всей теории Леви-Брюля, что именно он, этот закон партиципации, непосредственно приводит к возникновению всех указанных обычаев, что помимо него нет надобности в какой-либо другой силе, которая тоже принимала бы участие в их образовании, что именно он не в качестве подсобного средства, а в качестве причины, сам собой определяет всю эту сложную динамику первобытной практики? Ведь точный смысл господства закона партиципации заключается в том, что он не только объясняет эти обычаи, но что он и определяет их. Беспрерывно и настойчиво подчеркивая неприменимость нашей логики, когда мы стараемся понять значение первобытной практики, Леви-Брюль хочет сказать не только то, что с точки зрения закона партиципации, мы ее можем понять вообще, а еще и то, что она как реальный и объективный факт имеет своей единственной и действительной причиной закон партиципации.

Ответ на поставленный вопрос может быть дан только, когда мы встанем на историко-материалистическую точку зрения по отношению ко всей первобытной практике. Конечно, покамест мы ее рассматриваем в готовом виде, коллективные представления и закон партиципации оказывают то действие, что в глазах до-логического мышления все уже существующие обычаи и практика обязаны своим существованием принудительным директивам, исходящим из коллективных представлений и пр. и обязывающим поэтому всех членов племени соответствующим образом действовать. В этом смысле непосредственной причиной того, что все эти практические обычаи продолжают существовать и сохраняются там, где мы их находим, действительно является закон партиципации. Огромная научная заслуга Леви-Брюля в том и заключается, что он выяснил во всей конкретности то посредствующее звено, которым первобытное племя способствует самосохранению в окружающей среде и в своей организации.

Но если до-логическое мышление не различает объективного и коллективно-субъективного момента своей деятельности, то это вовсе не значит, что и мы не должны различать их. Если танец бизона, по мнению сев.-американских индейцев, обеспечивает наличность достаточного количества бизонов, то с нашей точки зрения бизоны вряд ли обратят должное внимание на подобное поведение индейцев. К поставленному таким образом вопросу можно подойти двояко. Можно выделить из всей первобытной практики ту часть ее, которая носит чисто хозяйственный характер, как непосредственная охота, рыбная ловля, земледелие, выработка оружия и орудий и т. д. Поскольку существование племени зависит непосредственно от всех этих видов деятельности и поскольку они действительно имеют место, постольку можно отвлечься от всего, что делается помимо непосредственной производительной работы. В самом деле, если работа выполнена, то не все ли равно, чем занимаются в промежутках — колдовством, ма-

кого-либо непосредственно или через колдовство. При чем даже самые очевидные причины, как рана, внутренние повреждения, не имеют значения; имеет его только то, что устанавливает сопричастность на основе коллективных представлений. Отсюда и поиски виновного по самым случайным, с нашей точки зрения, признакам. Они, однако, перестают быть случайными, как только взглянешь на них с точки зрения закона партиципации.

„Но подобно тому, — говорит Леви-Брюль, — как человек, испустивший дух, еще совсем не мертв, точно так же ребенок, появившийся на свет, весьма мало рожден. На нашем языке рождение, как и смерть, занимают несколько моментов времени" (402). Совсем иначе обстоит дело с до-логическим мышлением. Смерть и рождение существуют для него не как естественные явления, а как факты, связанные со всем племенем. Вместо смерти и рождения—исключение и включение в племя. И так как эти процессы весьма сложны и длительны, то только по своем завершении они приобретают определенное значение. По отношению к рождению это влечет за собой весьма важные последствия. Считать ли новорожденного членом племени, когда над ним еще не произведено никаких действий приобщения или посвящения? Леви-Брюль указывает, что с точки зрения до-логического мышления на этот вопрос приходится ответить отрицательно. В этом пункте мы находим объяснение детоубийства. Он утверждает: „если мать хоть раз дала грудь новорожденному, он никогда не убивается" (403). Т.-е. до того момента, пока не произошло никакого соприкосновения с одним из членов племени, новорожденный не рожден и не существует для до-логического мышления. Критикуя экономические и половые мотивы, выставляемые в качестве объяснения обычая детоубийства, Леви-Брюль говорит: „Но, с одной стороны, мы не видим, чтобы детоубийство было всегда ограничено случаем, когда мать кормит грудью одного ребенка, или тем, когда она боится, что муж ее берет себе другую женщину. С другой стороны, этих мотивов было бы недостаточно, если бы коллективные представления делали из детоубийства, практикуемого в момент рождения,—этот пункт весьма важен,—акт почти безразличный, потому что новорожденный еще в бесконечно малой степени участвует в жизни социальной группы". Да и самое убийство новорожденного не похоже на смерть взрослого. С точки зрения до-логического мышления, новорожденному только отсрочивается появление на свет. Ибо умереть он не может. Умереть—значит быть исключенным из социальной группы. Но он и не был включен в нее.

Таково в основном, по Леви-Брюлю, действие закона партиципации на обычаи и практику первобытных обществ. Непосредственная борьба за существование, добывание пищи, обычаи, регулирующие внутреннюю организацию племени, его рост, взаимные отношения индивидов,—все это имеет форму, определяемую исключительно господством закона партиципации и коллективных представлений. Но форма не остается без влияния на содержание. Она определяет собою целый ряд практических действий, который, хотя и находится в полном согласии с ней и вытекает из нее, но по существу протекает в природе и в объективной социальной среде, на которые оказывает свое действие и в свою очередь испытывает их действие. Каков объективный результат их и каково их объективное значение,—представляет собой вопрос наибольшей важности. Ибо, если коллективные представления и закон партиципации можно с некоторым допущением и включить в тесные рамки психологии до-логического мышления, то практическая деятельность по самому существу своему разрывает эти

рамки, вторгается в объективный ход вещей, который в свою очередь заявляет ощутительно о своем независимом существовании и действии. Не принимать их в расчет, значит делать из первобытных людей своеобразных „коллективных" беркленианцев, не знающих ничего, кроме своих коллективных представлений. И тут для нас остается тот же важнейший вопрос о роли объективного момента в деятельности первобытных обществ.

Мы уже указывали, что в своем готовом виде их практические обычаи действительно обнаруживают и иллюстрируют перед нами способ действия на них закона партиципации. Но можно ли согласиться с общим выводом, вытекающим из всей теории Леви-Брюля, что именно он, этот закон партиципации, непосредственно приводит к возникновению всех указанных обычаев, что помимо него нет надобности в какой-либо другой силе, которая тоже принимала бы участие в их образовании, что именно он не в качестве подсобного средства, а в качестве причины, сам собой определяет всю эту сложную динамику первобытной практики? Ведь точный смысл господства закона партиципации заключается в том, что он не только объясняет эти обычаи, но что он и определяет их. Беспрерывно и настойчиво подчеркивая неприменимость нашей логики, когда мы стараемся понять значение первобытной практики, Леви-Брюль хочет сказать не только то, что с точки зрения закона партиципации, мы ее можем понять вообще, а еще и то, что она как реальный и объективный факт имеет своей единственной и действительной причиной закон партиципации.

Ответ на поставленный вопрос может быть дан только, когда мы встанем на историко-материалистическую точку зрения по отношению ко всей первобытной практике. Конечно, покамест мы ее рассматриваем в готовом виде, коллективные представления и закон партиципации оказывают то действие, что в глазах до-логического мышления все уже существующие обычаи и практика обязаны своим существованием принудительным директивам, исходящим из коллективных представлений и пр. и обязывающим поэтому всех членов племени соответствующим образом действовать. В этом смысле непосредственной причиной того, что все эти практические обычаи продолжают существовать и сохраняются там, где мы их находим, действительно является закон партиципации. Огромная научная заслуга Леви-Брюля в том и заключается, что он выяснил во всей конкретности то посредствующее звено, которым первобытное племя способствует самосохранению в окружающей среде и в своей организации.

Но если до-логическое мышление не различает объективного и коллективно-субъективного момента своей деятельности, то это вовсе не значит, что и мы не должны различать их. Если танец бизона, по мнению сев.-американских индейцев, обеспечивает наличность достаточного количества бизонов, то с нашей точки зрения бизоны вряд ли обратят должное внимание на подобное поведение индейцев. К поставленному таким образом вопросу можно подойти двояко. Можно выделить из всей первобытной практики ту часть ее, которая носит чисто хозяйственный характер, как непосредственная охота, рыбная ловля, земледелие, выработка оружия и орудий и т. д. Поскольку существование племени зависит непосредственно от всех этих видов деятельности и поскольку они действительно имеют место, постольку можно отвлечься от всего, что делается помимо непосредственной производительной работы. В самом деле, если работа выполнена, то не все ли равно, чем занимаются в промежутках — колдовством, ма-

гией или другими обычаями, вытекающими из коллективных представлений и закона партиципации, но не имеющими объективного значения. Выделенная таким образом практическая деятельность и составила бы объективный момент всей первобытной практики. Но такая постановка вопроса есть, вернее, его обход. Суть дела заключается в том, чтобы найти объективный момент именно в продуктах коллективных представлений и закона партиципации, обнаружить в них необходимость, проистекающую от объективного положения вещей, представить и понять их не как случайный и возможный побочный элемент первобытной практики, а как находящихся с нею в причинной связи. Та необходимость, которую устанавливает Леви-Брюль и которая заключается в естественном следовании всех фантастических обычаев из господства закона партиципации, должна быть заменена другой, более действительной и объективной необходимостью, не логического или психического характера, а материального, производственно-экономического. То, что закон причинности не существовал для до-логического мышления, для нас, материалистов, не означает, что он вообще не существовал. Именно, в обнаружении его господства заключается теоретическая задача, установление этой причинной связи составляет „главную часть дела".

С точки зрения Леви-Брюля, картина рисуется в следующем виде. Дана определенная общественная группа с определенной „социальной структурой". Из последней с необходимостью вытекает определенный способ восприятия мира, заключающийся конкретно в коллективных представлениях. Последние в свою очередь с необходимостью определяют закон, управляющий связями и отношениями между коллективными представлениями,—закон партиципации. Действие его необходимо приводит к установлению всех существующих в общественной группе форм деятельности и обычаев. Таков своеобразный монистический взгляд Леви-Брюля на первобытное общество. Приглядимся к нему поближе.

В представленной связи явлений первобытного общества имеется исходный и конечный пункт. Конечно, они даны разом и одновременно. Но из понимания Леви-Брюля ясна внутренняя причинная зависимость всего образа жизни и мышления первобытного общества от „социальной структуры". Что, однако, понимать под последней, как исходным пунктом, и под образом жизни и мышления, как конечным продуктом ее? Леви-Брюль не дает более конкретного смысла и содержания „социальной структуры", вся ее, так сказать, определенность сводится к данности. Поскольку же Леви-Брюль старается определить ее более конкретно, постольку вся его „социальная структура" и заключается в „образе жизни и мышления" первобытного общества. Способ производства, связанные с ним обычаи, внутренняя организация племени, формы и способы ее сохранения—все это есть то, что определяется законом партиципации. Что же остается на долю „социальной структуры", которая сама определяет закон партиципации? Как будто ничего.

Но все это будет выглядеть совершенно иначе, и коллективные представления и закон партиципации приобретают свой истинный объективный смысл, если вскрыть действительную „социальную структуру" первобытного общества. Леви-Брюль знает о противоречиях племени, знает о делении его на половые и возрастные группы, ибо огромная доля рассматриваемых им обычаев относится как раз к этому делению. Что оно означает на том уровне развития техники и в тех условиях, в которых находятся первобытные общества? Если принять

во внимание, что пол и возраст [1]) отнюдь не зависят от закона партиципации и что в них мы имеем объективные и независящие от типа мышления факты, то они означают столь же объективную необходимость такой их организации, которая обеспечивала бы сохранение по крайней мере равновесия между социальной группой в целом и окружающей ее средой. Сохранение этого равновесия на ступени развития первобытного общества представляет весьма трудную задачу. Вопрос о том, как ее выполнить при наличии противоречий, вытекающих из полового и возрастного деления племени, сводится к вопросу о роли, которую играет та или иная внутренняя группа. От поведения каждой из них зависит иногда самое существование племени. Предоставление полной свободы действия каждой группе в связи с различиями в опыте и технико-производственных навыках означает на деле сведение на-нет действительного опыта тех, у кого он имеется, т.-е. наиболее зрелой и старшей группы. Объективная необходимость сохранения всего племени требует замещения опыта всех групп опытом наиболее зрелой, как единственным, наиболее богатым и существенным.

Уже из этой, крайне схематичной, картины следует, что объективные половые и возрастные противоречия приводят к необходимости особого процесса, процесса вытеснения опыта (в самом широком смысле) отдельных групп и замены его одним единственным опытом наиболее зрелой группы. Такой именно смысл имеют те обычаи (посвящения и др.), на которые указывает Леви-Брюль и которые преследуют указанную цель. „Эти коллективные представления приобретаются очень часто индивидом в таких обстоятельствах, которые в состоянии оказать наиболее глубокое воздействие на его восприимчивость. Это, в частности, верно по отношению к тем, которые передаются (сообщаются) ему в момент, когда он становится человеком, сознательным членом социальной группы, когда церемонии посвящения заставляют его проделать новое второе рождение, при котором секреты, от которых зависит сама жизнь группы, сообщаются ему при таких страданиях, которые подвергают его нервы наиболее жестоким испытаниям" (29). Какие представления были у посвящаемого до момента посвящения? И не весь ли смысл последнего заключается в вытеснении первоначальных представлений и замене их теми, которые необходимы для „самой жизни социальной группы", т.-е. коллективными представлениями? Если еще принять во внимание, что самый выбор момента посвящения довольно произволен, колеблется в известных пределах, в которых первобытное мышление еще обретается в представлениях низшей группы, то станет совершенно ясным, что говорить об однородных, вытекающих из „социальной структуры", вообще коллективных представлениях не приходится.

Объективная необходимость указанного процесса замещения ясна. Но в чем заключается его сущность? Происходит ли здесь непосредственная передача обычаев и опыта? Можно было бы a priori ответить отрицательно. Леви-Брюль освобождает нас от всякого рода метафизических рассуждений по этому поводу. Он совершенно конкретно обнаруживает перед нами тот путь, которым первобытное общество справляется с задачей замещения. Но при этом он совершенно перевертывает отношения. Основным признаком коллективных представлений и закона партиципации Леви-Брюль считает мистичность. Пытаясь более точно определить ее, он ставит ее в связь с опытом. Что такое опыт? „...Восприятия примитивов не обусловливают реаль-

[1]) Мы отвлекаемся от факта группирования по этим признакам.

ность своих объектов возможностью контролировать ее посредством того, что мы называем опытом: в большей части именно невидимое и неосязаемое, с их точки зрения, и обладает наибольшей реальностью". В последнем обстоятельстве Леви-Брюль хочет видеть мистичность. Но достаточно ему было быть более последовательным, чтобы вообще отвергнуть мистичность. О каком опыте идет речь? О чистом, абстрактном отношении: субъект-объект? Но сам Леви-Брюль отвергает подобное отношение. „Невидимое и неосязаемое"? А те страдания, которые „подвергают нервы посвященного самым жестоким испытаниям", они потеряли всякую „видимость и осязаемость"? Не эти ли положительные, объективные действия лежат в основе чисто-отрицательного факта „не-видения" и „не-осязания"? А раз дело обстоит так, то о какой мистике приходится говорить? Наоборот, как бы парадоксальным это ни показалось,—можно бы повторить вслед за Леви-Брюлем—именно эта мистичность и является наиболее объективным моментом коллективных представлений, именно она и олицетворяет собой наиболее объективный, т.-е. наиболее совершенный и возможный, опыт, имеющийся в распоряжении первобытного общества.

Весь вопрос заключается в том, как именно этот возможный опыт становится обще-племенным достоянием. Коллективные представления и закон партиципации отвечают на заданный вопрос. Они указывают, что при тех противоречиях, которые существуют между различными группами первобытного общества, наиболее объективный опыт становится всеобщим не непосредственным путем обучения и, так сказать, сокращенного прохождения школы жизни старшего поколения младшим, а гораздо более доступным путем физического и общественного воздействия на менее зрелые группы со стороны старшей, воздействия, отражающегося на мышлении и создающего в нем новый продукт. Тот факт, что мы находим этот продукт готовым, служит лишь доказательством огромного исторического процесса, в течение которого коллективные представления и закон партиципации создавались. По существу же закон партиципации и выражает для первобытного мышления „опыт, контролирующий и пр.". Другой опыт при том уровне развития невозможен, так как не обеспечивает существования племени. Противоречия, приводящие к закону партиципации и подающие Леви-Брюлю повод говорить о мистичности, проистекают из того, что объективный опыт выдается не в качестве такового, а в форме принудительного, насильственно навязываемого отношения к миру. Формальное выражение этого противоречия и есть закон партиципации. Будучи по существу **посредством**, формой, отделившейся от содержания, он сам становится непосредственной силой, определяющей образ мышления и действия первобытного племени. Но это нисколько не уничтожает его производный характер, его зависимость, как посредства, от основной движущей силы—полового и возрастного деления племени и вытекающих отсюда противоречий. В них именно и лежит **объективная** необходимость возникновения закона партиципации и его господства. До тех пор, пока существуют указанные противоречия, закон партиципации продолжает существовать и действовать. Никакой внутренней силы он не имеет. Поэтому с уничтожением противоречий первобытного общества закон партиципации должен уступить место другому закону. Само собой разумеется, что и этот процесс есть длительный, сопряженный с разложением, под влиянием вначале незначительных изменений, приводящих впоследствии к совершенно новому обществу, построенному уже не на роде, а на более широкой основе. Но самый переход мы можем опять-таки

понять, если заменим идеалистическую, точнее, феноменалистическую точку зрения Леви-Брюля материалистической.

Леви-Брюль сам ставит вопрос о переходе от парциального мышления к более высокому. При чем процесс, нарисованный Леви-Брюлем, формально настолько соблазнительно диалектичен, что напоминает наиболее блестящие страницы идеалистической диалектики Гегеля. Мы имеем,—говорит Леви-Брюль,—два последовательных периода: 1) когда индивидуальные духи рассматриваются обитающими и одушевляющими всякое существо и всякий предмет (животные, растения, скалы и пр.) и 2) предшествующий ему, когда индивидуализации еще нет, где этот принцип—в спутанном виде—способен проникнуть повсюду, род распространенной (разлитой) повсюду силы, которая, кажется, одушевляет существа и предметы, действует в них и оживляет их. Второму соответствует слияние с коллективом, первому—возникновение индивидуального сознания, как такового. Переход от одного к другому рисуется в следующем виде: партиципация ослабляется, сама становится объектом представления, становится опосредованной через посредство ритуала, магии и пр. Одновременно с этим происходит процесс индивидуализации сознания, оно как бы рвет коллективные связи и оказывается лицом к лицу с объектом уже не в качестве субъекта-коллектива, а в качестве субъекта-индивида. С этого момента начинается более объективное мышление. Конечно, мы не сразу попадаем в физическую лабораторию. Следующий этап полон другими мистическими представлениями, носящими, однако, название религиозных. Характерен устанавливаемый Леви-Брюлем факт. Чем ниже по своему развитию племя, тем меньше мы встречаем у него мифов, и наоборот. Иными словами, чем непосредственнее партиципация, чем ее господство сильнее, тем меньше места для ее опосредования, т.-е. представления ее в качестве отдельной. Миф, это партиципация, потерявшая свою непосредственность и перешедшая в представление. Поэтому мифы более многообразны и сложны в более развитых первобытных обществах. „Там, где партиципация непосредственна, мифы весьма редки (австралийцы, индейцы Центр. и Северн. Бразилии). В обществах более передового типа (Zunis, ирокезы, полинезийцы и др.) мифологический расцвет становится все богаче" (434).

Несмотря на блестящую диалектику, обнаруживаемую здесь Леви-Брюлем, она оказывается по существу идеалистической. Она скользит по поверхности, она **описывает** этапы, она имеет дело с готовыми переходными формами, с их самостоятельным движением. Это—своеобразный феноменализм, в котором роль индивидуального сознания играет коллективное сознание, но в качестве непосредственно данного, имеющего самостоятельную, самоопределяющую силу развития. Как и всякий феноменализм, будь он архи-коллективный, он должен встретить отпор со стороны материализма и найти свое надлежащее место в общем материалистическом мировоззрении.

Личность, необходимость, реальность [1]).

И. Гросман-Рощин.

(По поводу „Немецкой идеологии"—Маркс и Энгельс о Фейербахе. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, Инст. К. Маркса и Ф. Энгельса.)

Помещенная в Архиве незаконченная работа Маркса-Энгельса (О немецкой идеологии и Фейербахе) дает необыкновенно ценный материал для выяснения отношения творцов научного социализма к идеологическому пониманию истории. Одновременно здесь же дается, в основном исчерпывающее, отношение Маркса к проблеме личности, к проблеме индивидуализма. Вообще говоря, мы можем указать три момента развития индивидуализма. 1. Индивидуализм буржуазно-прогрессивный: новый общественный класс, разбивая оковы феодального мира, идеологически оформляет свой бунт и протест в форме горделивых требований „неотъемлемых прав личности". 2. Индивидуализм—разложение: общественный класс теряет свое историческое оправдание, социальные связи ослабевают или выступают только в своей грубо-механической форме. Тогда „личность" замыкается в себе, прислушивается к шороху и шопоту собственной души, ослабевает интерес „к внешнему"; этот отрыв знаменуется отсутствием доминанты, преобладающего мотива; личность распыляется, дезорганизуется, и этот распад мыслится как момент утверждения личности. 3. Период социального благополучия; нарождается рантье, который не сеет и не жнет, а урожай обильный собирает. Этот рантье, не преодолевающий сопротивления социальной среды, теряет всякую здоровую связь с целым; рантье нуждается в своем идеологе, который создал бы культ сплошного гурманства и дал бы идеологическую санкцию тем, для которых жизнь есть только порхание по цветочкам наслаждения. Существует не только „политическая экономия рантье", но и поэзия и идеология рантье. Разумеется, все эти стадии на деле сплегаются, и речь может итти лишь о преобладании того или другого момента.

Было бы величайшей ошибкой полагать, будто в настоящий момент проблема индивидуализма не является актуальной. Только при полном незнании хотя бы нашей среды учащихся можно утверждать, что индивидуализм в его, подчас худшей, форме не разъедает сознания и волю молодежи. Это и понятно. Октябрьская революция является точкой пересечения двух, принципиально противоположных, моментов истории. С одной стороны, она, заканчивая

[1]) От редакции. Помещая статью И. Гросман-Рощина, редакция не разделяет ряда положений и формулировок автора.

дело буржуазной революции, раскрепощает личность от сословных и дворянско-бюрократических оков; но это раскрепощение ведет не к установлению свободной конкуренции, развитию „частной инициативы", а к установлению железной диктатуры пролетариата, властно, повелительно и неуклонно указующей „личности" место, которое она должна занять в атакующих шеренгах пролетарской армии. Эта диктатура тем более грозна и повелительна, что Октябрьская революция, победившая только в России, не в состоянии мотивировать себя хозяйственно в духе коммунизма; эта победа есть только широкое поле для маневрирования и планомерной подготовки нового штурма во всемирном масштабе. Тут-то и плачет-рыдает оскорбленная мелко-буржуазная „личность": помилуйте, да ведь мы только что освободились от ига самодержавия; отцы наши столько терпели и страдали во имя „свободы", думали, что с падением самодержавия рассеется последняя туча, омрачающая горизонт, и вдруг, железный окрик железной диктатуры! Разумеется, стонет, вопит и бунтует не абстрактная личность, а идеологи крупного и мелкого капитала; но значительнее и важнее затаенный, но немолчный бунт крестьянского середняка. Вот этот-то пришелец из деревни с крепким тяготением к своей „свободе", свободе товарного обращения, негласно подает руку отпрыску дворянского гнезда и ошеломленному ходом событий бывшему купецкому сыну. Реальное преодоление этого индивидуализма возможно только путем дальнейшего поступательного хода революции и ее хозяйственного строительства. Но бездействовать на идеологическом фронте не полагается никак. Упомянутая работа Маркса и Энгельса великолепно освещает отношение марксизма к личности и дает прекрасное орудие в борьбе с кулацким индивидуализмом.

Если мы отвлечемся от той работы, которую выполняют марксисты всегда и во всех областях—вскрытие классового характера всяческого индивидуализма,—то мы можем формулировать отношение марксизма к индивидуализму и роли личности так: 1. Марксизм подчеркивает, что личность вне класса—миф, бескровная, вымученная, кабинетная абстракция. 2. В буржуазном обществе личность уже по тому одному не может себя целостно утвердить, что разгул социальной стихии, конвульсии и хаос мешают реализации цели. Личность хочет одного, но стихия совершенно аннулирует эти стремления и подсовывает „гетерономные" цели. 3. Только в коммунистическом обществе впервые произойдет сборка личности, ибо организованная социальная среда послужит проводником, а не помехой разумно поставленным теоретическим целям. 4. Методологически—всякий подход к личности, как к единственной реальности общественного процесса, есть, на деле, полный отказ от построения социологии, отказ от понимания объективной закономерности истории и тайный союз с теми, которые вообще отрицают возможность построения и понимания законов социального развития. 5. Критерием реальности личности является не степень свободы ее от „цепей" необходимости; наоборот, только тогда, когда личность взята и включена в цепь социальной необходимости, только тогда она—личность—приобретает реальное бытие, только тогда возможно изучение судеб личности.

Остановимся на отдельных пунктах, поскольку они освещаются в упомянутой работе Маркса-Энгельса. В народнических кругах до сих пор не изжита мысль, что теория, построенная на принципе развития производительных сил, есть могила личности—целостной и гармонической—и что Маркс, подобно Спенсеру, превращает личность

в немой орган, „в палец от ноги". Следующие слова Маркса дают исчерпывающий ответ:

„Наконец, разделение труда представляет нам первый пример того, что, пока люди находятся в естественно развившемся обществе, следовательно, пока существует раскол между частным и совокупным интересом, следовательно, пока деятельность распределяется не добровольным образом, сознательным образом, а естественным, стихийным образом, собственное дело человека становится какой-то чуждой, противостоящей ему силой, которая подчиняет его себе, вместо того, чтобы он господствовал над нею. Согласно происходящему разделению труда, каждый имеет определенный, исключительный круг деятельности, который навязан ему и из которого он не может выйти: он оказывается охотником, рыбаком или пастухом (рукой Маркса: или критическим критиком) и должен оставаться им, если он не хочет потерять средств к существованию; в коммунистическом же обществе, где каждому индивиду не отведен исключительный круг деятельности и каждый может развиваться в любой отрасли труда, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность сегодня делать одно, а завтра другое, утром охотиться, после обеда ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством или же критиковать еду как моей душе угодно, при чем я не становлюсь от этого охотником, рыболовом, пастухом или критиком".

И еще:

„Это утверждение социальной деятельности, это консолидирование нашего собственного продукта в какую-то объективную силу над нами, которая ускользает от нашего контроля, идет вразрез с нашими ожиданиями и сводит на-нет наши расчеты, является одним из главных моментов в историческом развитии прошлого".

В этих скупых и „жестких" словах дана как бы законченная философия судеб личности и одновременно исчерпывающий ответ народникам всех оттенков и мастей. Не забудьте: это писалось в 1845 г.! Припомните, как много и остроумно, и сложно, и запутанно говорил на эту же тему Н. К. Михайловский! Мы знаем, что проблема гармонической личности стояла в центре учения мелко-буржуазного, и по своему все же замечательного, публициста-социолога. Органической теории общества, проповедуемой Спенсером, Михайловский противопоставляет свою знаменитую „формулу прогресса". Разделение труда технико-экономическое объявляется гибельным для трудовой личности. Экономическому разделению труда между личностями противопоставляется физиологическое разделение труда в пределах самой личности. Теоретически эта формула прогресса есть идеализация деревенской общины; эта идеализация особенно примечательна тем, что ее выдвигает Михайловский, несомненно уже упадочный представитель народничества. Трагедия Михайловского в том и состоит, что он и сам уж не верил в возможность—миновать стадию капитализма и поднять общину из низшей степени на высшую. В своих полных грусти и скорби строках Михайловский признается, что эта возможность идет на убыль с каждым днем. Михайловскому выпало на долю самому хоронить свои надежды. Какими ублюдочными и жалкими кажутся попытки Е. Колосова толковать теории Михайловского так, будто Михайловский говорил о ненормальности только социального разделения труда—распада единого трудового процесса на умственный и физический, а засим о кристаллизации социальных категорий—хозяин и рабочий. На самом деле, центральным пунктом настоящего, а не выдуманного, Михайловского является утверждение, что именно машинизация и капиталистическая техника является непосредственной причиной распыления и гибели целостной личности. И нет ничего непонятного в том, что при виде убывающей возможности миновать стадию капитализма в Михайловском, никогда не бывшим революционером, окончательно взяла верх нотка либерализма. Маркс (логически, конечно, а не хронологически) противопоставляет универсальной и буржуазно-либеральной концепции Спенсера универсальную же концепцию пролетариата. А где же хваленая идеализация буржуазно-технического разделения труда? Ее в помине нет, она целиком выдумана. Вместо идеализации—безжалостной и бестрепетной рукой вскрыта аномалия буржуазного машинизма. Но здесь же указываются те объективные и субъективные условия, при которых произойдет сборка личности, когда специализация не будет равносильна дроблению, калечению и расплющиванию личности. Указаны путь и цель—коммунизм. Дальше: как много говорилось о беспощадно-смелой борьбе Макса Штирнера с „призраками". Продукты человеческого творчества объективируются в социальной среде, и потом эти „фантазмы", эти дети воображения уплотняются, кристаллизуются, обрастают плотью и кровью и превращаются в палача для породившей их личности. И Штирнер договаривается до диктатуры эмпирического „я". На деле мы знаем, что смелость Штирнера в сущности—мнимая. Уже во второй части, в учении о Ферейне эгоистов, Штирнер, весьма несмело сдает все позиции. Он сознательно исходит из культурно-социального космоса; но социальное целое распыляется на небольшие группы, и ценой чисто количественно-механического распыления он покупает мнимую свободу и реальную зависимость от социального целого. В своих идеологических гримасах он, пассивно и немощно, отражает маленькую утопию мелкого производителя; он прячется в свою „пещеру", хитро выдавая „пещеру" свою и законы „пещерной" жизни за законы вселенной и истории. Маркс вскрывает те условия хозяйственной деятельности, благодаря которым продукты нашего труда консолидируются в объективную силу, ускользают от нашего контроля. В этом Маркс видит главный момент нашего прошлого. И после этого-то анализа, дающего золотую нить для понимания всей культуры, архимещане, вроде Ивановых-Разумниковых, шьют и перелицовывают тришкин кафтан из формулы прогресса Михайловского. Но, быть может, самым замечательным является то, что говорит Маркс по поводу критерия реальности личности и отношения к необходимости.

„Людей можно отличать от животных по сознанию, религии, вообще, по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, лишь только начинают производить необходимые для своей жизни средства—шаг, обусловленный их телесной организацией. Люди, производя необходимые для своей жизни средства, производят косвенным образом и свою материальную жизнь.

Способ производства людьми необходимых для их жизни средств зависит ближайшим образом от свойств самих преднаходимых ими и воспроизводимых ими средств к существованию.

Итак, перед нами такой факт: определенные индивиды, производящие определенным образом, вступают в определенные обществен-

ные и политические отношения. Эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае вскрыть эмпирически, без всякой мистификации и спекуляции, связь общественного и политического расчленения с производством. Общественное расчленение и государство возникают постоянно из жизненного процесса определенных индивидов, но индивидов не таких, какими они могут являться в собственном или чужом представлении, а таких, каковы они суть в действительности, т.-е. как они действуют, материально производят, и, следовательно, оказываются деятельными при определенных материальных, независящих от их воли, предпосылках и условиях. Представления, составляемые себе этими индивидами, суть представления либо насчет их отношения к природе, либо насчет их отношения друг к другу, либо насчет их собственных свойств. Ясно, что во всех этих случаях эти представления являются реальным или иллюзорным выражением их реальных отношений и деятельности, их производства, их сношений, их общественной и политической практики. Противоположное допущение возможно лишь в том случае, если предположить, кроме духа реальных, материально обусловленных индивидов, еще какой-то иной дух. Если сознательное выражение реальных отношений этих индивидов иллюзорно, если в своих представлениях они ставят свою действительность на голову, то это, в свою очередь, является следствием их ограниченного материального способа деятельности и вытекающих отсюда ограниченных общественных отношений".

Чтобы оценить по достоинству эту замечательную постановку проблемы, нам необходима историко-философская справка. У упомянутого Штирнера слово индивидуальность, личность употребляется многосмысленно и неопределенно. В конце концов, эмпирический индивидуализм Штирнера предполагает ослабление всех социальных связей, обнажение от всех социальных покровов. Тогда перед нами просто особь—видовая категория. Но такая постановка никак не устраивает Штирнера, ибо человек, вставленный в рамки натуральной необходимости, ни в какой мере не является воинствующей личностью, отвергающей все „призраки", законы во имя выявления и утверждения своего каприза, своего аппетита, своего хотения. Тогда Штирнеру пришлось бы скромно признать, что его бунт карикатурно заостренно направлен против определенной социально-культурной формации и во имя определенного типа социального бытия. А это идет вразрез со всей концепцией Штирнера.

В истории настоящей родиной, так сказать, „нормального" мелкобуржуазного индивидуализма являлся и доныне является психологизм. Суть психологизма заключается в том, что личность как бы отрывается от природы и противопоставляется обществу. Натурально-социальный критерий зачеркивается; способность личности чувствовать, страдать, колебаться и выбирать или по крайней мере пытаться выбирать между законами природы и велениями общества—вот что подчеркивается; вот настоящая психологическая основа мелкого буржуа. Самым замечательным борцом, победоносно сокрушившим психологизм, является никто иной как Спиноза.

По Спинозе все то, что реально—совершенно, все то, что совершенно — реально. Реально же только то, что живет по закону внутренней необходимости, что живет, пребывает и не может не быть. Реальное бытие лишено вульгарной свободы выбора. Оно есть. Свобода выбора не только не есть утверждение совершенства, могущества и реальности; там, где возникает проблема „быть или не быть", там упадочное бытие; герой подобной „свободы" выбора—явно дефективный. Свобода выбора есть отпад от реальности, снижение в бездну небытия; носитель „этой" свободы—инвалид бытия, неисправимый калека, который вряд ли выпрямится, если даже его отправить во вселенскую санаторию, в лоно математической необходимости. Только приобщаясь к необходимости, человек становится или приобщается к подлинной реальности. Необходимости—но какой: математической или формально-логической. Маркс в этом пункте всецело и всемерно подходит к спинозизму. И здесь — не совсем там, где думает Плеханов—смычка между Марксом и Спинозой. Но Маркс и Спинозу „ставит на ноги": Маркс иначе понимает необходимость.

Идеалистическая философия в сущности всегда оставалась верной заветам Спинозы и прекрасно понимала, что утвердить индивидуальность на чисто психологической базе—попытка явно негодная, ибо психологический субъект—производное то социальной, то натуральной среды. Идеалистическая философия повела резкую и беспощадную борьбу с психологизмом и выдвинула гносеологический субъект. Гносеологический субъект—это законодательная инстанция, вырабатывающая нормы познания, опыт обусловливающая, но опытом не обусловленная. Получается несколько своеобразная, „хитрая" диверсия: субъект как бы расщепляется на вечно пребывающее, неизменное, законодательное „бытие" и на изменчивое, неустойчивое, обусловленное „бывание". Отсюда новые затруднения для идеалистической философии: никак не удается установить правильный контакт между этими двумя, принципиально противоположными, сторонами субъекта! Неправильно полагать, что только мотивы познавательного характера заставили Канта и Фихте создать „неопалимую купину" в виде гносеологического субъекта. Нет, играл роль момент социально-культурный—потребность утвердить автономию раскрепощенной буржуазной революцией личности на основе изменного и всегда себе равного разума. И если даже допустить,—а для этого есть немало оснований,—что „глубинное" „я" Фихте не есть только носитель познавательных категорий, то это „я" ни в коем случае не есть возвращение к психологизму. Предполагается, что это „я" есть законодатель и источник всякого, в том числе и иррационального, творчества. Потому-то романтики не без основания считают Фихте своим духовным отцом. Но психологизма у Фихте нет. В общем получается такая картина: личность утверждается целостно и безоговорочно; но если под личностью следует разуметь ее способность „плакать и смеяться", то этой личности выражается вотум недоверия, к ней приставлен комиссар в виде гносеологического субъекта. Это превращение субъекта в созидателя объективных норм есть на самом деле тщательно замаскированная социальность. Не случайно то обстоятельство, что некоторые толкователи Канта склонны рассматривать так называемые „категории" разума, как кристаллизованные в индивидуальном сознании видовые категории. Но те же теоретики не догадываются, что надо отказаться от антропологических символов и притти к анализу социальных отношений. А между тем, не подлежит сомнению, что Кант—гениальный интерпретатор французской революции в своеобразной протестантской окраске.

Как относится к проблеме личности Гегель?

Принято думать, что Гегель отрицал роль личности в истории и значение субъективного фактора. Ведь Гегель возмущался наглостью личности, осмеливающейся восстать против свободы воплощающего, свободу утверждающего, абсолютного разума.

Все это не то что не верно, а хуже того: приблизительно верно. Гегель самым настоятельным образом подчеркивает важность субъективного сознания, осознания личностью смысла и значения объективного хода вещей. Гегель придает настолько важное значение этому субъективному моменту, что не считает историческими народами те, среди которых объективировавшийся разум не вызвал соответствующего сознания в душах людей. В чем же здесь дело?..

По Гегелю, мотивом человеческого поведения является личный интерес, корысть. Эти индивидуальные интересы, сплетаясь и смешиваясь, не могли ни в коем случае дать в результате какое-либо разумное, органическое целое. Только абсолютный разум использовывает человеческие поступки, продиктованные корыстью и вожделениями, и из этого материала создает объективно общеобязательное, в котором абсолютный разум достигает высшей ступени своего развития. Одной из этих ступеней является государство. Недаром теоретики государственности восхваляют Гегеля за то, что он впервые дал великую моральную санкцию государству. Государство есть воплощенный разум на земле, противопоставляемый случайным, слепым, неразумным инстинктам и вожделениям индивидуума. Получается своеобразное участие индивидуума в построении государства. Точно так же, как из элементов природы—глины, воды—воздвигается дом, который защищает против разрушительных сил природы же, точно так же инстинкты и страсти человека создают государство, которое борется с произволом, случайностью, изменчивостью, неразумностью человеческих же инстинктов. Но вот дом-государство воздвигнуто. Индивидуум великолепно использован для целей построения разумного начала на земле—государства. Кончается ли этим роль личности?.. Является ли личность всегда только бездушным материалом для строительства?.. Нет! Здесь начинается своеобразное признание Гегелем значения личности. Личность, по Гегелю, может или продолжать руководствоваться в своих поступках одними только животными интересами, тогда она невольно и фатально будет только бездушной глиной, из которой абсолютный разум вылепит все, что нужно для дальнейшего развития объективного духа, либо личность возвысится до объективного понимания разумной необходимости, и тогда она делается сотрудницей и сознательным агентом объективного разума. Значит, Гегель признает роль личности, но только лишь после того, как объективный разум использовал сырой материал инстинктов и вожделений; личность ставится перед совершившимся фактом, и тогда ей дается возможность быть творцом истории; но Гегель отрицает роль личности до того момента, пока объективный разум не создал как бы некоторого показательного учреждения — государства, которому должна подражать личность...

Маркс, подобно Спинозе, отвергает призрак мнимой свободы и выдвигает категорию необходимости. Вместе с Гегелем он эту необходимость понимает не статически, а динамически—в процессе развития. Но эта необходимость не есть ни субстанция Спинозы, ни развертывание имманентных сил абсолютного разума. Маркс говорит о необходимости технико-производственной. Разумеется, на почве этой необходимости действует не голая личность. В процессе производства кристаллизуются классы, и эта необходимость, так сказать, захватывает своими зубцами не индивидуум, а класс, в пределах которого формируется так или иначе личность.

Признаком реальности является не высвобождение из ярма социальной необходимости. Реально то, что необходимо, а необходимость эта—социо-производственного характера. Маркс не только положил конец всем измышлениям о свойственной марксизму „склонности“ к механизации личности, а вскрыл „патологию буржуазной специализации и указал путь к настоящему самоутверждению личности через строительство класса. Данный Марксом критерий реальности бьет гораздо дальше. Маркс одновременно отвечает критикам, утверждающим, что марксизм философски слаб потому, что в нем не дана онтология, т.-е. характеристика бытия, а потому отсутствует критерий реальности. Один из критиков так формулировал грехи марксизма: по Марксу „бытие определяет сознание“, но на деле марксизм дает два икса, два неизвестных, ибо марксизм не объясняет, что такое бытие, а следовательно, бессилен дать ответ на вопрос, что такое сознание.

Интересно отметить, что когда-то идеалисты выдвигали против теории революции доводы теоретико-познавательного, а не онтологического характера. Струве пытался обосновать „гносеологически“ невозможность революции. Плеханов в свое время вскрыл ребяческий характер этой аргументации. Теперь идеалисты пришли к заключению, что в сущности всякая теоретико-познавательная концепция бессознательно опирается на онтологические аксиомы. Рассуждения идеалистов последней формации настолько интересны, что я позволю себе остановиться на них повнимательнее. Видите ли, теория познания бессильна преодолеть „антиномию“ между субъектом и объектом. Что ж, нам бы только радоваться: идеалисты упадочной формации принуждены признать если не единство, то хотя бы тождество субъекта и объекта! Но нет. Идеалисты рассуждают иначе: раз упомянутого противоречия между субъектом и объектом преодолеть в познавательном порядке невозможно, то надо „умополагать“ на личность высшей инстанции, в которой нет этой роковой противоположности. Эта инстанция есть бытие. Опять-таки как будто бы все хорошо! Идеалисты как будто принимают ненавистную формулу, что бытием определяется сознание! Но это, конечно, не так! Бытие идеалистов не вульгарное, земное, социальное. Идеалисты говорят о бытии в самом себе, целостном, нераздельном, непрерывном. Моделью этого бытия является учение об идеях Платона, приправленное блаженным Августином и преобразованное Николаем Кузанским (см. хотя бы „Кризис современной философии“ Франка).

Марксизм на самом деле опирается на определенную онтологию и дает характеристику бытия и даже, если можно так выразиться, модель бытия: систему производственных отношений в их необходимом диалектическом развитии.

Одно замечание: диалектико-производственный социо-морфизм Маркса в корне отличается не только от социо-морфизма Фулье, Гюйо, Зиммеля и Дюркгейма, но и от тектологического социо-морфизма Богданова. Попытка противопоставить классово-производственный, диалектический социо-морфизм Маркса материализму—попытка совершенно необоснованная. Выяснение специфической природы общественных отношений не мешает, а неуклонно способствует строжайшему монизму диалектического понимания природы и общества. Мы здесь ограничиваемся догматическим указанием, оставляя за собой право вернуться к этой проблеме и к ошибкам концепции Г. Лукача.

Теперь несколько слов об идеологии. Раз нам дан социо-производственный критерий реальности, то уже ясно, что не разум является законодателем истории. То, что люди думают о себе и о своей дея-

тельности, ни в коем случае не является доказательством верности их суждения. Маркс не боится вульгарных сравнений. Он говорит: „В то время как в обыденной жизни любой лавочник умеет различать между тем, за что выдает себя кто-нибудь, и тем, чем он является в действительности, наша историография еще не дошла до этого банального знания. Она верит на слово каждой эпохе в том, что она говорит о себе и что она воображает о себе". Еще менее Маркс доверяет психологическому человеку, полному иллюзий, заблуждений, высокомерных представлений о своем могуществе и столь же склонному к самоуничижению и самопорабощению призракам даже тогда, когда он объявляет этим призракам непримиримую борьбу. Отсюда резко отрицательное отношение к идеологии. Но и здесь надо вдуматься тщательно в роль и значение идеологии. Вульгаризаторы, наверно, сейчас же затрубят в трубы мнимого радикализма, появится эпидемия детской болезни левизны. Кто-нибудь да выбросит лозунг: „долой идеологию—это гнездо лжи и извращений". На деле это не так. Конечно, идеология „лжет". Но здесь вполне применимы слова одного из героев Горького: „Что ж, если человек лжет. А ты старайся понять, почему человек лжет". То же в области идеологии. Идеология, которая выдает разум или чувство за первооснову мира, конечно, „лжет", но сама эта „ложь" есть неоценимый документ и характеристика социального бытия, если мы поймем, почему она „лжет", в какой мере и в какой степени. Часто идеология, характеризуя бытие, привносит тот элемент, который налично отсутствует, но который желателен той или другой общественной группе. И очень часто идеолог, в своей интерпретации социального бытия, предвосхищает неизбежность наступления другой эпохи и этим самым как бы „пророчески" предугадывает будущее. Платон бичует демократические Афины и идеализирует военные Спарты. Но на самом деле он предвосхищает идеологически будущее монастырское средневековье. Из этого видно, что „ложь" и правда своеобразно переплетаются.

Надо ли говорить о том, что задачей Маркса в борьбе с идеологией рационализма не является ни в какой мере компрометировать „разум". Разум, направленный на познание законов развития социальной среды, разум как орудие познания, преодоления в руках исторически прогрессивного класса, есть верный и мощный двигатель истории. То же применимо и ко всякой идеологии. Резюмирую: Маркс дает нам исчерпывающий анализ своего понимания личности, дает ясно очерченную онтологию, дает могучее орудие в борьбе с тайным и явным индивидуализмом.

Химические основы родовых и видовых признаков.

Жак Леб.

(Перевод В. А. Дорфмана, под редакцией и с предисловием Б. М. Завадовского).

Предисловие.

Предлагаемая вниманию читателя статья Жака Леба представляет собою одну из глав его замечательной книги „Организм, как целое, с физико-химической точки зрения", еще неизвестной русскому читателю. Появившись в свет в эпоху мировой войны, эта книга сформулировала в гораздо более законченном и цельном виде основные воззрения автора, чем это им сделано в его более ранней книге: „Динамика живого вещества", переведенной на русский язык в 1912 году, но уже давно исчезнувшей с книжного рынка. В настоящее время эта новая книга подготовляется нами к выходу в свет в издании Гиза в ее полном виде, но мне кажется ценным и необходимым познакомить русского читателя с некоторыми основными положениями книги, не дожидаясь ее выхода в свет. И не только потому, что последовавшая в этом году (11 февраля 1924 г.) безвременная смерть великого ученого призывает нас отметить ее напоминанием об его заслугах, но и по причине близости и родства его общего мировоззрения к принципам воинствующего материализма, которые проводит наш журнал. Ибо именно в Лебе мы потеряли не только величайшего идеолога нашего времени, который питает своими экспериментальными работами позиции научно-материалистического мировоззрения, но и вполне осознавшего себя воинствующего материалиста, который всю свою плодотворную жизнь посвятил неустанной открытой и ожесточенной войне со всеми формами витализма в науке.

Леб часто бывает схематичен, его построения отпугивают иногда даже его сторонников своею прямолинейною простотою, а язык лаконичен и эскизен. Но за всем этим скрывается тонкий и необыкновенно оригинальный и самобытный ум, подкупающий ясностью и строгостью. Пожалуй, из всех современных нам биологов никто не может сравняться с ним в искусстве сопоставления, казалось бы, несравнимых между собой вещей, в той поразительной смелости, с которой он, вооруженный своей несокрушимой верой в могущество исследовательского ума, берется за решение самых сложных и трудных проблем биологии. И если таков Леб во всех его научных и популярных трудах, то в этой своей книге, где он глава за главой анализирует организм, как целое,—начиная с проблемы о происхождении жизни, переходя через проблемы развития особи и вида и кончая проблемой смерти,— все основные „проклятия" и до сих пор еще нерешенные вопросы биологии с точки зрения последовательного механиста, Леб проявил, быть может, наи-

большую смелость замысла и оригинальность осуществления, чем где бы то ни было в другом месте.

А среди всех глав этой книги его попытка проанализировать „химические основы рода и вида“ открывает исключительно своеобразные перспективы и представляет всю проблему о роли ядра и протоплазмы в определении видовых и индивидуальных свойств и признаков в новом и неожиданном освещении.

Как благодаря своему фактическому обоснованию и материалу, в большинстве своем неизвестному даже в научной русской литературе, так и благодаря совершенно неожиданным сопоставлениям таких фактов, которые раньше Леб никто не мог и не смел сравнить между собой, так, наконец, и благодаря своему скупому языку и лаконичному изложению, эта глава из книги Леба является наиболее трудной и потребует от читателя, быть может, большого напряжения мысли. Но мы думаем, что на это стоит пойти, ибо смелые соображения Леба представляют огромный интерес не только для научного работника, но и для всех тех, кто мало-мальски интересовался и следил за современным развитием проблем эволюции. Это тем более необходимо, что поскольку нам известно, Леб больше нигде в другом месте не возвращался к тем мыслям, которые он вложил в эту главу, а эти мысли, в свою очередь, остаются неизвестны именно тем кругам научных работников, которые непосредственно разрабатывают эти вопросы.

Конечно, в своих соображениях Леб еще не дал окончательного решения вопроса и не разрешил поставленной им проблемы во всей ее широте. Но он бросил на нее совершенно новый свет и наметил некоторые вехи и перспективы, которые не смогут больше обойти исследователи, изучающие вопрос о материальных носителях видовых и родовых свойств.

Для всякого же марксиста-общественника эта глава представит исключительный интерес еще и тем, что она показывает, как уже на первых своих шагах методы физико-химического исследования явлений жизни бросают яркие лучи и указывают перспективы, по которым должна будет пойти наука ближайшего будущего.

Б. Завадовский.

---

1. Вполне очевидной истиной является тот факт, что из яйца развивается организм, принадлежащий только данному виду, а не другому. Известно также, что так-называемая протоплазма яйца незначительно отличается от протоплазмы яйца других видов, если рассматривать ее в микроскоп. В связи с этим возникает следующий вопрос: чем же определяются видовые признаки будущего организма? Структурой, специфическим химическим фактором или, наконец, целою группой подобных химических факторов? В следующей главе мы покажем, что яйцо обладает простой, но определенной структурой; здесь же мы ограничимся изложением данных, говорящих за то, что яйцо, повидимому, содержит в себе специфические вещества, которые, определяя вид и его специфические свойства, принадлежат, по всей вероятности, к группе белковых веществ. Так как растворы различных белковых веществ при наблюдении в микроскоп не обнаруживают никаких особых отличий, то не следует удивляться и тому, что мы не в состоянии микроскопически различать протоплазму яиц разных видов.

Идея постоянства и устойчивости видов, являющаяся в случае человека и высших животных делом повседневного наблюдения, не встретила сразу признания в случае микроорганизмов, которые,

ввиду своих малых размеров и простоты строения, гораздо труднее поддаются различению. Долгое время высказывались серьезные сомнения по поводу того, обладают ли простейшие организмы, как, например, бактерии, специфичностью, подобно выше стоящим организмам, и не присуща ли им, как то предполагал Варминг (Warming), „неограниченная пластичность“, препятствующая классифицированию их в определенные виды, согласно их форме, как это было сделано Коном (Cohn). Интересный пример такого рода споров имел место около двадцати пяти лет тому назад по поводу серобактерий, развивающихся часто в виде огромных масс на гниющих у побережий растениях или животных. Рэй Ланкестер (Ray Lankester) нашел большие скопления красных бактерий, покрывавших гниющие трупы животных и образовавших непрерывную пленку вдоль стенок сосуда. Эти красные бактерии отличались друг от друга по форме, размерам и характеру колоний, хотя между ними, казалось, можно было наблюдать соединяющие их переходные формы. Все же они обладали одним общим признаком, так, например, все были окрашены в цвет персика. Этот общий признак, в связи с их скоплением в одной и той же среде, привел Ланкастера к вполне обоснованному с тогдашней точки зрения выводу,—а именно, что бактерии эти принадлежат все к одному и тому же виду, обладающему способностью принимать различные формы, и что их следует рассматривать только как отдельные формы роста одного открытого им вида. Наличие у всех этих бактерий одного и того же пигмента „бактерио-пурпурина“ указывало будто бы с несомненностью на существование тождественных химических процессов. Напротив, Кон рассматривал различные формы, наблюдаемые среди красных бактерий (в настоящее время их называют серобактериями, так как они окисляют выделенный гнилостными бактериями сероводород в серу и сульфаты), как определенные и отличимые друг от друга виды, несмотря на тождественность их окраски и совместные скопления. Более поздние наблюдения подтвердили мнение Кона. Виноградскому путем опытов над выделенными им чистыми культурами удалось доказать специфичность каждой из вышеуказанных серобактерий; он показал, что ни одна из них не вызывала образования других сходно-окрашенных и встречающихся в сходных условиях форм.

Метод выращивания чистых линий, введенный Иогансеном, показал, что степень обособленности доходит до того, что видимо идентичные формы, обладающие лишь незначительными отличиями в размерах, передают потомству именно такие же размеры; но по причинам, которые станут ясны несколько позже, мы в праве усомниться в том, можно ли их действительно рассматривать, как определенные виды.

Факт специфичности подкрепляется постоянством формы. Де Фриз (De Fries) указал на то обстоятельство, что, несмотря на возможное образование новых видов путем мутации, старые виды могут сохраняться на-ряду с ними. Уолькотт (Walcott) нашел ископаемые остатки аннелид, улиток, ракообразных и водорослей в пре-кэмбрийских отложениях Британской Колумбии, возраст которых (вычисленный по скорости образования радия из урана) может достигать до двухсот миллионов лет, а вычисленный на основании мощности осадочных пластов достигает шестидесяти миллионов лет. И все же найденные им формы беспозвоночных животных до того сходны с ныне живущими, что систематикам без труда удается их отождествлять. Уилеру (M. Wheeler), исследовавшему сохра-

нившихся в янтаре муравьев, удалось отождествить их с некоторыми из ныне живущих форм, хотя древность найденных им муравьев достигает двух миллионов лет. Постоянство видов, т.-е. сохранение специфичности, можно, следовательно, установить на протяжении двух, а может быть, даже и двухсот миллионов лет. Обособленность и постоянство каждого вида должны быть обусловлены чем-то равно определенным и постоянным, содержащимся в яйце, так как в последнем уже заранее заложены видовые признаки.

Мы покажем, прежде всего, что виды, достаточно строго установленные, обычно несоединимы друг с другом и что все попытки смешения их путем прививки или скрещивания не дают никаких результатов. Во второй части настоящей главы мы рассмотрим ряд фактов, которые могут пролить некоторый свет на причину специфичности.

Вряд ли нужно напоминать здесь о том, что этот последний вопрос имеет чрезвычайно важное значение для проблемы эволюции, а равно и для проблемы строения живого вещества.

I. Несоединимость видов, мало родственных друг другу.

2. Практически невозможно производить пересадку органов или тканей одного вида высших животных на другой, если оба вида не близко родственны друг другу; но даже и тогда пересадка не совсем надежна, и пересаженная ткань может либо отпасть, либо подвергнуться разрушению. Специфичность тканей заходит настолько далеко, что врачи предпочитают при операциях пересадки кожи на человека, пользоваться кожей самого пациента или его кровных родственников. Причины того, что ткани чуждого вида в случае теплокровных животных не в состоянии хорошо развиваться на любом хозяине, были выяснены замечательными работами Мерфи в Рокфеллеровском Институте. Мерфи нашел, что можно с большим успехом производить трансплантацию любой ткани чужого вида на зародыш курицы в ранних стадиях его развития. Даже человеческие ткани, пересаженные на этот зародыш, быстро и хорошо растут. Отсюда ясно, что на такой ранней стадии развития зародыш курицы еще не реагирует на пересаженную чужую ткань. Отсутствие реакции наблюдается приблизительно до 21-го дня жизни зародыша; с этого же момента не только прекращается рост трансплантата; последний или отпадает сам собою или же подвергается разрушению. Мерфи заметил, что критический период совпадает с развитием селезенки и лимфатической ткани зародыша и что известный вид блуждающих клеток, так назыв. лимфоциты, развивающиеся в лимфоидной ткани, скопляются в большом количестве по краям трансплантата; он предполагает, что именно эти лимфоциты (путем выделения некоторых веществ?) и освобождают организм от трансплантата. Идею эту он подтвердил двумя следующими опытами. Во-первых, он показал, что если пересадить в зародыш небольшие кусочки селезенки взрослого цыпленка, то зародыш теряет свою толерантность по отношению к чужеродным трансплантатам.

Второе доказательство представляет еще больший интерес. Известно, что лимфоциты животного могут быть разрушены при помощи рентгеновских лучей Можно было ожидать, что животное, подвергнутое действию этих лучей, потеряет свойственную ему сопротивляемость по отношению к чужеродным тканям. Мерфи показал, что такое

явление действительно имеет место. На взрослых крысах, лимфоциты которых были разрушены действием рентгеновских лучей (что проверялось путем непосредственного подсчета кровяных телец), наблюдался прекрасный рост тканей, принадлежавших другим видам. Описанные опыты приобрели огромное практическое значение, так как их можно использовать также для иммунизации животного по отношению к трансплантированному раку, взятому от животных того же вида. Мерфи показал, что, увеличивая число лимфоцитов животного (путем умеренной рентгенизации), можно добиться усиления иммунитета как по отношению к чужеродным трансплантатам, так и по отношению к раку, взятому от животного того же вида. Весьма возможно, что очевидный иммунитет к трансплантации рака, вызванный Енсеном (Jensen), Лео Лебом и Эрлихом (Ehrlich) и Аполантом (Apolant) путем предварительной пересадки ткани в подопытное животное, был результатом того, что эта предварительная пересадка ткани привела к увеличению числа лимфоцитов животного. Однако медицинская сторона вопроса лежит за пределами нашего разбора, а потому мы ограничимся одним этим попутным указанием. Факты показывают, что каждое теплокровное животное, повидимому, обладает специфичностью, в силу того, что лимфоциты животного разрушают трансплантированные ткани, взятые от чужих видов.

Менее значительная, но все же явно выраженная степень обособленности наблюдается и у низших организмов в их отношении к трансплантатам, взятым от других видов[1]). Трансплантат, повидимому, может удерживаться в течение нескольких дней в тех случаях, когда виды не близко родственны друг к другу. Иосту (Ioest) удалось, очевидно, получить постоянное сращение переднего и заднего отрезка двух видов земляных червей, Lumbrieus rubellus и Allolobophora terrestris. Борну (Born), а позже Гаррисону, удалось произвести сращение частей головастиков, принадлежавших различным видам. Индивид, получившийся из двух видов лягушек: Rana virescens и Rana palustris, прожил довольно долго и прошел стадию метаморфоза. Каждая половина его обнаруживала характерные признаки того вида, от которого она была взята. Однако, если для опыта служат головастики двух или более далеко отстоящих друг от друга видов, то в таких случаях длительное сращение, повидимому, не наступает; так, например, обстоит дело в случае Rana esculenta и Bombinata igneus. Эти опыты производились в то время, когда сущность и значение проблемы специфичности не получили еще всеобщего признания. Роль лимфоцитов в этих явлениях еще не была исследована. Сращенные части всегда сохраняли характерные черты того вида, от которого они были взяты.

Растения лишены лейкоцитов, и потому они переносят прививку чужих тканей гораздо лучше, чем животные. В самом деле, гетеропластическая пересадка—явление ежедневной практики садоводов; правда, известно, что возможность гетеропластических пересадок и здесь не безгранична и что, следовательно, видовая специфичность не остается и здесь без влияния. Функция подвоя заключается в том, что он доставляет привою питательный материал, и в этом отношении он лишь немногим отличается от искусственных питательных растворов, в которых обыкновенно выращивают растения. Однако закон

[1]) Укажем читателю на книгу Моргана (Morgan), Regeneration (New-York 1901), в которой приведена литература по этому вопросу.

специфичности сохраняет силу и для пересаженных тканей: ни у животных, ни у растений трансплантат не теряет своей специфичности и не приобретает специфических признаков подвоя или наоборот. Кажущееся исключение, которое Винклер (Winkler) будто бы нашел в случае пересадки черного паслена на томат, в результате только послужило дальнейшим доказательством закона специфичности. После того, как прививка приживлялась, Винклер прорезал насквозь то место, где была сделана пересадка, при чем на месте разреза наступало образование каллюса [1]). В большинстве случаев из каллюса вырастал либо чистый черный паслен, либо чистый томат. Иногда же на месте соединения обоих растений Винклер получал побеги черного паслена с одной стороны и томата с другой. Тщательное исследование показало, что точка роста этих побегов на одной стороне состояла из клеток черного паслена, на другой—из клеток томата [2]). Мы не знаем ни одного случая, когда клетки трансплантата потеряли бы свою специфичность и превратились бы в клетки подвоя.

3. Другое доказательство несоединимости далеко отстоящих друг от друга видов было найдено в явлении оплодотворения. Яйца большинства животных не развиваются до тех пор, пока в них не проникнет сперматозоид. Внедрение сперматозоида в яйцо точно так же, повидимому, подчиняется закону специфичности, поскольку обычно удается проникнуть в яйцо только сперматозоиду того же или близко родственного вида. Автор [3]) нашел, однако, что в некоторых случях подобное ограничение удается обойти при помощи физико-химических приемов, знание которых, быть может, даст когда-нибудь возможность подойти ближе к механизму специфичности, применительно к этому случаю. Автор нашел, что яйца одного морского ежа, встречающегося в Калифорнии, которые в обычной морской воде не могут быть оплодотворены спермой морской звезды, теряют свою специфичность в отношении к этой чужеродной сперме, если к морской воде прибавить немного щелочи и *Ca*, или одновременно как то, так и другое. Годлевский подтвердил достаточность этого метода для оплодотворения яиц морского ежа спермой морских лилий.

При всех подобных попытках гетерогенных гибридизаций получаются два поразительных результата. Один из них заключается в том, что образующаяся личинка обладает исключительными материнскими признаками,—как если бы сперма не привнесла в развивающийся зародыш никакого наследственного материала. Подобный результат никак нельзя было предсказать, ибо при оплодотворении яйца того же калифорнийского морского ежа, Strongylocentrotus purpuratus, спермой близко родственного морского ежа S. franciscanus наследственное влияние сперматозоида наблюдается весьма ясно в строении первичного скелета личинки. В случае гетерогенной гибридизации сперматозоид практически является только активирующим яйцо агентом, но не носителем отцовских качеств.

Второй поразительный факт заключается в том, что яйца морского ежа, оплодотворенные спермой морской звезды, сперва развиваются вполне нормально, но уже на второй и третий день своего развития значительное число их погибает, и только немногие выжи-

[1]) Каллюсом называют в ботанике ширококлетную, тонкостенную ткань, образующуюся в местах ранений растения.

[2]) Baur, E. Einführung in die Epurimentelle Vererbungslehre, Berlin 1911, S. 232.

[3]) Литературу по этому вопросу см. в главе IV.

вают до стадии образования скелета; но эти последние обычно обнаруживают болезненный вид, и образование скелета наступает у них значительно позже, чем в норме. Еще недостаточно выяснено, не начинается ли эта болезненность и не принимает ли она столь резко выраженный характер с момента появления известного рода блуждающих клеток, а именно—клеток мезенхимы; было бы, пожалуй, интересно исследовать этот вопрос. У автора создалось такое впечатление, как если бы болезненность гетерогенных личинок вызывалась постепенно образующимся в них ядом.

Автор исследовал также явление гетерогенной гибридизации на рыбах, представляющих гораздо более благодарный материал. Яйцо морской рыбки Fundulus heteroclitus может быть плодотворено спермой почти любой другой костистой рыбы, что впервые было обнаружено Манкгаусом. Последнему не удалось, однако, сохранить гибридов в живых дольше одного дня, автор же сохранял гетерогенных гибридов в живом виде в течение месяца и дольше; он наблюдал и здесь отмеченные им уже и раньше поразительные факты, характеризующие гетерогенных гибридов морского ежа и морской звезды, а именно: практически полное отсутствие отцовских признаков и начинающуюся уже на ранней стадии развития зародыша болезненность, которая усиливается по мере дальнейшего развития. Гетерогенные гибриды рыб, в частности Fundulus heteroclitus ♀ и Menidia ♂ [1]) обычно лишены кровообращения, несмотря на то, что сердце у них развивается и бьется, а также формируются кровяные клетки и сосуды. Иногда частично недоразвиваются глаза, или же они обнаруживают какую-нибудь аномалию, несмотря на то, что в начале своего развития они кажутся вполне нормальными; рост зародыша большею частью замедлен. В исключительных случаях может установиться нормальное кровообращение, при чем зародыш может оказаться нормальным во всех отношениях, но тогда он обнаруживает, главным образом, материнские черты.

Такая несоединимость двух половых клеток, происходящих от различных видов, наблюдается не только в случае гетерогенной гибридизации, но менее часто и при скрещивании двух более близких форм. Помесь между двумя родственными формами S. purpuratus ♀ и S. franciscanus ♂ вполне жизнеспособна и не обнаруживает необычной смертности, поскольку это наблюдал автор. Однако в случае обратного скрещивания, а именно, между S. franciscanus ♀ и S. purpuratus ♂, развитие в начале протекает нормально, но, начиная с момента образования мезенхимы, большая часть личинок становится болезненной и погибает; здесь опять-таки возникает тот же вопрос: не совпадает ли наступление болезненного состояния с развитием клеток мезенхимы? Если предположить, что болезненность и смерть вызываются образованием яда, то следует допустить, что яд этот выделяется протоплазмой яйца, ибо иначе трудно понять, почему обратное скрещивание не обнаруживает подобных же признаков отравления.

Все изложенные выше факты говорят за то, что слияние двух далеко отстоящих друг от друга видов путем прививки или скрещивания неосуществимо, хотя механизм этого антагонизма остается пока еще непонятным. Вполне возможно, что этот механизм неодинаков во всех приведенных нами примерах и что в случае смешения двух

[1]) Значком ♂ в биологии обозначают самцов, а ♀—самок.

видов он может быть иным, чем в случаях специфического антагонизма между двумя вариациями одного и того же вида, как это имеет место в опытах трансплантации, производимых над млекопитающими.

II. Химические основы родовых и видовых отличий и видовая специфичность.

4. Пятьдесят-шестьдесят лет тому назад врачи, не колеблясь, производили переливание крови животных в человека. Все эти попытки кончались, однако, неудачей, и Ландуа экспериментальным путем показал, что при введении чужой крови в организм животного кровяные тельца вводимой крови быстро растворяются, а животное, подвергнутое этой операции, заболевает и даже умирает. Результат получался иной в тех случаях, когда животное, от которого была взята кровь, принадлежало к тому же или близко родственному виду. Так, при обмене крови между лошадью и ослом или между волком и собакой или зайцем и кроликом, в моче не наблюдалось никаких признаков появления гемоглобина, и подвергнутое переливанию крови животное чувствовало себя хорошо [1]). Это послужило началом для исследований по вопросу о специфичности кровяной сыворотки, которым суждено было сыграть такую выдающуюся роль в развитии медицины. Фриденталю удалось позже показать, что при прибавлении трех капель дефибринированной крови чужого вида к 10 *см*³ сыворотки млекопитающегося, при температуре в 38°C, в течение 15 минут кровяные тельца прибавленной крови подвергались полному цитолизу, однако, в случае прибавления крови более близкого вида процесс протекал медленнее. Подобным же путем Фриденталю удалось показать, что сыворотка человеческой крови растворяет эритроциты угря, лягушки, голубя, курицы, лошади, кошки и даже низших обезьян, но не антропоидных. Между кровью шимпанзе и человеческой вовсе не наблюдалось никакой специфической реакции, и это открытие Фриденталь оценил вполне правильно, как подтверждение идеи эволюции, устанавливающей кровное родство человека с антропоидными обезьянами.

Указанное направление исследований вступило в новую фазу с тех пор, как Краус (Kraus), Чистович и Бордэ (Bordet) открыли и разработали метод преципитиновых реакций, состоящий в том, что, при введении чужой сыворотки (или чужого белка) в кровь животного, сыворотка последнего спустя некоторое время обнаруживает способность вызывать образование осадка при смешении ее с антигеном, т.-е. с тем чужим веществом, которое было предварительно введено в организм животного с целью вызвать в последнем образование антител; в то же самое время сыворотка контрольного кролика, не подвергнутого предварительной обработке, при смешении ее с кровью чуждого вида, не вызывает образования осадка.

Краус в 1897 г. нашел, что при смешении фильтратов культуры бактерий (например, тифозных бактерий) с сывороткой крови животных, иммунизированных той же самой сывороткой (в данном случае тифозной сывороткой), наблюдается появление осадка; эта преципитиновая реакция обнаруживает специфичность. Наблюдение Крауса было подтверждено и дополнено многими авторами.

В 1899 г. Чистович заметил, что сыворотка кролика, инъецированного сывороткой угря или лошади, вызывала образование осадка при смешении с последней.

В 1899 г. Бордэ показал, что если впрыснуть кролику молока, то сыворотка этого животного приобретает способность осаждать казеин; Фиш (Fish) уже указал на специфичность этой реакции, так как молочная сыворотка коровьего молока осаждает казеин только этого молока, но не человеческого или козьего. Вассерман (Wassermann) и Шульце (Schultze) получили такие же результаты независимо друг от друга.

Майерс (Myers), а позже Уленгут показали, что если впрыснуть кролику яичный белок курицы, то в сыворотке кролика появляются преципитины яичного белка. Уленгут же, испытывая яичный белок различных птиц, нашел, что преципитиновая реакция, вызванная сывороткой иммунизированного животного, обнаруживает специфичность, так как белки куриного яйца в состоянии вызвать появление осадков в крови кролика, которая осаждает только белок куриного яйца или близко родственных ему видов.

Нютталлю принадлежит честь первой попытки введения количественных методов учета образующегося осадка; этим путем он указал на возможность более точной оценки степени специфичности преципитиновой реакции. Пользуясь этим методом, Нютталлъ показал, что в тех случаях, когда иммунная сыворотка смешивается с сывороткой или с белковым раствором, служившими для иммунизации, наблюдается максимальная полнота осаждения, но что при смешении ее с сывороткой родственных форм образование осадка количественно уменьшается. Таким путем оказалось возможным установить степень кровного родства.

Нютталлю удалось также показать, что при инъецировании крови одного животного, например, человека, в кровь кролика сыворотка последнего, спустя некоторое время, обнаруживает способность вызывать осаждение не только человеческой крови или крови шимпанзе, но также и некоторых низших обезьян, с тою, однако, разницей, что в случае прибавления иммунной сыворотки к сыворотке человека, осадок оказывается значительно более объемистым. Этот метод обнаруживает, таким образом, существование не абсолютной, но строго количественной специфичности кровяной сыворотки. Мы иллюстрируем это утверждение следующей таблицей, заимствованной у Нютталлъ. Антисыворотка, служивая для преципитиновой реакции, была получена путем введения кролику кровяной сыворотки человека. Кровь сорока пяти видов испробованных животных сохранялась различное время в холодильнике в присутствии небольшого количества хлороформа.

Из приматов кровь шимпанзе дала слишком большое число; объяснением может служить то обстоятельство, что осадок, по некоторым, ближе неизвестным, причинам, появлялся в виде трудно оседавших хлопьев. Полученное для крови орангa число относительно невелико, а разница между Cynocephalus и Ateles выражена не так резко, как это можно было бы ожидать согласно дальнейшим качественным пробам.

При оценке полученных чисел следует принять во внимание возможные ошибки; следовало бы повторить испытания, чтобы получить таким образом нечто вроде константа. Кровь других видов дает слабую реакцию или не реагирует вовсе. Высокие числа (10%), полученные с кровью двух хищников, могут найти объяснение в том факте, что в одном случае получился осадок полужидкой консистенции, в другом же сыворотка была несколько концентрирована.

Выше мы указали на то, что, по Уленгуту, даже яичные белки обнаруживают специфичность. Грэм Смит (Graham Smith), один из

[1]) Это, быть может, верно только в пределах точности, доступной в этих опытах.

Таблица I.

Количественные испытания антиприматных сывороток.

Испытания с античеловеческой сывороткой.

Кровь, взятая от	Количество осадка.	Процентное отношение.
Приматов.		
Человека	.031	100
Шимпанзе	.04	130 (рыхлый осадок)
Горилы	.021	64
Оранга	.013	42
Cynocephalus mormon	.013	42
„ sphina	.009	29
Ateles geoffrogi	.009	29
Насекомоядных.		
Centetes ecaudatus	.0	0
Хищных.		
Canis aureus	.003	10 (рыхлый осадок)
„ familiaris	.001	3
Lautra vulgaris	.003	10 (концентрир. сывор.)
Ursus tibetanus	.0025	8
Genitta tigrina	.001	3
Felis domesticus	.001	3
„ caracal	.0008	3
„ tigris	.0005	2
Копытных.		
Быка	.003	10
Овцы	.003	10
Cobus unctuosus	.002	7
Cervis porcinus	.002	7
Kaugifer negaceros	.002	7
Equus caballus	.0005	2
Sus scrofa	.0005	2
Грызунов.		
Dasyprocta cristata	.002	7 (сгустки концентр. сывор.)
Морской свинки	.0	0
Кролика	.0	0
Сумчатых.		
Petrogale xanthopus		
„ penicillata		
Onychogale frenata		
„ unguifera	.0	0
„ unguifera		
Macropus benneti		
Thylacinus cynocephalus		

Таблица II.

Испытания с сывороткой, активированной утиным яйцом.

Испытанный материал.	Количество осадка.	Процентное отношение.
Яичный альбумин утки	.0384	100
„ „ фазана	.0328	85
„ „ курицы	.0234	61
„ „ серебристого фазана	.0140	36
„ „ черного дрозда	.0065	15
„ „ журавля	.0051	14
„ „ водяной курочки	.0046	12
„ „ дрозда	.0046	12
„ „ эму	.0018	5
„ „ травника	следы	?
„ „ зяблика	.	0
Сыворотка черепахи	следы	?
„ американского крокодила	.	0

Сыворотки лягушки, акулы и amphiuma и яичный альбумин черепахи и акулы были также исследованы, но дали отрицательный результат.

Таблица III.

Испытания с сывороткой, активированной куриным яйцом.

Испытанный материал.	Количество осадка.	Процентное отношение.
Яичный альбумин (старый) курицы	.0159	100
„ „ (свежий) курицы	.0140	88
„ „ серебристого фазана	.0075	47
„ „ фазана	.0075	47
„ „ журавля	.0046	29
„ „ черного дрозда	.0046	29
„ „ утки	.0037	23
„ „ водяной курочки	.0028	18

Яичный альбумин дрозда, эму, дубоноски и травника дал лишь следы осадка, точно так же, как и сыворотка черепахи, лягушки, ската и двух видов акулы не обнаружили вовсе никакой реакции. Безрезультатными оказались и испытания с сывороткой американского крокодила, лягушки, amphiuma и акулы [1]).

[1]) Nuttall, стр. 345 и 346.

сотрудников Нютталлля, подтвердил результаты последнего, применив к этой проблеме разработанный им количественный метод. Мы приводим для иллюстрации несколько примеров (см. табл. на стр. 152).

Уэльш и Чэмпан, усовершенствовав количественный метод, сумели объяснить причину того, что преципитиновая реакция с яичным белком не только не обнаруживала строгой специфичности, но давала также результаты, правда, количественно более слабые, и с яичным белком родственных птиц. Они нашли, что открытый ими метод „дает возможность обнаружить присутствие в сыворотке, активированной яичным белком птицы, общего птичьего анти-вещества (преципитана) на-ряду со специфическим анти-веществом".

Реакция Бордэ оказалась полезной для обнаружения специфичности и кровного родства не только животных, но и растений. Так, Магнусу и Фриденталю удалось, пользуясь этим методом, доказать родство пивных дрожжей (Saccharomyces cerevisine) и трюфеля (Tuber brumall).

5. Увлекшись проблемой иммунитета, мы не должны, однако, забывать, что непосредственный интерес для нас представляет сейчас вопрос о природе специфичности живых существ. Мы считаем себя в праве логически заключить, что ископаемые формы беспозвоночных, а также водорослей и бактерий, найденные Уолькоттом в Кэмбрийских отложениях, возраст которых оценивается до двухсот миллионов лет, обладали в свое время тою же специфичностью, что и современные их представители или близкие родственники; в связи с этим возникает вопрос о природе веществ, обусловливающих эту специфичность и переносящих ее от одного поколения к другому. Само собой понятно, что определенный ответ на поставленный вопрос приведет нас к самой сущности проблемы эволюции, равно как и к проблеме живого вещества.

При современном уровне наших знаний не может быть сомнений в том, что носителями специфических свойств в большинстве, а практически—и во всех случаях, являются белки. Этот вывод был сделан не только при помощи метода преципитиновых реакций, но и при изучении анафилактической реакции, которая, как известно, быть может, читателю, состоит в том, что, при введении небольшой дозы постороннего вещества в животное, последнее, спустя несколько дней или недель, обнаруживает появление повышенной чувствительности, вследствие чего повторное введение того же вещества вызывает серьезные, а в некоторых случаях и фатальные последствия. Эта повышенная чувствительность, первый анализ которой был сделан Ришэ (Richet), обнаруживает специфичность по отношению к введенному в организм веществу. Указанные специфические реакции, как преципитиновая, так и анафилактическая, могут быть вызваны, прежде всего, белковыми веществами. Так, например, Ришэ в своих ранних опытах показал, что только белок-содержащие составные части вытяжки из актиний, служивших ему для его опытов с анафилаксией, способны вызывать это явление; позже он показал, что появление сходных с анафилаксией реакций становится невозможным, если пользоваться не белковыми веществами, например, кокаином или апоморфином. Уэлльс (Wells) выделил из яичного белка четыре различных белка (три из них свертывающиеся, а один несвертывающийся), которые можно было отличить друг от друга по их способности вызывать реакцию анафилаксии, хотя все они происходили от одного и того же биологического объекта. Михаэлис (Michaelis) нашел так же, как и Уэлльс, что продукты расщепления белковой

молекулы лишены способности вызывать анафилактическую реакцию. Так как в результате пепсинового переваривания белки утрачивают способность вызывать анафилаксию, то неизбежно приходится заключить, что уже первые продукты распада белковых веществ теряют свою способность давать реакции иммунитета.

В связи с этим следует упомянуть о прекрасно поставленном эксперименте Гэя и Робертсона.

Последний показал, что, действуя чистым пепсином при 36° С и подвергая полному пепсиновому гидролизу приблизительно 4% нейтральный раствор казеината калия, можно получить из отфильтрованных продуктов вещества, близко напоминающие парануклеинные как по своим свойствам, так и по содержанию *C*, *H* и *N*.

Робертсон рассматривает этот случай, как настоящий синтез белковых веществ из продуктов их расщепления. Однако такой взгляд разделяется далеко не всеми. В руках Бэйлисса (Bayliss) и других он получил иное толкование. Гэй и Робертсон сумели показать, что парануклеин, введенный в животное путем инъекции, повышает чувствительность морской свинки в смысле анафилактического отравления как по отношению к парануклеину, так и к казеину—в обоих случаях, очевидно, в равной степени. Продукты полного пепсинового переваривания казеина не обнаруживают подобного действия; однако, полученный синтетически по методу Робертсона продукт переваривания обладает теми же антигенными свойствами, что и парануклеин, из чего можно, повидимому, заключить, что Робертсону, действительно, удался синтез парануклеина при помощи пепсина из продуктов переваривания казеина тем же пепсином.

В литературе встречаются иногда указания на то, что специфичность организмов может быть обусловлена веществами, отличными от белков. Так, например, Банг (Bang) и Форсман (Forssmann) настаивают на липоидном характере веществ (антигенов), вызывающих наступление гемолиза, но их мнение не встретило подтверждения, а Фитцжеральд и Лис [1]) пришли к заключению, что липоиды не антигены. По мнению Форда (Ford), содержащийся в ядовитом грибе Amanita phalloides глюкозид способен действовать, как антиген. Отвлекаясь от этого единственного факта, мы в праве утверждать, что белки, и только они, могут действовать, как антигены, а потому они и являются носителями специфических свойств живого организма.

Брэдли и Сэнсум показали, что морские свинки, сенсибилизованные по отношению к гемоглобину быка или собаки, либо вовсе не обнаруживают реакции по отношению к гемоглобину иного происхождения, либо они обнаруживают ее лишь в незначительной степени. Для опыта служил гемоглобин: собаки, быка, кошки, кролика, крысы, черепахи, свиньи, лошади, теленка, козла, овцы, голубя, курицы и человека.

Белки различных видов отличаются друг от друга. Это было показано Рейхертом и Брауном для гемоглобина крови; эти авторы путем кристаллографических измерений показали, что гемоглобин каждого вида представляет специфическое для этого вида вещество.

Кристаллы, полученные от различных видов одного и того же рода, являются характерными для этих видов, но они могут отличаться друг от друга как по величине своих углов, так и в своих оптических свойствах; особенно же они отличаются друг от друга в тех признаках, которые объединяются под общим понятием

[1]) Fitzgerald, I. G. и Leathes, I. B. Univ. Cab. Pub. 1912, „Pathology", II, 39.

габитуса кристалла; таким образом один вид может быть отличным от другого по кристаллографической форме своего гемоглобина. Эти различия не исключают, однако, возможности расположения кристаллов всех видов одного рода в изоморфные ряды.

В отношении же различных родов было найдено, что кристаллы гемоглобина каждого рода изоморфны.

В некоторых случаях изоморфизм может распространяться на несколько родов, соединяя их друг с другом; однако такое явление—необычно; оно наблюдается, например, в случае таких родов, как собака и лисица, которые близко родственны между собой.

Наибольшее значение имеет для нас следующий вопрос: можно ли на основании различий, существующих между кристаллами гемоглобина различных видов одного и того же рода, заключить о существовании здесь химических различий? Если бы это было так, то мы в праве были бы утверждать, что реакции крови, а также кристаллы гемоглобина, указывают на те различия в строении белков, которые обусловливают специфичность вида, а также, может быть, и видовую наследственность. Следующее место из работы Рейхера и Броуна указывает на то, что подобное заключение может быть оправдано в случае кристаллов гемоглобина.

Гемоглобин каждого вида представляет собой специфическое для этого вида вещество. Однако сравнение соответствующих веществ (гемоглобинов), взятых от различных видов, обнаруживает обычно бо́льшую или меньшую степень различия; последнее, при наличии полной кристаллографической картины, позволяет отличить различные виды друг от друга по их гемоглобину. Так как гемоглобины кристаллизуются в изоморфных рядах, то отклонения в величине углов кристаллов, принадлежащих одному роду, обычно невелики; отклонения эти не превышают тех, какие наблюдаются в случае минералов или солей, принадлежащих к одной изоморфной группе.

Как мне пишет профессор Браун, трудность определенного ответа на вопрос о химическом различии гемоглобинов разных видов заключается в том, что до сих пор, кроме чисто морфологических признаков, не существует критерия, который позволил бы установить разницу между видом и менделевской мутацией. Можно с некоторой вероятностью предположить, что в то время как видовые различия основаны на строении некоторых или большинства белков, свойственных данному виду, менделевская наследственность покоится на совсем иной химической основе.

Приходится жалеть, что работы, подобные работам Рейхерта и Брауна, не могут быть распространены и на другие белки; однако анафилактические реакции дают возможность ожидать здесь такие же результаты, что и в случае гемоглобина. Белки, входящие в состав хрусталика, представляют исключение, так как, по Уленгуту, белки хрусталика млекопитающих, птиц и амфибий могут быть отличимы друг от друга посредством преципитиновой реакции.

7. Сыворотка одних человеческих индивидуумов может вызвать разрушение или агглютинацию кровяных телец других. Существование подобных „изоагглютининов" для человека кажется прочно установленным фактом; однако, Гектен (Hectoen) утверждает, что все его попытки обнаружить наличие изоагглютининов в сыворотке кроликов, морских свинок, собак, лошадей и рогатого скота кончались неудачей. Ландштейнер (Landsteiner) открыл замечательный факт, сводящийся к тому, что сыворотки одних людей в состоянии вызвать

гемолиз кровяных телец только некоторых, но не всех, человеческих индивидуумов. Систематическое исследование этих вариаций привело его к открытию трех различных групп индивидуумов, сыворотки которых действовали определенным путем на тельца представителей каждой другой группы. Более поздние исследователи, например, Янский (Iansky) и Моссу установили четыре группы. Группы эти, по Моссу, следующие:

1 группа. Сыворотки совершенно не агглютинируют телец. Тельца агглютинируются сыворотками 2, 3 и 4 групп.

2 группа. Сыворотки агглютинируют тельца 1 и 3 группы. Тельца агглютинируются сыворотками 3 и 4 групп.

3 группа. Сыворотки агглютинируют тельца 1 и 2 группы. Тельца агглютинируются сыворотками 2 и 4 групп.

4 группа. Сыворотки агглютинируют тельца 1, 2 и 3 групп. Тельца не агглютинируются ни одной сывороткой.

Относительная частота появления указанных четырех групп явствует из следующих цифр. Из ста проб крови, расположенных Моссом в группы по двадцать в каждой, было найдено:

10	принадлежащих	к	1 группе.
40	„	ко	2 „
7	„	к	3 „
43	„	к	4 „

Группы 2 и 4 представлены в подавляющем большинстве; это указывает на тот факт, что, как правило, сыворотка агглютинирует кровяные тельца индивидуумов других групп, но не своей. Такие явления, когда сыворотки не агглютинируют вовсе телец (1 группа), или когда тельца не подвергаются агглютинации ни одной из сывороток, представляют исключение. Совершенно ясно, что поскольку явления эти касаются интересующего нас вопроса, следует принять во внимание только 2 и 3 группы. За исключением пола, мы не знаем никаких других менделирующих признаков, которые были бы свойственны только одной половине индивидов и отсутствовали бы у другой. А так как нет никаких указаний на связь 2 и 3 групп с половыми отличиями, то, вероятно, подобного отношения на самом деле не существует.

8. Изложенные до сих пор факты дают возможность предположить, что родовая наследственность обусловлена определенным составом белков, отличающихся от белков других родов. Таким образом конституция белков несет ответственность за наследственные родовые свойства. Различные виды одного и того же рода состоят из одних и тех же родовых белков, но видовые белки их отличаются друг от друга по своему химическому строению, что и может лежать в основе специфических биологических реакций или реакций иммунитета.

На основании работ Мак-Клунга (Mc Clung), Вильсона (Wilson), мисс Стевенс (Stevens), Моргана и многих других, можно считать твердо установленным, что хромосомы являются носителями менделирующих признаков. Хромосомы находятся в ядре яйцеклетки и в головке сперматозоида. Последняя у некоторых рыб состоит из липоидов и из соединения нуклеиновой кислоты с протамином или гистоном (последний представляет собой несвертывающееся белковое вещество, скорее напоминающее продукт расщепления более сложных свертывающихся белков).

Тэйлор нашел, что при инъекции сперматозоидов лосося кролику, кровь последнего приобретала способность вызывать цитолиз

сперматозоидов первого. Когда, однако, кролику были отдельно инъецированы протамины или нуклеиновая кислота или липоиды, добытые у той же спермы, то подобных результатов получить не удалось. Уэллс исследовал недавно относительную активность составных частей яичек трески (не отделяя составных частей спермы от других белков тестикул). Он приготовил из тестикул гистон (белковое тело ядра сперматозоида), нуклеинат натрия, а из лишенной спермы водной вытяжки тестикул было выделено белковое вещество, напоминавшее альбумин.

Полученный альбумин обнаруживал свойства обыкновенного альбумина сыворотки или яичного альбумина; он вызывал типичные фатальные анафилактические реакции и проявлял специфичность по отношению к сыворотке млекопитающих. Нуклеинат не вызывал в течение трехнедельного промежутка времени никаких реакций как у морских свинок, так и у тех из них, коим давались токсические дозы (0,1 гр.); этот результат можно было предвидеть, так как в препарате отсутствовали белки. Гистон же оказался настолько ядовитым, что его анафилактическое действие изучить не удалось.

Вполне возможно, что протамины и гистоны оказались бы специфичными антигенами, если бы они не были так ядовиты. Положительные результаты, полученные Тэйлором, объясняются, быть может, наличием белков в хвосте сперматозоидов; последний, по крайней мере у некоторых животных, не проникает в яйцо, а потому он и не в состоянии оказывать никакого влияния на наследственность.

Таким образом мы в праве усомниться в том, принимают ли участие в определении вида какие-нибудь составные части ядра. В таком случае менделирующие признаки, которые в равной степени переносятся яйцом и сперматозоидом, определяли бы индивидуальную или расовую наследственность, но вовсе не наследственность рода или вида. При современном состоянии наших знаний невозможно вызвать развития зародыша из сперматозоида, тогда как развитие яйца можно вызвать без помощи сперматозоида. Факт этот можно интерпретировать таким образом, что протоплазма яйца представляет собой будущий зародыш, тогда как хромосомы, содержащиеся в ядре как сперматозоида, так и яйца, обусловливают образование только индивидуальных признаков.

Несколько возражений А. К. Тимирязеву.

З. Цейтлин.

Тов. Тимирязев в статье „Теория относительности Эйнштейна и диалектический материализм“ („Под Знаменем Марксизма“, № 8—9 и 10—11) выдвинул ряд возражений против моих идей по тому же вопросу. Считая интерпретацию тов. Тимирязевым моих положений неправильной, позволю себе вкратце вернуться к полемике, которую пора было бы уже закончить или—вернее перенести из плоскости журнальных статей в плоскость более основательных исследований. Прежде всего об общей позиции тов. Тимирязева. Мне кажется, что он скорее обсуждает вопрос о физической верности теории Эйнштейна, нежели о ее соответствии материализму. Пусть теория неверна, пусть опыт Майкельсона удался на высоте 1.800 метров и т. д.—это нисколько не затрогивает соотношения между основами теории и основами материализма[1]). Ведь, атомизм в форме Демокрита-Ньютона оказался физически неправильным, но это не мешает почти единогласному утверждению материалистичности основ учения Демокрита-Ньютона. Задача моей статьи о теории относительности совершенно не имела в виду обсуждать физическую сторону вопроса. Я неоднократно оговариваюсь, что гипотеза Лоренца-Фицжеральда несколько искусственна, что необходимо сравнить теорию Гербера с теорией Эйнштейна. Я, наконец, решительно отвергаю физическую интерпретацию Эйнштейном результатов ответа Майкельсона, считая эту интерпретацию „великим эмпирическим софизмом“. Задача моей статьи заключалась в том, чтобы выяснить философские основы теории, не больше. Между тем тов. Тимирязев центр тяжести обсуждения переносит в сторону физики—на опыт Майкельсона и другие физические следствия. Я поставил два основных вопроса:

1. В каком отношении находятся между собой пространство и материя (эфир).

2. Каково должно быть в физике содержание понятия движения.

Тов. Тимирязев не считает нужным обсуждать эти вопросы. В частности остается совершенно неизвестным, почему тов. Тимирязев на-ряду с эфиром признает еще особую реальность: пространство, в котором этот эфир „находится“ и „движется“.

Но возможно ли выяснить соотношение теории Эйнштейна и

[1]) Такая постановка вопроса может показаться отказом от важнейшего критерия практики. Ничего подобного! Дело в том, что для построения теории еще недостаточно обладания основами материализма. Как известно, самый лучший диалектический материализм не дает еще возможности сшить сапоги или лечить человека от запора. С другой стороны, Гарвей, исходя из архиидеалистического принципа телеологии, открыл кровообращение! Таких примеров можно привести очень много.

диалектического материализма без ответа на вышеуказанные вопросы? Ни в коем случае. В самом деле, всякое учение (даже архиидеалистическое) содержит в себе некоторые положительные элементы. В своей статье я хотел именно выявить эти элементы. Таковыми я считаю: а) проведение в теории Эйнштейна принципа относительности движения; б) понятие пространства, как физического тела, материи. Это нисколько не обязывает меня соглашаться с теорией Эйнштейна, как физическим учением, подобно тому, как признание материалистичности концепции Демокрита-Ньютона никого не обязывает считать атомы однородными твердыми шариками. Вот почему общая позиция т. Тимирязева мне кажется неправильной. Он как-будто отвергает учение Эйнштейна целиком, не желая видеть то положительное, которое имеется в этой теории. Такой подход можно объяснить тем, что тов. Тимирязев рассматривает теорию Эйнштейна главным образом с точки зрения физики. В одном из докладов, правда (и отчасти в последней статье), т. Тимирязев доказывает, что учение Эйнштейна вытекает из воззрений Маха. Я вполне согласен, что в теории Эйнштейна (особенно в специальной) имеется сильная окраска махизма; сам Эйнштейн признает, что он многим обязан Маху. Но что ж из этого? Разве у Маха нельзя найти некоторых положительных элементов? Ведь Мах—мыслитель схоласт, и, следовательно, он приспособляет науку к определенной философии, а эту философию—к науке; ясно, что в таком процессе ассимиляции обязательно должно привлечь некоторое количество положительного научного и философского содержания. Недаром, ведь, философии Маха удалось ввести в заблуждение нескольких крупных мыслителей, а В. И. Ленину специально пришлось вскрывать идеалистическую подоплеку махизма. Наконец, вся горячая полемика между материалистами о теории относительности доказывает несомненное наличие чего-то такого, что близко к духу и основам материализма. Вот почему, вполне соглашаясь со многими меткими замечаниями т. Тимирязева, считаю все же, что его критика не выясняет вопроса о соотношении теории Эйнштейна и материализма. Эта критика (в философской части) носит пока (в главном) чисто отрицательный характер, т.-е. не выявляет подробно положительных философских воззрений т. Тимирязева. Было бы крайне желательно, чтобы т. Тимирязев подробно объяснил нам, как он понимает соотношение пространства и материи, что вкладывает он в понятие движения, как смотрит он на неудачу попыток трактовать эфир, как обычное упругое тело, какое значение придает он вихревой теории материи и той „идеальной жидкости", которая является основой этого учения, что думает он, наконец, об измерениях пространства и времени и о самих понятиях длины и времени в физике. Не зная в точности воззрений т. Тимирязева по этим вопросам, нельзя уяснить себе, почему т. Тимирязев столь решительно считает учение Эйнштейна антиматериалистическим.

В своих возражениях т. Тимирязеву я должен прежде всего коснуться опыта Майкельсона. Вполне согласен с мнением Рашевского, которое цитируется т. Тимирязевым, что специальная теория образует порочный круг и недоступна опытной проверке. Я формулировал то же самое в положении: специальная теория—великий эмпирический софизм. Но это касается только интерпретации Эйнштейна. Если же стать на точку зрения Лоренца-Фицжеральда, то будет ли т. Тимирязев утверждать, что и эта точка зрения образует порочный круг? Между тем общая теория относительности Эйнштейна является развитием именно учения Лоренца-Фицжеральда, так как, признав эфир, изгнанный из специальной теории, Эйнштейн тем самым перешел на позицию физиков-реалистов, сохранив, однако, махистскую фразеологию.

Далее. Тов. Тимирязев цитирует мою мысль о значении опыта Майкельсона: „Опыт Майкельсона, повторенный несколько раз (1881, 1887, 1904, 1909), дал отрицательный ответ. Это великая победа механической картины мира и, следовательно, диалектического материализма, который полагает, что все явления природы—это движения материи. Согласно принципу относительности механики опыт Майкельсона не мог дать положительного результата, ибо все явления природы—это движения материи, то-есть подчиняются законам механики. Если физики думают иначе, то они плохо думают". Если взять эту фразу вот в таком „голом" виде, без соотношения ко всему предъидущему и последующему, то она, несомненно, является абсурдом. Конечно, тов. Тимирязев. Судьба диалектического материализма нисколько не зависит от отрицательных результатов опыта Майкельсона. И даже как-будто наоборот: удайся опыт Майкельсона, мы открыли бы, наконец, столь желанный эфир, значение которого для материалистической философии огромно. Спрашивается, каким образом я мог договориться до столь абсурдной оценки результатов эксперимента Майкельсона. Тов. Тимирязев объясняет это моим пристрастием к физике Декарта. Совершенно верно. До формулировки своей оценки результатов опыта Майкельсона я много места посвятил уяснению следующего фундаментальной важности тезиса: неудача всех попыток механического объяснения эфира и вытекающая отсюда схоластическая борьба против эфира и материализма имеют своим основанием то именно, что физики пытались объяснить эфир на основании теории упругости, полагая эфир разновидностью обычной материи, в то время как явления упругости и им подобные должны объясняться на основании эфира, как первой материи (prima materia). Последнее осуществляется вихревой теорией материи; в основании этого учения лежит понятие эфира („идеальной жидкости"), как чистого притяжения (пространства), при чем вихревые и поступательные движения этого эфира дают вполне строгие „модели" механизмов физических сил.

Исходя из некоторых теоретических соображений в связи с вихревой теорией, я пришел к заключению, что эта теория приводит к отрицательному результату опыта Майкельсона. Конечно, ни один диалектик не должен делать абсолютных утверждений и в этом смысле должен признать редакцию моего тезиса об опыте Майкельсона неудачной. Но сама по себе моя мысль не столь абсурдна, как это изображает т. Тимирязев. Я формулировал ее с точки зрения исторической перспективы, и ее следует понимать только таким образом, а не в абсолютном смысле, как это делает т. Тимирязев. Фраза же о „плохо думавших физиках" не содержит в себе ничего обидного, так как нет ничего оскорбительного в утверждении, что физики неправильно подходили к вопросу об эфире. Я достаточно хорошо знаю историю эфира, чтобы оценить попытки крупнейших умов, пробовавших свои силы на этой проблеме. Эти попытки достойны величайшего уважения и восхищения и, кроме того, сами по себе очень плодотворны, несмотря на общую неправильность постановки вопроса.

Тов. Тимирязев обвиняет меня, далее, в путанице по вопросу о движении эфира. Он почему-то приписывает мне согласие с воззрением Эйнштейна: к эфиру неприложимо понятие движения. Прежде всего я должен защитить учение Эйнштейна от неправильного истолкования т. Тимирязева. Можно соглашаться или не соглашаться с воззрением Эйнштейна, но нельзя просто объявлять это воззрение абсурдом, не доказав с полной очевидностью, что это так. Между тем, тов. Тимирязев этого доказательства не дает, а берет одну фразу, вырванную из текста. Конечно, если здравомыслящему человеку сказать: существует физическое тело, к которому не применимо понятие движения, то он вполне основательно должен считать это абсурдом. Но если к этой фразе сделать некоторое пояснение, то весьма возможно, что она покажется не совсем лишенной смысла. Возьмем, действительно, и выпишем все то место из речи Эйнштейна („Эфир и принцип относительности"), из которого т. Тимирязев заимствует свой сокрушительный аргумент:

„Представим себе,— говорит Эйнштейн (стр. 16, изд. 1922 г.),— волны на поверхности воды. Можно различать в этом явлении две стороны. Прежде всего можно исследовать как с течением времени меняется волнообразная поверхность, разделяющая воду и воздух. Но можно также, например,—при помощи маленьких плавающих тел—исследовать, как изменяется с течением времени положение отдельных частиц воды. Предположим, однако, что мы принципиально отказываемся от применения таких плавающих телец для исследования частиц воды, тогда мы сможем во всем явлении заметить только пространственное изменение во времени положения поверхности воды; в таком случае у нас нет никаких оснований предполагать, что вода состоит из подвижных частиц. Тем не менее, мы можем спокойно считать воду средой. Нечто подобное существует в электро-магнитном поле. Именно, можно представить себе поле состоящим из силовых линий. Если смотреть на эти силовые линии, как на нечто материальное в обыкновенном смысле слова, то можно попытаться представить себе динамические явления, как явления движения этих силовых линий, исследовать таким образом каждую силовую линию с течением времени. Однако, хорошо известно, что такой способ рассмотрения приводит к противоречиям. Обобщая, можно сказать: мыслимо, расширяя понятие физического предмета, представить себе такие предметы, к которым нельзя применить понятие движения. Их нельзя мыслить состоящими из частиц, поддающихся каждая в отдельности исследованию во времени".

Если принять во внимание критику попыток механического объяснения электромагнитного поля, которую Эйнштейн дает в первой части своей речи, то совершенно ясно, что собственно хочет сказать мыслитель. Он излагает общеизвестное учение о материи Римана-Клиффорда-Пирсона: материя и эфир (электромагнитное и гравитационное поле)—это образования, корни которых в четвертом измерении пространства (по Эйнштейну в 5-м, так как время считается 4-м измерением) [1]).

[1]) См. речь „Геометрия и опыт", в которой Эйнштейн приводит наглядную аналогию с двумерной протяженностью. „Принципиальный отказ от применения плавающих телец для исследования воды" выражает собою точку зрения „чистого описания", на что именно мы и указали в нашей статье: Эйнштейн не желает выходить за пределы 3 измерений пространства. Ведь „двумерный философ чистого описания" вполне может вести исследование (описания!) „мира" двух измерений не выходя за его пределы! Это, конечно, „философия страуса" или...?

Электромагнитное поле образуется вследствие колебаний (движений) в 4-м измерении, следовательно, его нельзя изучать при помощи трехмерных движений. Так, плоская рыба, живущая на поверхности воды, сумеет констатировать изменение волновой поверхности, периодическое ее искривление, но не сумеет исследовать движений отдельных частиц, движений, происходящих в третьем измерении. Такая рыба скажет: мое понятие движения—плоского движения—не приложимо к „эфирной среде". Таким образом, фраза—к эфиру не приложимо понятие движения—означает: к нему не приложимо понятие обычного трехмерного движения.

Как легко видеть из сочинений Эйнштейна и из его речи об эфире, он считает, что кривизна пространства определяется полем тяготения; что касается электромагнитного поля, то это по Эйнштейну вторичное явление, которое только через энергию причинно связывается с тяготением. „Наша современная картина мира знает две различные по содержанию реальности, хотя причинно и связанные между собой, именно эфир тяготения и электромагнитное поле, или пространство и материю" (стр. 25 речи). Эта точка зрения вполне диалектична.

Эйнштейн не отделяет электромагнетизма от тяготения, а считает, что помимо электромагнитного поля материя обладает еще полями „скалярного потенциала" или потенциалов тяготения. В то время как последние обязательны, определяя размерные свойства пространства—„без них оно (пространство) вообще немыслимо"—„очень легко представить себе любую часть пространства без электромагнитного поля". Одним словом, поле тяготения выражает „кривизну пространства"—электромагнитное же поле некоторые движения в кривом пространстве: оно, следовательно, „только вторично связано с эфиром" (стр. 24).

Спросим теперь т. Тимирязева: что в такой точке зрения абсурдного? Сам т. Тимирязев признает, что не-Эвклидова геометрия не противоречит материализму. Следовательно, нет никаких оснований считать положение Эйнштейна об электромагнитном поле и эфире чем-то антиматериалистическим.

Далее, я нигде не говорил, что согласен с этим воззрением. Наоборот, я неоднократно подчеркивал, что Эвклидова концепция, мне представляется более основательной [1]). Я развил вихревую теорию материи, ссылаясь на исследование Гельмгольца, Неймана и Гербера, чтобы показать возможность эвклидового объяснения основных явлений. Странно поэтому, что т. Тимирязев записал меня в число сторонников „неподвижного" эфира (в смысле Эйнштейна). Я, правда, говорил об этой неподвижности, но в том именно относительном смысле, в котором это выражение употребляет Лоренц [2]).

[1]) Эти основания изложены в статье: „Вихревая теория, ее развитие и значение" („Под Знаменем Марксизма" № 10—11).

[2]) „Кстати вот слова Лоренца из доклада 1904 года (в электротехническом ферейне в Берлине): „Второе допущение, не менее важное, чем первое, гласит, что в то время, как электроны находятся в движении, сам эфир остается в покое. Правда, в этой среде могут происходить всевозможные изменения состояния, которые не проявляются для нас через электромагнитные действия, но течения их, как течет жидкость, мы все же не допускаем". Каков смысл последних слов? Не склоняется ли тут Лоренц к учению Римана-Клиффорда-Пирсона-Эйнштейна? Лоренц слишком осторожен, чтобы говорить об этом, но подобные фразы привели меня к утверждению, что эфир Лоренца не так уже далек от эфира Эйнштейна. В чем, кстати, заключается эта „осторожность" Лоренца? В том именно, что этот мыслитель не хочет признать решающей неудачу попыток „эвклидова" (обычно механического) объяснения эфира. Лоренц склонен полагать, что это неудача временная.

Единственное различие между моим воззрением и воззрением т. Тимирязева в том, что тов. Тимирязев объясняет отсутствие трения и неподвижность эфира „теорией решетки“: материя—это решетка для эфира, в то время как я придерживаюсь „волновой теории поступательного движения материи“. Именно, подобно тому, как всякая волна, представляющая **местное движение** частиц материи, может передавать это движение соседним, подобно этому при поступательном движении тела то **местное движение** эфира (вихревое и поступательно-колебательное), которое образует тело, передается соседним частям эфира. Напрасно поэтому тов. Тимирязев указывает мне, что при волновом движении среда также имеет движение. Я говорил о „неподвижности среды“ в относительном смысле, в том именно, что „частицы среды топчутся на месте, а не переносятся вместе с волной на большие расстояния“ (стр. 156 статьи т. Тимирязева), передавая, однако, свое движение соседним частицам. Должен выразить свое удивление тому, что т. Тимирязев так неправильно истолковал мое определение волнового движения: „Что такое волна?—Это „**двигательный модус**“ газа, жидкости или твердого тела. Общеизвестно, что при волновом движении среда „неподвижна“, а распространяется „движение“. В любом учебнике физики можно найти фразы о такой „неподвижности“ среды. Я поставил слово „неподвижность“ в кавычки и это перепечатал т. Тимирязев. Далее я определил „волну“ (единичную) как „двигательный модус газа, жидкости или твердого тела“, т.-е. „некоторое состояние движения“ (модус!) материальных объектов. Спрашивается, каким образом тов. Тимирязев извлек отсюда идею об **абсолютной** неподвижности среды? Неужели для избежания недоразумения в вопросе о столь элементарном явлении (в принципиальном смысле), как волновое движение, необходимо было написать целый трактат о тех **местных** движениях—„порою довольно-таки сложных“!—которые имеют место при распределении волны?

Тов. Тимирязеву кажутся в высшей степени нелепыми мои слова: „вообразим, что у нас имеется некоторое количество первой материи, т.-е. материи, лишенной всякого движения“ (!!! А. Т.). „Поистине, восклицает он,—возражения Энгельса Дюрингу не устарели!“

„Это эфир, передающий волны света и радиотелеграфа—абстракция. Не так ли!“—Я мог бы сослаться на целый ряд почтенных мыслителей (в том числе на В. И. Ленина), которые указывают на необходимость отличать „материю, как философскую категорию“—**абстрактную** материю—от конкретной материи физики. Но я не буду этим утруждать читателя, а замечу лишь, что восклицательно-вопросительные знаки т. Тимирязева обусловлены тем, что он понял слово абстракция не в научно-философском смысле, а в обычном. Абстракция с научно-философской точки зрения—это такое рассмотрение объекта, когда мы в силу той или иной необходимости отвлекаемся от некоторых сторон объекта. К. Маркс говорит об абстрактном общественно-необходимом труде, Энгельс в Анти-Дюринге объясняет, что геометрические понятия—это абстракции. И т. Тимирязев мог бы с таким же пафосом восклицать: это труд, производящий сапоги и брюки,—абстракция. Это цилиндр, форму которого мы придаем кружке с пивом—абстракция. Уважаемый А. К.! Если я сказал, что эфир (prima materia)—это абстракция, то под этим я понимал такое рассмотрение эфира, при котором мы отвлекаемся от неразрывно связанного с эфиром движения. Абстрагируя движение, мы получаем протяжение, а это весьма и весьма реальная вещь, с чем, без сомнения, согласится тов. Тимирязев. Тов. Тимирязев должен будет также признать, что метод абстракции—одна из основ научного метода. Я могу сослаться на прекрасную книгу тов. Тимирязева: „Кинетическая теория материи“, в которой он отвлекается от эфира, рассматривая **абстрактные** молекулы, атомы, электроны, движущиеся в „вакууме“. Но эти **абстракции** не означают, конечно, чего-то фиктивного, лишенного всякого содержания, ирреального.

Вторая часть статьи т. Тимирязева посвящена главным образом критике общей теории относительности. Тов. Тимирязев считает эту теорию органическим продолжением специальной. В этом пункте я решительно расхожусь с ним [1]). Когда т. Тимирязев указывает: „для доказательства совместимости теории Эйнштейна с диалектическим материализмом, оба автора (я и т. Семковский) предлагают один и тот же метод: выбросить начисто всю теорию относительности“, то я с этим согласен, но только в отношении специальной теории. Эта теория, как я указал, является махистской интерпретацией теории Лоренца-Фицжеральда. Общая же теория, став на точку зрения эфира, хотя „кривого“ и сильно пахнущего махизмом, все же является развитием не специальной теории Эйнштейна, а теории Лоренца-Фицжеральда. А в этом громадная разница. Тов. Тимирязев почему-то не принимает совершенно во внимание то, что учение Эйнштейна является интерпретацией и развитием формально тождественной теории Лоренца-Фицжеральда. Можно преспокойно отвергнуть эту интерпретацию, приняв материалистические и физические элементы теории. Ведь не будет же тов. Тимирязев отвергать закон тяготения Ньютона на том основании, что Бентли-Котс заставили Ньютона интерпретировать этот закон, как непосредственное действие бога.

Тов. Тимирязев ссылается на мое указание касательно роли понятия времени в теории Эйнштейна. Да, здесь, как и во многих других положениях Эйнштейна, имеется схоластическая опасность. Но что же из этого? Движение—это одновременно модальность и реальность. Эйнштейн строит свое учение на понятии модальности (относительности) движения, отвергая его реальность. Признавая положительную сторону работы Эйнштейна, мы должны иметь в виду и отрицательную сторону—отрицание реальности движения, т.-е. абсолютного времени. Вообще говоря, всю идеалистическую шелуху учения можно отбросить, как нечто, обусловленное эпохой и ее влиянием, принимая лишь здоровое зерно теории. А это здоровое зерно заключается: а) в принципе относительности движения, т.-е. в **механическом характере** учения, б) в признании пространства физическим телом, в) в изучении этого тела, т.-е. в теории полей тяготения.

Такой спокойный и беспристрастный мыслитель, как Лоренц, признает теорию тяготения Эйнштейна заслуживающей большого внимания; это же признает самый крайний противник Эйнштейна—Ленар.

---

[1]) Между прочим, Мах, как известно, отверг общую теорию относительности. Не потому ли, что это учение противоречит философии Маха?

Тов. Тимирязев выдвигает ряд критических, чисто-научных аргументов против общей теории. Эти аргументы весьма ценны, и я вполне соглашаюсь с ними, так как они направлены против нелепостей, обусловленных отрицанием реальности движения.

Более того,—сделав анализ гипотез общей теории относительности, как теории тяготения, я пришел к заключению, что эти гипотезы очень искусственны, что теория Гельмгольца-Неймана-Гербера гораздо яснее и проще и, следовательно, предпочтительнее. Но все это совершенно не затрагивает соотношения теории к диалектическому материализму. Пусть теория неверна, пусть движение перигелия Меркурия равно 1″, а не 43″, пусть луч света отклоняется по широчайшей дороге, а спектральные линии смещаются не к красному, а к фиолетовому концу спектра,—ведь речь идет не об этом, а о том, противоречат ли основы учения диалектическому материализму, или нет. Нет—не противоречат. Ибо теория, изложенная даже по-махистски и с идеалистическими уклонами, но признающая принцип относительности движения и пространство, как материю в движении—несомненно, материалистична. Тов. Тимирязев смотрит, однако, на дело иначе, выдвигая следующий аргумент: „Энгельс,—пишет тов. Тимирязев,—определял пространство и время, как формы бытия материи, а Фейербах, выражая ту же мысль несколько иначе, называл пространство и время условиями бытия материи. Но век живи, век учись.

Диалектический материализм Эйнштейна-Семковского учит как-раз обратному: материя есть необходимое условие бытия пространства и времени. Все-таки это не одно и то же“.

В высшей степени досадно, что тов. Тимирязев не выяснил нам, почему это не одно и то же. Мы бы узнали, наконец, точные воззрения тов. Тимирязева на пространство и время. Не зная этих воззрений, я должен категорически заявить: считать пространство и время раньше материи и вне материи, понимать слова „условия бытия материи“ именно так—значит делать крупнейший шаг к идеализму. Я удивляюсь тому, что материалист т. Тимирязев протестует против того, что за исходную точку берут именно материю, а не какие-то „условия бытия материи“—пространство и время. Ведь, сам термин „материализм“ прямо и без двусмыслия говорит, что исходное понятие—это понятие материи. Это понятие неразрывно, конечно, связано с понятием пространства и времени. Напрасно т. Тимирязев очень точное и строгое выражение Энгельса сопоставил с неясной терминологией Фейербаха. Пространство и время—это именно формы бытия материи, а не условия бытия. Форма (с точки зрения материализма) всегда неразрывно связана с содержанием, а условия могут существовать независимо от определенных объектов. Условие движения вагонов—это наличие паровоза, но паровоз может преспокойным образом и не тащить вагонов. И если пространство и время—это только условия бытия материи, то существует абсолютная пустота, т.-е. форма, лишенная всякого содержания. Пусть тов. Тимирязев объяснит нам, что такое абсолютная пустота. Единственный разумный ответ на этот вопрос принадлежит Иммануилу Канту: пространство и время—это чистые формы (условия бытия) нашей способности созерцания материи, как „вещи себе“. Энгельс, утверждая, что пространство и время формы бытия материи, утверждал этим, что всякая материя имеет протяжение и движение и обратно: всякое протяжение и движение связано с материей [1]). Отрицать последнее, значит приписывать Энгельсу схоластический реализм (платонизм), который полагает, что формы (идеи, универсалии) существуют ante rem, прежде вещей и независимо от вещей. Тов. Тимирязев, утверждая существование форм пространства и времени независимо от материи, становится на точку зрения схоластического реализма, т.-е. идеализма. Это, конечно, обусловлено тем, что тов. Тимирязев прежде всего физик: он твердо убежден в независимой реальности пространства и в реальности материи, которая движется в этом „абсолютно пустом ящике“; философские же следствия его мало беспокоят; но так как эти следствия выводятся ныне схоластами на основании ученых авторитетов, то мы считаем своим долгом предупредить т. Тимирязева, что он своим авторитетом льет воду на мельницу идеализма. Во всяком случае желательно, чтобы т. Тимирязев детально высказался по вопросу о пространстве и времени и этим устранил возможность недоразумений.

Тов. Тимирязев заключает свою статью указанием на то, что все мои ошибки имеют свое начало в Декарте.

Спрошу тов. Тимирязева: признает ли он понятие истины диалектического материализма? Декарт—мыслитель, влияние которого обнимает целые столетия. Неужели же тов. Тимирязев полагает, что этот мыслитель, открывший собою эпоху расцвета буржуазно-капиталистического мира, действовавший в области естествознания (Естествознание от Декарта. См. К. Маркс о французском материализме) не дал человечеству ни одной крупинки „завоеванной истины“?? Если тов. Тимирязев этого не думает, то пусть он укажет, в чем заключается эта частица „завоеваний (абсолютной) истины“, которую дал нам Декарт, — Декарт, рассматриваемый как мыслитель, влияние которого докатилось до XX века и общей теории относительности.

Я полагаю, что общая теория физического познания Декарта, теория, построенная на понятии эволюции,—несомненная истина. Диалектический материализм не растворяется нацело в физике и философии Декарта—мысль, которую неправильно приписывает мне тов. Тимирязев,— а базируется на той части абсолютной истины, которую завоевал Декарт. Хороша была бы теория, которая висела бы в „абсолютной пустоте“, а не имела бы своим фундаментом прошлые достижения. Диалектический материализм не висит в пустоте, а имеет весьма солидное основание в „истине веков“, в том числе и в истине, которую защищал Декарт. Таким образом, я не возвращаюсь к Декарту, а только „снимаю“ его, т.-е. включаю важные истины его учения в учение диалектического материализма.

Замечу в заключение, что критика т. Тимирязева теории относительности и его обличение путаницы тов. Семковского, Гольцмана и, если угодно, моей очень ценны. Необходимо всячески бороться с ошалелым восторгом, который распространяют рекламисты теории относительности, имеющие чаще всего весьма слабое понятие о самой теории, физике вообще, а главное, истории физики.

---

[1]) Подчеркнем здесь, что ни в коем случае не следует отождествлять „время“ с движением, что ясно хотя бы из того, что в течение одного и того же промежутка времени могут протекать самые разнообразные движения, кроме того легко мыслить „бытие во времени“ „неподвижного“ объекта. Вопрос слишком сложен, чтобы его разбирать. Во всяком случае, если нет материи (бытия) вне пространства и времени, то нет пространства и времени вне материи.

Ответ на возражения тов. Цейтлина [1]).

А. Тимирязев.

Тов. З. Цейтлин полагает, что пора прекратить полемику по вопросу о том, согласен или нет принцип относительности с основами диалектического материализма „или вернее перенести ее (эту полемику. *А. Т.*) из плоскости журнальных статей в плоскость более основательных исследований". Вполне согласен с первой частью предложения и охотно присоединяюсь к решению редакции нашего журнала, рассматривающей настоящую заметку как „заключительное слово докладчика".

Что же касается второй части внесенного тов. Цейтлиным предложения, то я, не знаю к счастью или к сожалению, вынужден ответить отказом. Для меня за последние годы настолько выяснилось полное бесплодие попытки Эйнштейна вытравить из физики все последствия революционного переворота, начатого Фарадеем и Максвеллом, и заменить физику математически-махистским описанием, что у меня нет ни малейшей охоты работать в такой области, где, по моему глубокому убеждению, нельзя будет добиться сколько-нибудь осязательных результатов.

С другой стороны, успешные попытки целого ряда физиков [2]) разрешить противоречия, в которых путаются современные физики-махисты, как будто ясно указывают, куда надо итти. Переходим теперь к возражениям тов. Цейтлина.

В основном, отвлекаясь от мелочей, у меня, по мнению т. Цейтлина, ошибки четырех типов.

1. Я подхожу к теории Эйнштейна как физик, а не как философ.

2. Я не умею угадывать, „что собственно хотел сказать мыслитель", когда он (мыслитель) по тем или другим соображениям, желая сказать одно, говорит и пишет совсем другое.

3. Я не понимаю, что значит „абстрактный"

и, наконец, самый тяжкий грех:

4. Я не понимаю, что эфир — это пространство, а пространство есть физическое тело, как тому учил Декарт, и потому я, наравне со всеми физиками нашей планеты, лью воду на мельницу идеалистов.

Рассмотрим по очереди эти четыре „ошибки".

1. Упрек в том, что я подхожу к теории Эйнштейна, как физик, а не как философ, в устах марксиста звучит по меньшей мере

[1]) Ответом т. А. К. Тимирязева редакция считает полемику между ним и т. Цейтлиным по данному вопросу в данной плоскости исчерпанной.

[2]) Ср., напр., J.-J. Thomson, Намек на теорию строения света,—„Phil. Mag", 1924, Oct. O. Wiener, Das Grundgezetz der Natur. Leipzig 1921. Н. П. Кастерин, О несостоятельности теории Эйнштейна,—„Известия Акад. Наук", 1918.

странно. Ведь, что такое физическая теория — даже и такая мало похожая на физику, как эйнштейновская, — как не попытка изобразить то, что есть? А если физика путем практики, путем опыта доказывает, что изображение не соответствует изображаемому, то этим спор и решен. Возьмем пример из другой области—имела ли бы для нас какую-либо ценность разновидность марксистской теории, которая не учитывает того факта, что значительная часть населения советского союза состоит из крестьян? Я полагаю, что такая „теория", несмотря на свою „марксистскую ученость", никуда не годится. У марксиста не может быть двух мерок: одной для его революционной практики, другой — для науки и философии. Марксист не может отделять теории от практики. Его диалектика несокрушима только тогда, когда он учитывает то, что есть конкретные условия, в которых он должен действовать. Тов. Ленин разбил вдребезги философию эмпириокритицизма, опирающуюся будто бы на естествознание, именно потому, что он разобрался, между прочим, и в современной физике с такой же обстоятельностью — по-ленински,—как и в практике революционной борьбы. Без учета фактических данных диалектика в вопросах естествознания ровно ни к чему не приведет. У Плеханова это очень хорошо сформулировано: „У Гегеля диалектика совпадает с метафизикой. У нас диалектика опирается на учение о природе", а физика как-никак есть все-таки учение о природе. Боюсь, что, становясь на точку зрения тов. Цейтлина—„Пусть теория не верна... это нисколько не затрагивает соотношения между основами теории и основами материализма", мы диалектику, поставленную Марксом на ноги, поворачиваем опять на голову.

2. Тов. Цейтлин обвиняет меня в том, что я вырвал несколько фраз из Эйнштейна, вследствие чего развиваемая там мысль доведена до абсурда. Прежде всего мной приведены не одна и не две фразы, а почти три страницы (малого формата) из брошюры („Эфир и принцип относительности" — Эйнштейна), но не в этом дело. Послушаем самого тов. Цейтлина, изобличающего меня в искажении мысли Эйнштейна: „Если принять во внимание критику попыток механического объяснения электромагнитного поля, которую Эйнштейн дает в первой части своей речи (выводы этой части речи как раз и приведены в моей статье. *А. Т.*), то совершенно ясно, что собственно хочет сказать мыслитель (курсив наш. *А. Т.*).

Он излагает общеизвестное учение о материи Римана-Клиффорда-Пирсона: материя и эфир (электромагнитное и гравитационное поле)— это образования, корни которых в четвертом измерении пространства (по Эйнштейну в 5-м, так как время считается четвертым измерением). Электромагнитное поле образуется вследствие колебаний (движений) в 4-м измерении, следовательно, его нельзя изучать при помощи трехмерных движений". Мы подчеркнули слова тов. Цейтлина: „что собственно хочет сказать мыслитель" потому, что напрасно бы стал читатель искать в брошюре Эйнштейна имена Римана-Клиффорда-Пирсона и пятое или четвертое измерение, на деле там речь идет о Ньютоне, Максвелле, Гертце и Лорентце, которые говорили об эфире, существующем в трех измерениях, а не в четырех или пяти. Если тов. Цейтлину достоверно известно, что Эйнштейн хотел написать: „Риман, Клиффорд, Пирсон... четвертое и пятое измерение", но, по ошибке или испугавшись чего-нибудь, фактически написал: „Ньютон, Максвелль, Гертц... три измерения", то, конечно, ему и книги в руки! Пишущий эти строки не обладает способностью чтения мыслей и потому вынужден ограничиваться тем, что написано, напечатано или

сообщено ему с помощью членораздельной речи. Мы имеем, однако, в статье тов. Цейтлина еще один пример того же самого „критического“ подхода. Разбирая мысли, высказанные Лорентцом в одной из его статей, тов. Цейтлин задает вопрос: „не склоняется ли тут Лорентц к учению Римана-Клиффорда-Пирсона-Эйнштейна? Лорентц слишком осторожен, чтобы говорить об этом (курсив наш. *А. Т.*), но подобные фразы привели меня к утверждению, что эфир Лорентца уж не так далек от эфира Эйнштейна“. Опять то же самое: Лорентц хотел написать одно, но затем, испугавшись (чего—неизвестно. *А. Т.*) написал другое, тов. же Цейтлин, „видящий тайное, воздал ему явное“.

По этой самой причине и пишущий эти строки попал в нелепое положение. В самом деле, прочтя в статье Цейтлина утверждение: „Опыт Мейкельсона, повторенный несколько раз (1881, 1887, 1904, 1909), дал отрицательный ответ. Это великая победа механической картины мира и, следовательно, диалектического материализма, который полагает, что все явления природы — это движение материи“, я, грешный человек, немного посмеялся, так как опыт в 1922 году дал положительный результат, и подумал: как это теперь тов. Цейтлин будет спасать диалектический материализм? Оказывается,—очень просто...

Приведенные мной слова тов. Цейтлина имеют совершенно другой смысл, если их брать „с точки зрения исторической перспективы“ [1]). Действительно, при таких условиях стоит ли продолжать спор? Человек, одаренный способностью читать в мыслях и привыкший придавать одним и тем же словам десятки различных значений и оттенков может, конечно, оставаться в полном сознании своей правоты, но, ведь, и возражающий ему с не меньшим основанием будет продолжать отстаивать свою точку зрения: ему нужны объективные данные, которых он при всем желании в возражениях противника не видит.

3. Тов. Цейтлин поучает меня насчет смысла слова „абстрактный“. Бывает,—говорит он,—конкретная материя, а бывает и абстрактная материя, материя—„как философская категория“. Все это для вразумления меня иллюстрируется на примерах абстрактного общественно-необходимого труда. Напрасно вы думаете, тов. Цейтлин, что я буду с пафосом восклицать: „этот труд, производящий сапоги и брюки,—абстракция“. Все это мне, как и многим другим, ясно; дело совсем не в этом.

Позвольте и мне привести подобного же рода иллюстрацию для уяснения сути дела. Что бы вы сказали о таком мыслителе, который стал бы утверждать, что на-ряду с абстрактным трудом, производящим сапоги, не существует ни одного конкретного сапожника Иванова, Петрова или Сидорова, производящего конкретные сапоги, которые я потом сам надену, тогда как в вопросе о производстве брюк мы можем говорить и об абстрактном труде, производящем брюки, и о конкретных портных, шьющих конкретные брюки для X, Y или Z?

Вот против того исключительного положения, в которое в моем примере поставлены сапоги, а у вас, т. Цейтлин, поставлен эфир,—я только и протестовал.

Я, как физик, не могу рассматривать эфир иначе, как первичную материю. Я вовсе не склонен наделять ее всеми теми свойствами,

[1]) Правда, в конце концов, т. Цейтлин признает, что его „тезис“ об опыте Майкельсона не совсем удачно сформулирован.

какими наделено то, что мы обычно называем материей, атомом или электроном, т.-е. то, что является более сложной формой материи. Но, несмотря на это, эфир—все-таки материя и как всякую материю его можно рассматривать различным образом: можно говорить о данной его части, например, об эфире, заключенном между данными двумя пластинками конденсатора, и можно говорить о количестве эфира, которое переносит с собой один электрон, не указывая какой именно. По-вашему же, если понимать ваши слова в буквальном смысле — как они написаны — эфир есть материя, от движения которой мы отвлеклись — это абстракция и только. Потому что эфир конкретный, который движется, — это уже не эфир, а материя в обычном смысле слова, или вторичная материя. Эта путаница будет получаться до тех пор, пока мы будем придерживаться взгляда: пространство есть физическое тело. Соединяя воедино материю и пространство, мы приходим к той же путанице, как и соединяя материю и ее движение в одно — именно в энергию. Тов. Цейтлин очень хорошо знает, к каким последствиям приводит „энергетика“, и в этом отношении мы с ним вполне согласны. В вопросе же материя—пространство нам договориться очень трудно.

4. Тов. Цейтлин в своих возражениях задает мне длинный ряд вопросов: как я смотрю на соотношение пространства, времени и материи, какое значение я придаю вихревой теории материи, почему я допускаю „особую реальность“: „пространство, в котором эфир находится и движется“, и т. д. Оказывается, что без выяснения этих вопросов нельзя понять, почему я считаю учение Эйнштейна антиматериалистическим. Но по существу дела ответы на эти вопросы настолько хорошо известны тов. Цейтлину, что он в своих возражениях, не дожидаясь моего ответа, уже дает ответ на них сам: „тов. Тимирязев прежде всего физик (так точно! *А. Т.*), он твердо убежден в независимой реальности пространства (и в реальности времени также. *А. Т.*) и в реальности материи, которая движется в этом „абсолютно пустом ящике“. Последнее неверно, так как я наравне с физиками фарадеевской школы считаю, что пространство заполнено эфиром. Можно ли удалить из какого-либо сосуда эфир, или в этом сосуде, вследствие указанной операции (удаление эфира), самое пространство перестает существовать — я не знаю: такого рода опытов я не производил, не видал, как другие производили, и даже не слыхал и не читал о таких опытах ровным счетом ничего. Я знаю, что эта ссылка на отсутствие опытов с точки зрения т. Цейтлина есть тягчайший грех, так как для решения вопросов о пространстве, материи и эфире у нас имеются „врожденные идеи“, которыми наш мозг преисполнен. В нашем мозгу, оказывается, на все эти вопросы имеется готовый ответ [1]) и мы вовсе не нуждаемся в каких-то опытах. Я полагал и сейчас полагаю, что знакомство с тем, что добывается опытом, с тем, что существует в природе, для марксиста-диалектика гораздо существеннее и, главное, полезнее, чем рассуждения о „врожденных идеях“, хотя бы даже и в кавычках.

Тов. Цейтлин не понимает, почему я не соглашаюсь стать на точку зрения Декарта и признать, что пространство или эфир есть

[1]) „Воинствующий материалист“, сборник № 1: З. Цейтлин и Рациональный и формальный диалектический материализм, стр. 211: „Следовательно, геометрические представления являются, так сказать, „врожденными идеями“, т.-е. процессы нашего мозга, образовавшегося в итоге длительного развития, таковы, что они в совершенстве отвечают основным свойствам пространства“ № 1 (курсив наш. *А. Т.*).

физическое тело. Ответ очень прост: потому что я не хочу плутать в трех соснах, как это иногда случается с тов. Цейтлиным.

Много раз пытался тов. Цейтлин растолковать нам, грешным физикам, как надо понимать „движение в пространстве", но так ему и не удалось наглядно изобразить, как это эфир, т.-е. пространство, может двигаться в пространстве, т.-е. в эфире.

Попытки тов. Цейтлина изобразить идеальную жидкость в работах Гельмгольца, Кельвина, Биеркнеса и других физиков, работавших в области гидродинамики, как Декартово пространство, как физическое тело, относится уже опять к области чтения в мыслях. Эта идеальная жидкость рассматривается указанными авторами как движущаяся в пространстве, т.-е в той непонятной „реальности", которую „тов. Тимирязев признает на-ряду с эфиром".

В одном я вполне согласен с тов. Цейтлиным—это в существенной роли вихревого движения. Силовые трубки Фарадея имеют очень много сходного с вихрями, и временный отказ от дальнейшего изучения электромагнитного поля, вызванный в значительной степени эйнштейновой попыткой воскресить махистский метод „чистого математического описания"—есть, несомненно, попятное движение в науке—регресс.

Не могу я согласиться с тов. Цейтлиным в том, что из теории Эйнштейна можно по произволу выкидывать то, что нам не нравится. Несмотря на мое отрицательное отношение к теории по существу, я все-таки должен сказать, что с формальной стороны она представляет собой стройное целое и из нее, как из песни, слова не выкинешь. Можно ли из этой теории взять некоторые из ее основных положений и из них уже построить физически приемлемую — материалистическую теорию — не знаю. На основании современного состояния физики думаю, что наука пойдет другим путем.

В заключение тов. Цейтлин предупреждает меня о тяжелых последствиях моего пристрастия к физике: „философские же следствия его (меня. *А. Т.*) мало беспокоят, но так как эти следствия (вытекающие из моего и других физиков отказа считать пространство физическим телом. *А. Т.*) выводятся ныне схоластами на основании ученых авторитетов, то мы считаем своим долгом предупредить тов. Тимирязева, что он своим авторитетом льет воду на мельницу идеализма".

Итак, мои взгляды, как и взгляды всех физиков, льют воду на мельницу идеалистов. Странно только одно: такую же воду на мельницу идеалистов льют не только физики, но как будто бы и никто другой, как... Фридрих Энгельс.

В своих возражениях Дюрингу, Энгельс останавливается на его рассуждениях о том, что если нет никаких изменений, то нет и времени, потому что как в самом деле понимать накопление времени, лишенного содержания? На это Энгельс возражает: „что, измеряя подобное, лишенное содержания, время, мы ничего не получим, как и измеряя бесплодно, но и бесцельно пустое пространство (а не физическое тело, тов. Цейтлин!), это мы знаем давно, и Гегель, именно вследствие скучного характера этой работы, называет эту бесконечность злою. По мнению г. Дюринга, время существует только благодаря изменениям, а не изменения существуют во времени и через посредство его. Но, ведь, именно потому, что время отлично, независимо от изменений—его можно измерять посредством изменений (не потому ли и пространство измеряется физическими телами—линейками, тов. Цейтлин? *А. Т.*), ибо для измерения всегда требуется нечто отличное от того, что подлежит измерению. Затем, время, в течение которого не происходит никаких удобопознаваемых изменений, далеко от того, чтобы не быть вовсе временем, напротив, это чистое, не осложненное никакими чуждыми элементами истинное время, время, как таковое" [1]).

Или, может быть, Энгельс тоже подходил к этим вопросам, как физик, „не предвидя от сего никаких последствий"?

---

[1]) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, изд. „Московский Рабочий", 1922 г., стр. 21.

Кунов о государстве.

В. Кирпотин.

Вопрос о государстве, это — такой теоретический вопрос, разрешение которого непосредственно отражается на политической практике. Ленин считал, что в этом именно вопросе кроется самое существенное отличие марксизма от оппортунизма.

В добрые гогенцоллерновские времена для достижения кафедры нужно было ниспровергнуть Маркса, опираясь на Канта. Со времени ноябрьской революции в Германии все же произошли перемены. Для получения кафедры в Берлине все еще нужно ниспровергать Маркса, но исходить при этом полагается уже не от Канта, а от... того же Маркса. С наибольшим рвением постарался выполнить эту задачу ренегат социализма Кунов [1]).

Кунов драпируется в тогу научного беспристрастия. Он хочет лишь, по мере возможности, воздерживаясь от изложения собственных воззрений, восстановить адэкватным образом истинный смысл многими искаженного и искажаемого марксизма. Тайная же цель исследования — доказательство того, что истинным блюстителем священного огня ортодоксии являются социал-демократия с ее Эбертом и Носке да редактируемое Куновым „Neue Zeit"—достигается удивительно „изящным" по наглости и простоте своей приемом. Кунов только переставляет порядок изложения проблем марксовой теории обществознания. Он начинает с определения понятия общества, излагает теорию государства, затем национальный вопрос—и только после этого идет глава, посвященная классам и классовой борьбе. Этой простой перестановкой проблем Маркс оказывается противопоставленным самому себе (Marx contra Marx), уличенным во множестве противоречий; доверчивому читателю блистательно доказывается, что не Ленин с его большевиками, а он, Кунов, со своими соратниками, являются душеприказчиками Маркса и Энгельса. Под сенью этого же невинного приема должны пройти незаметными многочисленные подтасовки и подлоги в толковании марксовых тезисов.

В куновском определении общества выпадает указание на классовое расчленение общества. Вся история человечества есть история классовой борьбы. Общество у Маркса не есть общество вообще, а разделенное общество определенным образом на классы. Удаляя из понятия „общество" указание на классовое строение, мы лишаем его

---

[1]) Die Marxische Geschichts-,Gesellschafts-und Staatstheorie. Grundzüge der Marxischen Soziologie, Berlin, I B.—1920, II B.—1921.

всякого методологического значения [1]). Оно оказывается годным уже не для науки, а лишь для фальсификации науки. В „обществе вообще" дано то единство, „которое обусловлено уже тем, что как субъект—человечество, так и объект—природа—существуют на всех ступенях" (Маркс) истории человеческого рода. Диалектик Маркс подчеркивал, что общее и сходное само является многократно расчлененным и содержит в себе различные определения. Задача исследователя заключается в том, чтобы эти различия не были забыты, чтобы они были извлечены путем анализа, чтобы о них помнить при исследовании. У Кунова исторические различия, достигнутая ступень развития, способ производства тонут в обществе вообще, которое превращается от чрезмерного употребления в бессодержательную тавтологию, в вечную категорию. Маркс предостерегал (во „Введении к Критике политической экономии") от применения таких вечных категорий. Но где Кунову об этом помнить! Ежели обо всем, что Маркс написал, помнить, то, пожалуй, и самого себя причислишь к вульгарным марксистам.

Минуя вопрос о классах, Кунов ставит в непосредственное соотношение свое общество с государством. Государство возникает из потребностей социальной жизни, вне и независимо от классовых противоречий. Для объяснения его происхождения, его функций и целей не нужно исследовать взаимоотношений эксплоататоров с эксплоатируемыми, угнетателей и угнетенных. Касаться этих вопросов еще просто рано. Марксова „социология" в реконструкции Кунова еще просто не подошла к ним. Точно так же государство не есть „продукт непримиримости классовых противоречий", „орудие эксплоатации угнетенного класса" (Ленин, „Государство и революция"). Государство есть просто общественное устройство (Einrichtung der Gesellschaft). Кунов так и пишет специальный параграф под заглавием: государство как „общественное устройство". „Общественное устройство" взято в кавычки, чтобы показать, что это не есть его, Кунова, выдумка. Сам Маркс, мол, так писал. Действительно, в названном параграфе Кунов—для уловления простачков—не скупится на цитаты из Маркса и Энгельса.

Но надо быть уж действительно очень легковерным читателем, чтобы признать куновское лже-учение о государстве опирающимся на авторитет великих основоположников научного коммунизма. Прежде всего Кунов „добросовестно" цитирует, не оговариваясь, произведения Маркса до и после „Коммунистического манифеста". В своем „восстановлении" попранного и поруганного марксизма Кунов усердно использовывает ранние произведения Маркса и Энгельса, не отмечая, что это еще не есть самый марксизм в законченной своей форме, а только путь к нему, этапы в его истории. Делает он это сознательно. Ссылкой на Маркса-идеалиста ему легче извернуться, прикрыть и обосновать именем Маркса свой „марксизм". Но это между прочим. Приводимые Куновым цитаты, даже тогда, когда они взяты из произведений, в которых Маркс еще не выступает перед нами с законченным мировоззрением, отнюдь не доказывают того, что стремится доказать наш автор. Так, например, Кунов приводит следующий отрывок из статьи Маркса „Критические примечания к статье „Король прусский и социальная реформа":

---

[1]) „Es kann... zwischen die Gesellschaft als solche und die Klassen keinerlei Zwischenglied eingeschoben werden, ebenso wie man zwischen Produktion und Distribution kein Zwischenglied schieben kann". „Internationale" 1922, статья „Kastrierter Marxismus". Von L. Rudas.

„С политической точки зрения, государство и устройство общества—не две разные вещи: государство есть устройство общества. Поскольку государство сознает общественные недостатки, оно видит их причину или в законах природы, которых никакая человеческая власть не может устранить, или в частной жизни, от государства совершенно независимой, или в нецелесообразных действиях зависящей от него администрации“ [1]).

Доказывает ли эта цитата, что государство, минуя классовое расчленение, возникает непосредственно из социальной жизни, что между обществом и устройством общества нет никаких промежуточных звеньев? Абсолютно не доказывает. Для каждого непредубежденного читателя ясно, как божий день, что Маркс борется в ней с политическим разумом, который есть только политический разум, ибо он мыслит в границах политики [2]), т.-е. с суеверным преклонением перед государством, с фетишизированием его сущности, со взглядом, считающим государство независимым от остальной социальной жизни. Ни о каком обществе вообще в статье Маркса нет и речи. Общество для него уже ко времени написания этой статьи (1844 год) было обществом на определенной ступени развития классово расчлененным. Писания „Пруссака“ об обществе, как о единой нерасчлененной категории, Маркс презрительно называет болтовней.

„Будем различать,—пишет Маркс,—различные категории, соединенные в выражении „немецкое общество“: правительство, буржуазию, прессу и, наконец, самих рабочих. Тут речь идет о различных массах“ [3]).

И еще:

„Существование государства и существование рабства неразрывны. Античное государство и античное рабство—эти откровенные классические противоположности—были не менее прикованы друг к другу, чем современное государство и современный барышнический мир, эти лицемерные христианские противоположности“ [4]).

Государство не есть устройство общества вообще, а общества, основанного на рабстве, разделенного на эксплоататоров и эксплоатируемых, разделенного на классы.

Особенно бесстыдной является попытка Кунова притянуть зрелые работы Маркса и Энгельса для доказательства непосредственного—помимо классов—государствообразования. На той же 270 стр. своего I тома он цитирует следующее место из „Людвига Фейербаха“:

„В новейшей истории государственная воля определялась изменяющимися потребностями гражданского общества, преобладанием того или иного класса, а в последнем счете—развитием производительных сил и условий обмена“ [5]).

Первую половину фразы—до слов о преобладании того или иного класса—Кунов берет под разрядку, но эта наивная уловка не может прикрыть того, что приводимые цитаты обращаются прямо против него, что при свете развиваемых в них мыслей свидетельство Кунова о марксизме разоблачает само себя, как лжесвидетельство, как плохо прикрытую шулерскую проделку.

---

[1]) В. I, стр. 270. К. Маркс и Фр. Энгельс, Сочинения, том I, Госиздат, 1923 г., стр. 429.
[2]) Там же, стр. 431.
[3]) Там же, стр. 421.
[4]) Там же, стр. 430.
[5]) Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах, Петроград 1918 г., стр. 52.

Из всего учения Маркса о государстве у Кунова остается только одно—государство и государственное право связаны с экономическими отношениями. Чувствуя, что одни цитаты из Маркса и Энгельса недостаточны для такого толкования марксизма, Кунов прибегает для подкрепления своих доводов к „новейшим данным“ науки. На ряде примеров из области социальной жизни низкокультурных племен (австралийцев) Кунов вновь доказывает, что государство и государственный порядок находятся в зависимости от социальной жизни людей [1]):

„Из социального процесса жизни возникают взаимоотношения, которые сначала—так как иначе прекратилось бы все хозяйствование—находят себе определенное конвенциональное регулирование, пока последнее не будет признано законными руководителями семейных общин, племенных союзов, мира и т. д. и не будет сделано принудительным.

Это имеет значение также и в отношении государственного порядка к общественному, когда позже, в процессе развития, примитивные кровнородственные общины полностью или частично приходят в упадок и сменяются политическими государственными сообществами (Staatsgemeinschaft). Снова и снова возникают из хозяйственного процесса новые правила (порядки), которые в конце концов частично, как государственные законы, входят в государственный порядок“ [2]).

Но эта зависимость права от хозяйства, государства—от общественного бытия людей отнюдь не носит у Кунова характера причинной взаимозависимости. Причинную связь между процессом общественного хозяйствования и государством он заменяет их временным чередованием. Категория причинности растворяется у него в понятии временной последовательности. Общество предшествует государству, общественный порядок по времени раньше возник, чем государственный порядок [3]). Вот вся убогая мудрость, которую Кунов извлек из сокровищницы идей Маркса.

Заменив причинность временной последовательностью, Кунов естественно не может признать обратного воздействия государства на хозяйственные отношения людей, на экономику. Следствие у него не превращается диалектически в свою очередь в причину, надстройки не влияют на базис. Кто предполагает, что политика, государство, власть могут оказать могущественное влияние на экономику, тот, по Кунову, есть типичнейший вульгарный марксист.

„... в социалистических писаниях часто выводится, что задача социал-демократии заключается в том, чтобы—как только она достаточно окрепнет—овладеть государством (вернее, государственной властью), как только она последнюю завоевала,—она уже все сделала, так как она может просто при помощи государственного управления видоизменить общественный порядок по своим основным положениям и желаниям. На самом деле все это происходит как-раз наоборот. Даже если бы социал-демократия завоевала государственную власть, она может ближайшим образом при помощи ее (и то только до известной степени) изменить государственный порядок... так как не

---

[1]) При этом Кунов, однако, „смешивает социальное регулирование при помощи правил поведения с социальной закономерностью“. См. рецензию Пашуканиса в 6-й книге „Вестника Социалистической Академии“ за 1923 г.
[2]) В. I, стр. 268.
[3]) В. I, стр. 264.

государственный порядок есть первичное и определяющее, а — общественный порядок" [1]).

Полемика с подобными пошлостями русскому читателю, пожалуй, покажется просто скучной. Уже Плеханов, около полувека назад, в своей известной брошюре „Социализм и политическая борьба" показал, что следствие в свою очередь становится причиной, что „всегда и везде политическая власть была рычагом, с помощью которого добившийся господства класс совершал общественный переворот, необходимый для его благосостояния и дальнейшего развития" [2]).

Раз государство возникает непосредственно из общества вообще, просто из факта социального хозяйствования человечества, то как объяснить происхождение государства? Ведь тогда придется признать, если рассуждать последовательно, что там, где есть общественное производство, там существует и государство. Однако этому противоречат и факты истории. Справиться с проблемой возникновения государства без deus ex machina Кунов не может. Таким deus ex machina является у него завоевание. Однако теория образования государства из завоевания явно противоречит взглядам Маркса и Энгельса. Их точка зрения на эту проблему—государство возникает из процессов внутреннего общественного развития на основе классового расщепления—выражена настолько недвусмысленно, что даже Кунову ничего не удается здесь сделать со своими „методами" „перестановки" и „истолкования". Приходится прибегнуть к „методу критики" и „согласования с последними данными науки".

Наиболее характерным Энгельс считал процесс образования государства у афинян:

„Возникновение государства у афинян представляет собою особенно типичный пример образования государства, потому что оно, с одной стороны, совершилось в чистом виде, без всякого воздействия внешнего или внутреннего порабощения (захват власти Пизистратом не оставил никаких следов своего короткого существования), с другой стороны, потому, что государство в данном случае возникает непосредственно из родового общества и притом в весьма высокой форме развития, в форме демократической республики и, наконец, потому, что мы достаточно знаем все существенные подробности этого процесса" [3]).

Поэтому куновская критика должна прежде всего справиться с энгельсовским изображением основания государства в Афинах. Задача эта выполняется очень просто: декретируется, что Афинское государство возникло из завоевания и подчинения. Вопрос о доказательствах завоевания при образовании Афинского государства обходится следующим „остроумным" рассуждением:

„Правда, неоспоримого доказательства для этого (происхождения Афин из завоевания. *В. К.*) не удается привести; но еще меньше для энгельсовского утверждения, что Афинское государство произошло без внешнего или внутреннего порабощения" [4]).

Признаем, что Энгельс не доказал своего объяснения происхождения Афинского государства. Тогда наша неспособность доказать свою теорию и превратится в искомое нами доказательство—воистину перл „диалектики"!

[1]) В I, 264.
[2]) Плеханов, Соч., том II, стр. 51.
[3]) Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, изд. „Московский Рабочий", стр. 79.
[4]) Cunow, B. I, 295.

После такого победоносного „завоевания Афин" можно уже одним только „истолкованием" Энгельса показать, что в образовании Римского государства классовая дифференциация не играла никакой роли, что возникло оно на основе покорения одних племен другими. Если же еще привлечь „новейшие данные науки", т.-е. куновское исследование о происхождении государства инков, то можно сформулировать общий закон: классовое расчленение общества само по себе не ведет к образованию государства. Государство есть продукт завоевания [1]).

„Исправив" Энгельса, Кунов в то же время старается показать, что его точка зрения и есть истинно-логическое развитие исходных точек основоположников научного коммунизма. Теорию завоевания Гумпловича он считает недостаточной. Не всякое завоевание ведет к образованию государства. Завоевание, в результате своем дающее государство, должно быть обусловлено известной высотой экономического развития. „Необходима более высокая ступень хозяйственного развития для основания государства" [2]). Косвенным образом это есть снова утверждение того самого, что Кунов только что отрицал. Что такое более высокая ступень хозяйствования? Ведь это и есть более высокая ступень общественной дифференциации, наличность отношений эксплоататора к эксплоатируемому. Завоевание может ускорить известные общественные процессы, но не может создать их из себя, как такового. Сначала должен возникнуть прибавочный труд, и только после этого победители могут заставить побежденных платить подати и работать на себя.

Государство, раз возникнув из завоевания, в процессе общественного развития играет—по Кунову—чисто пассивную роль. Его изменения следуют за изменениями социальной жизни. Кунов пытается уверить читателя, что одно время сам Маркс придерживался этого мнения.

„Превращение капиталистического общества в так называемое социетарное общество должно, следовательно, предшествовать политической революции, которая мыслилась только как политическое завершение уже совершившегося социального развития. В этом смысле трактуется еще в вышедшем в 1847 году марксовом сочинении против Прудона „Нищета философии": „Рабочий класс с течением развития вместо старого буржуазного общества учредил ассоциацию, которою будут исключаться классы с их противоположностью и политическое владычество, потому что политическая власть есть официальное выражение классовой противоположности в буржуазном обществе" [3]).

Вышеизложенная интерпретация приведенной фразы из „Нищеты философии" является бесстыдным подлогом. Маркс, как это ясно для всякого честного читателя, говорит в ней об уничтожении классов после революции, после завоевания власти. Сначала пролетариат сорганизуется, как государство, и лишь после этого, использовывая власть для могущественного воздействия на экономику, он совершит трансформацию старого общества в новое. Подлог Кунова становится тем более бесстыдным, что он считает, что взгляды Маркса об использовании политического господства для эксплоатации буржуазии и т. д.,

[1]) В. I, 297.
[2]) В. I, 297.
[3]) В. I, 320: цитата из „Нищеты философии" в петроградском издании 1918 г. на стр. 181.

изложенные в „Коммунистическом манифесте“ [1]), сложились у него под влиянием революционного опьянения двух последующих годов:

„Следующие два революционные года с их борьбой за власть оттеснили между тем в Марксе на задний план социолога, рассматривающего развитие sub specie aeternitatis, оптимистический революционер взял в нем верх, и вместе с этим прорвались частично старые традиционные французские воззрения: все сводится к тому, чтобы завоевать государственную власть. Овладей лишь ею, и все другие общественные обстоятельства можно будет изменить. Так сказано в „Коммунистическом манифесте“ (следует место, на которое мы выше ссылались)“ [2]).

Всякому известно, что и „Нищета философии“ и „Коммунистический манифест“ написаны в одном и том же 1847 году перед революцией. Никакого промежутка в два года между ними нет. Все это придумано Куновым для того, чтобы сказать: я отвергаю легко-увлекающегося Маркса-политика, Маркса с хмельной головой революционера, но я тщательно следую за логической нитью исследований Маркса-социолога, Маркса с трезвой головой ученого. Катедер-социалистическое учение о пассивном следовании государственных изменений за уже совершившимися социальными сдвигами, о неспособности государства воздействовать на экономику, подобно тому как отражение в зеркале бессильно что-нибудь изменить в отражающемся предмете, Кунов хочет подсунуть Марксу.

Как логический вывод из куновской теории взаимоотношений базиса и надстройки („общества“ и государства), следует отрицание им диктатуры пролетариата и необходимости разрушения старой буржуазной правительственной машины при достижении пролетариатом политической власти. Кунов не отрицает, что у Маркса имеются оба эти учения. Но он утверждает, что они ни в какой логической связи с основными положениями марксизма не находятся. Мало того, они находятся в противоречии с истинным марксизмом; источником этих теорий является не строгий анализ ученого, а этическое осуждение нетерпеливого революционера; в этих пунктах происходит, мол, даже отпадение Маркса в либерализм и анархизм [3]).

Но как пойманный вор не удовлетворяется одним объяснением для своего оправдания, а старается всеми мыслимыми способами доказать свою невинность, так и Кунов не ограничивается одним только отрицанием научной правомерности революционных выводов марксова учения о государстве. Он пытается в то же время обезвредить его таким толкованием (при помощи целой серии подлогов): диктатура пролетариата, даже в марксовом понимании, отрицает террор и есть не что иное, как демократический режим, при котором избирательный вотум дал большинство представителям рабочей партии [4]).

Что касается вопроса о разрушении старой правительственной машины, то Маркс, по Кунову, имел в виду не общее правило пролетарской революции, а лишь единичный конкретный случай—необходимость для революции низвергнуть, разбить империю Наполеона III [5]).

[1]) К. Маркс и Фр. Энгельс, Коммунистический манифест, под ред. Рязанова, 2-е изд., М. 1923, стр. 87.

[2]) В. I, 321.

[3]) В. I, 309, см. также Marx, Lenin, Bakunin, стр. 331.

[4]) В. I, 329.

[5]) В. I, 333, 334. Очередной подлог—критикуя Ленина, Кунов подменяет им же цитируемое выражение о разрушении государственной машины (при замене ее аппаратом диктатуры пролетариата) немедленным разрушением государства. Отсюда „добросовестный“ вывод: Ленин—анархист бакунистского толка.

Нам нет надобности подробно останавливаться на этих вопросах. Ленин в „Государстве и революции“ с непререкаемой убедительностью доказал, насколько органически слиты революционная часть теории государства у Маркса с исходными пунктами его мировоззрения, как именно вопрос о диктатуре пролетариата и связанный с ним вопрос об отношении к буржуазному правительственному аппарату является основным критерием правильного понимания марксизма.

Государство, по Кунову, не знает скачков в своем развитии. Плавно и гладко, без диктатуры пролетариата, без насильственных разрушений аппарата власти, чисто эволюционным путем совершается процесс „развития начальственного государства в управляющее государство“ (Entwicklung des Obrigkeitstaates zum Verwaltungsstaat) [1]). Сначала происходит процесс коллективизации капиталистического хозяйства; оно социализируется. Процесс „социализации“ капитализма происходит без какого бы то ни было намека на классовую борьбу; он вообще протекает вне и мимо пролетариата, из творческих сил самого капитализма. Доказательства—концентрация и централизация производства, тресты и картели, синдикаты и акционерные общества, монополии капиталистов и законы об охране и найме труда. Все отвратительные черты финансового капитализма Кунов рисует, как симптом совершающегося уже социалистического переустройства общества.

Даже Каутского и того возмутила вопиющая пошлость куновских построений:

„Представление Кунова о социализме является весьма странным, ибо он утверждает даже, что благодаря развитию капиталистических картелей хозяйство в значительной мере социализировалось и сделалось коллективным. В том описании процесса экономического развития, которое делает Кунов, это утверждение является тем новым и тем единственно новым, чего Маркс и Энгельс в этом развитии не заметили. И пусть Кунов нас не поучает насчет того, что Маркс ничего не знал о концентрации и централизации капитала и о превращении капиталистов в рантьеров. Но чего Маркс действительно не знал, так это того, что этот процесс означает собой социализацию хозяйства. Для Маркса он скорее означал кульминационный пункт капиталистической эксплоатации, где концентрация частной собственности на орудия производства в руках лишь немногих капиталистических магнатов приводит все больше и больше к экономической зависимости от нескольких частных собственников не только рабочий класс, но и все общество в целом. Маркс предоставил здесь Кунову честь открытия того, что эта централизация частной собственности, приводящая к господству над обществом одного капиталистического левиафана, означает собой прогрессирующую коллективизацию хозяйства“ [2]).

В соответствии с куновской „социализацией“ происходят и изменения в характере государства:

„Вместе с этим преобразованием хозяйственной жизни изменились тотчас же характер и функции государства—уже потому, что все это хозяйственное развитие могло совершаться только в рамках определенного конкретного государственного законодательства и управления и что постоянно оказывалось необходимым новое регулирова-

[1]) В. I, 314.

[2]) К. Каутский, Марксова теория государства в освещении Кунова, изд. Коммун. Академии, М. 1924, стр. 29.

ние и новое включение в государственную правовую систему возникших хозяйственных форм" [1]).

Доказательство заключается во все растущем влиянии государства. Оно заводит новые должности и учреждения. Оно ведет собственное хозяйство—имеет почту, свои железные дороги, казенные фабрики военного снаряжения и т. д. Пошлинами и налогами, договорами и соглашениями, определением направления каналов и новых железнодорожных линий оно воздействует на характер экономической политики и т. д.

Прежде всего вмешательство в хозяйственную жизнь совершенно не является новым признаком, характерным только для современного государства. Манчестерская теория никогда не осуществлялась полностью. „Почта не перешла в частные руки даже в Англии, равно как и право установления тарифов на железных дорогах" (Каутский, стр. 31). Кунов в своей „предистории" марксизма сам писал о меркантилизме и т. д. А самое главное—и государство эпохи империализма, эпохи финансового капитализма остается орудием правящего класса капиталистов. Государственно-капиталистические предприятия ни капельки этому не противоречат. Они—лишь один из способов, диктуемых условиями времени и места, осуществления общих целей класса капиталистов. Рост компетенции государственной машины, ее вмешательство во все отрасли народной жизни, в частную жизнь свидетельствуют лишь о том, что государство загнивания и крушения капитализма приобретает все более деспотический, все более полицейский характер.

Финансовый капитализм не разрешает ни одного из противоречий капиталистического строя; наоборот, он доводит до невиданного размера, до невиданной степени остроты обострение классовых противоречий, заставляет буржуазное государство скинуть покров своей надклассовости, диктует ему фельдфебельски неприкрытое вмешательство во все отрасли социальной жизни. На изящном языке Кунова это гласит:

„Оно (государство) не теряет, как полагает Энгельс, все возрастающие части своих былых общественных функций, но, напротив, оно воспринимает все более широкие социальные задачи и расширяет этим свою машину управления" [2]).

Организационно процесс социализации государства („государство, это—мы") [2]) выражается во все растущей компетенции парламента. Старое разделение властей—на законодательную и исполнительную—изживает себя, притом таким образом, что исполнительная власть все в большей степени подчиняется парламенту.

Из скромности Кунов ведет разговор об этом явлении в современной государственной жизни в общей форме, без ссылки на исторические примеры. Мы поможем ему найти доказательства. В режимах Муссолини и Хорти мы видим самый эффектный случай падения старой практики разделения властей в пределах буржуазного правопорядка. Правда, в смысле подчинения „властей" друг другу взаимоотношения там сложились как раз в обратном порядке по сравнению с тем, в чем нас уверял Кунов. Но мудрая пословица гласит, что не всякое лыко ставится в строку.

Таким образом—по Кунову—государство в процессе общественного развития не только не отмирает, но, наоборот, - имеет тенденцию

[1]) В. I, 317.
[2]) В. I, 319.

к дальнейшему росту и упрочнению [1]). Государство—категория вечная. Для Маркса государство—категория историческая. Определение государства у Маркса проистекает из исторического же, преходящего явления в истории человечества—из явления классового господства. Кунов, в противоположность Марксу, возвращаясь вспять к Лассалю [2]), к Гегелю, конструирует определение государства, годное для любой, могущей возникнуть формы человеческого общежития:

„О том, что государство есть еще нечто иное: eine Zusammenordnung людей в целях совместной деятельности, публичное сообщество или, чтобы сказать словами Гегеля, организм, через чье упорядочивающее регламентирование образующиеся в социальной жизни противоположные силы находят себе пространство для существования и деятельности, в котором (пространстве) могло совершиться восхождение государствообразующих племен и народов до сегодняшней ступени их культурного развития,—об этом в позднейшем (т.-е. после „Коммунистического манифеста". *В. К.*) марксовом рассмотрении теории государства у Маркса нет больше речи. Государство, как жизненная форма, как система объединения, упорядочения и осуществления, народных жизненных начал, исключается из марксового рассмотрения государства [3]).

Таким образом для Кунова государство есть „организм" вечного порядка, существование которого вытекает уже из самого факта общественной деятельности людей: общественное хозяйствование—факт вечный для рода человеческого, следовательно, вечно и Einrichtung der Gesellchaft, государство.

Под видом восстановления искаженного марксизма Кунов строит типично-буржуазное социологическое учение. Он не только лживо толкует Маркса, он не только бесчестно подтасовывает цитаты из Маркса, он в своем построении подменяет диалектический метод Маркса метафизическим методом обыкновенного буржуазного социолога. Мы уже видели, что он вместо исторических категорий Маркса применяет вечные категории, вместо причинной зависимости пользуется порядком временной последовательности. Поэтому общественные категории Маркса у Кунова превращаются в метафизически изолированные друг от друга формально-логические определения:

„Общество и государство существуют друг возле друга обособленно... ни по своему объему, ни по своим пограничным линиям, ни по своему жизненному содержанию они не совпадают" [4]).

Кунов на словах любит пококетничать диалектикой, своим знанием и пониманием Гегеля. В последнем, впрочем, его интересует не столько диалектика, сколько реакционная сторона его (Гегеля) общественно-правовых воззрений. Но его диалектические построения уродливы и с материалистической диалектикой Маркса ничего общего не имеют. Так, диалектика государства заключается у Кунова в том, что Гегель в своей теории дал положение, Маркс—отрицание, истинная же теория государства вырастает из отрицания марксова отрицания:

„Маркс остановился на первом отрицании и никогда не дошел до отрицания отрицания, до снятия своего антитетического воззрения в высшем единстве, до идеи государства, связывающей рассмотрение

[1]) Для выяснения проблемы отмирания государства в бесклассовом обществе мы снова отсылаем читателя к книге Ленина—„Государство и революция".
[2]) В. I, 341. Лассалевской формулировкой целей государства Кунов заканчивает главы своей работы, посвященные этой теме.
[3]) См. стр. 341.
[4]) Стр. 260.

государства, как организации господства, с его значением великого этнического сообщества" [1]).

Уже не говоря о том, что у Маркса субъектом развития является общество в целом, а не изолированное от общества государство, та диалектика, которая обрисована выше Куновым, есть диалектика идей, теорий, а отнюдь не диалектика реальной действительности.

Как метафизик, Кунов не может понять марксовой диалектической увязки теории с практикой. Он вновь возвращается к точке зрения созерцания, а не изменения мира. Задача марксистского идеолога у Кунова сводится к последующей регистрации происходящих в государстве изменений. Активное вмешательство в процесс общественных изменений, хотя история и творится людьми,—бессмысленно и анархично. Вот почему Бухарин и приводит его, как лучший образчик фаталистического извращения марксизма [2]).

„Кто хочет правильно и всесторонне понять марксистское учение, тот должен прежде всего ознакомиться с методом, применяемым К. Марксом. Знакомство с ним—первая предпосылка усвоения великого экономического (и не только экономического, *В. К.*) труда этого мощного мыслителя [3]). Кто не понял метода Маркса, тот не сможет также правильно оценить ход его доказательств и значение результатов его исследований",—писал Кунов в 1910 году. Совершенно верно. Но кто подходит к Марксу с предвзятым намерением оправдать им ублюдочную практику социал-демократии, тот обречен не только на „критику" содержания марксизма, но и на извращение и на прямой отказ от его метода.

---

[1]) В. I, 310.
[2]) Бухарин, Теория исторического материализма, М. 1922, стр. 51.
[3]) „Основные проблемы политической экономии", М. 1922, стр. 65.

Сен-симонизм.

I.

Сен-симонизм занимает видное место среди других современных ему течений утопического социализма и оказал большое влияние на развитие социалистической мысли XIX века.

Сен-симонистская теория, как единое и цельное мировоззрение, окончательно сложилась в 1825—1832 годы. Основные идеи Сен-Симона, разбросанные в его произведениях, были развиты, обоснованы и разработаны его учениками в сен-симонистских периодических органах того времени: „Producteur", „Organisateur" и „Globe". Итог всей социальной системе, классическая формулировка сен-симонистского учения, весьма отличающегося в конечном счете от учения самого Сен-Симона, даны в наиболее замечательном произведении школы—Exposition de la doctrine Saint-Simonienne (1828 — 1830 г.г.), которое является своего рода евангелием сен-симонизма.

Эпоха создания сен-симонизма,—конец 20-х и начало 30-х годов прошлого столетия,—является временем наиболее интенсивного развития индустрии во Франции, введения паровых машин в промышленности, применения химии к техническим производствам и целого ряда технических усовершенствований и изобретений. Некоторое представление о темпе промышленного развития могут дать следующие, взятые наудачу, сравнительные данные. За десятилетие 1820—1830 г.г. добыча каменного угля увеличивается вдвое (от одного до двух миллионов тонн); за это же время производство железа увеличивается с 80 до 148 тысяч тонн, чугуна—с 110 до 267 тысяч тонн, а потребление хлопка возрастает с 10 до 30 миллионов килограмм. Непрерывно растет применение паровых машин: в то время как в эпоху Империи насчитывалось только 15 предприятий с паровыми двигателями, в 1820 году их было 65, а к концу 1830 г.—625. Наибольшее применение машины находят в текстильном производстве, которое являлось главной отраслью промышленности во Франции, но на-ряду с ним видное место начинает занимать металлургия, где в производстве чугуна и стали в 1830 г. занято уже 25.000 рабочих.

Мы ограничиваемся по необходимости этими скудными данными (которые при желании можно значительно увеличить), так как не ставим себе целью дать полную картину экономического состояния Франции в ту эпоху. Приведенные же цифры, как нам кажется, достаточно иллюстрируют необычайно быстрый по тому времени рост промышленности, перед которой открывались широкие перспективы.

Люди, так или иначе интересовавшиеся вопросами „индустриализма",—а таковыми были ученики Сен-Симона,—не могли не обратить своего внимания на это обстоятельство, ибо свой идеал они

создавали, основываясь на развитии индустрии и прогрессе техники. Но в то же время от беспристрастных и внимательных наблюдателей не могли укрыться те последствия, к которым неизбежно приводили быстрый рост и концентрация производства, а именно: пролетаризация масс, экспроприация мелких ремесленников, эксплоатация рабочих, безработица и нищета, что особенно остро ощущалось на первых порах.

Сама же буржуазия меньше всего склонна была беспокоиться по этому поводу: ее больше занимало собственное положение и политическая борьба с дворянством за власть; пролетариата как класса она пока не опасалась. Экономическое возрастание значения буржуазии, которому она обязана была прежде всего своей предприимчивости и инициативе, резко противоречило ее приниженному политическому положению. Это возбуждало в ней дух недовольства, возмущения и протеста. Она возмущалась инертностью, косностью, архаичной неподвижностью старого полуфеодального дворянства, этого „живого трупа", воскресшего при реставрации и цепко ухватившегося за власть. Но пережившая уже Великую революцию, с ее бурями и потрясениями, буржуазия была теперь весьма далека от прежней своей революционности: призрак 93 года все еще стоял перед ее глазами, как грозное „memento mori". Она жаждала спокойствия и порядка, ничем не стесняемого развития промышленности и стремилась к политической власти для того, чтобы безгранично использовать ее в своих классовых интересах; она была противницей феодальной реакции, в борьбе с которой не прочь была опереться на народ, но в то же время больше всего боялась народного революционного движения.

Печать двойственности лежит на идеологии буржуазии—либерализме, расцвет которого в 20—30-х годах идет параллельно с расцветом промышленности: одобряя „дух, выросший из революции", т.-е. буржуазное общество, он довольно подозрительно и недоверчиво относится к самому „революционному духу". Наиболее видные представители и теоретики либерализма, как Бенжамен Констан, Ройе, Колар и Гизо, не идут далее умеренного конституционализма. Они против верховенства народа, откровенно отстаивают интересы имущих, требуют предоставления свободы развитию промышленности и невмешательства государства. Либерализм эпохи Реставраций проявил себя в литературе и науке. В политической экономии выразителем либерального манчестерства был Сэй—любимец буржуазии и ее верный служитель.

Особенного развития достигла в это время историография. Выдвинулся ряд выдающихся буржуазных историков: Огюстен Тьерри, Минье, Гизо, Тьер, Арман Каррель, которые в своих произведениях изображали главным образом рост и борьбу третьего сословия с феодализмом, развитие средневековых городов и коммун, возникновение представительных учреждений, буржуазную революцию. С большой охотой и любовью обращаются они к изображению политической борьбы в Англии и ее истории; Англия является для них образцом страны свободного индустриализма и конституционализма. Интересно отметить, что все они стоят на точке зрения классовой борьбы, в предшествующей истории усматривают борьбу буржуазии с феодальным дворянством; победоносную борьбу буржуазии воспевают, восторгаются ею. Они не отрицают буржуазно-классового характера защищаемых ими социально-политических идеалов и требований, хотя под понятие буржуазия не прочь подвести весь „народ" в противовес дворянству.

Идеологи буржуазии, провозглашая принцип классовой борьбы

в прошлом и настоящем, преисполненные сознанием силы, а следовательно, и правоты требований буржуазии, обрушиваются со всей силой на представителей старого феодального строя, которые обвиняли их в разжигании и проповеди классовой борьбы. „Что сказали бы,—восклицает Гизо,—все те мужественные буржуа, которых посылали в Генеральные Штаты для защиты и завоевания прав третьего сословия, если бы, воскреснув теперь, они услыхали, что дворянство никогда не воевало с третьим сословием, что оно не чувствовало беспокойства при его возникновении, что оно не возмущалось при виде его роста, что оно не мешало его социальным и политическим успехам... Выродившиеся потомки расы, некогда господствовавшей над великой страной и заставлявшей трепетать королей, вы отрекаетесь от своих предков и от своей истории. Вы сознаете свое падение и потому протестуете против своего былого величия" [1]).

Так любезно обращался к феодальной реакции будущий представитель буржуазной реакции, на таком выразительном языке классовой борьбы говорила буржуазия, когда ей непосредственно еще не угрожал классовый враг снизу. Выступление пролетариата очень скоро заставило ее забыть „грехи молодости" и заговорить совершенно иным, елейным и медоточивым, языком „классовой солидарности", столь характерным для отживающего класса. Tempora mutantur!..

Для характеристики общественного настроения тех буржуазных кругов, из которых вышли историки Реставрации, нелишне отметить один любопытный штрих. Мы уже указывали на их специфический интерес к истории политической борьбы в Англии, но с особенным усердием занимались они эпохой английской реставрации и восторженно отзывались о „Glorious Revolution" 1688 г. (Арман Каррель написал даже целое историческое исследование: „История контр-революции в Англии"). Этот интерес весьма примечателен. Параллель между историей английской реставрации и современной им реставрации во Франции как бы напрашивалась сама собой, продолжение ее должно было натолкнуть и на соответствующие выводы. Французская буржуазия, видимо, готовилась к „Славной революции", которую она хотела провести по английскому образцу. Любопытно, что еще Сен-Симон значительно раньше историков Реставрации, проводя аналогию между французской и английской реставрацией и сравнивая положение Бурбонов с Стюартами, предсказывал первым ту же участь, какая постигла Стюартов в Англии. Июльская революция блестяще подтвердила его предсказание.

Заметим здесь, кстати, что влияние Сен-Симона на историков Реставрации и на выработку их исторических взглядов более чем вероятно: известно, что наиболее выдающийся из них, Огюстен Тьерри, стоял одно время очень близко к Сен-Симону, был его ближайшим сотрудником и секретарем (он сам вначале с гордостью называл себя „приемным сыном" Сен-Симона), а на Гизо Сен-Симон указывал, как на популяризатора (vulgarisateur) своих идей (в Système Industriel). Как бы то ни было, несомненно, что историческая концепция всех этих историков весьма близка к сен-симонистской в том виде, как она была разработана учениками, как увидим ниже.

На ряду с либеральной буржуазией, выдвинувшей из своей среды сильную интеллигенцию, ведшую идеологическую и политическую борьбу со старой аристократией в литературе и парламенте (которую

[1]) Цит. у Плеханова в кн. „Историческое подготовление научного социализма", М. 1922 г., стр. 109.

Огюстен Тьерри метко охарактеризовал как борьбу „людей индустрии с людьми пергамента“), но бывшую по существу весьма умеренной, существовало другое, более крайнее, течение. Радикально-демократическая интеллигенция, опиравшаяся на мелкую буржуазию, основала ряд тайных республиканских обществ карбонариев, ставивших своей целью низвержение бурбонской монархии революционным путем и установление демократической республики. Ясной положительной программы карбонарии не имели, социальным вопросом сравнительно мало занимались, а интересовались главным образом вопросами политическими. Они ненавидели легитимную монархию, реакцию и католицизм, увлекались идеями просвещения XVIII века, идеализировали революцию и якобинство.

Они имели на своей стороне сочувствие народных масс, мелкой буржуазии и отчасти рабочих (последние, впрочем, находились в состоянии апатии), которые были политически совершенно бесправны, страдали от безработицы и роста дороговизны и несли на себе всю тяжесть налогов [1]). Но своих активных членов республиканские общества вербовали преимущественно среди радикальной интеллигенции, учащейся молодежи и бывших военных наполеоновской армии. Из числа революционеров-карбонариев, где было немало ясных и смелых голов, некоторые, разочаровавшись в политической и революционной борьбе, обратились впоследствии к социалистическим учениям, в частности—к сен-симонизму; оттуда же вышел один из наиболее замечательных теоретиков сен-симонизма, Базар.

Сильное влияние на выработку сен-симонистской теории оказала идеология реакции начала XIX столетия, которая имела своих выдающихся представителей в литературе; ее влияние уже можно проследить у самого Сен-Симона, особенно в последний период его жизни, хотя у него оно чувствуется значительно слабее, чем у учеников, ибо он все же в большей степени был сыном XVIII века и наследником французской просветительной философии.

Феодально - клерикальная реакция эпохи Реставрации повела борьбу против буржуазии, не только политико-экономическую, но и в области идеологии: в науке, морали, литературе и искусстве. От обороны она скоро перешла в наступление. Дворянская и духовная аристократия, которая до Революции не прочь была „повольнодумничать“ в своих салонах и заигрывать с безбожной буржуазной философией, после Революции вновь обращается на путь „истины и богопознания“. Из среды аристократии и высшего духовенства выдвигается ряд идейных борцов и писателей, из которых некоторые, как де-Местр, Бональд, Шатобриан, Ламеннэ, не лишены таланта и оригинальности. Реакционные идеологи ставят своей целью борьбу с материалистическо-философскими учениями XVIII века и революционными идеями, стремятся их дискредитировать и возродить старую веру и средневековые традиции. Их страстное стремление—„убить дух XVIII столетия“, как выразился Жозеф де-Местр.

Эти запоздавшие пророки феодализма, проникнутые подчас истинным религиозным пафосом, распространяют свою ненависть на все, что было создано предреволюционной философией и Великой Революцией. Взоры их обращены назад к золотому веку феодализма и

[1]) За 25-летие (с 1800 — 1825 г.г.) сумма косвенных налогов увеличилась почти вчетверо (с 162 до 567 милл. франков), в то время как прямые налоги оставались почти неизменными,—и это при огромном росте богатств буржуазии. Что касается рабочих, то их положение еще более отягчалось тем, что запрещались рабочие союзы и жестоко преследовались стачки.

католицизма, средневековья и рыцарства. Атеизму философов они противопоставляют религию, разуму—чувство, буржуазному индивидуализму и конституционализму—власть, облеченную божественным авторитетом, буржуазной анархии—средневековые корпорации и цехи, свободе и равенству—социальную иерархию и теократию. Они отрицательно относятся к точным наукам, естественным и математическим, которые по их мнению развивались в XVIII веке во вред „моральным наукам“ (т.-е. религии и морали), дающим истинное знание человеку, так как учат его обязанностям по отношению к богу и ближним и воспитывают в нем уважение к властям. Реакционные идеологи враждебны технике, торговле и промышленности, которые вносят революционные элементы в устойчивое земледельческое общество и приводят его к гибели. Они ярые враги буржуазной политической экономии, проникнутой духом индивидуализма, и буржуазной науки. Они питают физиологическое отвращение к переворотам, враждебны всему новому, буржуазному и хотят повернуть вспять колесо истории.

Но все же в одном отношении реакционная идеология заключала в себе элемент прогресса в сравнении с дореволюционной буржуазной философией. Это—присущий ей историзм и стремление к единству; в этом она предварила и буржуазных историков Реставрации, так как раньше их выступила на литературную арену. В то время как философы XVIII века, проникнутые духом индивидуализма и лишенные исторического чутья, рассматривали общественные явления с точки зрения абсолютного разума, делили историю на отдельные, не связанные между собой области, придавали огромное значение в истории личности и элементу случайности и лучшие из них бились беспомощно в заколдованном круге, тщетно пытаясь установить взаимодействие между обществом и средой, реакционные идеологи нашли выход из тупика. Они рассматривали общественные и идеологические явления в их развитии и в связи с определенными, конкретными условиями исторической жизни, устанавливая причинную связь между разрозненными явлениями, обществом и средой. Личности они не придавали большого значения, противопоставляя ей коллектив. Но вместе с тем они возвеличивали и идеализировали определенный, исторически сложившийся и уже пережитый общественный строй—строй феодализма, требуя его сохранения и консервирования во что бы то ни стало, вопреки ходу исторического развития. Естественное развитие истории кончается для них там, где оно начинается для буржуазии—со времени „великого скандала Реформации“ (выражение Бональда), когда повсюду вводится гибельная демократия, торжествуют идеи равенства и начинается анархия.

Отражение идеологии реакции мы находим и в изящной литературе, в господствовавшем в ней в то время романтическом направлении.

Превознесение чувства в противовес разуму, увлечение религией свойственны не одной только ретроградной идеологии,—они появились как реакция против рассудочности и атеизма просветительной философии и Революции. „Богоискательство“, стремление к возрождению религиозного чувства, искание новой религии, долженствующей возродить человека, красной нитью проходит через всю послереволюционную эпоху. Не чужда была этому даже революционная республиканская молодежь, у которой смутные религиозные искания соединялись с ненавистью к старому католичеству и антиклерикализмом. Но больше всего стремление к созданию новой религии

проявилось у сен-симонистов, возвестивших миру „новое христианство“, завещанное им учителем [1]).

Сен-симонисты заимствовали у идеологов реакционного миро-воззрения то „здоровое зерно“ будущего, которое по их мнению в нем заключалось. К самой же реакционной идеологии они относились вполне критически и считали ее пережитком прошлого:

„Католики и легитимисты,—обращается к реакционерам сен-симонистский „Globe“ (в статье от 27 марта 1832 г.),—вы прошлое. Если у вас есть зерно будущего, то только мы можем его извлечь. Мы возьмем из ваших развалин камень, который пойдет на постройку нового общества, ибо вы, католики, даете нам единство; вы же, легитимисты, не даете погибнуть чувству величественности“.

Наконец, можно еще отметить связь сен-симонизма с немецкой идеалистической философией, с которой сен-симонисты, судя по их произведениям, были хорошо знакомы и которую предпочитали французской материалистической философии—и немецкими просветителями XVIII века (Гердер, Лессинг), с их идеями беспрерывного прогресса человечества. Произведения последних, а также „Новая наука“ Вико, были тогда весьма популярны и переводились на французский язык.

По словам историка сен-симонистской школы Вейля [2]), на сен-симонистов после реакционера де-Местра, по произведениям которого они изучали историю, наибольшее влияние оказала M-me де-Сталь. Последняя в своем произведении „О связи литературы с общественными учреждениями“ (De la litterature considéré dans ses rapports avec les institutions sociales) еще в 1800 году сделала попытку объяснить литературные явления, исходя из условий общественной среды; книга ее „De l'Allemagne“ познакомила французскую интеллигенцию с Германией и существовавшими в ней в то время направлениями в философии и литературе.

Но сен-симонисты не заимствовали ничего механически, они не были эклектиками, напротив того, они—ярые враги эклектизма, все заимствованное они перерабатывали, согласуя с учением Сен-Симона. Из отдельных обрывков мысли и гениальных, порой парадоксальных, намеков своего великого учителя они создали стройную, объединенную общим взглядом, систему сен-симонизма.

II.

„В круг, охватываемый нашим учением,—заявляют сен-симонисты (вернее, Базар, который является главным автором „Изложения учения Сен-Симона“),—входят все человеческие явления в самых высоких их обобщениях, и именно на этом основании мы притязали для него сначала на прекрасное название философии, столь щедро расточаемое в наши дни“ [3]). Философское учение, по их мнению,—а таковым они считали свое учение,—„охватывает все роды человеческой деятельности дает разрешение всех общественных и индивидуальных проблем“ [4]).

[1]) „Богоискательство“, повидимому,—удел „всякой реакционной эпохи, но не одних реакционеров. Достаточно указать хотя бы на наших отечественных „богоискателей“ во время реакции после Революции 1905 г., несмотря на причастность некоторых из них к... марксизму.

[2]) Weill, L'école Saint-Simonienne, Paris 1896, стр. 14—15.

[3]) „Изложение учения Сен-Симона“. 1828—1829 г.г. Ч. I, с предислов. и примечаниями В. П. Волгина, М. 1923 г., стр. 13—14. В дальнейшем при ссылках—„Учение“.

[4]) „Учение“, стр. 30.

Это определение весьма характерно для теоретиков сен-симонизма. Их интересовали главным образом проблемы общественности, вопросы человеческой деятельности. Проблемы гносеологические и метафизические, взятые сами по себе, их мало занимают; даже более того, поскольку сен-симонизму приходится заняться этими последними, он подходит к ним с точки зрения связи их с проблемами социальными. Об этом авторы „Учения“ решительно и определенно заявляют во второй его части, кстати сказать, именно в той части, где они более всего заняты обсуждением теологико-метафизических вопросов [1]): „Но мы нисколько не колеблемся заявить, что всякая теологическая или метафизическая проблема, которая не берет исходным пунктом общественную цель или не связана с ней, лишена реального основания и что неизбежно бесплодным будет всякое разрешение такой проблемы, которая не может быть пригодной для социального применения или для политического преобразования. Для нас вопросы теологические и метафизические и вопросы социальные идентичны и представляют, собственно говоря, не более как две различные стороны, под которым могут быть рассматриваемы одного и того же рода факты“ [2]).

Поэтому сен-симонисты называют свою философию положительной, так как она служит фундаментом для построения общественного учения и общественной морали („она раскрывает тайны человечества“) в отличие от метафизической философии, на основе которой можно построить только индивидуальную мораль [3]). Они верно подмечают противоречие в учениях всех французских философов XVIII в., у которых общественное мировоззрение не является логическим выводом из их философско-гносеологических построений, а произвольно, благодаря чему получается такая картина, что атеист Гольбах, деисты Вольтер, Руссо и др.—„все эти философы, построившиеся под двумя великими знаменами разного цвета... подают себе дружески руку, как только вступают на поприще морали и политики“ [4]).

Сен-симонисты полагают, что у них „мораль и политика“, т.-е. общественное миросозерцание, непосредственно и логически вытекает из философского и в этом видят свое превосходство.

Важнейшие проблемы сен-симонистической философии, служащие основой для исторической концепции и социальных построений сен-симонистов, следующие: знание и вера, дух и материя, бог и человек, свобода и необходимость.

Человеческое знание, по сен-симонистскому учению, не может быть достоверным, так как те условия существования, которые известны человеку, составляют бесконечно малую часть по сравнению с теми, которые ему неведомы. Поэтому повсюду господствует вера: наука также основана на вере, что существует постоянство, правильность, порядок в смене явлений [5]); отсюда недалеко до возвеличения рели-

[1]) 2-я часть (1829—1830 г.г.), не переведенная на русск. яз., и последние главы первой—наименее интересная для нас и наименее оригинальная часть учения. Здесь сен-симонизм забрел в дебри теологии и схоластики, пускается в бесплодные экскурсии по церковной истории и занимается построением будущей теократии. Впрочем, и тут встречаются порой оригинальные мысли и важные для понимания сен-симонистской теории суждения, что видно хотя бы из приводимого выше. Здесь же философское обоснование их исторических воззрений. Приводимые цитаты из „Exposition de la doctrine Saint-Simonienne“, dexieme année, (1829—1830). Paris 1878; для краткости в дальнейшем отмечаем—„Doctrine“, II.

[2]) „Doctrine“, ч. II, стр. 298.

[3]) „Учение“, стр. 248.

[4]) „Учение“, стр. 209.

[5]) Там же, стр. 70—71.

гии как основы всего сущего, к чему сен-симонисты и действительно пришли.

Жизнь едина: дух и материя не являются двумя реальными сущностями; они не более как две главные абстракции, при помощи которых мы анализируем жизнь, разделяем единство, чтобы понять его [1]). Человек и бог едины: человек—бог в конечном мире, он совершенствует среду, в которой живет, но эта среда так же, как и первые условия его существования, дана ему свыше. Его окружает бесконечное существо, проявляющееся в любви, мудрости и благости и которое есть провидение, бог.

Нет различия между добром и злом; разница между ними существует только для человека как для существа конечного; в действительности же в мире зла не существует, „так как с точки зрения бесконечного все благо, все хорошо, ибо все едино“ [2]).

Проблема свободы и необходимости разрешается детерминистически: свобода для человека заключается в том, чтобы любить то, что он должен делать“ [3]).

Несмотря на близость сен-симонистской философии (или религии, как предпочитают называть ее адепты) к пантеизму, сами авторы „Учения“ считают своим долгом решительно отмежеваться от пантеистических учений. Мотивы, по которым они это делают, крайне характерны, так как показывают, какое огромное значение они придавали социальной, общественной стороне своего учения. Отличительная черта всех пантеистических систем в древности и в новое время, указывали сен-симонисты, заключается в том, что их учение о единстве представляет безжизненную абстракцию, они не побуждают человека к деятельности, оставляют его изолированным в мире. Пантеисты-философы занимались до сих пор больше проблемой идентичности субстанции, нежели вопросом о единстве жизни, их интересовал больше всего вопрос о гомогенности субстанциональных частиц мира, меньше всего они были побуждаемы чувством симпатии к человеку. Они ничего не говорят о назначении (destination) человека. В отличие от них, философия (или, что то же, религия) сен-симонизма интересуется преимущественно человеком. Она связывает индивидуума со всем человечеством, с миром и указывает общественному человеку цель жизни, его социальное предназначение [4]). Она поэтому выше пантеистической философии.

Сен-симонистская философия, носящая на себе явную печать влияния немецкой идеалистической философии, не только детерминистична (учение о свободе и необходимости), но проникнута релятивизмом и диалектична: нет ничего абсолютного, все изменчиво, понятие „добро“ и „зло“, „добродетель“ и „порок“ относительны, нравственные понятия, моральные системы меняются вместе с политическими преобразованиями.

Процесс исторического развития—процесс, совершающийся диалектически:

„Несомненно, настоящее только точка в пространстве, только момент во времени; оно представляет собой неуловимую связь между прошедшим и будущим. Но мы знаем, что оно содержит в себе итог одного и зародыш другого, мы знаем, что оно есть

[1]) „Doctrine“, II, стр. 294.
[2]) Ibid., стр. 318.
[3]) Ibid., стр. 317.
[4]) „Doctrine“, II, стр. 309—310.

среда, в которой мы живем, движимые двойственной силой воспоминаний, толкающих нас, и надежд, нас притягивающих, и что только в нем и через него мы беспрерывно идем к лучшему будущему“ [1]).

Рассматривая настоящее в одно и то же время, как итог прошлого и как зародыш будущего, сен-симонисты, естественно, должны были обратить свое внимание на надлежащее исследование прошлого для того, чтобы понять настоящее, и на изучение настоящего, чтобы обнаружить в нем те элементы, которые ведут к будущему. Их будущее социалистическое общество не является результатом абстрактных рационалистических построений, как у большинства предшествовавших им социалистов, которые строили свое идеальное общество, опираясь на неизменную „природу“ человека и его правильно понятые интересы и которое потому оказывалось якобы пригодным для всех времен и народов.

У сен-симонистов будущий общественный строй непосредственно вырастает из настоящего, является его логическим и неизбежным завершением, естественным развитием и ростом заключенного в нем зародыша. Сен-симонистский социализм всецело базируется на исторической концепции, явившейся в результате изучения прошлого и наблюдения над современностью.

Нужно, однако, предварительно заметить, что главные положения этой концепции даны уже Сен-Симоном, ученики же разработали их, согласовали отдельные разбросанные мысли, из которых выковали свою стройную историческую теорию.

В основе ее лежит взгляд на историю, как науку, которая имеет свои твердые законы и может поэтому по праву претендовать на подобающее ей место в ряду точных наук. „Она (история. *Г.*) представляет картину последовательных физиологических состояний человеческого рода, рассматриваемого в его коллективном бытии; она образует науку, получающую строгий характер точных наук“ [2]).

Сущность этой науки заключается в учении об антагонизме и ассоциации и вытекающем из него делении всей истории на критические и органические эпохи и учении о беспрерывном прогрессе человечества („закон совершенствуемости человеческого рода“). Человечеству суждено пережить два состояния: одно—временное, состояние антагонизма, другое—конечное, составляющее удел будущего, ассоциацию. В прошлом господствовал антагонизм. Вся история человечества представляет собой процесс беспрерывного ослабления антагонизма и усиления ассоциации. На заре человеческой истории антагонизм владычествовал безгранично, всякий человек враждовал с подобным себе. Но с развитием человечества антагонизм постепенно ослабляется: образуются семьи, роды, города и, наконец, более обширные объединения—государства, в пределах которых действует могущественный фактор—дух ассоциации, хотя и в них антагонизм, взаимная борьба не прекращаются совершенно.

Сообразно с тем, преобладают ли в те или иные исторические моменты жизни человечества элементы антагонизма или ассоциации, сен-симонизм делит историю на эпохи органические и критические. В органические эпохи антагонизм, существующий между отдельными индивидуумами и классами, как бы стушевывается, в обществе господствует гармония, нет разлада между интересами общими и личными: преобладает единство и организация как в материальной дея-

[1]) „Учение“, стр. 63.
[2]) „Учение“, стр. 62.

тельности человека, так и в науке и в морали, устремления всех одинаковы, общественная цель для всех ясна. Это—эпоха созидания и коллективного творчества, преуспеяния в области материальной и интеллектуальной, в науке, философии, морали и религии. Органический период характеризуют: порядок, религия, ассоциация, любовь.

Совсем другой характер носят критические эпохи. В эти эпохи у общества нет общей цели, нет общего интереса, создается разлад между личностью и обществом, возникают противоречия между теорией и практикой, системой и фактами, общим и частным благом. Повсюду господствуют частные интересы, между которыми происходят беспрерывные столкновения. Порядок и гармония органической эпохи сменяются беспорядком и дисгармонией, религиозность—неверием, самоотверженность—эгоизмом; дух скептицизма и эгоизма овладевает людьми. Разрозненность и разброд проявляются и в экономической деятельности, и в науке, религии, морали. Отличительные черты критического периода: анархия, индивидуализм, атеизм, эгоизм [1]). До сих пор были две органические эпохи: первая в Греции, до наступления критической философской эры (до Сократа), другая—в Европе, с учреждения католической церкви до XV века,—эпоха феодализма. В критических эпохах можно наметить две стадии: первая—стадия разрушения старого, вторая—созидания нового, когда „анархия теряет свой бурный характер, но зато становится более глубокой“ [2]).

Однако критические периоды нельзя считать регрессом, движением человечества назад; напротив того, они не только прогрессивны, но и вполне закономерны, так как наступление их свидетельствует о том, что органическая эпоха пережила себя, что у общества возникли новые потребности, которых не в состоянии удовлетворить существующие организации, ставшие слишком тесными для него: „критические эпохи были всегда полезны, необходимы, так как, разрушая устарелые формы, которые сначала долго содействовали развитию человечества, но затем стали мешать ему, эти эпохи облегчали задумывание и осуществление новых форм“ [3]).

В общем антагонизм и борьба в прошлом никогда не прекращались, даже в эпохи органические—эпохи относительной гармонии и порядка, ибо в прошлом не существовало еще истинной ассоциации. Поэтому сен-симонисты справедливо рассматривают все прошлое человечества, включая и органические и критические эпохи, а также настоящее, как „одно обширное систематическое состояние борьбы“ [4]).

В чем же заключается причина этой беспрерывной борьбы, которая красной нитью проходит через всю историю?—В господстве физической силы, которая приводит к эксплоатации человека человеком [5]), отвечают сен-симонисты (при чем они имеют всегда в виду общественного человека):

„Человек эксплоатировал до сих пор человека: господа, рабы патриции, плебеи, сеньоры, крепостные, земельные собственники,

[1]) „Учение“, стр. 79—82.
[2]) Там же, стр. 32.
[3]) „Учение“, стр. 55.
[4]) Ibid., стр. 87.
[5]) „Антагонизм, имеющий причиной господство физической силы и результатом эксплоатацию человека человеком,—вот наиболее выдающийся факт всего прошлого“ („Уч.“ стр. 88).

арендаторы, празднолюбцы, труженики,—вот прогрессивная история человечества до наших дней“ [1]).

Таково объяснение хода исторического развития, данное сен-симонизмом. Было бы, однако, слишком поспешно и неосновательно заключить отсюда об „экономическом материализме“ сен-симонизма, ибо причину происхождения эксплоатации и господства физической силы он видит в завоевании, на котором основано существование частной собственности [2]). Прогресс общества связан поэтому не с развитием производительных сил, а является результатом „прогресса нравственной концепции“; нравственные идеи двигают историей. Это проводит резкую грань между марксистским пониманием истории—историческим материализмом и своеобразным „диалектическим историзмом“ сен-симонизма, несмотря на обилие в нем отдельных, чисто материалистических положений (как учение о классовой борьбе).

Идеализм в философии неизбежно приводит сен-симонистов к историческому идеализму. С философским идеализмом также тесно связан у них телеологизм, который своеобразно примиряется с детерминизмом; человечеством руководит высшая воля, в силу которой оно чувствует за собой какое-то социальное назначение; материальный и нравственный прогресс человечества, который сам по себе неизбежен, так как детерминирован, предопределен всем ходом исторического развития, есть, однако, вместе с тем осуществление высшего закона и божественной воли [3]). Прогрессивное движение человечества совершается неуклонно и непрерывно, традиция прогресса никогда не прерывается, закон совершенствуемости человеческого рода никогда не изменяет себе. Попятное, регрессивное движение человечества никогда не имело места; когда какой-либо народ, носитель прогресса, приходил в состояние упадка или застоя, то цивилизация, подобно перелетной птице, переносилась в другую страну, к другому народу—туда, где находила для себя благоприятную почву и могла пускать новые ростки. Всякий народ, носитель прогресса в данное время, является своего рода „избранным народом“ цивилизации, каждая новая эпоха представляет новую высшую ступень, завоеванную человеческим родом [4]).

Теория бесконечного прогресса, развиваемая сен-симонистами, сама по себе не нова и была популярна в их время; сен-симонисты сами указывают на своих предшественников, развивавших эту идею, (которых они имели в лице Тюрго, Лессинга, Канта, Гердера, Кондорсе); но вместе с тем они подчеркивают, что идея бесконечного прогресса у предшественников Сен-Симона была бесплодна, так как „никто из них не указал, в чем он (прогресс) состоит, как совершается, через посредство каких институтов явился и должен продолжаться“ [5]). Выяснить эту задачу призван сен-симонизм. И в этом адепты его видят одну из главных заслуг.

[1]) „Учение“, стр. 18.
[2]) „Doctrine“, II, стр. 162. В первой части „Учения“ вопрос о происхождении эксплоатации только ставится, но ответа на него не дается (см. „Учение“, стр. 89).
[3]) „Учение“, стр. 54, 76.
[4]) Ibid., стр. 58, 96.
[5]) Ibid., стр. 57 (прим.). Теория беспрерывного прогресса человечества—одна из наиболее популярных историч. теорий XVIII и начала XIX в. — характерна для молодой буржуазии как показатель ее оптимизма, веры в себя и в свою прогрессивную роль.

Наоборот, пессимистическая теория круговорота истории, мысль о том, что история возвращается периодически к своему исходному пункту, которую развивают теперь буржуазные историки и философы (Эд. Мейер, Шпенглер, Виппер и др.) как нельзя более свидетельствует о старческой дряхлости буржуазии как класса, безотрадном взгляде ее на будущее и предчувствии неминуемой гибели. Буржуазия свой круговорот совершила...

Движение человечества по пути прогресса, указывали сен-симонисты, совершается далеко не ровно и гладко; каждый шаг вперед сопровождается для него кризисом; смена одной эпохи другой бывает крайне болезненна, сопровождаясь кровавой борьбой, революцией, так как приходится насильно разбивать старые связи, бывшие раньше спасительными для общества, а затем превратившиеся в оковы, ставшие помехами для его развития.

Мы уже видели, что критические эпохи сен-симонисты считали не только неизбежными, но признавали их прогрессивный характер. Революции в прошлом также были неизбежным и прогрессивным фактором. Великая Революция, о которой они отзываются местами довольно резко, осуждая ее, между прочим, за то, что во время ее „народ разбил руль государственного корабля раньше, чем построить вместо него новый" (между тем как они сами учили, что эпохе созидания нового неизбежно должно предшествовать разрушение старого, отжившего), все же в конечном счете привела к некоторым положительным результатам, уничтожив наиболее явные и несправедливые классовые деления, хотя положения низших классов не улучшила [1]).

Относясь в настоящем отрицательно к классовой борьбе, они считают борьбу угнетенных против угнетателей в прошлом прогрессивной. „У раба, у плебея ее характер (классовой борьбы, *Г.*) прогрессивен, ибо целью ее является освобождение мирного труда; напротив, у господина, у патриция она заключала в себе тенденцию к расколу и застою и попятному движению, так как здесь ее цель—поддержать интересы завоевателей, продлить царство насилия" [2]).

Они считают процесс исторического развития процессом закономерным, в котором „всякая эволюция есть необходимый результат предшествующей эволюции, каждый новый шаг—логический, так сказать, продукт пройденных уже этапов", и рассматривают великие исторические события как естественное следствие тех общественных состояний и соотношений сил, которые их вызвали. Поэтому сен-симонисты резко критикуют устаревшие взгляды тех историков, которые, не замечая закономерности исторического процесса, выводят великие события из случайности или же видят в них результат действия великих людей—героев. Сен-симонизм сам дает блестящее, ни на иоту не потерявшее своей ценности до настоящего времени (и вполне приемлемое марксизмом), объяснение роли личности в истории: „...власть основывать общество дана только людям, умеющим находить связь между прошлым и будущим человеческого рода и таким образом координировать его воспоминания с его надеждами, другими словами—у..ющим связать традицию с предвидением и удовлетворить одинаково сожаления и желания всех" [3]); великие люди — это те, которые „живо чувствуют общие нужды масс, ими направляемых" [4])

Но при всем стремлении сен-симонистов создать выдержанную историческую концепцию, проникнутую единым, монистическим взглядом и охватывающую все факты и явления общественной исторической жизни, это ему, однако, не удается. Философский идеализм, попытка сочетать детерминизм и релятивизм с телеологизмом приводит с.-симонистов к дуализму в их исторических построениях и порождает ряд противоречий: с одной стороны, прогрессивный исторический процесс соответствует естественному ходу общественного развития, будущее непосредственно и логически вытекает из настоящего, которое заключает в себе зародыш будущего; с другой стороны, человечество двигается прогрессом нравственных идей, которые преобразовывают ход исторического развития, ослабляют антагонизм и ведут человечество к предуказанной божеством ассоциации. С одной стороны, роль личности всецело предопределена общественной средой, и она оказывается способной преобразовать общество, поскольку она познает назревшие нужды масс и понимает, куда ведет неизбежный ход исторического развития; с другой, личность способна совершенно изменить исторический процесс: стоило только появиться нескольким великим мечтателям (первые христиане), и они своей экзальтированной проповедью увлекли за собой все человечество и вырвали его из состояния варварства, направив на путь беспрерывного совершенствования [1]). С одной стороны, признание прогрессивности и закономерности классовой борьбы угнетенных с угнетателями в прошлом, с другой—отрицание ее в настоящем, признание ее отрицательным фактором и вера в возможность мирного преобразования общества и проч. и т. п. На других, менее важных, противоречиях мы не останавливаемся.

Но все это не уменьшает значения отдельных исторических положений и взглядов сен-симонизма, имевших огромное положительное значение в свое время и оказавших большое влияние на дальнейшее развитие социалистической мысли и на выработку историко-материалистического мировоззрения.

III.

Экономические взгляды сен-симонистов тесно связаны с их историзмом.

Эксплоатация человека человеком, существовавшая в продолжение всей исторической жизни человечества и сохранившаяся по сие время, основана на факте существования частной собственности, являющейся фундаментом политических учреждений. Но собственность—категория историческая, она не представляет собой неизменного фактора; формы собственности беспрерывно менялись, что влекло за собой в свою очередь изменение форм и характера эксплоатации.

Собственность подвергалась изменениям как относительно объектов владения, так и способов пользования ими. Во все времена законодательство постоянно вмешивалось в вопросы, касающиеся отношения собственников между собой и к предметам их владения, занималось их регулированием, устанавливало характер и границы собственности. Право собственности, распространявшееся когда-то на людей, постепенно изменялось и смягчалось, пока не было совсем уничтожено; право владения вещами также изменчиво. Поэтому бессмысленно ссылаться на такое-то божеское или естественное право для оправдания существующего института частной собственности, как то делают буржуазные экономисты и публицисты, которых сен-симонисты вполне основательно упрекают в совершенном непонимании исторического характера собственности. „Божеское" право, „естественное" право оказывается таким же изменчивым фактором, как изменчива сама собственность: если это „божеское" право освящало

[1]) О Франц. Рев. „Учение", стр. 51—52, 191
[2]) Ibid., стр. 86 (прим.).
[3]) „Учение", стр. 5.
[4]) Там же.

[1]) „Учение", стр. 284.

раньше рабство, то теперь его осуждает. Также неосновательным оказывается принцип „пользы", якобы оправдывающий частную собственность: то, что было полезным раньше, могло стать впоследствии вредным и препятствовать развитию человечества. Ничего не доказывают ссылки юристов и законодателей для оправдания современной собственности на римские кодексы, феодальное законодательство или законодательство эпохи абсолютной монархии, так как каждое из них имело дело с разного рода собственностью и трактует о совершенно различных вещах [1]).

Форма и характер собственности влияют на мировоззрение людей, на существующую мораль, которая тоже изменчивый фактор: „совесть людей всегда находилась в гармонии с различными состояниями собственности" [2]). Ныне человеческая совесть пришла в разлад с существованием частной собственности. Она повелительно диктует человеку уничтожение этой последней и самой несправедливой из всех привиллегий; она требует отмены частной собственности по праву рождения, т.-е. наследования. С требованием морали вполне совпадает подмеченный авторами „Учения" закон изменения форм собственности, имеющий тенденцию к установлению такого порядка, при котором право наследования, ограниченное теперь тесными пределами семьи, перейдет ко всему обществу, которое будет представлять собой ассоциацию трудящихся. Когда эта перемена совершится, она будет оправдана новым божеским, новым естественным правом. Существующая в настоящее время форма частной собственности основана на силе, так как санкционируется законодательством, принцип которого исходит из завоевания; в будущем санкцией собственности (только не на орудия производства, которые будут обобществлены) будут труд и способности [3]).

Таков замечательный анализ понятия собственности, на котором базируется один из основных пунктов, если позволительно здесь так выразиться, программы-максимум сен-симонизма: отмена института частного наследования. Требование об уничтожении наследства выдвигал потом целый ряд социалистов, которые заимствовали его у сен-симонистов. На включение этого пункта в программу Первого Интернационала настаивали Бакунин и его сторонники, считавшие его необходимым условием для освобождения труда и достижения социализма.

Каков характер собственности в настоящее время и в чем заключается, главным образом, ее вред?—Частная собственность состоит из земельных владений и капиталов, которые составляют так называемый „фонд производства". Функции владельцев этого фонда, орудий производства должны заключаться в том, чтобы правильно распределять их между трудящимися и организовать производство; за выполнение их они получают от общества огромную прибыль в виде ренты и процентов на капитал. Но землевладельцы и денежные капиталисты на деле плохо выполняют возложенную на них функцию (единственную, как подчеркивает „Учение"), они оказываются никуда не годными организаторами производства. Доказательство: жестокие кризисы, производящие опустошительное действие в промышленности, являющиеся результатом анархии производства, беспрерывного нарушения равновесия между производством и потреблением. Причина

[1]) „Учение", стр. 111—114, 143—144.
[2]) Там же, стр. 116.
[3]) Там же, стр. 117.

всех бедствий заключается в том, что функции управления производством и распределения орудий труда, которые требуют „глубокого знания отношений, существующих между производством и потребителем, продолжительного знакомства с механизмом, приводящим в движение весь промышленный аппарат", поручаются людям, не имеющим о том часто никакого понятия и получающим их вследствие случайности рождения, а не благодаря своим способностям и знаниям.

Частная собственность на орудия и средства производства приводит к безграничному господству и торжеству личного интереса, эгоизма. „Промышленник мало заботится об интересах общества. Его семья, его орудия труда и личное богатство, которого он стремится достигнуть,—вот его человечество, его вселенная, его бог" [1]).

Служение индивидуальному интересу, личному богу обогащения находит свое оправдание и санкцию в господствующей теории политической экономии, выдвинувшей столь чреватый гибельными последствиями лозунг „laissez faire, laissez passer", осуществление его на практике ведет к господству безграничной конкуренции, которая по существу есть ничто иное как продолжение убийственной войны между индивидуумами и нациями, только другими средствами. Конкуренция—догма критических и переходных эпох, она вредна как всему обществу, так и отдельным промышленникам, так как приводит к крахам, разорениям, кризисам и катастрофам [2]).

Принцип „laissez faire etc.", опирающийся на личную инициативу и требующий невмешательства общества и государства в дела производства, особенно вреден в переживаемое время, в настоящую критическую эпоху, когда существует столь глубокое противоречие между интересами личными и общественными: технические изобретения и усовершенствования, введение паровых машин в производстве полезны всему обществу, но пока они вовсе не в интересах рабочего, который кормится трудами рук своих и которого машина лишает средств к существованию.

Теперь всякий прогресс, всякое завоевание в промышленности во многом походят на военные победы, они покупаются слишком дорогой ценой,—ценой страданий, лишений, нищеты и гибели масс трудящихся. Таковы те трагические противоречия, которые являются результатом современной организации частной собственности.

Сен-симонисты дают достойную отповедь тем буржуазным оптимистам, которые успокаивают общество рассуждениями вроде того, что наблюдающийся прогресс производства приведет к его расширению и поглощению теперь свободных рабочих рук и что таким образом все в конце концов выравняется [3]).

„Удивительный довод,—восклицает с негодованием Базар,—а до полного завершения этого процесса выравнивания что мы будем делать с этими тысячами голодных людей? Утешат ли их наши рассуждения? Отнесутся ли они терпеливо к своему бедственному положению, если статистические вычисления докажут им, что через известное число лет у них будет хлеб?" [4]).

[1]) „Учение", стр. 39.
[2]) Там же, стр. 127—128.
[3]) Справедливость требует отметить, что этот оптимизм был свойственен и сен-симонистам, он же впоследствии в значительной степени повлиял на их примирение с капиталистическим обществом.
[4]) „Учение", стр. 42.

До естественного „выравнивания“ дело еще далеко, пока же в обществе существует „наследство нищеты“, существует обширный класс пролетариев, который эксплоатируется материально, умственно и морально небольшой кучкой праздных капиталистов, владеющих орудиями труда благодаря случайности рождения; впрочем, по мнению сен-симонистов, эксплоатации со стороны „праздных капиталистов“ подвергаются и промышленники („вожди промышленности“), но в гораздо более слабой степени. Кроме того, промышленники, в свою очередь, „участвуют в привилегиях эксплоатации, которая, таким образом, всей своей тяжестью падает на рабочий класс, т.-е. на громадное большинство трудящихся“ [1]).

Сен-симонисты, конечно, далеки от того, чтобы надеяться на улучшение участи рабочего класса от его самодеятельности, организации и борьбы: слишком слаб был для этого тогда пролетариат, представлявший пока класс „в себе“ как объект эксплоатации, но не класс „для себя“, не сознавший еще общности своих интересов в противовес интересам эксплоататоров. Да и поскольку пролетариат начал проявлять „нетерпение к своему бедственному положению“ и выступил на борьбу со своими угнетателями (Лионское восстание и ряд других), сен-симонисты отнеслись к ней отрицательно, ибо они рассчитывали достигнуть своей цели не путем борьбы, а мирными средствами, проповедью, уговариванием и убеждением господствующих классов, к которым они преимущественно и обращались.

Но уже тот факт, что они выделяют рабочих из всей массы трудящихся, указывают и подчеркивают эксплоатацию их не только „праздными“, но и „трудящимися“ капиталистами, представляет, как это отмечает В. П. Волгин [2]), несомненно, прогресс новой концепции учеников по сравнению со старой концепцией самого Сен-Симона. Последний, как известно, различал два основных класса: праздных или землевладельцев и трудящихся или индустриалов, при чем ко второму относил и промышленников, и рабочих, не видя противоречия их интересов.

Не нужно, однако, преувеличивать значения новой концепции сен-симонизма в учении о классах. Под „рабочим классом“ сен-симонисты подразумевали не только пролетариев, но и вообще „работников“, т.-е. самостоятельных мелких производителей, а эксплоатирующие рабочий класс промышленники все же отнесены к категории трудящихся. Выделение рабочего класса из среды трудящихся, как класса эксплоатируемого по преимуществу, живущего продажей своей рабочей силы, подчеркивание его роли и значения в производстве является, повидимому, заслугой Базара, главного автора „Учения“, особенно интересовавшегося рабочим вопросом (а также, возможно, и О. Родрига). Другие сен-симонисты в своих взглядах на классы и их взаимоотношения постоянно сбивались на старую концепцию своего учителя, что особенно заметно выступало у „верховного отца“ сен-симонизма, Анфантэна.

В своей „Économie politique et Politique“ [3]) Анфантэн, по при-

[1]) Там же, стр. 108. (Разрядка моя. *Г.*).

[2]) Примечание к русскому изданию „Учения“, стр. 324.

[3]) Enfantin. Economie pol. et Politique. Articles extraits du „Globe“, 2-ème édit. Paris. 1832, представляет сборник статей Анфантэна из „Globe“ за 1830—31 г.г. Некоторые, как Warschauer, полагают, что в этом произведении собраны статьи не одного Анфантэна, а нескольких наиболее видных экономистов (см. Otto Warschauer. Geschichte des Socialismus und neueren Kommunismus. 1 Abt. Saint-Simon und der S.-Sim-s. Lpz. 1892,

меру Сен-Симона, делит все общество на два класса: праздных (oisifs), или праздную буржуазию, и трудящихся (travailleurs), к которым он относит промышленников, работников и интеллигенцию (ученых, артистов и проч.). Под праздной буржуазией он разумеет землевладельцев и капиталистов, живущих с процента на капитал, что видно хотя бы из таких определений его: „теперь наш феодализм нечто иное как праздная буржуазия“ [1]) или: „буржуа в качестве буржуа ничего не производит, ничему не учит и заботится только о себе“ [2]). Отсюда понятно, почему для Анфантэна основная черта Реставрации заключается в триумфе „буржуазии“. Не все собственники для него буржуа. Есть собственники праздные (это и есть буржуа) и трудящиеся собственники; сближает тех и других только спасительная боязнь беспорядков и почтительное отношение к охраняющим порядок властям.

Свое классовое деление Анфантэн обосновывает не по производственному признаку, а по чисто-субъективному, исходя из интересов каждого класса и его желаний: трудящиеся желают уменьшения налогов, которые своей тяжестью ложатся на них, праздные заинтересованы в уменьшении процента [3]). Интересы праздных и трудящихся противоположны уже по одному тому, что первые живут в безделии, потребляют, ничего не производя, в то время как вторые работают и производят все богатства. Рента собственника и заработная плата (а предпринимательская прибыль есть вознаграждение за труд, заработная плата) не могут одновременно возрастать [4]). Местами у Анфантэна чувствуется как-будто влияние новой сен-симонистской концепции (Базара): „Трудящийся,— по определению его,— не имеет раба, фермера, жильца-нанимателя или должника, он должен работать, а не извлекать из кармана своего ближнего...“ [5]). Но из этой отрицательной дефиниции трудящегося также не следует, что видовое понятие „промышленник“ не охватывается родовым понятием „travailleur“.

„Совершенно так же,—говорит по этому поводу Маркс,—как у физиократов „cultivateur“ означает не действительного земледельца, а крупного арендатора, у Сен-Симона, а в некоторых случаях и у его учеников, „travailleur“ означает не рабочего, а промышленного и торгового капиталиста...“ [6]); и далее: „...и у последователей Сен-Симона промышленный капиталист остается работником“ par excellence“ [7]).

Это последнее замечание в особенности справедливо по отношению к Анфантэну, который в своем понимании классов делает шаг назад по сравнению с „Учением“ и возвращается к взглядам учителя. Поэтому не приходится особенно удивляться, что роль вождей трудящихся в борьбе, которую труд ведет против праздности, Анфантэн приписывает... банкирам. Оказывается, что банкиры, начиная с ломбардцев и кончая господами Ротшильдами, Ляфиттами, вели все время искусную и успешную войну против праздности (sic!), хотя

S. 98). Однако мнение это ни на чем не основано: судя по характеру статей, связи их между собой, а также по стилю и поверхностной трактовке, все они принадлежат перу одного Анфантэна.

[1]) Enfantin, стр. 95.

[2]) Ibid., стр. 98.

[3]) Ibid., стр. 45 (прим.).

[4]) Ibid., стр. 68.

[5]) Ibid., стр. 110.

[6]) Маркс, „Капитал“, т. III, ч. 2, изд. 1923 г., стр. 145.

[7]) Там же, стр. 146.

сами они ни капли и не подозревали о своей роли вождей „мирной армии трудящихся“ и о той цели, к которой ведет эта борьба [1]).

Впрочем, неумеренное восхваление и превознесение Анфантэном банкиров объясняется отчасти тем огромным значением, которое сен-симонисты придавали банкам как зародышу будущего общества в настоящем, о чем речь впереди [2]).

Теоретические проблемы политической экономии мало занимали сен-симонистов, и Анфантэна в том числе. Главный недостаток современной им политической экономии, по их мнению, заключается в том, что она занимается тем, что есть, а не тем, что должно быть: все у нее сводится к законам ценности, спроса и предложения и т. д., она не морализует, человек для нее только средство, а не цель. Сен-симонисты ставят себе целью морализовать политическую экономию, дабы она имела перед глазами не столько сущее, сколько должное; кроме того, она должна заниматься вопросами организации производства.

„Политическая экономия превращается для нас в индустриальную политику, т.-е. эта наука имеет своим предметом определение тех социальных условий, при которых орудия труда, продукты труда и сами работники были бы наилучшим образом распределены, одним словом—организованы“ [3]). Так формулирует Анфантэн задачи политической экономии, которая фактически преобразовывается у него частью в науку об организации труда, частью в своеобразную сен-симонистскую экономическую политику.

Телеологический подход сен-симонистов к политической экономии („она должна“ и т. д.) не случаен, он вытекает из их философско-исторического телеологизма. Все экономические вопросы, по убеждению Анфантэна, должны быть сведены к одному общему моральному принципу: при суждении о той или иной экономической идее, теории или мероприятии, нужно прежде всего исходить из того, принесет ли их осуществление непосредственную пользу трудящимся, улучшая их положение, или хотя бы косвенную, подрывая уважение и авторитет праздности,—и с этой точки зрения их оценивать. Теория трудовой стоимости, поскольку она оказывается пригодной для вышеуказанной цели, охотно приемлется Анфантэном, но он не задумывается ни на минуту о ее значении как объективной истины, не пытается нисколько обосновать ее или хотя бы доказать ее правильность. Он использовывает ее, так как она дает ему повод разразиться негодующей проповеднически-морализующей тирадой:

„Эти почтенные граждане (праздные буржуа. *Г.*),—гневно восклицает он,—могут, однако, успокаивать свою совесть, ссылаясь на аргументы той политической экономии, которая теперь господствует (вернее, „исповедуется“. *Г.*). „Мы бездействуем,—могут они сказать,—но наши капиталы работают; мы дремлем, но они бодрствуют, значит... справедливо, чтобы мы потребляли плоды их трудов и их бодрствования“.—„Их труды, их бодрствование!“—кто работал, стонал, бодрствовал, плакал? Это ваши экю? О, нет! Они не прибывают к вам загрязненными, испорченными, подточенными, они умножены, они позолочены. Но посмотрите на человека, которому вы их ссудили и который падает от усталости принося их вам. Это он бодрствовал, он

[1]) Enfantin, стр. 54.

[2]) Здесь только заметим, что теория эта служила оправданием и обоснованием позднейшей практики. „Стремление к Ротшильду, — метко замечает Плеханов,—было сен-симонистским „пойдем на выручку к капитализму“.

[3]) Enfantin, стр. 120.

изношен, изуродован; он потерял свою силу, на него нет больше спроса, никто не хочет его брать, он выходит из употребления [1]).

Анфантэн довольствуется этим нравоучительным поучением, чтобы опять перейти к прерванному обсуждению вопросов экономической политики, занимающих его (и всех сен-симонистов) больше всего, каковы: налоги, займы, арендная и заработная плата, кредит и проч., при чем он дает практическое разрешение всех этих вопросов в интересах трудящихся, а также предлагает свои непрошенные советы государству.

Налоги он считает вредными для общества, потому что они падают главным образом на неимущих трудящихся и не приносят реальной выгоды, так как расходы на содержание аппарата по взиманию налогов почти полностью поглощают получаемые с них доходы. Вместо этого он предлагает государству прибегать к займам у праздных капиталистов для употребления их на производительные цели и уплачивать по ним невысокий процент; самих же займов не погашать. Прибыль промышленных капиталистов („трудящихся“) он считает вознаграждением за их труд, заработной платой; зато арендную и заемную плату землевладельцам и денежным капиталистам он называет „самой щедрой милостынею, которая когда-либо давалась“ [2]).

Но особенно его занимают вопросы, связанные с организацией кредита. Займы, уменьшение процента на капитал, усовершенствование кредита и существующих для этого учреждений,—вот прогрессивные факторы современного общества, ведущие его к лучшему будущему. В связи с этим сен-симонизм выдвигает свою программу-минимум [3]), осуществление которой они считают возможной при современном капиталистическом строе и необходимым для мирного преобразования его на новых началах. Основные пункты этой программы мы находим и у Анфантэна; они сводятся к следующим: уничтожение наследования по побочной линии, прогрессивный налог на наследство, отмена всех косвенных налогов, уменьшение ренты (арендной и наемной платы трудящихся праздным капиталистам, мобилизация земельной собственности, организация кредита посредством банков и ряд других более мелких [4]).

Мы видим здесь решительное преобладание экономических требований, да оно и понятно, так как сен-симонисты считали политику самое по себе бесцельной; для них „политика без промышленности есть слово, лишенное содержание“ [5]). Анфантэн с презрением относился к спорам о политической свободе, избирательном цензе, либерализме и проч., которые все сводятся, по его мнению, к пустой „логомахии“ (словопрение); наоборот, экономические вопросы он считал крайне существенными и высоко ставил экономистов (хотя себя считал выше их всех). „Слава Кенэ, Смиту, а также Сэю, который первый их популяризировал“,—возглашает он [6]).

Из всех положений своей программы-минимум сен-симонисты придавали наибольшее значение требованию организации и регулирования кредита, так как они находили, что частный и государствен-

[1]) Enfantin, стр. 108.

[2]) Ibid., стр. 74.

[3]) Выражения „программа-минимум“, „программа-максимум“, употребляемые нами по отношению к сен-симонизму и взятые из современной терминологии, следует понимать, конечно, условно, так как сен-симонисты не составляли никогда политической партии.

[4]) Enfantin, стр. 78—80.

[5]) „Учение“, стр. 13.

[6]) Enfantin, стр. 63.

ный кредит, при всем их несовершенстве, все же до сих пор приводили и приводят к уменьшению значения праздных классов и улучшению положения „трудящихся“ (промышленников). Целью организации кредита должна быть передача орудий труда из рук праздных собственников, которые ими владеют, но не имеют желания или не обладают способностью пустить их в ход,—в руки тех, кто хочет трудиться, но не имеет орудий труда. Организация кредита посредством банков на-ряду с быстрой мобилизацией земельной собственности и понижением процента на праздный капитал должна была, по их убеждению, способствовать наискорейшему осуществлению будущего в настоящем [1]). Поэтому в центре всех вопросов у них стал вопрос о банках и их организации.

IV.

„Кредит, банкиры, банки—все это лишь грубый зачаток промышленнного института, фундамент которого мы хотим заложить“ [2]).

Так формулируют сен-симонисты свой взгляд на банки и их значение в настоящем и будущем. Хотя в настоящее время банки, несомненно, играют огромную прогрессивную роль, способствуют организации труда [3]) и росту благосостояния, так как благодаря их посредничеству орудия труда меньше времени остаются без потребления в руках праздных и больше находятся в работе, все же при современной своей организации банки далеки от совершенства. Современная организация банков воспроизводит многие недостатки нынешнего капиталистического строя и часто делает их орудием праздных классов, вопреки их непосредственному назначению; в доказательство сен-симонисты приводят пример из практики „Banque de France“, который оказывал противодействие всем проектировавшимся реформам понижения учетного процента и процента государственной ренты. Кроме того, основной недостаток банков заключается в том, что они не охватывают теперь всей промышленности и не могут поэтому знать всех ее нужд и потребностей.

Исходя из этого, сен-симонисты выдвигают свой старательно разработанный проект реорганизации банков, так наз. „общую систему банков“, которая должна представлять нечто иное как промышленное правительство будущего мирного общества—ассоциации.

Исключительное внимание и интерес, которые сен-симонисты обнаружили по отношению к банкам, первенствующее место, которое им уделяется в будущем обществе, объясняется отчасти той ролью, которую играли уже при них кредит и банки: быстро развивавшаяся промышленность нуждалась в кредите; за займами к крупным французским финансистам вынуждены были обратиться также почти все европейские государства после разорительных беспрерывных войн. С банковым делом многие сен-симонисты были знакомы по собственному опыту и работе: так, О. Родриг, первый примкнувший к учению Сен-Симона еще при жизни последнего, состоял одно время директором банка, в котором кассиром был будущий „верховный отец“

[1]) „Учение“, стр. 225.
[2]) Ibid., стр. 130.
[3]) Само это выражение, как и программное требование организации труда (organisation du travail), ставшее впоследствии столь популярным у французских социалистов (Луи Блан и др.) и среди рабочих масс в 40-х годах, ведет свое начало и происхождение от сен-симонизма, который впервые его выдвинул.

Анфантэн, а председателем совета и правления также сен-симонист (Шарль Дюверье); поэтому они хорошо понимали роль кредита, значение реорганизации банковой системы, хотя имели преувеличенное представление о спасительных результатах, к которым должна будет привести будущая организаця банков.

Оценку значения роли кредитной системы в переходный период от капиталистической системы к социалистической, а также попутно и взглядов сен-симонистов, мы находим у Маркса (во 2-й части III т. „Капитал“). „Не подлежит никакому сомнению, что кредитная система послужит мощным рычагом во время перехода от капиталистического способа производства к способу производства ассоциированного труда,—однако лишь как один из элементов в связи с другими великими органическими переворотами в самом способе производства. Напротив, иллюзии относительно чудодейственной силы кредитного и банкового дела в социалистическом смысле вытекают из полного непонимания капиталистического спооособа производства и кредитного дела как одной из его форм. Раз средства производства перестали превращаться в капитал,—кредит, как таковой, не имеет уже никакого смысла, это поняли, впрочем, даже сен-симонисты“ [1]).

Но у сен-симонистов сама банковая система носит не преходящий характер, служит не временным орудием, а является основой всего будущего общества. Они считают возможным ее полное осуществление только после переворота в институте собственности, после отмены права частного наследования и передачи его государству.

„Общая система банков“—остов сен-симонистской ассоциации. Основная черта ее—строгая централизация: все банки сливаются в один центральный унитарный банк, который организует и направляет все производство страны, руководясь строго выработанным планом, в котором учтены все потребности производства и потребления. Все рассчитано, все учтено, все поставлено на надлежащее место. В распоряжении промышленного банкового правительства находятся не только мертвые орудия и средства производства, но и живые рабочие силы. Центральному банку подчинены местные, из которых каждый получает потребный ему кредит и орудия труда от центрального банка; кредиты распределяются между трудящимися уже специальными банками, представляющими различные отрасли промышленности. Банк имеет твердый бюджет: актив его составляет совокупность продуктов всего годового производства, пассив—сумма продуктов (орудий труда и проч.), распределенных между местными банками, из которых каждый также имеет свой бюджет. Все работники в области промышленности распределены по разным отраслям ее и размещены по строгой иерархической лестнице, сообразуясь с наклонностями и способностями каждого; вознаграждение они получают не одинаковое, а соответственно занимаемой должности, согласно основному сен-симонистскому принципу: с каждого по его способности, каждой способности по ее делам.

Отдельные предприятия со всем их оборудованием передаются по договору на время, как бы на арендных началах, тем работникам-промышленникам, которые способны ими руководить, но они отнюдь не являются собственниками промышленных предприятий, так же, как в армии командующие лица не являются собственниками казарм,

[1]) „Капитал“, т. III, ч. 2, стр. 148. Требование организации кредита посредством национального банка среди целого ряда других требований, как необходимая мера для переходного периода, выдвинутого, как известно, „Коммунистическим манифестом“.

оружия и солдат [1]). Выгоды будущей ассоциации, по мнению ее творцов, заключаются в том, что в ней все организовано по плановому началу, орудия труда и работники распределены пропорционально потребностям каждой местности и каждой отрасли производства, установлено равновесие между нуждами производства и потребления, нет ни недостатка, ни переполнения продуктов. Это уничтожает гибельную анархию и конкуренцию.

Но основное преимущество ассоциации, по сравнению со всеми существовавшими до сих пор человеческими обществами (даже в органические эпохи), состоит в том, что с ее созданием будет раз навсегда положен конец эксплоатации человека человеком, основанной на существовании частной собственности на орудия и средства труда: „Эксплоатация человека человеком,—вот состояние человеческих отношений в прошлом; эксплоатация природы человеком, вступившим в товарищество с другим человеком,—такова картина, представляемая будущим... Другими словами: война и мир,—таковы отличительные черты прошлого и будущего, рассматриваемых с точки зрения, на которую нас поставил Сен-Симон“ [2]). Уничтожение человеческой эксплоатации, объединение и координирование всех человеческих сил для мирной эксплоатации природы откроют пути для беспрерывного совершенствования человечества в области индустрии и значительно улучшит материальное существование людей. Материальный прогресс будет итти рука-об-руку с прогрессом моральным, прогрессом в области науки и религии.

Ассоциация, костяком которой является очерченная выше общая система банков, централистична, так как сен-симонисты, как последовательные централисты, не признавали середины между анархией и централизмом. Она основана на строгой иерархии, безусловном подчинении низших высшим, ибо, по их убеждению, где нет иерархии, там нет и общества, а имеется только беспорядочное скопление индивидуумов [3]). Она поэтому насквозь пропитана духом авторитарности, так как настоящий порядок и дисциплину может осуществить только твердая, прочная власть, правда, такая, которой все добровольно подчиняются; такую власть сен-симонисты приветствуют, восхваляют ее, поют ей восторженные гимны: „Надо ли нам еще отклонять от себя идею ярма, деспотизма, вызываемые в обыкновенных умах словом „власть“. Ах, господа, благословляйте вместе с нами ярмо, накладываемое в силу убеждения и удовлетворяющее все чувства, заложенные в душе человека, благословляйте власть, единственная мысль которой—толкать народы на путь прогресса и оплодотворять все источники общего благосостояния“ [4]).

Такие панегирики будущей власти нередки в произведениях сен-симонистов; в этом, между прочим, одно из многих отличий авторитарного сен-симонизма от анти-авторитарного (вернее, анархического) фурьеризма и оуэнизма.

---

[1]) „Учение“, стр. 128—135. Современная армия и ее организация является для сен-симонистов своего рода образцом будущего общества, между ними они часто любят проводить сравнения и параллели. Им импонирует существующая в армии строгая дисциплина, иерархия, порядок, самоотверженность. Но вместе с тем, они, однако, сугубо подчеркивают мирный характер их ассоциации,—общества строителей, в отличие от армии,—общества разрушителей. Все же упреки сен-симонистам в „казарменном социализме“ далеко не безосновательны, как увидим дальше.

[2]) Ibid., стр. 97.

[3]) „Doctrine“, II, стр. 326.

[4]) „Учение“, стр. 52.

Правда, организация власти в будущей ассоциации сравнительно прозрачна и проста, так как в ее компетенцию входят главным образом вопросы, касающиеся регулирования промышленности; в будущем исчезает масса излишних чиновников, никому не нужных юристов („легистов“, как известно, еще Сен-Симон глубоко ненавидел); впрочем, в дальнейшем, при более детальной разработке, она, как увидим, значительно усложняется; на власть возлагается ряд новых функций.

В ассоциации должностные лица, составляющие промышленную магистратуру, следят за ходом производства, наблюдают за порядком в нем, вносят необходимые изменения сообразно с требованиями труда и новыми техническими усовершенствованиями. В каждой общине или мэрии, превращенной в промышленный банк („dans la commune telle, que nous la concevons, c'est-à-dire dans la banque industrielle“, как характерно выражается Анфантэн), хорошим администратором считается тот, кто лучше знает нужды производства и потребления и умеет удовлетворять их при помощи искусного комбинирования и распределения орудий труда, работников и продуктов производства; таким образом роль будущего чиновника весьма отлична от роли современного чиновника-администратора; от него требуются совершенно другие знания и таланты.

„Кто бы мог быть хорошим чиновником при империи?“—вопрошает Анфантэн и сам отвечает: Вербовщик. „При реставрации?“—тот, кто фабриковал выборы иезуитов и феодалов—„Теперь?“ (т.-е. при Июльской монархии; статья написана в 1831 г. *Г.*)—Орудие праздных буржуа, собственников.—„Кто им будет в будущем обществе?“—Вождь, принц, король индустриалов (le chef, le prince, le roi des industriels)“ [1]).

Этот выразительный язык очень напоминает язык самого Сен-Симона, превозносившего индустриалов и сводившего все задачи политики к организации промышленности (политика у него растворялась в экономике). Но социалистическая ассоциация, определение путей, ведущих к ее осуществлению и связанные с ними программные требования (уничтожение наследства, обобществление средств и орудий производства)—плод творчества учеников.

Хотя сен-симонисты декретируют в своей ассоциации отмену эксплоатации человека человеком, но они против установления в ней равенства: в будущем обществе существует не только строгая градация между различными членами, сообразно с занимаемым каждым из них положением на иерархической лестнице, но и неравенство раздела, вознаграждения. Но любопытнее всего то, что сен-симонистские теоретики оправдывают необходимость неравенства, исходя из принципа... равенства и справедливости: „раз существует, говорили они, неравенство способностей, то было бы несправедливо давать всем одинаковое вознаграждение и за малую, и за большую работу, да, и сверх того, равная оплата устранила бы столь важное для прогресса соревнование,—все это привело бы в результате к постоянному нарушению равновесия в обществе“ [2]).

Поэтому, они с полным основанием отгораживаются от всех существовавших и существующих эгалитарных коммунистических учений, требующих установления полного равенства, выдвигающих прин-

---

[1]) Enfantin, стр. 145.

[2]) „Учение“, стр. 114. Enfantin, стр. 163—164. Манифест сен-симонистов, 1830 г.

цип равного раздела, столь ненавистного сен-симонистам [1]). Защищая свой план организации будущей ассоциации от нападок, сен-симонисты выдвигали на первый план ее преимущества и выгоды для всех членов общества, в особенности же для трудящихся, которые при распределении работников по их способностям получат надлежащую справедливую оценку и гораздо более высокое вознаграждение, чем в настоящее время.

Неравенство—один из китов сен-симонистской ассоциации, подвергался впоследствии резким нападкам со стороны представителей других социалистических учений, которые признавали его несправедливым и даже безнравственным (как, впрочем, и другие основные пункты учения: авторитарность, иерархия) [2]). Хотя сами сен-симонисты были твердо убеждены в том, что реализация их идеала положит конец эксплоатации человека человеком, а следовательно, и классовой борьбе, однако, в основанной на иерархии и неравенстве ассоциации естественным следствием должна быть огромная разница в материальном положении разных членов общества, в зависимости от занимаемого каждым места на иерархической лестнице. Это, по-видимому, смутно сознавали и сен-симонисты: говоря о повышении всеобщего благосостояния в ассоциации, они признают, хотя с оговорками, существование в ней и отрицательных явлений: „Позор и нищету будут знать только противообщественные привычки и страсти, тогда как уделом труда, преданности и гения будут богатство и слава“ [3]).

Поэтому одной из задач будущей духовной власти является борьба с этими „противообщественными привычками“, внедрение уважения низших к высшим не только путем проповедей и силой божественного авторитета, но и весьма реальными конкретными мерами воздействия: суд, наказание и законодательство не отменяются, они являются прочной опорой правительства ассоциации.

Всякая утопическая система при построении своего идеального будущего общества заимствует для него материал и организационные формы из настоящего или идеализированного прошлого, соответственно изменяя их и приспособляя к своей схеме. Сен-симонисты, которые в основу своей ассоциации положили современную индустрию, на развитии которой строили все свои планы и надежды и которые, благодаря своему индустриализму, превознесению техники, промышленности, кредитного и банкового дела, опираются прочно на настоящее и устремляют свои взоры в будущее, не прочь заимствовать организационные рамки, формы для ассоциации из прошлого, эпохи феодализма. Дело в том, что в эпоху феодализма, как эпоху органическую, существовала, хотя бы и несовершенная, организация производства в виде цехов, корпораций, которые могут быть прообразом для организационных форм будущих учреждений, существовали такие прочные и необходимые опоры общества, как иерархия и религия.

[1]) По мнению Шарля Жида, „система сен-симонистов является прототипом всех коллективистских измышлений (sic!) на протяжении всего XIX столетия. Она... всем своим существом отличается от прежних эгалитарных утопий“. (История экономич. учений. М. 1918 г. ст. 130.)

[2]) См. критику этих воззрений у Луи Блана в его Histoire de dix ans, t. III (Paris, 1848, стр. 100—104). Также отрицательно относился к этому принципу Чернышевский. Вот, между прочим, его отзыв о сен-симонизме: „Сен-симонизм смешит наш рассудок своей фантастичностью, возмущает наше чувство своим благонамеренным нелепизмом, своей аналогией авторитета, своими поползновениями к аристократичности. Сен-симонисты были салонные герои, подвергавшиеся припадку филантропизма“. („Современник“, 1860 г., кн. 5. „Процесс менильмонтанского семейства“.)

[3]) „Учение“, стр. 166.

Все это буржуазное общество разрушило (что было в свое время необходимо), но оно не создало ничего нового взамен старого, уничтоженного, предоставив производство господству анархии и относясь отрицательно ко всякой организации. Ассоциация заимствует у средневекового феодализма не только теократию, иерархию, неравенство и другие организационные формы, но даже его терминологию: сен-симонисты постоянно употребляют при описании будущего общества такие выражения, как промышленная инвеститура, ленная грамота (для индустриалов), канонизация и проч. Самый строй будущего они называют строем „феодального индустриализма“—название, которое впоследствии за ним прочно укрепилось.

Однако сен-симонисты предостерегают от смешения их с безоговорочными поклонниками феодализма, подчеркивая, что у них под старой формой, являющейся только оболочкой, кроется существенно новое содержание, не имеющее подобного себе ни в прошлом, ни в настоящем [1]).

Весьма отличной от религиозного строя прошлого феодализма является, по мнению сен-симонистов, и будущая теократия, несмотря на их внешнее сходство. Несомненно, однако, что религиозный характер ассоциации значительно роднит ее со строем средневековья.

Мы не думаем здесь пускаться в подробное рассмотрение будущего теократического строя и углубляться в дебри сен-симонистской теологии и метафизики, в которых сами творцы их безнадежно запутались. Это было бы непродуктивным и безнадежно скучным предприятием, да и исследование этого вопроса не лежит в центре нашей работы. Но для полной характеристики общественной организации ассоциации необходимо несколькими штрихами обрисовать религиозно-теократический строй ее. Будущее общество, как органическое по преимуществу, естественно, должно быть религиозным, так как для сен-симонистов понятия „религия“, „нравственность“, „порядок“ являются синонимами. Но религия будущего, в отличие от всех индивидуалистических религий прошлого, которые служили только для удовлетворения личных эгоистических потребностей человека, а потому, по существу говоря, были антиобщественны, мистичны и атеистичны, носит совершенно другой характер: ее главное назначение—объединять человечество, служить выражением его коллективной мысли, быть „синтезом всех его концепций, руководящей нормой всех его поступков“ [2]).

Поэтому, с этой точки зрения, „весь политический строй будущего, рассматриваемый в целом, должен быть лишь религиозным институтом [3]). Таков всеобъемлющий характер религии будущего, которая, пройдя три фазиса своего развития в прошлом (фетишизм, политеизм, монотеизм), переходит в высший и последний фазис, объединяет в гармоническом сочетании элементы, бывшие раньше враждебными (как дух и материя) и безгранично господствует над всем.

Наступает новая эпоха, „эпоха, возвещаемая нами, где материя и дух, промышленность и наука, светский элемент и духовный будут оба подчинены власти закона и любви“, т.-е. религии [3]).

Понятно поэтому, что во главе религиозного общества, на самой, так сказать, вершине иерархической лестницы стоит священник, сен-симонистский „верховный жрец“, человек, наиболее воодушевленный

[1]) „Учение“, стр. 228—229.
[2]) „Учение“, стр. 298.
[3]) „Учение“, стр. 276.

любовью к ближним, наиболее образованный, умеющий сочетать прошлое с будущим, теорию с практикой, науку с промышленностью. Все общество в ассоциации состоит из священников, ученых и промышленников; в ней основных три рода деятельности: „религия или мораль, теология или (!) наука, культ или промышленность“.

В каждой из этих отраслей существует своя сложная, замкнутая иерархия, которая устанавливается и санкционируется „верховным“ священником. Он—источник всякой иерархии, связующее звено между прошлым и будущим, конечным и бесконечным, богом и человеком, между социальным и мировым порядком, человеческой и божеской иерархией, он научает высших наиболее целесообразно использовывать свой авторитет перед массой, а низших заставляет любить повиновение [1]). Весь строй будущего окрашен в религиозный колорит.

Ни в одном социалистически-утопическом учении, которые во Франции в то время почти все отличались религиозным характером, мы не встретим такой туманной, путанной, противоречивой, мистически-„заумной“, граничащей с бессознательным идеологическим шарлатанством, религиозной фразеологии, доводимой до геркулесовых столпов нелепости, как в сен-симонистском.

Но все имеет свою логику: религия сен-симонизма, при всей своей причудливости и фантастичности, не является чем-то посторонним и противоречащим всем остальным элементам учения, напротив, она—неизбежное их дополнение. Ассоциация, основанная на иерархии и неравенстве, логически дополняется теократией: для того, чтобы удержать „низших“ в повиновении „высшим“, недостаточно одного убеждения и человеческого авторитета, нужен какой-то высший „божественный“ авторитет, который освящал бы вновь созданный строй с его неравенством и неизбежной эксплоатацией масс.

Указанные соображения могли служить бессознательным стимулом для сен-симонистов при создании теократии. В общем же религиозность сен-симонистов имеет два источника: во-первых, она вытекает из их отрицательного отношения к критической философии с ее атеизмом, что является, впрочем, характерной чертой всей эпохи реакции; во-вторых, из их взгляда на религию, как необходимую опору всякого органического строя. Теократия—опора аристократического учения, оторванного от масс, трактующего их, как пассивный объект воздействия для избранных, отмеченных божеством героев, „жрецов“, по сен-симонистской терминологии.

Во всех других социалистических учениях во Франции начала XIX ст., в отличие от сен-симонизма, религия не является основной органической частью учения, а скорее чем-то взятым извне, заимствованным, своего рода уступкой „духу времени“. Так, в фурьеризме религия является совершенно посторонним привеском, который легко отбросить, не нарушив целостности системы. Не то в сен-симонистской системе: стоит устранить в ней религию, а следовательно, и теократию, как иерархия и неравенство, лишенные опоры и санкции, не будут в состоянии удержаться, падет вся постройка, рушится ассоциация. Вот почему все ортодоксальные сен-симонисты (мы подразумеваем под этим именем тех из них, которые считали непререкаемыми все догмы учения, в том числе и религиозные, в том виде, как они окончательно были разработаны Анфантэном, в отличие от отпавших, диссидентов) придавали такое огромное значение религиозной стороне учения. Но увлечение религией, выдвигание на первый план

[1]) „Doctrine“, II, стр. 337, 352 и друг.

богословско-теологических и метафизических вопросов неизбежно должно было превратить сен-симонистскую организацию в узкую религиозную секту.

Своеобразно примиряется в будущем, по представлению сен-симонистов, религия и наука: первая не противоречит второй, а служит ее обоснованием и даже почти что отождествляется с ней; сен-симонисты употребляют характерное выражение: „наука или теология“. В ассоциации с уничтожением анархии в производстве будет положен конец и анархии в научной области. Создается единая наука, которая будет носить универсальный характер, она объединит одним общим догматом все отрасли человеческого знания, разрозненные ныне, объединит и работников науки [1]).

Эта, не лишенная оригинальности, идея создания единой всеобъемлющей науки, тесно связанная с общей концепцией сен-симонизма, кажется, впервые им выдвинута; с ней мы встречаемся и после, влияние ее несомненно на некоторых современных теоретиков (Богданов и др.).

Чтобы покончить с сен-симонистской ассоциацией, остается лишь сказать об организации в ней воспитания и образования, а также законодательства.

Взгляды сен-симонистов на роль и значение воспитания представляют несомненный интерес и в настоящее время. Педагогия, вопросы воспитания и образования, занимали всех утопистов, так как все они, каждый, правда, по-своему, на свой манер, собирались перевоспитать общество, считая себя к тому призванными. Каждый выдвигал свою систему воспитания для будущего общества. Проблемы и задачи воспитания наиболее полно разработаны у Фурье, который высказал ряд интересных и глубоких мыслей; занимался этими вопросами Оуэн. Естественно, что много внимания уделяют им и сен-симонисты.

Они считали, что нравственное воспитание должно быть беспрерывным и не прекращаться в течение всей жизни человека. Воспитание в ассоциации имеет перед собой тройную задачу: первая—развитие симпатии как источника изящных искусств, которые отождествляются с религией; вторая—рациональной способности как орудия науки и, наконец, третья—материальной деятельности как источника промышленности, чтобы подготовить, таким образом, три основные категории граждан будущего общества: артистов или священников, ученых и промышленников.

Поэтому правильная система общего воспитания и образования возможна при выполнении следующих условий: преподавание обнимает все знание; преподавательская корпорация состоит из такого подготовленного кадра людей, которые умеют претворять успехи теории на практике; специальное образование охватывает все профессии, в которых нуждается общество; обучение в школах так поставлено, что одна ступень является прямым продолжением другой. В ассоциации образование всеобщее. Предварительно все получают общее нравственное воспитание и ознакомление в необходимых пределах с специальными науками, после чего происходит отбор и распределение молодых людей по специальным школам сообразно с обнаруженными способностями и индивидуальными наклонностями каждого.

Существуют три основных типа специальных школ: школа изящных искусств или морали, наук и промышленности,—каждая с соот-

[1]) „Учение“, стр. 37—38, 271—272.

ветствующими подразделениями. Окончившие специальные школы распределяются по различным прикладным школам, которые соответствуют всем подразделениям трех основных категорий человеческой деятельности (сен-симонистской троицы: наука, промышленность, изящные искусства или мораль, она же религия), и лишь после того каждый приступает к исполнению той функции в общественном механизме, к которой он уже достаточно подготовлен.

Законодательство является продолжением воспитания, с которым находится в самой тесной связи. В отличие от современного законодательства, которое носит по преимуществу карательный характер,—что, впрочем, вполне соответствует обществу, в котором „палач является единственным профессором морали, патентованным властью",—законодательство будущего носит, главным образом, исправительный и предупредительный характер. „Учение" различает два основных вида законодательства: отрицательное, или наказующее, и положительное, или вознаграждающее, которые вместе охватывают все „исключительные общественные факты, т.-е. факты ненормальные, прогрессивные или ретроградные, другими словами,—те нравственные или безнравственные поступки, которые наиболее вызывают похвалу или порицание" [1]).

Совершение какого-либо проступка или преступления в будущем есть своего рода атавизм, воспроизведение прошлого, показатель того, что воспитание недостаточно воздействовало на того или иного индивидуума. Виновный—„сын прошлого". Все усилия должны быть направлены к тому, чтобы сделать из него „дитя будущего", поэтому наказующее законодательство будет исправлять недостатки воспитания; оно проявит больше милосердия, нежели суровости. Но все же наказания будут, и самым тяжелым будет удаление неисправимого преступника из среды общества. Сообразно с троякого рода преступлениями (против морали, науки, промышленности) существуют троякого рода суды; в каждом из них сидят лучшие представители этих трех отраслей человеческой деятельности.

Таковы в основных чертах строение и организация будущей сен-симонистской ассоциации, долженствующей представить собой совершенно новый общественный строй, резко отличающийся от всего прошлого и настоящего. Его наступление должно совершиться мирно и постепенно „без разрыва в цепи человеческих судеб", без революции. Сен-симонисты решительно протестуют против малейшего обвинения или даже подозрения их в каких-либо революционных замыслах. Они неоднократно подчеркивают свое отрицательное отношение к классовой борьбе и отвращение к революции. Правда, классовую борьбу в прошлом они признают, и все прежние революции, способствовавшие уменьшению эксплоатации человека человеком, они одобряют и считают их законными. У Базара, старого революционера-карбонария, проскальзывают иногда революционные нотки. Некоторые отдельные места, взятые из контекста его лекций, могут вызвать даже представление о революционности сен-симонизма, как, например, следующая, замечательная по силе и выразительности оценка значения революции:

„Лишь те революции могут быть прочными, законными, лишь те заслуживают сохранения в памяти человечества, которые улучшают участь наиболее многочисленного класса; все революции, носившие до сих пор этот характер, постепенно ослабили эксплоатацию чело-

[1]) „Учение", стр. 137.

века человеком. Теперь может быть лишь одна революция, способная привести в восторг сердца и наполнить их чувством вечной благодарности: это та, которая положит конец вполне и во всех формах указанной эксплоатации, ставшей нечестивой в самом основании своем" [1]).

Но сами сен-симонисты, и Базар в том числе, вовсе не собираются уничтожить „ставшую нечестивой эксплоатацию" революционным путем; революционных выводов из заявлений, подобных вышеприведенному, они не делают. Напротив того, Базар сам же категорически утверждает, что „учение Сен-Симона не призывает к совершению переворота, революции: оно явилось с тем, чтобы предсказать и осуществить преобразование, эволюцию" [2]).

Что касается Анфантэна, признанного, законного вождя школы, ее „верховного отца", то ему всякая мысль даже о революции кажется абсурдной, греховной, еретической; он готов открещиваться от нее, как добрый христианин от нечистой силы. Заявление его по этому поводу звучит весьма недвусмысленно и крайне характерно для него, как, впрочем, для всего официального сен-симонизма: „Значит, вы хотите одним ударом уничтожить все учреждения?"—скажут нам.—Боже нас упаси! Мы не намерены ничего совершать одним ударом. Мы люди прогресса; мы хотим эволюции, а не социальных революций; поэтому мы не ограничиваемся, подобно революционерам, критикой того, что есть. Мы указываем также то, что должно быть [3]).

Итак, не революция, а эволюция, т.-е. постепенное преобразование общества мирным путем, посредством целого ряда реформ, которые безболезненно и незаметно приведут общество к желанной ассоциации. Материальным реформам должна предшествовать реформа в умах и, главным образом, в чувствах (чувство сен-симонисты ставили выше логики и разума; воспитывать чувства и симпатии должны изящные искусства, вернее, мораль, религия), которая может быть достигнута путем убеждений и проповедей, обращенных к праздным. Нужно доказать людям, главным образом представителям господствующих классов, все преимущества ассоциации, воодушевить их страстью, желанием создать новый справедливый строй, и, когда это удастся,—все будет сделано. Сен-симонистский идеал будет осуществлен [4]): будет создана ассоциация.

Следует отметить еще две черты ассоциации: ее космополитический и абсолютный, законченный характер: она охватит весь земной шар, на котором будет одно бесчисленное братское народонаселение, имеющее один общий интерес и одну общую мысль—возможно более полную и систематическую эксплоатацию земли. Организация ассоциации в том готовом виде, как она дана сен-симонистами, является окончательной; социально-политический строй ее, как наиболее совершенный, неспособен уже к дальнейшему совершенствованию, потому что при нем общество будет устроено непосредственно в целях прогресса [5]).

[1]) „Учение", стр. 109.
[2]) Ibid., стр. 137.
[3]) Enfantin, стр. 102.
[4]) Enfantin, стр. 75—76. „Учение", стр. 65—66.
[5]) „Учение", стр. 95.

V.

„Мученики не носят уже более креста, кроме креста Почетного Легиона, они не ходят босыми через пустыни, но обзаводятся семьями, как порядочные буржуа, и проводят железные дороги“.

(Гейне о сен-симонистах.)

Habent sua fata... doctrinae! Судьба сен-симонистского учения весьма любопытна. Школа, которая ставила своей основной целью „улучшение участи наиболее многочисленного и наиболее бедного класса“, уничтожение эксплоатации человека человеком, выродилась в узкую религиозную секту, из среды которой впоследствии вышли наиболее рьяные, выдающиеся рыцари индустрии и наживы и беззастенчивые эксплоататоры трудящихся. „Сен-симонизм,—констатирует как бы с удивлением историк его, Шарлети, — который содержал в зародыше (?) коллективистское учение, дал мало солдат для социалистической армии; напротив того, он породил наиболее значительное в этом столетии капиталистическое движение“ [1]).

Конечно, не сен-симонизм вызвал капиталистическое движение (такое утверждение, по меньшей мере, бессмысленно), но наиболее выдающиеся адепты учения,—как бывшие экс-сен-симонисты, так и оставшиеся до конца жизни верными своей доктрине,—оказались в своей практической работе в тесном контакте с промышленным капитализмом, развитию которого значительно содействовали.

Была ли эта связь чисто случайной, или уже сен-симонистская теория содержала в себе зародыш будущей капиталистической практики? Для разрешения этого вопроса необходимо прежде обратить внимание на вопрос о социальной природе сен-симонизма.

Из какой среды рекрутировались приверженцы нового учения? Стоит бросить беглый взгляд на состав (крайне немногочисленный) школы в период ее формирования, чтобы сразу бросилось в глаза исключительное преобладание в ней интеллигенции. В предисловии к „Учению“ авторы его указывают на то, что наиболее сочувственный отклик идеи сен-симонизма нашли „среди категории людей, всего менее склонных к мечтаниям, т.-е. людей, посвятивших свою жизнь изучению положительных наук“ [2]). Это были главным образом инженеры (политехническая школа служила цитаделью сен-симонизма, откуда вышли такие видные сен-симонисты, как Мишель Шевалье, Лешевалье, Карно, Трансон, Фурнель и др.), банковые и промышленные деятели (вожди сен-симонизма: Олинд Родриг, сам Анфантен, Перейра, д'Эйхталь), сравнительно немногими были представлены так называемые „свободные“ профессии, как литература, искусство (Лоран, Фелисьен, Давид, Барро и др.).

Эти интеллигенты пришли к сен-симонизму, будучи, по их собственным словам, разочарованы в науках, не давших им ответа на волнующие вопросы жизни, в либеральной политике и во всем окружающем: они... „чувствуют отвращение к прошедшему, утомлены настоящим и обращаются с призывом к неизвестному будущему, требуя от него разрешения великих проблем, выдвигаемых поступательным шествием человеческого рода“ [3]). Они недовольны существующим обществом и своим положением в нем и ищут из него выхода.

[1]) Sebastien Charléty. Histoire du Saint-Simonisme (1825—1864). Paris, 1896. Стр. 467.

[2]) „Учение“. Введ., стр. 8.

[3]) Ibid., стр. 6—7.

Ответ на их искания и запросы давал им сен-симонизм. Не требуется особой прозорливости и остроты анализа, чтобы обнаружить, что сен-симонистская идеология прежде всего отражает настроения, интересы и чаяния высококвалифицированной технической интеллигенции. Эта интеллигенция, знакомая в теории или на практике с современной индустрией, техникой и банковым делом, хорошо разбирается в вопросах промышленности и высоко ценит значение прогрессивного развития производства, в котором считает себя призванной занять организаторскую роль, благодаря своим дарованиям и способностям. Как вдумчивая и внимательная наблюдательница она не может не видеть гибельной анархии, господствующей в производстве, выход из которой она находит в организации производства, в обобществлении средств и орудий труда и передаче их всему обществу, во главе которого поставлены люди, наиболее развитые и одаренные интеллектуально.

Признавая огромное преимущество организации, ставя превыше всего интеллект, способности и дарования, интеллигенция в то же время недоверчиво и свысока относится к аморфной массе, не может допустить полного равенства; она против демократии.

Будущая централистически организованная ассоциация, с ее иерархией и теократией, есть полное осуществление ее идеалов, так как передает руководство и управление всем обществом в руки наиболее образованной и спос бной части его (вспомним, что ведь сам „верховный жрец“—лицо, обладающее наибольшими научными знаниями и организаторскими способностями), она означает, следовательно, если можно так выразиться,—„интеллигентократию“.

Сен-симонистская интеллигенция проникнута глубоким сочувствием к страданиям массы, страстно бичует эксплоатацию ее праздными капиталистами, желает навсегда уничтожить эксплоатацию трудящихся и улучшить их моральное, умственное и нравственное состояние, но к движению пролетариата относится отрицательно, так как не видит в нем прогрессивного фактора. Поэтому сен-симонизм всегда был и оставался чуждым массам, а по духу своей аристократической исключительности даже враждебным им. К борьбе пролетариата за свои права он всегда относился отрицательно и смотрел на нее с опаской.

Так, во время Лионского восстания сен-симонистские проповедники в Лионе (у них были свои организации или, как они называли, общины, „церкви“ в ряде крупных городов, в том числе и в Лионе) не находят ничего лучшего, как проповедывать мир между буржуазией и пролетариатом. Правда, „Globe“ осуждает кровавое подавление восстания, объясняет это безбожием буржуазии и требует проведения реформ в интересах рабочих, отмены косвенных налогов и проч. Такое же отрицательное отношение со стороны сен-симонистов встретило и восстание 1834 г. После подавления его сен-симонист Терсон издает брошюру („Le cri du peuple“), в которой осуждает употребление оружия в борьбе рабочими так же, впрочем, как и противной стороной и беспрерывно восклицает: „Горе мне, народу!“...

Сен-симонисты пытались в 30-х годах вести работу непосредственно среди пролетариата, но она носила по преимуществу филантропический характер. На рабочих окраинах было открыто несколько домов для рабочих и пункты для подачи бесплатной медицинской помощи, пытались даже организовать производственные рабочие ассоциации, но всем этим предприятиям уделялось мало внимания, они считались второстепенным делом, и скоро они потерпели крах из-за недостатка средств.

Сен-симонисты не могли, да и не ставили своей целью вовлечение рабочих в свою аристократическую „семью". Им удалось образовать только небольшую сен-симонистскую группку из верхов рабочей аристократии (называвшуюся degré des ouvriers), во главе с поэтом-пролетарием Венсаром и Галле, которая тоже скоро распалась. Рабочие сен-симонисты были редким исключением, им не по пути было с сен-симонизмом [1]).

На какой же класс могли опереться сен-симонисты?

Ближе всего они стояли к „трудящимся индустриалам"—промышленной буржуазии, кость от кости, плоть от плоти которой они составляли. Если социалистический идеал сен-симонистов—коллективизация средств и орудий производства и организация ассоциаций—не мог особенно улыбаться буржуазии, то, с другой стороны, он ее не очень беспокоил, так как осуществление его, по представлениям самих же сен-симонистов, начинало отодвигаться во все более и более отдаленное будущее. Зато целый ряд требований и положений, защищаемых сен-симонистами и входивших в их программу-минимум, был вполне приемлем для промышленной буржуазии. Превознесение значения индустрии и роли промышленников, как трудящихся, в противовес праздным землевладельцам, преклонение перед чудодейственными силами банков и кредита, обожествление власти и порядка, признание иерархии и неравенства незыблемыми основами всякого общества,—все это идеи, близкие буржуазии.

Еще более сближало с буржуазией отвращение сен-симонизма к революции, стремление добиться всего мирным путем и его природный, пронизывающий все учение, оппортунизм.

Все социалистически-утопические учения оппортунистичны по природе своей, да это и понятно: утописты, за отсутствием реальной силы, на которую они могли бы опереться, возлагают надежды на всех и каждого, в особенности на сильных мира сего, от которых они ожидают содействия в осуществлении своих планов и ничем не брезгают, лишь бы привлечь их на свою сторону. Так, Фурье обращается ко всем королям, богачам, банкирам, к Ротшильду с заманчивыми предложениями и обещаниями, которыми этот наивный утопист думает прельстить искушенных поклонников золотого тельца; даже трезвый и уравновешенный Оуэн возлагает большие надежды на монархов (обращение его на Аахенском конгрессе) и господствующие классы. Сен-симонисты не составляют в этом отношении исключения. Но их оппортунизм является следствием не только утопизма, он вытекает из всего характера и их учения, находит себе оправдание и подкрепление в присущем ему историзме. Из него вытекало их твердое убеждение в том, что всякая более или менее приемлемая реформа (как увеличение налога на наследство, уменьшение косвенных налогов, даже организация кредита в интересах „трудящихся" и проч.) неизбежно ведет к ослаблению эксплоатации человека человеком и приводит к постепенному и естественному врастанию социализма в существующий капиталистический строй, будущего—в настоящее.

Сторонники других утопических систем, при всем своем оппортунизме, однако, в требованиях довольно радикальны: они не признают малых дел, ничтожных реформ, а желают скорейшего осуществления—что считают возможным в любое время — их идеальных

[1]) Более широкую филантропическую и отчасти литературно-просветительную работу среди рабочих вел позже, в 40-х годах, Родриг, уже после своего разрыва с сен-симонистской семьей.

обществ (фаланстер Фурье, коммуна Оуэна). Не таковы сен-симонисты: они готовы довольствоваться пока малым, охотно идут на небольшие реформы, которые считают ступеньками к ассоциации.

Все эти указанные черты превращают сен-симонизм в утопически-оппортунистическое учение par excellence.

Сен-симонисты, как оппортунисты, оказались своеобразными утопическими „реальными политиками", но их политика была насквозь буржуазная. Сен-симонизм незаметно превратился в рупор капитализма, стал объективно отражать интересы промышленной буржуазии, а сами адепты учения заняли места в первых рядах быстро шествовавшего вперед во второй и третьей четверти XIX столетия индустриализма. Для буржуазной интеллигенции нашлись почетные места на иерархической лестнице капиталистической „ассоциации", они нашли применение своим способностям и воздаяние даже превыше дел своих. Так нечувствительно был проложен мост между теорией и практикой: оппортунистический, интеллигентский, буржуазно-аристократический социализм сен-симонистов привел их к практическому индустриализму.

Мы не думаем заняться здесь сен-симонистской практикой (для чего пришлось бы, по меньшей мере, охватить три-четыре десятилетия капиталистического развития Франции), но для иллюстрации приведем некоторые наиболее характерные факты из нее.

С 1832 года сен-симонизм внешне вырождается в секту, в которой на первый план как-будто выступают вопросы религиозные, как организация культа и странных церемоний. Их произведения того времени, не представляющие абсолютно никакого теоретического интереса, являют собой странную смесь мистических бредней и конкретных планов, проектов грандиозных предприятий. Они проповедуют организацию культа, но культ этот заключается в займах, они возвещают обручение человека с землей, которое должно осуществиться посредством проведения железных дорог, они призывают к заключению брака между Западом и Востоком („страной отца" и „страной матери"), но брак этот должны заключить инженеры, коммерсанты, промышленники. Под мистической оболочкой кроется здесь весьма реалистическое содержание.

Скоро сен-симонисты начинают действовать: они принимают участие в экспедициях в Африку, занимаются вопросами колониальной политики, исследованием колониальных богатств, вырабатывают проекты, которые представляют правительству. В 40-х годах „верховный отец" и его ближайшие соратники принимают деятельное участие в охватившем Францию железнодорожном строительстве. Сам Анфантэн становится генеральным секретарем железнодорожной кампании (Париж—Лион) и пользуется как делец заслуженным авторитетом в промышленных и финансовых кругах. В основном он и некоторые другие ученики остаются верными своей прежней доктрине, но на практике и в политике они крайне умерены и мало чем отличаются от благонамеренных буржуа. Даже после революции 48-го года Анфантэн считал возможным и своевременным проведение только таких реформ, как реформа воспитания и образования, обеспечение пенсией инвалидов; возбуждение же таких основных, волновавших рабочих, вопросов, как право на труд, повышение заработной платы, он считал преждевременным и опасным. Зато он не уставал предлагать правительству проекты выкупа железных дорог, разумеется, с вознаграждением акционеров.

Вторая Империя является эпохой расцвета сен-симонистской практики, и их мечты, казалось, претворились в действительность; но эта действительность сильно смахивала на карикатуру идеала, когда, по выражению Энгельса, „долженствующие спасти мир кредитные фантазии школы реализовались, по исторической иронии, в виде спекуляции неслыханных дотоле размеров“ [1]). Сен-симонисты в это время принимали самое активное участие в капиталистическом грюндерстве, в бешеной спекуляции и биржевом ажиотаже. Анфантэн—снова администратор большого железнодорожного общества, а одним из руководителей по проведению железных дорог является сен-симонист Талабо. В основанном бывшими сен-симонистами бр. Перейра „Crédit Mobilier“ (этот банк, по словам Маркса, являлся „реализацией их кредитных и банковых грез“) главными деятелями и участниками оказались старые сен-симонисты, между которыми по-прежнему существовало тесное единение. Помимо того, многие из них заняли видные административные посты.

Роль сен-симонистов в качестве финансистов, банкиров, промышленных деятелей была очень велика. „Сам“ Луи-Наполеон, коронованный глава аферистов и жуликов, считал своим долгом свидетельствовать свое почтение и симпатию к учению и практическому делу сен-симонистов; его даже и называли „сен-симонистским (!) императором“ [2]).

В это время, по меткому выражению одного из буржуазных историков сен-симонизма, сен-симонисты „не занимались больше метафизическими спекуляциями, но спекуляциями биржевыми. Они строили, но только не систему, а железные дороги. Плоть была реабилитирована. Но было ли это царство Сен-Симона? Исполнились ли сроки? (Les temps étaient-ils venus?). У Анфантэна была слишком возвышенная душа, чтобы он мог считать себя удовлетворенным“ [3]).

Остальные сен-симонисты, как бывшие, так и официально придерживавшиеся учения, повидимому, вполне довольствовались биржевыми спекуляциями. Анфантэн же для удовлетворения запросов своей „возвышенной души“ продолжал заниматься и метафизическими спекуляциями, правда, столь же бесплодными, сколь и безобидными. Еще в конце 50-х годов он издает ряд новых произведений („La science de l'homme“, „La vie éternelle“ и др.), в которых излагает основные религиозно-философские идеи учения. Был сделан и ряд попыток оживить учение, но все они успеха не имели. Сен-симонизм в общем и целом завершил уже свой круг: отзвучали проповеди, призывы к обновлению мира, сентиментальная социалистическая фразеология уступила место деловой индустриальной и финансовой практике...

---

[1]) Примеч. Энгельса к „Капиталу“, т. III, ч. 2-я, стр. 146.
[2]) Weill, стр. 239.
[3]) Charléty, стр. 407.

„Закон“ убывающего плодородия почвы в системе экономического учения Маркса.

Я. Мирошхин.

„Проблемы, которую ставит закон убывающего плодородия почвы, совсем не существовало для Маркса (хотя эту проблему в общетеоретической постановке он и мог видеть)“.
Булгаков („Капитализм и Земледелие“, т. II.)

„Ни Маркс, ни марксисты и не говорят об этом законе, а кричат о нем только представители буржуазной науки“.
Н. Ленин.

В свое время вопрос о том, признает ли Маркс „закон убывающего плодородия почвы“ или нет, вызвал соответствующий отпор со стороны ортодоксальных марксистов. Само предположение только подобной мысли о признании этого „закона“ Марксом казалось для них невероятным.

Известно, как резко возражал т. Ленин Булгакову, пытавшемуся навязать это признание основателю научного социализма. Как в самой категорической форме он подчеркнул, „что Маркс прямо объявил совершенно неверным предположение Веста, Мальтуса, Рикардо, будто дифференциальная рента предполагает переход к худшим землям или падающее плодородие почвы“.

И как, приведя подлинные слова Маркса, искаженные Булгаковым, в которых последний пытался уловить желательный ему смысл, и показав, что в этих словах нет и тени намека на этот „закон“, т. Ленин писал тогда же, что „ни Маркс, ни марксисты и не говорят об этом „законе“, а кричат о нем только представители буржуазной науки, вроде Брентано, которые никак не могут отделаться от предрассудков старой политической экономии с ее абстрактными вечными и естественными законами“ [1]).

Казалось бы, что этот поднятый когда-то Булгаковым вопрос найдет у марксистов всегда тот же ответ, какой он и заслужил в

---

[1]) Н. Ленин. „Аграрный вопрос и марксизм“.

свое время в статье т. Ленина. Но пока что, к сожалению, дело не всегда обстоит так. Признание этого закона мы находим не только у тех, кто уже явно отрекся от Маркса или кто претендует на „лучшее“ его понимание, но и у кое-кого, кто считает себя не только на словах учеником Маркса, но и стоит в рядах самого активного марксизма.

Оказывается положительное понимание этого „закона“ разделяет не только ревизионист Давид в Германии или П. Маслов в России,— эту мысль высказывает теперь и тов. Варга. Мало того. Он хочет сказать, что и т. Ленину не чуждо было относительное признание этого закона, что он сам писал лишь о том, что „закон убывающего плодородия почвы“ вовсе не применим к тем случаям, когда техника прогрессирует, когда способы производства преобразуются, он имеет лишь весьма относительное и условное применение к тем случаям, когда техника остается неизменной [1]), из чего т. Варга делает вывод, что тут вовсе не так далеко до признания; во всяком случае— неясно отрицание.

Нам кажется, что этот спор вовсе уже не имеет характера исключительно академического порядка. Небезызвестно, что этому закону придается буржуазной экономической мыслью немалое значение. Что существует целая школа в политической экономии, которая расширяет его не только на земледелие, но переносит сферу его влияния и на индустриальную промышленность. Что наличием существования этого „закона“ некоторые экономисты пытаются обосновать „законность“ бытия самого буржуазного строя, а поэтому, как бы ни относиться к вопросу, со стороны учеников Маркса надо иметь к нему, думается нам, все же определенное отношение,—просто отмахнуться от него нельзя.

Что же является причиной такого неоднородного отношения к „закону“ убывающего плодородия почвы „со стороны марксистов“.

Можно ли сказать, что тут, во-первых, играет немалую роль, то обстоятельство, что у самого Маркса как будто нет определенных указаний на то, как он мыслил себе этот вопрос; да и было ли это для него вопросом? Или перед его последователями выросла стена непреодолимой силы доводов, неизвестных в свое время их учителю, преодолеть которые они не в состоянии, очевидность которых неоспорима?

Если признать это, то надо исходить тогда из того, что Марксу не были еще известны многие факты из области естествознания и из практики земледелия, которые только после него были добыты и тем и другим, и поэтому трудно угадать еще, как бы на них реагировал он сам, если бы они были на-лицо в его время. Или надо признать вместе с Булгаковым, что вообще Маркс грешил переоценкой „действительных способностей“ и границ социального познания, что он

[1]) Н. Ленин. „Аграрный вопрос и марксизм“.

„считал возможным мерить и предопределять будущее по прошлому и настоящему, между тем каждая эпоха приносит новые факты и новые силы исторического развития“, что „творчество в истории не оскудевает“, и „поэтому всякий прогноз относительно будущего, основанный на данных настоящего, неизбежно является ошибочным. Что строгий ученый берет здесь на себя роль пророка или прорицателя, оставляя твердую почву фактов“ [1]).

И только после того, когда мы хоть несколько попытаемся ответить на поставленные нами вопросы, может быть, можно будет сказать, понимаем ли мы марксизм так, как его понимали ближайшие ученики Маркса и их последователи, и необходимо ли нам такое понимание.

Что Марксу была известна проблема убывающего плодородия почвы, но что для него она действительно не существовала,—не существовала, как задача, которую надо разрешить или разрешать человечеству, с этим можно вполне согласиться, если в этом смысле понять слова Булгакова. Для этого стоит только обратиться к Марксу и постараться найти у него самого доказательства высказанному нами утверждению, потом сопоставить современные факты естествознания с теми, которые известны были нашим учителям в свое время, и затем прийти к общей оценке тех взглядов, которые, нам кажется, не согласуются с пониманием марксизма.

Обратимся к Марксу.

Немного мест своих произведений он отводит закону убывающего плодородия почвы, а где касается этого вопроса, явно отрицает его постановку в той форме, как она ставится буржуазными экономистами. Так, например, не говоря уже о том, что причину дифференциальной ренты он видит не в падении производительности труда в земледелии (что то же самое, что и падение производительности земли), как это было показано уже т. Лениным. Маркс не только констатирует прогресс земледелия, но и представляет себе возможность дальнейшего развития производительности труда в этой области, все же отрицательное влияние капитализма на сельское хозяйство приписывает он как-раз не падению производительности труда в этой области человеческой деятельности, а тому только обстоятельству, что „как в городской промышленности“, так и „в современном земледелии“ повышение производительной силы и увеличение интенсивности труда покупается ценой разрушения и истощения самой рабочей силы, и что всякий прогресс в капиталистическом земледелии есть прогресс не только в искусстве подвергать рабочего ограблению, но, вместе с тем, и в искусстве ограбления почвы; всякий прогресс во временном повышении ее плодородия есть в то же время прогресс в разрушении постоянных источников этого плодородия, потому что „капиталистическое производство развивает технику и комбинирование обще-

[1]) Булгаков. „Капитализм и земледелие“, т. II, стр. 458.

ственного процесса производства лишь таким образом, что в то же время подрывает источники всякого богатства: „землю и работника". И вслед затем в сноске Маркс продолжает: „Выяснение отрицательной стороны современного земледелия с точки зрения естествознания представляет одну из бессмертных заслуг Либиха. Можно только пожалеть, что он отваживается на-авось высказывать такие мнения, как следующие: „Проведенное далее измельчение и частое вспахивание усиливают обмен воздуха внутри пористых частей земли, увеличивают и обновляют ту поверхность последних, на которую должен воздействовать воздух; но легко понять, что увеличение урожая не может быть пропорциональным труду, затраченному на поле, что, напротив, урожай возрастает во много меньшей пропорции" [1]). „Этот закон,—добавляет Либих,—впервые следующим образом выражен Дж. Ст. Миллем в его „Principles of political Economy", v. I, p. 17: „Что продукт земли при прочих равных условиях возрастает в убывающей пропорции по сравнению с увеличением числа занятых рабочих—это универсальный закон земледелия". Открытие достойное удивления, так как для Милля оставалась неизвестной причина, лежащая в основе этого закона. (Liebig в цитированной работе „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie", Bd. I, S. 143.) И вот только-что приведенную выписку из Либиха Маркс прерывает следующим замечанием: „Г-н Милль даже известный закон Рикардо повторяет здесь в неверной формулировке, так как „The decrease of the labourers employed", „уменьшение числа занятых рабочих", постоянно сопровождало в Англии прогресс земледелия, и потому закон, изобретенный для Англии и в Англии, оказался бы совершенно неприменимым, по меньшей мере, в Англии". „Во всяком случае „достойно удивления", что он (Либих) делает Дж. Ст. Милля первым провозвестником теории, которую Джемс Андерсон впервые обнародовал в эпоху А. Смита и потом повторял в различных работах до начала XIX в., которую в 1816 г. присвоил себе Мальтус, вообще мастер на плагиаты, которую Вест развил в одно время с Андерсоном и, независимо от него, которую Рикардо в 1817 г. связал с общей теорией стоимости и которая с того времени под именем Рикардо обошла вокруг всего света, которая в 1820 г. была вульгаризирована Джемсом Миллем (отцом Дж. Ст. Милля) и которая, наконец, была повторена, между прочим, и г. Дж. Ст. Миллем в качестве школьной догмы, превратившейся в общее место". „Бесспорно,—заканчивает Маркс,—Дж. Ст. Милль обязан своим во всяком случае „достойным удивления" авторитетом почти только подобным заблуждениям" [2]).

---

[1]) К. Маркс. „Капитал", том I.

[2]) Всюду курсив наш. *Я. М.*

Так, Маркс писал в I томе своего „Капитала", как бы вскользь касаясь вопроса. Но свидетельство его отрицательного отношения к так-называемому закону убывающего плодородия земли (или почвы) мы находим у него и в других местах его сочинений. Еще яснее он говорит относительно этого в III томе, заканчивая анализ ренты и касаясь цены земли: „Утверждение, будто различные дополнительные затраты капитала на одном и том же участке земли могут произвести ренту лишь при условии, если продукт их неодинаков и потому возникает дифференциальная рента, равносильно утверждению, будто, если два капитала по 1000 ф. с. затрачены на двух полях равной продуктивности, то лишь один из них может принести ренту, хотя оба эти поля принадлежат к тому лучшему классу земли, который приносит дифференциальную ренту". „Иначе это утверждение,—поясняет Маркс,—было бы равносильно другому утверждению: именно, что затрата капитала на двух различных участках земли последовательно в пространстве подчиняется иным законам, чем последовательная затрата капитала на одном и том же участке земли, хотя в действительности дифференциальную ренту выводят как-раз из тождества закона в обоих случаях, из увеличения продуктивности от затраты капитала как на одном и том же поле, так и на различных полях".

„Вместо того,—говорит Маркс,—чтобы обратиться к действительным соответствующим природе дела причинам истощения почвы,—которые, впрочем, оставались вследствие состояния земледельческой химии в то время неизвестными всем экономистам, писавшим о дифференциальной ренте, за помощью обратились к тому поверхностному взгляду, что в пространственно ограниченное поле нельзя вложить неограниченную массу капитала, так „Westminster Review", напр., возражает Ричарду Джонсу, что невозможно было бы прокормить целую Англию возделыванием Soho square. Хотя это и считается особой невыгодой земледелия,—подчеркивает Маркс,—но справедливо как-раз обратное". „В земледелии можно продуктивно произвести последовательные затраты капитала потому, что сама земля действует, как орудие производства, между тем как этого вовсе не наблюдается или наблюдается лишь в очень тесных границах в случае с фабрикой, где земля функционирует только, как фундамент, как место, как пространственный—операционный базис. Правда, на относительно небольшом, по сравнению с парцелированным ремеслом, пространстве можно концентрировать крупную затрату с целями производства,—крупная промышленность именно так и действует. Но при данной ступени развития производительной силы всегда требуется опреде-

ленное пространство, и постройка в высоту тоже находит свои определенные практические границы. Дойдя до них, расширение производства требует расширения и пространства земли. Основной капитал, затраченный на машины и т. д., не улучшается вследствие употребления, а, напротив, снашивается. Конечно, вследствие новых изобретений и здесь могут быть произведены отдельные улучшения, но, предполагая данную ступень развития производительной силы, машина при потреблении может лишь ухудшаться. При быстром развитии производительной силы всю совокупность старых машин приходится заменять более выгодными, следовательно, они утрачиваются. Напротив, земля, если она правильно возделывается, все улучшается. То преимущество земли, что последовательные затраты капитала могут дать новую выгоду, при чем не утрачиваются и прежние, в то же время сопряжено с возможностью, что продуктивность этих последовательных затрат капитала будет различна" [1]).

Последние слова, пожалуй, могут дать повод для утверждения, что хотя Маркс и отрицал падение производительности последовательных долей примененного к земле капитала, но что это отрицание для него вовсе уже не было категорично. Но так ли это?

Прежде всего, нам кажется, все вышеприведенное не оставляет сомнения в обратном. Маркс именно отрицал этот закон, хотя он и мог видеть, что иногда надо считаться „с возможностью" различия этих последовательных затрат в смысле продуктивности. Но отсюда еще далеко до признания какого-либо „закона".

Считаться с возможностью различия продуктивности последовательных затрат капитала, это то же самое, что считаться с возможностью различия продуктивности и для первых долей капитала, если бы даже они были одновременно приложены на участках земли одинакового качества по плодородию. Возможно, эти капиталы были бы равны по продуктивности, но возможно—они могли бы доставить и различный урожай. Отсюда, однако, далеко еще до обоснования какого-либо закона, и об этом как будто никто и не спорит. Нам кажется, это и хочет сказать Маркс—не больше,—когда говорит, что последовательная затрата капитала на одном и том же участке земли не может подчиняться иным законам, чем затрата капитала на двух различных участках земли, последовательно в пространстве. И Маркс—прав.

Разве может современное естествознание отрицать сложное сочетание факторов сельскохозяйственного производства, особенно в области чистого земледелия, сочетание, влияющее на урожай того

[1]) К. Маркс. „Капитал", том III, часть II.

или иного года в каждой стране. Очень сложна картина взаимодействия факторов, от которых зависит урожай каждого поля, даже одного и того же класса по сравнению с другими классами. Конечно, предусмотреть частично большинство факторов в земледелии возможно, но никоим образом нельзя утверждать, чтобы полное предусмотрение достижимо было в настоящее время, да и только ли в настоящее. Да и уж очень ли это необходимо. Для практической деятельности достаточным является и относительное предвидение. Наш опыт растет в самом процессе жизни, и неизвестно в сторону каких процессов сельскохозяйственных явлений направит свои шаги научное искание в области того же земледелия. „Земля сама действует, как орудие производства" [1]), и степень усовершенствования этого орудия, надо думать, так же бесконечна, как без границ и само человеческое познание.

В этом и кроется все различие земли, как орудия производства, от любого другого орудия, машины,—что последние снашиваются, следовательно, ухудшаются; ремонт лишь задерживает их разрушение. „Земля, если она правильно возделывается, все улучшается". Все зависит от общественных отношений. Измененные производственные отношения в сторону осуществления коллективизации производительных сил, думает Маркс, устранят все отрицательное в развитии этих же производительных сил. Может ли такой взгляд на хозяйственную деятельность людей мириться с возможностью какого-либо экономического ухудшения в производстве только потому, что тот или иной фактор этого производства имеется, как говорят, в минимуме или максимуме. А ведь к этому, собственно говоря, сводится вся защита и, в конечном счете, все доводы в пользу закона убывающего плодородия почвы.

Мы несколько забежали вперед, высказав то, что пришлось бы сказать только впоследствии. Но и все дальнейшие рассуждения Маркса по данному вопросу приводят к тем же выводам.

Так, допуская относительно меньшую производительность земледелия по сравнению с индустриальной промышленностью, Маркс, тем не менее, отмечает, что все же, в историческом развитии, земледелие становится „положительно-производительнее". И как бы для того, чтобы предупредить возможное предположение тех, кто может мыслить эту разницу в продуктивности обеих отраслей человеческого труда постоянной и, возможно, вытекающей из сущности их, и подчеркнуть, что этого не будет в другие хозяйственные эпохи,—он определенно заявляет, что „это (т.-е. меньшая производительность земледелия. *Я. М.*) указывает только на в высшей степени странное развитие буржуазного производства и на присущие ему противоречия".

„Первоначальное земледелие было производительнее, потому что

[1]) К. Маркс. „Капитал", том III.

в нем помогает процессу труда созданная природой машина, потому что отдельный рабочий работает при помощи этой машины. Поэтому в древнее время и в средние века земледельческие продукты были относительно гораздо дешевле, чем продукты промышленности" [1]).

„В общем, следует принять,—говорит Маркс,—что при менее развитом (roheren), докапиталистическом способе производства земледелие является более производительным, чем промышленность, потому, что здесь в работе участвует природа как машина и организм [2]), тогда как в промышленности силы природы должны быть еще почти всецело замещаемы человеческой силой, как, например, в ремесленной промышленности и т. д.". В буржуазный период капиталистического производства производительность промышленности развивается, по сравнению с земледелием, быстрее. Впоследствии производительность прогрессирует как в промышленности, так и в земледелии, хотя и неравным темпом. „Но на известной ступени развития, достигнутой промышленностью, несоразмерность,—говорит Маркс,—должна уменьшаться, то-есть производительность земледелия должна увеличиваться относительно быстрее, чем в промышленности" [3]).

Таков диалектический процесс хозяйственного развития.

Ряд явлений хозяйственной деятельности служат причинами такого процесса. К числу их Маркс относит, с одной стороны, само изменение производственных отношений, с другой—развитие науки и накопление ею данных в области химии, геологии и физиологии и применение их в земледелии, понимая под последним сельскохозяйственное производство в целом.

Но это не все.

Известно, что реальность существования закона убывающего плодородия почвы пытаются доказать тем, что экстенсивное ведение хозяйства дает с единицы земельной площади, при одном и том же количестве труда, больше продуктов, чем интенсивная обработка почвы. И говорят, что только падением производительности труда на лучшей почве, т.-е. убыванием плодородия этой почвы, и можно объяснить переход к эксплоатации менее производительных земель. Маркс отрицает и наличие этих обстоятельств. „Там, где много земли en masse и большие поверхностно обработанные пространства дают при одном и том же труде абсолютно больше продукта, чем гораздо меньшие пространства в более прогрессивной стране, нельзя,—говорит он,—еще сказать, что почва производительнее" [4]).

И далее. „Переход к менее плодородной почве не доказывает непременно, что земледелие стало менее производительным. Наоборот,

[1]) К. Маркс. „Теории прибавочной ценности", том II.
[2]) Курсив всюду наш. *Я. М.*
[3]) К. Маркс. „Теории прибавочной ценности", т. II, стр. 201—202.
[4]) Курсив наш. *Я. М.*

это может доказывать, что оно стало производительнее; что неплодородная почва не [только потому] обрабатывается, что цены земледельческих продуктов поднялись достаточно высоко, чтобы возместить затрату капитала, но и, наоборот [потому что], средства производства развились настолько, что непроизводительная почва стала „производительной" и способной давать не только обычную прибыль, но и земельную ренту. Что является плодородным для одной [ступени] развития производительной силы (поясняет Маркс), является неплодородным для ступени более низкой" [1]).

„С одной стороны,—говорит он,—прогресс производительности всеобщего труда делает более легким превращение земли в пригодную для обработки; но, с другой стороны, культура увеличивает различия в почвах, так как возделанная почва *A* и невозделанная почва *B* могут быть одной и той же первоначальной плодородности, если мы из плодородности *A* вычтем часть плодородности, которая теперь, правда, является естественной для этой почвы, но раньше была дана ей искусственно. Следовательно, сама культура увеличивает различие естественной плодородности между возделанной и необработанной землей" [2]).

Мы сознательно привели последнюю выдержку из Маркса, хотя она непосредственно как будто и не затрагивает обсуждаемого вопроса. Но она, нам кажется, вполне иллюстрирует ту мысль, что Марксу не только несвойственно было думать о падении производительности почвы, т.-е. о „законе" убывающего плодородия, но что он склонен был скорее предполагать, что „само плодородие почвы не только есть наличие ее естественного состояния, но и результат, как он говорит, прогресса „производительности всеобщего труда". И что рационально эксплоатируемая почва высшего класса, по его мнению, не только не теряет своих естественных условий плодородия, но и приобретает их в процессе ее использования под обработку. Как далек Маркс в этом отношении от буржуазных экономистов! Он и одну из заслуг Джонса как-раз видит в том, что последний „против того мнения, что выручка с земли падает" в росте приложения к ней последовательных долей капитала. „Это,—говорит Маркс,—составляет преимущество Джонса перед Рикардо".

А, между тем, Джонс говорит только следующее: „Средняя выручка хлеба в Англии прежде не превышала 12 бушелей с акра. Теперь она вдвое больше".

„Вполне возможно, что всякая дальнейшая прибавка капитала и труда, которая вкладывается в землю, применяется экономнее и более успешно, чем последняя".

„Рента увеличивается вдвое, втрое, вчетверо и т. д., когда капитал возрастает вдвое, втрое, вчетверо и так дальше, пока капитал

[1]) К. Маркс. „Теории прибавочной ценности", т. II, стр. 125.
[2]) К. Маркс. „Теории прибавочной ценности", т. II, стр. 240.

может применяться к старой земле без уменьшения выручки и без изменения относительного плодородия возделанных земель".

Вышеприведенные выдержки Маркс сопровождает следующим замечанием: „Раз имеется рента, то она может возрастать благодаря простому увеличению примененного к земле капитала, без какого-либо изменения относительного плодородия земель или выручек с следующих друг за другом частей примененного капитала или цен сельскохозяйственных продуктов".

Не кажется ли, что это замечание вполне определенно и не требует каких-либо пояснений. Или, может быть, тут слишком далеко до того, что мы хотели бы найти у Маркса. Думается, что нет.

Те комментарии, которыми Маркс сопровождает все выдержки из Джонса, дают нам полную уверенность, что мы стоим на верной дороге. Взять хоть бы то место, где Маркс направляет Джонса в вопросе о причинах падения нормы прибыли.

„Джонс совершенно правильно замечает, — говорит он, — что падение прибыли не свидетельствует о понижении производительности труда в сельском хозяйстве. Но сам он объясняет возможность этого падения очень неудовлетворительно". „О действительном законе падения нормы прибыли здесь еще нет никакого намека",—говорит Маркс. И тут же поясняет это относительное падение доходности в земледелии.

„Возможно,—говорит он,—что употребляется относительно больше вещественного (secondary) труда; больше товаров, приобретенных в промышленности и торговле, входят в сельскохозяйственный процесс без соответственного увеличения всего продукта сельского хозяйства и без применения большого количества непосредственного труда. Может быть даже применено меньше труда". Но то обстоятельство, что „вследствие этого сокращается доля землевладельца в продукте" объясняется, по Марксу, „так же, как падение нормы прибыли", увеличением части продукта, которая возмещает постоянный капитал. Но „при этом рента может расти в массе и ценности".

Маркс не отрицает, что „годовые выручки в сравнении с авансированным капиталом уменьшаются, когда увеличивается часть вспомогательного капитала, которая состоит из основного капитала или оборот которого длится несколько лет—ценность его ежегодно входит в продукт лишь в форме изнашивания". Но „это вообще,— поясняет он, — имеет место не только в земледелии". Но тут имеется и своя особенность, на которую и требуется обратить в данном вопросе внимание: „в земледелии, где то, что можно рассматривать, как сырой материал, семена, не увеличиваются в такой степени, как остальные части постоянного капитала, именно основной,—естественно, ценность годовой выручки меньше, когда капитал растет, но вместо переменного увеличивается только постоянный капитал".

„Ибо переменный капитал должен быть целиком возмещен в продукте, а постоянный только соответственно своему изнашиванию, поскольку он ежегодно потребляется".

И при таких условиях сказать о росте „производительных сил земли" можно только относительно. „Они возросли,—говорит Маркс,— в сравнении с непосредственно-примененным трудом, а с не совсем примененным капиталом". Но и при данных условиях „требуется меньше всего продукта, чтобы попрежнему доставлять ту же чистую выручку, т.-е. даже прибыль", это сказать,—говорит Маркс,—можно. „Нет ничего ошибочнее мнения, что, вообще говоря, норма прибыли может возрастать в то время, как затраченный на труд капитал уменьшается. Как-раз наоборот. Реализуется относительно меньше прибавочной стоимости. Норма прибыли (следовательно) падает".

Но падает она не только в земледелии, но в индустриальной промышленности, почему же для одного должен существовать какой-то закон убывающего плодородия почвы, тогда как для другой такого закона, ну скажем, „убывающей доходности" не существует? Существует,—говорят одни буржуазные экономисты; нет,—возражают другие,—это свойственно только земледелию.

Впрочем, кое-кто из „марксистов", правда, бывших, пытались намекать, что своим законом „о тенденции нормы прибыли к падению" и сам Маркс тоже отдал некоторую дань этому закону падения доходности человеческого труда, но это мнение как-то осталось не вполне замеченным, вернее—не получило широкого распространения.

Да и мудрено было бы приписывать Марксу то, чего он сам нигде не говорит и чего никак нельзя вывести из его учения, если тщательно в него вникнуть.

Что в продукте промышленности, будь то индустрия или земледелие, растет относительно доля прошлого труда или стоимость постоянного капитала, по сравнению с долей вновь приложенного труда, или его стоимостью,—это обстоятельство отнюдь еще не позволяет делать того вывода, что перед нами налицо „закон убывающей доходности", или уменьшение производительности труда. Скорее это свидетельство его производительности, ибо падение нормы прибыли обусловливается одновременно и ростом массовой продукции, на единицу которой и приходится все меньше живого труда. На это не раз указывалось учениками Маркса его противникам. И этим мы вовсе не говорим что-либо новое.

Мы только хотим обратить внимание на то, что раз для Маркса не было никакой разницы в законах развития земледелия и индустриальной промышленности, и при условии отрицания падения доходности для индустрии,—нет основания для учеников Маркса при-

знавать какой-либо закон убывающей доходности для земледелия, или так-называемое „убывающее плодородие земли“.

Противники марксизма знали и знают, что делали и делают, когда признают этот закон; признавая его, они смело отрицают все учение Маркса, весь его исторический прогноз. Упрекать их в непоследовательности не приходится.

Для тех же, кто с ними не согласен, по-прежнему остается в силе то положение, что для земледелия, конечно, „основой абсолютной прибавочной стоимости—то-есть реальным условием ее существования—является естественное плодородие земли [1]), природы“. Но что и для него так же, как и для индустрии, прогресс зависит от так называемой относительной прибавочной стоимости. „Меж тем как относительная прибавочная стоимость основана,—говорит Маркс,—на развитии общественных производительных сил“.

Приведя эти слова, Маркс пишет: „На этом мы покончили с Джонсом“. Нам бы тоже хотелось на этом покончить с „законом убывающего плодородия почвы“.

Но мы можем считать себя свободными от ответа лишь на один из поставленных в начале статьи вопросов. Нам думается, что все вышеприведенное нами не оставляет никакого сомнения в том, как Маркс относился к „закону убывающего плодородия земли“. Он знал о существовании этого вопроса и давал вполне отрицательное решение для названного закона. Короче говоря, он отрицал его целиком.

Остается еще самое главное: разобрать те доводы, которые приводятся в доказательство неопровержимости существования этого закона, рассмотрев и взвесив те факты, на которые при этом опираются его сторонники. Но это составит вторую часть нашей работы.

---

[1]) К. Маркс. „Теории прибавочной ценности“, т. III, курсив Маркса.

Диалектика развития искусства [1]).

Федор Шмит.

I.

До сих пор из всех видов исторической науки наименее научной всегда была история искусства, как ни щеголяли именно историки искусства сугубым показным наукоподобием. История искусства казалась неразрывно связанной с музеями, с коллекционерством, с туризмом, с знаточеством, с эстетством. История искусства казалась насмерть отравленной звонкой фразой—об абсолюте, о красоте, об идеале, о вдохновении и прочих тому подобных высоких материях. История искусства казалась насквозь проникнутой крайним индивидуализмом, культом случайности, культом гения. История искусства, казалось, утонула в словесности эстетических смакований, критических приговоров, психологических этюдов и биографических анекдотов.

Только безоговорочное признание принципа исторического материализма может вывести историю искусства из тупика и превратить ее в науку, т.-е. в систему фактов, объединенных внутреннею необходимостью и хронологическою связью. Если материальное бытие определяет собою общественное сознание, а художник есть лишь выразитель этого общественного сознания, если искусство есть, прежде всего, явление социального порядка, если художественные ценности есть ценности не абсолютные, а относительные,—тогда ясно, что всякого рода критические отзывы ценителей остаются просто за порогом научной истории искусства, что биографические и индивидуально-психологические исследования об отдельных художниках и о целых группах, целых школах художников имеют, максимум, значение черновой подготовки материала и что центр тяжести подлинно-исторических изысканий перемещается куда-то далеко за пределы словесных хитросплетений.

С точки зрения исторического материализма, искусство (говоря языком математики) есть эмпирическая непрерывная функция общественности, т.-е. такая зависимая переменная, где всякое изменение общественного сознания влечет за собою изменение в искусстве и, наоборот, где всякое изменение искусства обусловлено изменением в общественном сознании. При таких условиях задача научной истории искусства может заключаться только в том, чтобы, следя за ма-

---

[1]) Статья академика Ф. Шмита помещается в дискуссионном порядке, при чем редакция оговаривает свое несогласие с автором в постановке и трактовке некоторых проблем.

нометром искусства, вычерчивать общую кривую развития общественного сознания, с поправкою только на хорошо известное и неизбежное запаздывание искусства сравнительно с жизнью.

Раз требуется установить общую законосообразность исторического процесса, то для этой цели безразлично, изучать ли кривую эволюции непосредственно по изменениям основной (независимой) переменной—экономики, производственных отношений и т. д., или по изменениям одной из зависимых переменных—искусства, религии и т. д. Возможно, что во мне говорит пристрастие искусствоведа-специалиста, но мне сдается, что исследование именно истории искусства скорее приведет нас к цели, чем какие-либо иные исторические исследования. И вот почему.

Прежде всего, насколько мне, по крайней мере, известно, никто пока и не пытался дать исчерпывающую схему эволюции искусства в мировом масштабе, и историк искусства, следовательно, в этом вопросе совершенно свободен от гнета авторитетов и навязанных школою привычных, принимаемых как нечто само собой разумеющееся, идей. Мало этого: при новизне материалистического, социологического подхода к памятникам искусства у нас нет еще даже и сколько-нибудь испытанного и общепризнанного метода исследования, нет традиционного критерия в оценке художественных произведений, нет условного принципа классификации. А между тем фактический материал громаден и любовно разработан—именно потому, что для исследователей каждый памятник и каждый факт довлел самому себе.

Положение историка искусства тем более выигрышно, что он имеет в своем распоряжении даже не один ряд фактов, а несколько параллельных рядов, так как всякое возникающее предположение и всякий намечающийся вывод могут быть тут же, в пределах искусствоведения, непременно проверены и притом частью даже экспериментально—что для историка является совсем уж непривычной и неожиданной роскошью. Эти ряды фактов доставляются психологиею, историею искусства, археологиею, вещественною этнографиею.

Начинать нужно, конечно, именно с психологии: создание произведения искусства есть индивидуально-психологический акт художника, восприятие произведения искусства каждым отдельным потребителем есть повторение (ослабленное и в обратном порядке, как мы убедимся ниже) того же самого психологического акта, воздействие произведения искусства на массового потребителя-публику происходит по законам коллективной психологии. Если, значит, мы не желаем путаться в выспренней фразеологии, мы должны прежде всего совершенно точно и подробно изучить психологический механизм художественного и творчества, и воспитания, чтобы отсюда исходить во всех дальнейших наших изысканиях. Тут мы можем опереться на работу специалистов-психологов, которые в деле построения исторического процесса совершенно нейтральны.

Традиционная история искусства, не обладая надежными научными методами, естественно, не была в состоянии овладеть всем тем фактическим материалом, который должен был бы находиться в ее ведении и пользовании. Прокрустово ложе астрономической хронологии, так же, как и этнографический критерий, а тем более критерий географический или политический, пригодны лишь для очень ограниченного круга памятников. Весь до-хронологический материал историки искусства обычно уступают археологам, весь внехронологический материал—этнологам. И, тем не менее, им удалось охватить только искусство Передней Азии, Северной Африки и (преимущественно, Западной) Европы за последние несколько (от двух до шести) тысяч лет. Южная, Центральная и Восточная Азия, почти вся Африка и безусловно вся Америка методами традиционной искусствоведческой науки в общую систему введены быть не могут.

Но даже и на этом—невольное, увы!—самоограничение историков искусства еще не кончается: из общей массы произведений переднеазиатского, северно-африканского и европейского художественного производства обычно выделяется некоторое количество памятников так называемого „высокого искусства“, и на них сосредоточивается все внимание историков, тогда как вся прочая художественная продукция остается в тени—все „прикладное“, все „бытовое“, все „народное“ искусство; ясно, что весь этот отбор ни на чем, кроме как на чистейшем произволе, не основан: „высокое искусство“—то, которое соответствует „вкусам“ высшего класса европейского общества, а эти „вкусы“ очень определенны и очень ограничены, настолько, что в их рамки еще очень недавно не умещалось, например, древнерусское искусство и все искусство Ислама. Историк искусства, который понимает задачи своей науки по-новому и который в психологическом анализе художественно-творческого акта почерпнет новые методы исследования, должен, конечно, строить свои обобщения на всем подведомственном ему материале полностью.

II.

Что нам дает психология?

Человек—существо общественное. Коллективизм был некогда фактором органической эволюции и сделал животное человеком; коллективизм со временем стал фактором культурной эволюции и вывел человека из первобытной дикости. Коллективизм, таким образом, лежит в самой основе человеческой психики. Нет для человека ничего мучительнее и гибельнее одиночества, фактического и морального (одиночество на людях). Человек имеет острую потребность в общении с другими людьми, которое позволяло бы обнаруживать ему перед ними свою волю, свои мысли, свои чувства и, в свою очередь, понимать их переживания.

Но человек лишен способности непосредственно воздействовать на душевную жизнь других людей. Человек может только производить те или другие действия (мускульные сокращения), которые доступны наблюдению других людей и по которым другие люди догадываются о его переживаниях. Для того, следовательно, чтобы наладилось сколько-нибудь уверенное взаимопонимание между людьми, необходимо, чтобы действия находились в интимном и недвусмысленном соответствии с теми душевными движениями, которые желательно выразить и понять. Это соответствие достигается через посредство образного мышления.

Раздражение периферических нервных аппаратов (так назыв. органов чувств) по нервным проводам передается в соответствующие мозговые центры и тут производит какие-то (гистологические, пока не обнаруженные) изменения в клеточном строении—впечатления. Последовательные впечатления наслаиваются одни на другие и суммируются—в образы (представления). Впечатления тем глубже, чем более они приятны или неприятны, образы тем ярче, тем прочнее, чем они, как принято выражаться, сильнее эмоционально окрашены. Все безразличное оставляет слабые следы, т.-е забывается.

Связь между образами и эмоциями—обоюдная: не только данный

образ при своем возникновении в сознании вызывает данную эмоцию, но и, наоборот, данная эмоция вызывает в сознании все те образы, с которыми она связана. На этом основан весь механизм человеческого общения: возникшая (для нас сейчас безразлично, как и почему) в человеке и требующая себе выражения эмоция пробуждает в нем ряд соответствующих ей образов, человек, при помощи тех или иных действий, обнаруживает эти образы—другие люди, наблюдая действия, воспринимают образы, образы вызывают в наблюдателях связанные с ними эмоции. Для того, чтобы эмоции высказывающегося и эмоции наблюдателей совпали, нужно, чтобы все общающиеся жили приблизительно в одних и тех же условиях и привыкли связывать определенные образы с определенными эмоциями,—иначе никакого понимания между людьми не установится: они будут „говорить на разных языках".

Совокупность действий, имеющих целью выявить мир образов одного человека для того, чтобы, при посредстве этих образов, воздействовать в определенном направлении на волю, мысль и чувство других людей, называется искусством. Искусство, следовательно, вовсе не есть что-нибудь чрезвычайное, высокоторжественное, доступное только избранникам небес, а есть вполне повседневное и жизненно-нужное всем без исключения людям занятие: все люди всегда мыслят именно образами (логическое мышление отвлеченными понятиями доступно еще и в настоящее время очень немногим и применимо далеко не во всех случаях жизни), все люди эти образы так или иначе обнаруживают в целях общения. Не всем людям это одинаково хорошо удается. Кому это удается лучше других, кто на пользу других находит особенно яркие и выразительные формулы для общечеловеческих переживаний, тех мы называем художниками, а их деятельность—искусством в узком значении слова. Ценности, создаваемые художниками, суть ценности социального порядка постольку, поскольку они помогают людям понять и самих себя, и других. „Искусство ради искусства"—такое же извращение, как „государство для государства" или „еда для еды" и т. п.

Субъективно—для высказывающегося (художника) и для заражаемых (публики)—существенно и ценно в искусстве только его эмоциональное содержание, ради которого искусство творится; объективно—для исследователя—эмоциональное содержание произведения искусства всегда остается под сомнением, ибо (особенно, конечно, когда речь идет о произведениях чужих народов и отдаленных эпох) у нас не может быть ни малейшей уверенности в том, что выявленные художником образы ассоциируются в нас с теми же самыми эмоциями, которые испытывал сам художник и те люди, для которых он творил. Объективный исследователь, предоставляя эстетам-интуистам как угодно „вчувствоваться" в произведение искусства, должен ограничить себя точным определением природы образов, выявленных в каждом данном произведении, и должен только на основании этого материала строить свои обобщения. С некоторым приближением можно, конечно, установить и эмоциональное содержание исследуемых художественных документов, но полагаться тут на собственное чутье нельзя.

Чтобы определить природу выявленных художником образов, нам нужно, прежде всего, иметь некоторый принцип классификации. Наиболее пригодным для наших целей оказывается различение образов по количеству и разнообразию впечатлений, из которых они построены; это количество обратно пропорционально количеству и разнообразию признаков образов, их определенности. Образы могут быть очень общими, т.-е являться результатами суммирования очень многочисленных и очень разных впечатлений,—тогда они, естественно, бедны признаками, расплывчаты; и образы могут быть очень единичными, т.-е. являться суммою немногочисленных и схожих впечатлений или даже (теоретически, по крайней мере) совпадать с отдельными впечатлениями,—тогда они очень конкретны, очень богаты детальными чертами. Между этими двумя пределами можно расположить—в нескольких параллельных рядах—все разнообразие человеческих представлений.

Ни количество представлений, из которых построен образ, ни количество признаков, из которых он состоит, не поддаются абсолютному учету. При классификации образов речь может итти только об относительном максимуме использованных для построения общего образа впечатлений, при некотором минимуме признаков, с одной стороны, и об относительном минимуме впечатлений при максимуме признаков—с другой. Между этими пределами путь может быть разбит на шесть, так сказать, участков, которые прекрасно характеризуются традиционными шестью синтактическими категориями: 1) подлежащее (кто? что?), 2) определение к нему (каков?), 3) дополнение (прямое и косвенное), 4) сказуемое (что сделал?), 5) обстоятельство места (где?), 6) обстоятельство времени (когда?).

Формулируя именно так, в виде общеизвестных грамматических категорий, переход от наиболее общих, доступных данному субъекту образов к наиболее единичным, от наиболее расплывчатых к наиболее точным и детальным, я хочу подчеркнуть одно весьма замечательное свойство такой количественной классификации: каждый последующий вопрос может быть поставлен лишь после того, как даны ответы на все предыдущие, но можно поставить и только первый или несколько первых вопросов, не ставя остальных. Другими словами, наша классификация, построенная на количественном признаке, имеет, в то же время, эволюционный характер—подобно тому, как в химии тоже чисто количественная квалификация элементов по атомному весу оказалась, в конце-концов, эволюционною, т.-е. соответствующею не только теоретическому порядку числа, но и фактической истории нарастания и усложнения электронного строения атомов. Выходит так, что образное мышление человека начинает свою работу с общего и кончается единичным. Как это может быть?

Нарочито созидаемая наука в области понятий поступает как раз наоборот: она идет индуктивным путем, изучает отдельные факты, строит единичные понятия, группами обобщает их и постепенно восходит к все высшим и все более общим понятиям. Так, по крайней мере, кажется. На самом деле, однако, чисто-индуктивно и точная наука только излагается, но не творится: рабочая гипотеза, т.-е. именно начерно сделанное обобщение, обычно предшествует подбору и направляет подбор индуктивных фактов. Разница между научным мышлением понятиями и художественным мышлением образами заключается в том, что науке торопиться некуда: она может себе позволить роскошь мыслить логически, систематически орудовать только хорошо профильтрованными понятиями, проверять свои выводы и тщательно оформливать свои построения. Совершенно в ином положении находится живая практическая жизнь: познавательный материал поступает непрерывно, ежемгновенно, и непрерывно нужно на впечатления реагировать действиями, т.-е тут же в этих впечатлениях разбираться, узнавать, классифицировать, оценивать,—тут надо иметь

(или немедленно создавать) рамки, в которые могли бы укладываться впечатления, а такими рамками и являются общие представления. Логическое мышлевие претендует на объективную ценность („истинность") и долговечность своих построений: для образного мышления общие представления имеют лишь условную и временную ценность—они вовсе не окончательный итог работы, а лишь необходимая ее предпосылка, ибо без них невозможны (практически наиболее ценные и необходимые) ассоциации по сходству и по контрасту.

Из всего этого следует, что общие образы и образы единичные тесно и неразрывно связаны между собою: без общих представлений впечатления хаотичны и, следовательно, неглубоки, скользят по поверхности сознания, а без единичных впечатлений не из чего создавать общие образы; при низком качестве общих представлений—и впечатления должны быть неполны, неточны, смутны. Развитие образного мышления, значит, нужно себе представлять так: сначала создаются наскоро и из явно недостаточного качественно и количественно материала какие-то общие представления, при их помощи квалифицируются все новые впечатления, строятся все более единичные и точные образы, получается возможность лучше и полнее использовать вновь поступающий познавательный материал; тогда, под напором этого нового материала, разрушаются первоначальные рамки, человек вынужден пересмотреть свой запас общих представлений, создать себе новую „Apperceptions masses", новый более совершенный запас рабочих гипотез и снова приняться, при их помощи, за выработку единичных представлений и за достижение более полного и интенсивного использования впечатлений.

Теоретически говоря, этот диалектический процесс развития образного мышления заканчивается тогда, когда количественные пределы вырабатываемых образов раздвинутся до ∞ и 1, т.-е. когда общие представления будут построены из бесконечного числа впечатлений (будут, значит, являться обобщением всех возможных впечатлений), и когда единичные образы отожествятся с отдельными впечатлениями—следовательно, когда человек окажется способным полностью закрепить в образе сразу все бесконечное множество признаков, имеющихся потенциально в каждом впечатлении. Сейчас, как показывает самое элементарное самонаблюдение, мы ещё очень далеки от такого функционального совершенства наших мозговых центров—диалектика человеческой психической эволюции еще не скоро закончится...

III.

Приложим результаты психологического анализа к конкретным вопросам теории искусства.

Все люди переживают эмоции; характер эмоций обусловлен бытием, т.-е. тем, как протекает и индивидуальная и видовая (коллективная) борьба за существование. Основным вопросом является, конечно, вопрос о добывании пропитания. В этом отношении—особенно на ранних ступенях общественного и культурного развития—люди делятся на две категории: одни коллективы живут в такой обстановке, что могут ограничивать свои усилия простым собиранием пищи, другие должны ее добывать с боя. Наиболее активными формами собирания пищи являются земледелие, охота на мелкого зверя, скотоводство; с боя добывают себе пропитание все хищники—охотники на крупного зверя и на людей (разбойники, воины). Ясно, что эмоции, переживаемые этими столь различными по образу жизни

категориями людей, а также образы, которые вырабатываются их центрами, должны принадлежать к двум совершенно и в корне разным типам.

Жизнь собирателей пищи течет медленно и однообразно. Их благополучие зависит от той безличной совокупности внешних условий, которую мы называем природою. С природою человеку спорить на первых порах не приходится. У собирателей пищи вырабатывается способность терпеливо ждать и надеяться, что, авось, все как-нибудь да образуется; вырабатывается созерцательное отношение ко всему совершающемуся вокруг них и уверенный фатализм—чему быть, того не миновать. Все внимание сосредоточено не на предметах внешнего мира, а на собственном самочувствии—на ритмах жизни, то повышенных, то пониженных, то бурных, то ровных. Нет никакой нужды сохранять в памяти впечатления целиком, в виде определенных комплексов признаков: признаки разрозняются и перегруппировываются по их ритмическому характеру, и образы получаются, в итоге, конструктивные, не имеющие в целом никакого сходства с конкретною внешнею „действительностью", а отражающие только „действительность" внутреннюю, субъективную.

Люди-хищники постоянно зависят от собственной инициативы, от силы, от ловкости, от умения использовать всякое случайное обстоятельство, и в них вырабатывается повышенная активность. Эмоции хищников быстры, остры, изменчивы, разнообразны, как изменчивы и разнообразны все те обстоятельства, среди которых приходится жить и бороться—бороться не на живот, а на смерть. Соответственно с этим, все внимание хищников сосредоточено именно на внешнем мире: надо следить за каждым движением добычи, чтобы не попасть в беду, чтобы не упустить благоприятный случай. Хищники заинтересованы в том, чтобы в памяти удерживать впечатления по возможности целиком, как комплексы органически между собой связанных признаков; они вырабатывают образы репродуктивные, сохраняющие как можно больше сходства с объективной „действительностью".

Искусство выражает эмоции при посредстве образов. Если мир человеческих эмоций и вырабатываемых воображением представлений столь резко двоится, должно, конечно, столь же резко двоиться также и искусство. И, действительно, мы имеем не одно искусство, а два: неизобразительное и изобразительное. Неизобразительное выражает только общее самочувствие художника, ритмы и темпы его внутренней жизни, не индивидуализируя эмоции точным указанием причин, их вызывавших,—причин фактических или возможных. Для выражения эмоций неизобразительное искусство пользуется образами ритмическими, преимущественно моторного характера, образами конструктивными. Изобразительное же искусство выражает специфические эмоции, вызванные такими-то конкретными внешними обстоятельствами, индивидуализирует эмоции и пользуется, по необходимости, образами репродуктивными.

Само собой разумеется, что, как всякая квалификация, и данное разграничение неизобразительного искусства и искусства изобразительного должно быть принимаемо с известными оговорками: и у народов земледельческого и пастушеского типа встречаются изобразительные попытки в искусстве (так, например, у всех более или менее развита словесность), и у народов-хищников иногда даже до некоторой степени процветает то или иное неизобразительное искусство (например, музыка или танец). Ни одной чистой культуры на высших

ступенях развития нет и быть не может. Но и на высших ступенях развития у каждого народа преобладает та или другая тенденция в искусстве: в романо-германской Европе неизобразительное искусство отодвинуто на задний план, народы Восточной Европы и Центральной Азии высказываются преимущественно в формах неизобразительного искусства.

Та количественная классификация образов, которую мы выше предложили в виде синтактической схемы, рассчитана, конечно, только на образы репродуктивные, т.-е. на искусство изобразительное, западно-европейское. Я предлагаю исходить из изобразительного искусства не потому, чтобы я признавал его искусством высшим, а только потому, что оно для нас сейчас более близко и понятно. Конструктивные образы классифицируются по тому же количественному признаку, как и репродуктивные, в строго-параллельный ряд.

Мы до сих пор говорили все время об искусстве в единственном числе. В дальнейшем нам придется считаться с тем, что искусство едино только по содержанию и по общему психологическому механизму образного мышления; на практике же, в рамках изобразительности и неизобразительности произведения искусства разбиваются на три отдела — по образотворческим мозговым центрам: моторному, слуховому и зрительному. Не стану здесь повторять то, что мною подробно было изложено в статье „Живопись, ваяние, зодчество“ (см. „Печать и Революция“, 1924 г., № 3, стр. 107—130). Здесь достаточно будет напомнить терминологию:

	Искусства музические:		Искусства пластические.
	Искусства времени. (Акустические).	Искусства времени и пространства. (Моторные).	Искусства пространства. (Оптические).
Искусства изобразительные.	Словесность.	Драма.	Изобраз. живопись. Изобраз. ваяние.
Искусства неизобразительные.	Музыка.	Танец.	Неизобр. живопись. Неизобр. ваяние, архитектура.

И еще одно замечание—тоже предварительное, но уже вводящее нас непосредственно в круг тех вопросов, которые нас сейчас непосредственно интересуют.

Под влиянием эмоций у художника начинает работать воображение: как принято выражаться, „из подвала сознания“ выплывают дремавшие там более или менее общие или единичные образы и целые клубки образов. Но для того, чтобы создать художественное произведение, мало иметь образы—надо их выявить. А это сложная процедура: слуховой или зрительный, или моторный образ должен как-то воздействовать на активно-моторный центр и вызвать сокращение той или иной группы мускулов, и даже не одно сокращение,

а ряд последовательных сложных сокращений той или иной группы мускулов. Никакой внутренней связи между выражаемым образом и этими мускульными сокращениями нет. Чтобы выговорить слово, надо привести в движение мышцы и дыхательного аппарата, и голосовых связок, и языка, и челюстей и т. д., при чем слух может только контролировать эффект, но не может дать никаких руководящих указаний,—это так легко проверить, пытаясь произнести слова какого-нибудь чужого языка... Чтобы провести—чего, казалось бы, проще—прямую линию или круг, нужно определенным образом сократить мускулы руки: представление о прямой или о круге есть, и очень четкое, а попробуйте-ка почертить и т. д. При осуществлении замысла человеку приходится преодолевать огромное внутреннее трение, уже не говоря о том, что и внешний материал, который приходится оформливать, может „не дать“ того, что от него в каждом данном случае требуется. Поэтому вовсе не удивительно, что, как правило, по заявлениям художников, готовое произведение искусства всегда ниже замысла: „мысль изреченная есть ложь“—не то или не совсем то, что имел сказать художник.

Тем не менее, искусствовед свои заключения основывает именно и только на наблюдаемых им моторных актах художников: искусство начинается не там, где начинаются эмоции, и не там, где начинается образное мышление, а там, где начинаются действия, направленные к выявлению образов. С изучения моторных актов надо начинать и нам.

Нетрудно видеть, что сложность и разнообразие моторных актов, необходимых для выявления образов, находятся в прямой зависимости от количества признаков, составляющих данный образ. Образы наиболее общие, как содержащие наименьшее количество признаков, легче всего к выявлению, а потому и искусство—так же, как и само образное мышление,—начинает с общих представлений и вырабатывает некоторый минимальный репертуар телодвижений, ритмических и быстро становящихся автоматически привычными, которыми художник затем уже может уверенно пользоваться. Ясно, что этот репертуар первоначально так же беден и несовершенен, как и первоначальные общие представления; им пользуются, пока усовершенствование образов не покажет явно его дальнейшую непригодность, и тогда приходится вырабатывать новый репертуар, соответствующий новым потребностям. Вот почему первая из художественных проблем, проблема ритмических элементов, по мере развития искусства должна возникать много раз и каждый раз получать новое, условно-ценное для данной ступени развития, разрешение.

Следующею по пути образования единичных образов является проблема—изобразительной или неизобразительной—формы: надо, при помощи имеющихся в распоряжении художника ритмических элементов, выразить тот минимум признаков, по которым посторонние смогут догадаться, о чем идет речь. Надо, значит, в речи соединить членораздельные звуки в слово, надо в рисунке сочетать прямые и кривые линии так, чтобы получился „человек“ или „крестик“, или еще что-нибудь, узнаваемое в самых общих чертах.

Затем возникает проблема композиции—опять в изобразительных и в неизобразительных искусствах: полученные формы сочетаются в новое высшее целое, внутренне объединенное повествовательным сюжетом (в изобразительных искусствах) или общностью ритмической „картинки“ (в неизобразительных искусствах).

Когда простого сопоставления форм явно уже недостаточно для осмысления целого, ставится четвертая проблема—проблема движения. В словесности и драме постановка этой проблемы первоначально выражается в усилении и усложнении повествовательного элемента, и лишь позднее—в попытках выяснить и выразить еще и движущие силы событий, страсти; в пространственных пластических искусствах проблема движения представляет особые трудности, ибо тут требуется в неподвижных художественных произведениях выразить достаточно четко то, что только и мыслимо во времени, а потому живописцы и ваятели много раз, с помощью все новых и новых ухищрений, пытаются разрешить проблему физического движения, прежде чем перейти к движениям душевным. Что касается искусств неизобразительных, я не умею дать общую формулу, одинаково пригодную для всех искусств и точно определяющую нарастание единичности образов; но так как неизобразительные искусства развиваются строго параллельно искусствам изобразительным, то—исторически—нетрудно фиксировать грани четвертой фазы развития отдельно для музыки, танца, живописи, ваяния, зодчества.

Пятая проблема—проблема пространства. В плоскостной живописи она характеризуется исканием перспективных приемов, сначала—линейных, потом—красочных. В скульптуре художник ищет способов согласовать изваяние с тою обстановкой, среди которой оно должно стоять (пример: Фальконетов „Медный всадник" рассчитан на простор Сенатской площади и был бы художественно нелеп среди всякой иной обстановки). В словесности постановка проблемы пространства влечет за собой разработку методов описания. В драме, когда в сознании художника возникла проблема пространства, становятся необходимыми декорации и новое устройство сцены. Во всех искусствах постановка проблемы пространства проявляется в стремлении к иллюзионизму, которое проникает даже в искусства неизобразительные: музыка становится программною, танец—драматическим и мимическим (балет), живопись и скульптура—декоративными.

Наконец, шестая проблема—проблема импрессионистская: художник ставит себе задачей зафиксировать моментальное впечатление. В живописи шестая проблема формулируется, как проблема света и цвета,—живопись в течение шестой фазы развития стремится стать искусством красочного пятна. Я особо упоминаю именно о живописи потому, что тут наиболее наглядно сказывается общий диалектический ход эволюции человеческого образного мышления: исходит оно от линии, развивает, как будто, именно линию, при помощи линии последовательно разрешает одну за другою все живописные проблемы, а внутренние противоречия все нарастают и приводят к полному банкротству линии. Переливчатая игра света, которая только и есть во впечатлениях, совершенно несовместима с линейным рисунком, и уж, во всяком случае, никак не вяжется с каким бы то ни было—пусть очень богатым, но все же ограниченным—моторно-ритмическим линейным репертуаром. И во всех прочих искусствах импрессионизм, желающий как можно точнее и полнее передать мгновенное и единичное впечатление, точно так же разрушает все условные обобщающие формулы, которые ведь именно для того и создаются, чтобы мелькание мгновенного и единичного перевести в постоянное и типичное.

Все художники только и делают, что разрешают перечисленные проблемы—одну, несколько, все шесть. Вся история искусства только

о том и должна повествовать, как эти проблемы все снова и снова ставятся, все снова и все иначе разрешаются и никак не могут найти окончательное и общезначимое разрешение. Тут дело не в художниках, не в их талантливости, не в их биографиях. Вопрос ставится так: совпадает ли теоретически устанавливаемый порядок проблем историческому порядку их постановки в мировом искусстве, и наблюдается ли какая-нибудь закономерность в последовательно появляющихся все новых разрешениях проблем, разрешениях, которые на некоторое время пользуются всеобщим признанием и кажутся блестящими, гениальными, безусловно ценными, и которые через некоторое более или менее продолжительное время сами собою отпадают и становятся музейными раритетами.

IV.

Когда речь заходит об истории искусства, необходимо сделать прежде всего решительную оговорку: мы имеем не всю историю искусства, а лишь историю отдельных искусств, и истории разных искусств находятся, в силу особенностей исторического материала, в совершенно разных условиях. Удовлетворительно может быть прослежена история пластических искусств, потому что тут исследователь опирается на подлинные материалы. В области словесности положение дела хуже: подлинные словесные произведения отзвучали и умерли—в нашем распоряжении имеются только записи, которые, конечно, не являются подлинниками; да и записи-то имеются только для последних—письменных—тыся летий и для немногих народов. Что касается музыки, то сколько-нибудь удовлетворительные записи имеются только для европейской музыки последних нескольких веков, т. е. за такой сравнительно короткий промежуток времени, который в мировой истории почти что не идет в счет. Наконец, о драме и танце наши исторические сведения исчерпываются случайными словесными описаниями и графическими материалами, художественную суть произведений этих искусств вовсе не затрагивающими. Вот почему мне придется в дальнейшем постоянно основываться на данных истории пластических искусств, довольствуясь тем, чтобы данные из истории прочих искусств не противоречили выводам из истории пластических искусств.

Сначала зафиксируем те наблюдения над эволюцией искусства, которые не теперь и не нами сделаны, а давно известны.

Прежде всего, может быть установлено некоторое общее поступательное продвижение искусства в целом: европейское искусство менее беспомощно по отношению к целому ряду проблем, чем было еще античное; античное греко-римское искусство, в свою очередь, сделало шаг вперед сравнительно с искусством критско-микенским, египетским, ассиро-вавилонским и т. д. Условимся называть это поступательное движение прогрессом, отнюдь, конечно, не вкладывая в это слово значение „усовершенствования", а понимая под ним только то, что оно буквально значит: продвижение вперед.

Прогресс в искусстве идет не по прямой, так сказать, линии, а по какой-то сложной кривой, которая, с грубым приближением и на глаз, может быть уподоблена волнообразной линии: моменты „расцвета" чередуются с глубочайшими провалами полной „гибели искусства". Этими провалами вся история искусства естественно разбивается на ряд отдельных эпизодов. В продолжение каждого эпизода жизнь искусства протекает по той схеме, которая очень близко напоминает

схему человеческой—да и всякой иной органической—жизни: нарождение, младенчество, отрочество, молодость, зрелость, старчество, затем: неотвратимая смерть,—а затем снова: нарождение, младенчество и т. д. Есть, значит, в эволюции искусства некоторая периодичность.

Отдельные исторические периоды между собою связаны явною преемственностью: европейское искусство использовало наследие греко-римского мира, греческое выросло на почве, разработанной критско-микенским и пр. Но преемственностью обязаны далеко не только культуры, следующие одна за другою во времени, но и культуры, сосуществующие одновременно в пространстве: греки использовали не одних своих предшественников, но и своих передне-азиатских соседей, европейское искусство многим обязано и искусству передней Азии, и искусству Дальнего Востока. Индия училась у эллинистических художников, Китай—у художников Индии и т. д.

В жизни искусства в пределах каждого отдельного периода принимают более или менее активное участие несколько—или даже много—народов. Со временем территориальный охват искусства, созидаемого сообществом живущих совместною культурною жизнью народов, несомненно, растет: европейское искусство господствует сейчас на значительно большей территории, чем некогда господствовало античное; античное, в свою очередь, распространилось значительно шире, чем критско-микенское или египетское или ассиро-вавилонское, а древнейшие нам известные художественные культуры имели местный характер и объединяли самое большее несколько племен. И вот что замечательно: народы, входящие в состав такого культурно-исторического "мира", принимают в общей творческой работе неодинаковое участие и в разные моменты эволюции то выступают активно в руководящей роли, то отходят на задний план и подчиняются руководству других. В каждую данную пору, в каждом данном культурно-историческом мире имеется свой центр, но центр этот беспрерывно перемещается. Кто только ни верховодил в европейском искусстве за последние полторы тысячи лет: то византийцы (и в самой Византии выступали в руководящей роли самые разнообразные народы), то германцы, то норманны, то итальянцы (и в пределах Италии—то юг, то Пиза, то Сьена, то Флоренция, то Рим, то Венеция, то Болонья), то французы, то испанцы, то голландцы и т. д. И никто из задававших тон народов не сумел надолго удержаться на первом месте.

Всего объяснимо лишь при условии, что у каждого народа есть свои и очень определенные и очень ограниченные способности, свой коллективно-психологический диапазон. Было бы совершенно ненаучною вульгаризацией принципа исторического материализма, если бы мы вздумали его толковать в таком смысле, что де каждый данный человеческий коллектив в каждый данный исторический момент есть во всех „надстройках" то, и только то, чем его делает экономически-производственная „база": прошлое налагает на каждый коллектив неизгладимый отпечаток и формирует: „национальности". В разный момент эволюции история предъявляет спрос на разные способности, и тогда из участников общей работы выдвигается на первое место тот, кто этому спросу по своему диапазону наилучше удовлетворяет.

Вот, кажется, и все те общие наблюдения, которые можно сделать, изучая историю искусства в целом. Теория искусства позволяет эти наблюдения, имеющие, пока что, чисто эмпирический характер, осмыслить и уточнить.

Если мы сравним достижения европейского искусства с достижениями античного мира, мы констатируем некоторый плюс: Европа разработала очень подробную иллюзионистскую систему перспективы, линейной и воздушной, каковой греко-римский мир не знал, хотя к ней стремился. Греки до тонкости разработали четвертую проблему—движения физического и душевного, которую их непосредственные предшественники (критско-микенские художники, египетские, ассиро-вавилонские) сумели поставить, но не сумели удовлетворительно разрешить. Для критско-микенского, египетского и месопотамского искусства характерно создание колоссальных повествовательных ансамблей, т.-е. разрешение в грандиозном масштабе проблемы композиции, только намеченной искусством до-исторического Египта и до-исторической Месопотамии (нумерами). У мастеров до-исторического Египта и до-исторической Месопотамии доминирует проблема формы изобразительной, у мастеров неолитической Европы—проблема формы неизобразительной. Наконец, художественная суть искусства палеолита заключается в изобретении первых линейных и пластических ритмов—правда, французский палеолит мадлэнской эпохи создал уже и начатки изобразительного искусства.

Мы получаем, таким образом, некоторую уже не астрономическую, а искусствоведческую, не абсолютную, а относительную хронологию, в рамки которой очень хорошо умещается и до-хронологическое, и вне-хронологическое искусство, и искусство тех народов, которые непосредственными предками нашего искусства не являются, например, китайцев и индусов, которые застряли в третьем цикле, и т. д. Под прогрессом в мировой истории искусства надо, следовательно, понимать последовательную постановку культурно-историческими мирами художественных проблем в том именно порядке, в каком их располагает и теория искусства, опираясь на психологию: каждый вновь выступающий на арену истории культурно-исторический мир выдвигает очередную проблему, которую только наметил, но не разработал предшественник.

Если мы теперь, все с теми же нашими шестью художественными проблемами, подойдем к изучению развития искусства в пределах каждого цикла, то оказывается, что и тут мы видим то же самое: искусство начинает с того, что создает свой—с каждым новым циклом все более богатый и гибкий—ритмический репертуар, переходит к проблеме формы, начинает повествовать, увлекается движением, разрабатывает проблему пространства, кончает импрессионизмом. Именно такова, во всяком случае, история искусства Европы, где за искусством времен переселения народов последовало раннероманское искусство, затем романское со своими повествовательными ансамблями, затем готика и ранний ренессанс со всей анатомией и всеми страстями, затем зрелый ренессанс и ранний барокко со своими перспективными увлечениями, наконец—искусство последних слишком двух веков, бившееся над проблемой света. Во всех предшествующих циклах последние фазы, конечно, выражены менее отчетливо, зато больше времени и усилий ушло на первые фазы... Итак: периодичность вовсе не есть только отдаленная аналогия, а совершенно четкое проявление общего диалектического процесса—каждый исторический цикл разрешает одну за другой все художественные проблемы, каждый цикл разрешает их только с точки зрения очередной доминирующей в порядке общего прогресса проблемы.

Если все это так, если, значит, прогресс и периодичность суть действительные общезначимые законы исторической эволюции, то

темные провалы, отделяющие один цикл от другого, перестают быть загадочными: они становятся совершенно необходимыми вследствие действия еще одного—но уже не специально искусствоведческого, а обще-исторического закона: закона инерции. Все, созданное в течение цикла, все разрешения художественных проблем имеют только относительную ценность: проблемы разрешены с определенной точки зрения. Для того, чтобы начать новый цикл развития, нужно, прежде всего, полностью отказаться именно от самого основного ритмического миросозерцания, нужно отказаться от старых привычек; а эти привычки в течение веков так въелись в плоть и кровь, стали до того автоматическими, что от них освободиться нет сил. Потому-то так жалко топчутся на одном месте все те культурно-исторические миры, которые уже полностью совершили, что им было положено, но физически продолжают существовать: „пережил себя", как говорится, древний Египет—и тщетно делал в течение всего последнего тысячелетия до нашей эры героические попытки пойти по тому пути, по которому так легко и быстро подвигались греки... „Пережил себя" и Китай, задыхающийся под бременем своих художественных традиций, тщетно ищущий выхода... Когда-то умерли при первом появлении испанцев искусство ацтеков и искусство инков в Америке, давно закостеневшие и не имевшие сил обновиться... А теперь мечется в предсмертных судорогах искусство Европы, ждет спасения то от возврата к старине (увлечение готикой, Византией, прерафаэлитами), то от Востока (увлечение китайским, японским, персидским искусством), то от экзотики (увлечение искусством тихоокеанских островитян, африканских негров),—но никакого спасенья нет: творческий центр должен переместиться либо этнографически, либо социально.

Темные „провалы", которые отделяют один исторический цикл от другого с неизбежностью рока, суть эпохи великих этнических катастроф и великих социальных революций, когда власть захватывается совершенно новыми людьми, когда бесследно исчезают те классы, которые творили культуру предшествовавшего исторического цикла. Но тут мы уже затрагиваем тему, о которой должны говорить в последней главе нашей статьи.

V.

Характеризуя выше те классы, на которые мы разбили общую массу образов, мы не отметили, что наша характеристика включает в себя и социальную сторону дела. В самом деле: наиболее общие образы наименее индивидуальны, наиболее единичные образы наиболее зависят от случайности и личных свойств. Следовательно, искусство, выявляющее общие образы, должно быть наиболее общепонятным значительному кругу людей, искусство же, выявляющее образы по преимуществу единичные, окажется понятным малому количеству наиболее близких художнику по образу мыслей людей. Другими словами, искусство бывает коллективистским (теоретический предел: общечеловечность) и бывает индивидуалистским (теоретический предел: эгоцентризм). Между наибольшим коллективизмом и наибольшим индивидуализмом распадаются многочисленные количественные градации—мы можем, в соответствии с перечисленными нами в порядке нарастания единичности образов шестью стилями, распределить их по шести рубрикам. Ясно, что эти рубрики будут иметь каждая свое характерное эмоциальное содержание: так как объединяет людей мысль, а разъединяет настроение, то искусство общих образов будет

искусством мысли, символическим, а искусство единичных образов—искусством настроений, импрессионистским. Можно себе представить, что тот или иной символ,—например: перекрещенные серп и молот,—станут понятными всем людям и во всех людях смогут будить определенные мысли; но нельзя себе представить, чтобы та или иная импрессионистская симфония красок получила общечеловеческое значение.

Таким образом, диалектический процесс, происходящий в развитии искусства, имеет очень определенный социальный смысл. Последовательное разрешение стилистических проблем в искусстве сопутствует последовательному разрушению первоначального бесклассового общества. Тогда становится ясным, почему художественных проблем именно шесть: можно было бы себе представить гораздо большее число проблем (например: разложив проблему движения на две отдельных проблемы—движения физического и движения психического и т. д.) или, наоборот, гораздо меньшее число. Художественных проблем именно шесть потому, что есть именно шесть типичных форм общественности: быт стадный, быт семейно-родовой (в своих позднейших формах: быт клановый, быт национальный), быт кастовый (в своих позднейших формах: быт сословный), быт городской—вечевой, быт имперский-парламентский, быт—совсем конкретно его еще нельзя охарактеризовать, потому что он полностью еще не был осуществлен никогда и нигде, но назвать его можно: быт мировой коммуны.

Достаточно назвать под-ряд эти шесть форм общественности, чтобы факты мировой социальной эволюции вышли из рамок астрономической хронологии и стали на свои относительно-хронологические места; получаются рамки и для исторической классификации всего социально-этнологического материала. Вся пресловутая „история генералов" со всеми ее анекдотами и случайностями отходит в небытие: дело не в генералах, как бы они ни назывались, не в войнах и мирных договорах, не в законодательных актах, даже не в судьбах целых народов, а в чем-то неизмеримо более значительном—в медленном дорастании общественного человека от первобытного стадного коммунизма до сознательного организованного мирового коммунизма.

Мировая история человеческой общественности может быть схематически представлена в таком виде.

Вся она распадается на шесть эволюционных циклов, следующих один за другим в определенном порядке. Абсолютно-хронологическая длительность каждого цикла зависит исключительно от тех материальных условий, в которых приходится жить каждому данному человеческому коллективу: чересчур легкая и чересчур тяжелая жизнь одинаково неблагоприятны для скорого культурного продвижения вперед—поэтому-то наиболее передовыми на земном шаре оказываются народы, населяющие умеренные климатические пояса и умеренно богатые страны этих поясов, жители же экваториальных и приполярных территорий сильно отстали в своем развитии и переживают еще только первые циклы, в то время как культурные народы находятся уже на пороге последнего, шестого.

Мировой прогресс заключается в том, что последовательно осуществляются такие общественные организационные формы, которые способны с каждым новым историческим циклом объединить все большее количество людей в разумном сотрудничестве, предоставляя, в то же время, каждому отдельному индивидууму все большую личную свободу. Путь лежит от анархической свободы зверя, гарантиро-

ванной только его собственной силой и ловкостью, к организованной свободе человека, гарантированной коллективом.

В пределах каждого эволюционного цикла последовательно осуществляются, все в том же порядке, те же шесть общественно-организационных форм, но осуществляются в каждом последующем цикле по-новому, с точки зрения очередной доминирующей формы, все более приближаясь, с каждым разом, к мировому охвату всех людей. Диалектика развития в пределах цикла заключается, следовательно, в том, что каждая организационная форма может охватить лишь некоторый максимум индивидуумов; она разрабатывается циклом до тех пор, пока не становится непригодною для дальнейшего количественного роста и не станет тормозящим началом. Ясно, что стадо может объединить лишь незначительное число особей; семья и род, каста, город-государство со своим всеобщим вечем, империя со своим парламентом (представительством) имеют все свои количественные пределы, за которые им выйти нельзя; мировая коммуна должна будет перерешить все вопросы человеческого общежития, чтобы спаять человечество в одно целое.

Цикл от цикла отделен эпохами громадных революций, когда происходит не только совершенно необходимое разрушение (ставших слишком сильными и мешающих перерешению всех общественных взаимоотношений) традиций, но и этническое обновление крови тех масс, которые творят историю, образование новых народностей из слияния обломков предшествующих культур. Наиболее сильно разрушаются во время этих стихийных революций, естественно, именно „надстройки", т.-е. искусство, наука, мораль, религия и пр., потому что в этих „надстройках" сосредоточивается наибольшая консервативная сила (инерция) отживших общественных организационных форм; часто гибнет в водовороте революций не только то, что должно погибнуть, чтобы очистить место для новой жизни, но и то, что только сейчас не может быть использовано, а впоследствии пригодилось бы. Эпоха европейского „Возрождения", когда, уже в середине цикла, вдруг оказалось чрезвычайно нужным античное наследие, выброшенное за борт людьми начала того же цикла, – весьма поучительный пример того, как относительна и условна ценность культурных достижений.

У каждого участника в общей работе данного цикла—и у отдельных индивидуумов, и у групп индивидуумов (народов, государств, классов и т. д.) имеется своя исторически сложившаяся общественная „физиономия", свой диапазон способностей и склонностей. В каждый данный исторический момент на руководящее место выдвигается тот индивидуум или коллектив, чьи способности наиболее отвечают очередной форме общественности; как только обстановка меняется, сменяется и ответственный вожак.

Наконец, взаимодействие перечисленных законов — прогресса, периодичности, преемственности, диапазона и перемещения центра— чрезвычайно осложняется постоянным и повсюдным проявлением закона инерции: диалектика продолжает действовать не только в пределах циклов, но и в пределах каждой фазы каждого цикла, вся история есть непрерывная борьба противоречивых интересов, и в этой борьбе одни люди и целые коллективы людей надолго задерживаются в прошлом, другие люди и коллективы уходят вперед, старые организационные формы все вновь появляются во все новых видоизменениях. И вот тут, в перипетиях борьбы, господствует, действительно, случай, который так смущает наших историков. Но...

Если только предлагаемая мною сейчас в виде кратчайшего конспекта рабочая гипотеза стоит тщательной проверки и детальной проработки, мы, может быть, не слишком далеки от того момента, когда мы научимся за деревьями видеть лес и под игрой фантастического случая установим наличие могучего потока закономерной обще-исторической необходимости.

VI.

Дает ли предлагаемая рабочая гипотеза что-нибудь непосредственно для понимания того, что делается в искусстве (в самом широком значении слова: во всех искусствах) сейчас и у нас и в Европе?

Для переживаемого нами момента характерен — у нас еще больше, чем в Европе—отрыв руководящей головки художников от масс. Ведь это парадокс: наиболее передовые, наиболее революционно (и в специал но-художественном, и в обще-гражданском смысле) настроенные художники непонятны и ненужны революционным массам. Ленин, в беседе с Кларой Цеткин, сказал: „Я имею мужество объявить себя варваром. Я не в состоянии считать произведения экспрессионизма, кубизма и всех прочих измов за высшее проявление художественного деяния. Я их не понимаю. Я в них не чувствую радости". Когда Клара Цеткин поддержала это мнение Владимира Ильича, он, продолжая беседу, сказал: „Да, ничего не поделаешь. Мы оба стареем. С нас достаточно, что мы молоды в революции и находимся в ее первых рядах. Новое искусство мы не догоним. Мы уже будем прихрамывать позади"...

Стоя на точке зрения „искусства для искусства", веря в абсолютность художественных ценностей, мы могли бы отмахнуться: Ленин велик в таких-то областях человеческого творчества, но в искусстве он, как и Клара Цеткин, просто ничего не понимал—не специалист, не дорос; тем менее приходится считаться с рабочими и крестьянскими массами—их надо воспитать до понимания современного искусства... Но раз мы признаем искусство функцией общественности, раз мы ценности искусства считаем относительными, социальными, мы, явно, так рассуждать не смеем. В чем же дело? И не опровергает ли наша действительность все вышеизложенные стройные гипотезы?

На расстоянии „исторической перспективы" диалектический процесс каждого отдельного, давно протекшего эволюционного цикла нам представляется цельным, ясным, бесспорным,—но только потому мы для него находим обобщающую формулу, что мы видим лишь итоги, но не видим всех тех многочисленных частичных процессов, одновременных, перекрещивающихся, взаимно-противоположных, взаимно-усиливающих друг друга, из которых состоит бурлящий поток живой жизни. А когда мы имеем дело с современностью, нам трудно разобраться в том, куда она нас несет, почему кидает в разные стороны, и тут слишком общие схемы нам компасом служить не могут. Но из этого не следует, что надо вообще выбросить за борт диалектику. Надо только углубить анализ.

Тогда мы увидим, что „искусство такой-то эпохи"—фикция. То, что мы упрощенно называем искусством данного народа и данной эпохи есть лишь искусство руководящего класса данного народа в данную эпоху. Разные классы находятся в разных условиях бытия, а потому у них разное и сознание, разное и искусство. В начальных

фазах каждого цикла, когда социальный, диалектический процесс только еще начинается, обособление классов не слишком велико, и искусство—кое-как и более или менее—обслуживает все население. Но пропасть чем дальше, тем более ширится: промежуточные классы или всплывают наверх, добиваются почета, богатства, или опускаются на дно. Пока борьба происходит только на верхах, она может протекать более или менее тихо, может приводить к вспышкам частичных революций, но все это мало нарушает общую правильность исторического процесса: добившись власти, новый класс быстро нагоняет своего предшественника и продолжает его развитие—все дело ограничивается небольшою заминкой в продвижении вперед.

Но вот цикл идет к концу: лицом к лицу стоят буржуазия и пролетариат, и между ними должна произойти смертельная схватка. С соглашательской точки зрения вопрос ясен: должно начаться „сотрудничество" враждебных классов, „культурные верхи" должны позаботиться о пресловутом „меньшом брате" и „воспитать" массы, подтянуть их к себе, навязать им, между прочим, и свое искусство. Так делается на Западе, так делается и у нас—у нас более усиленно, чем на Западе, потому что у нас рабочий класс стал господином положения, и за ним приходится ухаживать. Но вот тут жизнь выкидывает удивительный номер: пролетариат жадно берет из буржуазного искусства все, кроме искусства. Вернее: пролетариат берет и буржуазное искусство, но не революционное. И Ленин не был бы вождем пролетариата, если бы он приял вот это „революционное"... буржуазное искусство, все пресловутые „измы".

Мирная непрерывная эволюция сдана в архив: всякий историк теперь знает, что она невозможна и что ее никогда не было. И все частичные толчки в пределах цикла суммируются во всепоглощающей революционной катастрофе в конце цикла. Все художественные „измы", хотят того или не хотят, просто продолжают—эволюционно!—линию законченного цикла: нагруженные всем уже ненужным багажом старой культуры, они хотят начать новый цикл. Футуризм, кубизм, конструктивизм и пр. являются законным порождением импрессионизма, европейского буржуазного и индивидуалистического импрессионизма; они, по самому существу, принадлежат к пятому циклу, к прошлому—не к будущему.

Пролетариат победил уже частично, победит окончательно и повсеместно в не слишком отдаленном будущем. Почему? Явно, потому, что он сорганизовался и продолжает организоваться, проникнут и все больше проникается коллективистскою солидарностью. А буржуазия? Она в течение, особенно, второй половины XIX века и в начале XX века, непрерывно дезорганизуется, утрачивает коллективистскую спайку, идет по пути индивидуализма, эгоцентризма, социализма—об этом кричит вся буржуазная философия, вся литература, вся живопись, вся—одним словом—европейская „культура".

По этому пути социального разложения впереди шли, конечно, художники, потому что они наиболее интуитивно-чуткий народ. Свое стремление быть „самим собой", свое „сверхчеловечество" они довели до того абсурда, когда искусство перестает быть искусством, потому что оно становится никому непонятным и, следовательно, общественно ненужным. Поскольку искусство есть манометр уровня общественности, все художественные „измы" именно для нас сейчас драгоценные доказательства того, что господствующему классу пришел конец: класс, который выражает свою общественную сущность в таком искусстве, безнадежно погиб.

Но искусство есть еще и фактор общественности, организующий общественное сознание. И вот с этой точки зрения новейшее искусство есть смертельный яд: оно может внушить лишь разлагающий, губительный индивидуализм. Рабочему революционному лозунгу „каждый за всех, и все за каждого"—это искусство противопоставляет лозунг „плевать на всех". И ясно, что побеждающий именно своей социальною спайкой пролетариат инстинктивно не приемлет вот этой заразы, которая сделает невозможною его победу,—не приемлет, не понимает, не желает.

Когда-то говорили, что история учит только одному: что она никогда никого ничему не научила. Повествующая история ничему научить не может. Но как только мы подойдем к истории не как к сборнику анекдотов, а как к диалектическому построению, оно кое-чему учит, что может пригодиться. Европейское искусство на импрессионизме свою работу исполнило. Все то, что может быть использовано из европейского художественного наследства, в свое время будет использовано; все прочее должно погибнуть, чтобы дать место новой жизни. Новое бытие (и, следовательно, новое искусство) будет создаваться в мировом масштабе, охватывать все человечество. Для этого понадобится в корне и заново, при участии всех самоопределяющихся ныне народов, перерешить все основные вопросы общественности. И вот тогда, после не русской только, а мировой революции, в совершенно новой обстановке наролится и совершенно новое искусство, не связанное европейскими традициями, а только черпающее из сокровищницы европейских достижений, светлое искусство шестого цикла—мировой коммуны.

ТРИБУНА.

О пользе критики, об абсолютизме, империализме, мужицком капитализме и о прочем.

(Нечто вроде хрестоматии.)

М. Покровский.

Посвящается тов. А. Н. Слепкову.

Приятно быть предметом критики. Во-первых, чувствуешь, что тебя замечают: уже это лестно. Во-вторых, можешь отвечать — завести разговор. Перестаешь быть гласом вопиющего в пустыне. А то стоишь, как статуя Мемнона из учебника Иловайского, и „вещаешь" (статуя Мемнона, как помнят читатели Иловайского, именно этим и занималась, дважды в день, утром и вечером). А вокруг тебя „гулкая тишина". Что она обозначает? Почему молчат? Согласны? Или просто не слушают? Или, еще проще, спят?

И вот тишину разрезает звонкий и ясный голос: „не согласны!". С кем не согласны? „Со всем вообще, все не так!"

Очень хорошо. Есть о чем поговорить.

Поговоримте ж.

Рецензия тов. А. Н. Слепкова, посвященная моим „Очеркам по истории революционного движения в России XIX—XX в.в." [1]), распадается на три части. В первой, приблизительно 2 страницы, ликвидируется моя общая концепция русского исторического процесса. Во второй (почти 4 страницы) мне разъясняется, что́ такое империализм, и что я должен предпринять, чтобы сие усвоить. В третьей (опять же примерно 2 страницы) я получаю некоторые сведения по истории русского крестьянства. В общем, на 8 страницах предпринимается полная Umwälzung der Wissenschaft, именуемой русской историей в том ее понимании, которое до сих пор многими (в том числе и В. И. Лениным — относительно 1-й части, по крайней мере) признавалось марксистским.

Дело не шуточное. Отнесемся к нему серьезно.

На первых двух страницах тов. Слепков выражает свое неудовольствие тем, как я понимаю **социальную сущность самодержавия** (курсив его). Это, видите ли, неправда, будто „самодержавие — политически организованный торговый капитализм". Положим, когда я спорил на этот счет с т. Троцким, я был прав, — соглашается и тов. Слепков: но, повидимому, правота моя заключалась именно в том, что я спорил с т. Троцким. Вообще же говоря, как могу я быть прав, ежели я смешиваю воедино две такие различные категории, как помещик и купец? Ежели я „не охватываю динамики самодержавия" и не замечаю, что „во 2-й половине XIX века происходит" его „социальное перерождение"? Правда, и после разъяснения тов. Слепкова я не совсем схватываю, в чем это „перерождение" состояло. Троекратное подчеркивание „**капитализирует**", „**капиталистический**" мне ничего не дает — ибо ведь и торговый капитализм есть разновидность капитализма, а не чего-нибудь иного. Но останемся при том, что понятно: самодержавие, — „разумеется", — не есть политическая организация торгового капитала. Посмотрим, насколько это согласно с **марксистской теорией**.

Я беру, буквально, первую попавшуюся серьезную марксистскую книжку. Писатель, которого я сейчас буду цитировать, авторитетен и в глазах т. Слепкова, который говорит в своей рецензии, что с этим писателем в очень важном вопросе „согласны все марксисты". Что же говорит этот автор?

„Последнее (крупное землевладение) непосредственно заинтересовано в промышленном развитии. Оно должно продавать свои продукты, — и капитализм создает для него большой внутренний рынок и открывает возможность развития таких сельско-хозяйственных отраслей промышленности, как винокурение, пивоварение, фабрикация крахмала и сахара и т. д. Такая заинтересованность крупного землевладения имеет крупное значение для развития капитализма: обеспечивает последнему на ранней стадии его развития поддержку крупного землевладения, а вместе с тем и государственной власти. Политика меркантилизма и выдвигалась всегда поместьем, продуктом капиталистического преобразования сеньериального хозяйства.

Дальнейшее развитие капитализма очень быстро разрывает эту общность интересов, порождая борьбу против **меркантилизма и его исполнительного комитета, абсолютной государственной власти**. Эта борьба направляется непосредственно против землевладения, которое в значительной степени подчиняет себе эту государственную власть, замещая руководящие посты в войске, бюрократии и при дворе, повышая свои доходы экономической эксплоатацией государственной власти и являясь для окрестностей поместья непосредственным ее представителем".

Итак, по мнению Гильфердинга (цитата взята у него — „Финансовый капитал", русск. пер., изд. 3-е, стр. 404, курсив мой. *М. П.*), абсолютная государственная власть есть „исполнительный комитет меркантилизма". Это, конечно, теоретически лучше выражено, чем мое определение „политическая организация торгового капитала", ибо охватывает не только крупное сельское хозяйство, как поставщика

[1]) См. „Большевик" № 14, 5 ноября 1924 г.

для рынка, но и уральские горные заводы, работавшие на крепостном труде, и крепостные суконные и полотняные мануфактуры, и винокуренные и сахарные заводы и т. д. Но по существу это, конечно, то же самое. При этом, характеризуя свой „исполнительный комитет", Гильфердинг, как и я, в процессе его создания не находит нужным различать „помещика" и „купца": наоборот, помещик у него является даже инициатором „политики меркантилизма". Антагонизм между этими двумя группами появляется лишь в процессе „дальнейшего развития капитализма" — с „развитием промышленности", о котором говорится дальше („Развитие промышленности усиливает политическую позицию буржуазии и угрожает землевладению полным лишением политической власти", там же). Эта дуэль старых и новых форм капитализма, торгового и промышленного капитала, изображена на стр. 14—19 моих „Очерков". Мимоходом сказать, читавшего эти страницы должно очень изумить заявление т. Слепкова, будто у меня „торговый капитал заполонил всю русскую историю". Гильфердинг только напрасно относит эту дуэль целиком на время „после победы над абсолютизмом": ибо без этой борьбы — не купца и помещика, собственно говоря, а промышленности нового типа и „меркантилизма" — не было бы и этой „победы".

Дело, думается мне, достаточно ясно — и мне нет необходимости ни повторять цитаты из I тома „Капитала", приведенные мною в полемике с тов. Троцким, ни приводить отзыв тов. Ленина о I—II частях „Сжатого очерка", где впервые была изложена критикуемая т. Слепковым концепция (отзыв этот у меня имеется в форме частного письма — почему особенно мне и не хотелось бы его тревожить). То же, что противопоставляет этой концепции тов. Слепков, отчасти взято из моей „Русской истории с древнейших времен" (из глав, посвященных XVIII веку) и, фактически, верно — центр тяжести внутри „меркантилистского" блока несколько раз перемещался — но нимало не опровергает общей характеристики „меркантилизма", как ее дает марксистская литература, отчасти же — тут я должен очень огорчить т. Слепкова, но вольно же ему было за эту скользкую тему браться — воспроизводит характеристики т. Троцкого [1]).

[1]) Ср. Слепков, стр. 115: „Во второй половине XIX века происходит социальное перерождение и помещика, и помещичьего самодержавия. Под влиянием мировых экономических связей и роста вывоза хлеба, помещик капитализирует свое хозяйство; помещичье же государство строит желдороги, являющиеся крупно-капиталистическими предприятиями, и поощряет развитие индустрии, связанное с желдорстроительством. Таким образом помещичье государство неизбежно обнаруживает в своей политике элементы буржуазного, капиталистического порядка. Это и не могло быть иначе в условиях „мирового капиталистического окружения"; Л. Троцкий „1905", стр. 21 по первому изд. Сделавшись историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России, царизм этим прежде всего укреплял себя. — К тому времени, когда развивавшееся буржуазное общество почувствовало потребность в политических учреждениях Запада, самодержавие, с помощью европейской техники и европейского капитала, превратилось в крупнейшего капиталистического предпринимателя, в банкира и монопольного владельца железных дорог и винных лавок".

Перехожу ко второй части рецензии. Здесь, сразу должен сказать, позиция тов. Слепкова гораздо сильнее: приведенная им страница „Очерков" принадлежит к наименее удачным в книге и не дает, конечно, никакого понятия ни об империализме вообще, ни о русской разновидности империализма в частности. Если бы т. Слепков ограничился констатацией этого факта, факта моей педагогической неудачи, моего неуменья упростить трудный вопрос так, чтобы упрощение не превратилось в искажение, — мне нечего было бы возразить. На мое счастье, т. Слепков решил не ограничиться критикой Покровского-педагога, а привлечь к ответу и Покровского-историка, да кстати еще свести воедино двух теоретиков, которые на один стул никак не усаживаются — Ленина и Гильфердинга.

Теоретически интереснее, конечно, вторая попытка т. Слепкова — она же, кстати, дает случай объяснить и причины моей педагогической неудачи. Но обойтись без самозащиты Покровский-историк все же не может.

Тов. Слепков весьма продолжительное время поучает меня, что моя характеристика пролетарской революции 1917 г., как мирового явления, обязывает меня „к анализу мировых связей эпохи финансового капитала, т.-е. характеристики специфической структуры „новейшего этапа капитализма". Она обязывает, при объяснении мотивов участия царской России в мировой войне, к учету влияния союзнического финансового капитала на русское хозяйство и политику. Она обязывает к рассмотрению России, как элемента мирового хозяйства". Разрешаю себе привести одну, не слишком длинную, цитату из другой, недавно появившейся, книжки. „Фактически, пред 1914 годом уже не было национальных капитализмов — французского, английского или германского: был мировой капитализм, отдельные группировки которого спекулировали на национальных чувствах мелкой буржуазии различных стран. В России этого периода железо было на 55% в руках французов, на 22% в руках немцев и на 10% в руках франко-германских объединений. В каменном угле эти последние объединения были заинтересованы на 10,5% — в то время как „чистые" французы имели 74,3%, а „чистые" немцы 10,1%. Англичане особенно любили, как известно, русскую нефть, но „национально" владели ею лишь менее, чем на $^1/_5$ (18,5%): почти половину (44,5%) они держали в братском союзе с французами. Юридической же оболочкой для всего этого иностранного держания русских благ были отечественные российские банки, которым принадлежали акции соответствующих предприятий, — тогда как акции самих банков были в портфелях заграничных капиталистов. В руках банков было 85,8% всей русской металлургии, 76,9% каменно угольных копей и 86% нефтяных предприятий. Только текстильная промышленность России перед войной сохраняла еще свой старый, индивидуалистический характер. Все остальное было уже объединено финансовым капиталом, хотя форменные тресты только начинали лишь образовываться".

Откуда это? — спросит т. Слепков. А это из статьи М. Покровского „Как возникла мировая война?", напечатанной сначала в „Пролетарской Революции", а потом — с небольшими дополнениями — в приложении к русскому переводу книжки Каутского под тем же заглавием. Если прибавить к этой статье то, что было напечатано тем же автором на страницах „Большевика" („Как русский империализм готовился к войне?" — см. особенно заключительную страницу) — то, как будто, Покровскому-историку учиться у Слепкова особенно нечему. То, чему он меня поучает, я давно знаю и напечатал, — а вот изложить это так популярно, как этого требовал тон „Очерков", не сумел.

Но, не стану и этого скрывать, — не сумел отчасти потому, что, когда я читал лекции, я еще сидел между двумя стульями, концепцией Гильфердинга и концепцией Ленина, которые различны в чрезвычайно существенных деталях. А так как тов. Слепков и до сих пор в этой позиции обретается, то ему не бесполезно будет проследить небольшой сравнительный анализ этих двух концепций.

Определение Гильфердинга известно. „Политика финансового капитала преследует троякого рода цели: во-первых, создание возможно обширной хозяйственной территории, которая, во-вторых, должна быть ограждена от иностранной конкуренции таможенными стенами и, таким образом, должна превратиться, в-третьих, в область эксплоатации для национальных монополистических союзов" [1]). Тут три основные признака: 1) высокие таможенные пошлины; 2) захват новых территорий; 3) наличность монополистических союзов предпринимателей — картелей, трестов и синдикатов. Тов. Слепков уверен, что „Ленин, как и все марксисты, согласен с Гильфердингом". Но где же у Ленина два первые признака, коими я увлекся, в чем и состояло мое грехопадение? Их нет и в помине в том отрывке, который приводит сам Слепков, как „полную, всестороннюю" характеристику империализма, и мы сейчас увидим, какое скромное место занимают они в ленинской характеристике „исторического места империализма", которую нужно выписать целиком, как она ни длинна.

„Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это — монополистические союзы капиталистов: картели, синдикаты, тресты. Мы видели, какую громадную роль они играют в современной хозяйственной жизни. К началу XX века они получили полное преобладание в передовых странах, и если первые шаги по пути картелирования были раньше пройдены странами с высоким охранительным тарифом (Германия, Америка), то Англия с ее системой свободной торговли показала лишь немногим позже тот же основной факт: рождение монополий из концентрации производства.

[1]) „Финансовый капитал", русский перевод, изд. 3-е, стр. 386.

Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для основной и наиболее картелированной промышленности капиталистического общества: каменноугольной и железоделательной. Монополистическое обладание важнейшими источниками сырых материалов страшно увеличило власть крупного капитала и обострило противоречие между картелированной и некартелированной промышленностью.

В-третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. Какие-нибудь три-пять крупнейших банков любой из самых передовых капиталистических наций осуществили „личную унию" промышленного и банкового капитала, сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющими большую часть капиталов и денежных доходов целой страны. Финансовая олигархия, налагающая густую сеть отношений зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества, — вот рельефнейшее проявление этой монополии.

В-четвертых, монополия выросла из колониальной политики. К многочисленным „старым" мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за „сферы влияния" — т.-е. сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и пр., — наконец, за хозяйственную территорию вообще. Когда европейские державы занимали, например, своими колониями одну десятую долю Африки, как это было еще в 1876 г., тогда колониальная политика могла развиваться не монополистически, по типу, так сказать, „свободнозахватного" занятия земель. Но когда $^{9}/_{10}$ Африки оказались захваченными (к 1900 г.), когда весь мир оказался поделенным, — наступила неизбежно эра монопольного обладания колониями, а следовательно, и особенно обостренной борьбы за раздел и передел мира" [1]).

Итак, тресты и синдикаты, по Ленину, есть лишь один из корней монополистического капитализма, а таможенные пошлины и расширение территории — просто частные случаи. Зато есть еще три корня, при чем важнейшим из них является, несомненно, банковый капитал, создающий финансовую олигархию, „налагающую густую сеть отношений зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества" (курсив наш). Отсутствие упоминания о банковом капитале и является, по-моему, главным дефектом характеристики „Очерков".

Сходясь в теоретическом анализе финансового капитализма, Ленин и Гильфердинг весьма различно объясняют его происхождение, — а для историка это главное. И, конечно, для историка в десять раз приемлемее объяснение Ленина, идущего от понятия мирового

[1]) Собрание сочинений, т. XIII, стр. 332—333. (Курсив мой. *М. П.*).

хозяйства, „раздела мира международными трестами“, а не из „врастания“ в империалистскую стадию отдельных национальных хозяйств, как ставит вопрос Гильфердинг. Последний попросту „универсализировал“ германские и американские отношения, сделал из них общеобязательную мировую норму — и этим должен был оттолкнуть от себя всех, мыслящих не абстрактными экономическими схемами, а конкретными экономическими фактами, т.-е. всех историков [1]).

Вот почему я, пока на-лицо была только формула Гильфердинга,— когда я писал в 1915 г. свой реферат о „виновниках войны“, напечатанный во „Внешней политике“ и упоминаемый т. Слепковым,— отрицал империалистский характер войны „по Гильфердингу“. И лишь прочтя полтора года спустя (еще в рукописи) брошюру т. Ленина, стал понимать империалистский смысл войны. Но не понял, что после работы Ленина соответствующую часть работы Гильфердинга, мягко выражаясь, надо было убрать в архив. В этом мое горе [2]).

Третья часть рецензии т. Слепкова начинается с маленького каламбура. Выписав мое изложение мысли Ленина о связи „мелкого сельского производителя“ и развития капитализма в России, т. Слепков заключает: „Здесь на-лицо некоторая неточность“. Совершенно верно, т. Слепков, что тут есть „некоторая неточность“. Вы выписали не все соответствующее место „Очерков“,—вы пропустили основную, резюмирующую фразу: „Таким образом, крестьянин, получивший в свои руки землю,—это по Ленину,—есть база русского капитализма“.

Несомненно, что в этой фразе мысль Ленина несколько „заострена“, употребляя любимое выражение тов. Слепкова,—попросту говоря, мысль эта выражена здесь несколько аляповато. Но, тем не менее, это подлинная Ленинская мысль. Пусть т. Слепков возьмет „Аграрную программу социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов“ (по изд. 1919 года, стр. 30), и он там прочтет, после цитируемой им параллели „прусского“ и „американского“ типов развития, следующее:

„Само собою разумеется, что при втором („американском“. *М. П.*) исходе развитие капитализма и развитие производительных сил было бы

[1]) Я не останавливаюсь на том, что и самое объяснение возникновения трестов и синдикатов у обоих авторов различное: у Гильфердинга, по существу, из торговой конкуренции (оттого ему и понадобились таможенные пошлины и территории), у Ленина из роста производства. Едва ли нужно говорить, какое более марксистское.

[2]) Эти строки были уже написаны, когда вышла чрезвычайно интересная книжка тов. Ванага „Финансовый капитал в России накануне мировой войны“. Во введении к своей книжке тов. Ванаг, как и т. Слепков, полемизирует с характеристикой империализма, данной в „Очерках“. Но он не ограничивается сопоставлением текстов, а пытается дать анализ объективных хозяйственных условий России конца XIX века. Окончательный его вывод, что в 1890-х годах у нас происходила только „подготовка“ империализма, для меня вполне приемлем. Если же тов. Ванаг думает, что для меня эра империализма в России наступает „с конца 80-х годов XIX века“, то это чистое недоразумение. На соотв. странице (122-й) у меня сказано: „к тому времени, когда у нас капитализм стал бурно развиваться, с конца 80-х годов XIX века, наступила эра империализма“,—не у нас наступила, а вообще, в мировом масштабе.

шире и быстрее, чем при помещичьем исходе крестьянской реформы. Только карикатурные марксисты, как их старались размалевать борющиеся с марксизмом народники, могли бы считать обезземеление крестьян в 1861 году залогом капиталистического развития. Напротив, оно было бы залогом—и оно оказалось на деле залогом кабальной, т.-е. полукрепостнической аренды и отработанного, т.-е. барщинного, хозяйства, необыкновенно задержавшего развитие капитализма и рост производительных сил в русском земледелии“... „И в тех местностях России, где не было крепостного права, где за земледелие брался всецело или, главным образом, свободный крестьянин (напр., в заселявшихся после реформы степях Заволжья, Новороссии, Северного Кавказа), развитие производительных сил и развитие капитализма шло несравненно быстрее, чем в обремененном пережитками крепостничества центре“.

Что это не случайная формулировка, а выражение одной из основных Ленинских мыслей, показывает тот факт, что мы встречаемся с тем же взглядом через 15 почти лет на страницах „Детской болезни „левизны“ в коммунизме“ (цитирую по изд. 1920 г.): „Диктатура пролетариата везде есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесятерено ее свержением (хотя бы в одной стране) и могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии, но и в силе привычки, в силе мелкого производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе“ (стр. 8), и далее: „После первой социалистической революции пролетариата, после свержения буржуазии в одной стране, пролетариат этой страны надолго остается слабее, чем буржуазия, просто уже в силу ее громадных интернациональных связей, а затем в силу стихийного и постепенного восстановления, возрождения капитализма и буржуазии мелкими товаропроизводителями свергнувшей буржуазию страны“ (стр. 60, курсив везде Ленина).

Если в первой части рецензии попытка ревизии обще-марксистского учения о государственном абсолютизме привела т. Слепкова очень близко к Троцкому, то в третьей части начинают звучать почти народнические нотки. Тов. Слепкову чрезвычайно не нравится, что крестьянин—собственник и имеет соответствующую идеологию. Нехотя признав факт этих собственнических черт крестьянина для революции 1905 года, т. Слепков стремится, по крайней мере, хронологически ограничить это зло, отрицая, с одной стороны, крестьянскую собственность Московской Руси, а с другой стороны, изображая современное нам крестьянство как уже чуть-чуть не социалистическое. В 1917 году „масса бедного и среднего крестьянства разносит поме-

щика и (!) кулака, под руководством пролетариата, держащего в своих руках государственную власть",—уверенно заявляет т. Слепков.

Позволю себе и на это ответить цитатой из Ленина. Я беру на этот раз „Странички из дневника" (январь 1923 года), отдельные места которых давно обратились в лозунги. Сказав о том, что городской рабочий должен быть проводником коммунистических идей в среду сельского пролетариата, Ленин оговаривается: „Никоим образом нельзя понимать это так,— будто мы должны нести сразу чисто и узко коммунистические идеи в деревню. До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно, это будет, можно сказать, гибелью для коммунизма. Нет. Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм. Такая цель не может быть сейчас достигнута. Такая цель несвоевременная. Постановка такой цели принесет вред делу вместо пользы".

Как видит т. Слепков, Ленин так же мало полагался на „перерождение" русского крестьянина в 1917 году, как и на перерождение российского абсолютизма в XIX веке. „Мужицкий капитализм" продолжал для него, как, впрочем, и для всех трезво мыслящих марксистов, оставаться фактом и угрозой и после Октябрьской революции.

Но, волнуется т. Слепков, „нельзя сказать просто мужицкий капитализм. Если бы дело обстояло так, то наши перспективы были бы безнадежны".

Напрасно волнуется т. Слепков. Крестьянство, даже кулацкое, слишком зависит от пролетариата, ведущего борьбу против империализма в мировом масштабе, чтобы его бросить и перейти—на чью сторону? Тех трестов и синдикатов, того банкового капитала, который высасывает и американского фермера, и французского крепкого мужичка? Во Франции во время империалистской войны настроение крестьянской массы было куда революционнее иных отрядов пролетариата. И сейчас французские крестьяне дают много голосов коммунистической партии, а фермеры Соединенных Штатов тянутся в одну партию с рабочими—фермеры же Соединенных Штатов столь типичные представители „мужицкого капитализма", что где же у нас таких сыскать. И это, пока мы остаемся в кругу крестьянской аристократии белых народов. А если взять цветное крестьянство Судана, Индии, Китая,—только цветом кожи и одеждой отличающееся от нашего, а экономическая категория та же, — если мы возьмем крестьянство тех стран, где борьба с империализмом есть борьба за национальное существование, мы получим такую смычку пролетарско-крестьянского фронта против этого империализма, что смешно бояться того факта, что в русской деревне кулак не только существует после 1917 года, но и сидит кое-где в этой деревне на командующих высотах.

Подведем итоги. Тов. Слепков правильно подметил неточность некоторых формулировок, данных в „Очерках". Особенно правильным является его замечание о моей характеристике империализма. Но, к сожалению, он не остановился на других сторонах „Очерков", как раз тех, ради которых я их и пустил в печать: на новой схеме истории русского революционного движения XIX века и на главах, посвященных Столыпинщине и войне. Вместо этого, т. Слепков по поводу моей новой книжки занялся пересмотром моих старых (но, как видится, не устаревших) теорий. А затем, в моем скромном лице, попробовал сразиться с т. Лениным по вопросу об исторической роли крестьянства. В этих двух случаях т. Слепков потерпел неудачу, оправдав французскую поговорку: „qui trop embrasse, mal étreint", по-русски говоря, в вольном переводе: „Кто слишком много захватит, у того из рук валится".

Этой поговоркой позвольте закончить мой маленький сборник цитат. Я ведь и обещал хрестоматию...

———

Нервный марксизм или—паническая критика?

А. Залкинд.

Настойчивая, внимательнейшая защита ортодоксального марксизма от реакционных на него посягательств имеет сейчас, конечно, огромное революционное значение. Мелко-буржуазное пропитывание особенно опасно именно в области идеологии, так как здесь, больше, чем где-либо, оно умело маскируется, облекается архи-боевой фразеологией, хитрит, лукавит. Поэтому важно уловить вражескую атаку в самом ее зародыше, критически обнажить фронт противника,—не медля, из обороны перейти в нападение. Отсюда дальнозоркость, острота, беспощадность, боевая стремительность значительной части современной ортодоксально-марксистской критики [1]).

Но трагедия напряженнейшей идеологической борьбы не должна извращаться в комедию. Ортодоксальный марксизм и его лучший защитник—коммунистическая партия—достаточно устойчивы и здоровы, чтобы не впадать в панику: идеям преследования, галлюцинациям—в среде защитников марксистской ортодоксии не должно быть места. Одного только, „кажется", совсем недостаточно, чтобы переходить в бурное критическое наступление: требуется понимание критикуемого произведения, детальное знакомство со всем его содержанием в целом, уменье сопоставить различные его части,—одним словом, требуется критическая внимательность, объективно-критическая организованность. Иначе и ветряная мельница врагом покажется, и ребенка выплеснешь из критической ванны вместе с грязной водой. „Пуганая ворона куста боится",—стиль совсем не подходящий для марксистской критики в СССР, где марксизм является идеологическим диктатором. Критическая паника на руку врагам марксизма, и только им.

Беспощадная расправа марксистской критики с попытками биологизировать социологию более, чем законна. Претендующая на „исчерпывающий" материализм, современная биология особенно упорно пытается вмешаться в анализ социальных явлений. Опираясь на, будто бы, эксперимент, на „объективизм", она тщится, взамен марксистской, социологической закономерности, установить биологическую закономерность в социологии и тем в корне подкапывается под марксистские формулировки исторического процесса. В лучшем случае, „идя на уступки", биология соглашается не заменять собою социологию, а „органически" дополнять ее,—что, конечно, точно так же неприемлемо для марксизма, как его со-

[1]) К сожалению, далеко не всей: подробно я пишу об этом в другом месте.

циологические построения не терпят биологического вмешательства. Поэтому критическая стража на пороге биологии должна быть на-чеку больше, чем где бы то ни было.

Отсюда вполне уместны все соображения, высказанные т. Вайнштейном в № 4—5 журнала по поводу биологических посягательств на марксизм [1]). Один лишь грех у рецензента: обвиняя именно меня в этой биологизации, он имел перед собой... вымышленного его паническим воображением противника. Критикуемая т. Вайнштейном книга в такой же степени повинна в биологизации марксизма, как повинен в ней и сам т. Вайнштейн. Критик не уловил целей автора, не учел аудитории, которой книга предназначалась,—не понял, наконец, самой книги. Критику панически „показалось" (а,—спец-психоневролог пишет о марксизме,—ясно, надо ждать от него психоневрологического марксизма,—ату его!),—и пошло́, и пошло́... Рецензией т. Вайнштейна руководила паника.

Психо-неврология представляет собою огромной практической важности научную область, которой исторически суждено испытать в эпоху пролетарской революции серьезнейшие потрясения. Она питает собою проблему воспитания, проблему преступности, проблему творчества, проблему нервно-психического здоровья,—являясь, тем самым, далеко социологически не нейтральным научным комплексом. Революционный пролетариат как нельзя более заинтересован в том, чтобы эта, огромного социального значения, отрасль научного знания целиком вступила на материалистическую и объективистическую почву, чтобы она полностью служила интересам классовой борьбы пролетариата. Не меньше заинтересована буржуазия в противоположном,—и, в течение долгих десятилетий своего господства, она умело изуродовала психо-неврологию, принудив ее служить своим классовым целям. Лучшим средством для этого оказалась максимальная биологизация нервно-психических процессов, старательнейший недоучет социальных факторов,—„аполитизм", „внеклассовость" психоневрологических данных.

„Дети биологически связаны с давним историческим прошлым человечества,—все свое основное развитие, вплоть до юности, они автоматически повторяют все этапы биологической эволюции человечества,—и их следует поэтому дальше держать на возможно более приличном расстоянии от социальной современности".—„Преступность, нарушения этики („моральное чувство")—явления в корне биологического порядка".—„Источником и регулятором творческого процесса является биологический аппарат творящего,—отсюда идеологическая нейтральность, аполитицизм, внеклассовость творческой истины".—„Психические нестроения—в корне питаются наследственностью, конституцией,—и биологический момент является основным в психоневрологии",—„Мозговая культура—продукт биологической наследственности", и т. д., и т. д. Хорошо, не правда ли?

Как, с этими „внеклассовыми" психо-неврологическими истинами, может пролетариат приступить к практическому строительству—представить себе довольно трудно, так как в приведенных соображениях материала для психо-неврологического классового оптимизма, как видим, маловато. Ведь революционная педагогика должна строиться как раз на максимальном, с самых ранних лет, сближении

[1]) Рецензия на мою книгу: „Очерки культуры рево. времени" („Под Знаменем Марксизма", № 4—5 с. г.).

ребят с классовой общественной современностью; ведь пролетариат получил „по наследству“ довольно бедную мозговую культуру; ведь идеологическая диктатура победившего пролетариата предполагает классовую заинтересованность творческого процесса; ведь „преступления“, „грубые этические нарушения“ представляют собою, в буржуазном обществе, „грех“, главным образом, рабочего класса. Психо-неврология сурово отводит в сторону все боевые, оптимистические притязания революции,—„научно“ их не подтверждает. Защитой этого контр-революционного, сверхбиологизированного торможения заняты сейчас сотни ученых психо-неврологов, десятки научных журналов.

Надо ли с этим направлением марксисту бороться, т. Вайнштейн? Или же для марксиста действительно все вышеперечисленные психо-неврологические вопросы совершенно безразличны, не задевая собою интересов классовой борьбы пролетариата? Как думаете, т. Вайнштейн?

Конечно, надо бороться. Но как? Одним путем: надо, опираясь на объективистический и материалистический подход, этой самодовлеющей сверхбиологизации современной психо-неврологии, противопоставить материалы, убедительно доказывающие огромное значение социального фактора; надо уяснить психо-неврологам на их собственном материале (конечно, без натяжек: объективно, научно), что классовая борьба, социальная диалектика, революционный процесс не являются „книжной абстракцией заоблачных теоретиков“, что социальная динамика врезалась в кровь и плоть человеческого организма, оставив на нем неизгладимые, грубейшие, „реальнейшие“ следы; надо обосновать, что главная биологическая пакость в человечестве—не от бога (бергсоновский „биотворческий“ порыв) и не от самого организма возникла, а от социальных условий, революционное изменение которых одно только в силах разрешить и биологические проблемы человечества. Биологизму современных психо-неврологов надо противопоставить социологизм революционного пролетариата. Значит ли это, что мы нарушаем тем социологические построения марксизма, что мы открываем доступ вмешательству биологического фактора, биологической закономерности в социальный процесс? Ни в малейшей степени. Экономическая всеобусловленность процессов общественной жизни остается ничуть не потревоженной,—точно так же, как не потревожена она и научным признанием тех геологических и атмосферических изменений, которые создаются сейчас на земном шаре гигантской капиталистической техникой. Этот последний факт ведь не возбуждает ничьей критической паники, т. Вайнштейн? Борьбе с биологизмом и только ей,—настойчивейшей, на каждой странице проводимой борьбе,—посвящается вся моя книжка полностью—г. же Вайнштейн, оказывается, этой борьбы как раз и не заметил: я очутился тоже в биологизаторах. Книжка ли в этом виновата, или же ее критик,—попытаемся разобраться.

В самом деле, что пишу я в своей книжке (да простят читатели за длинные выписки, но, так как рецензент грубо и полностью исказил основную сущность книги, надо восстановить истину; тем более, что попытки использования психо-неврологии марксистами новы).

— „Производственный прогресс ломает и коверкает окружающую так называемую естественную природу, подчиняя ее человеку. Человеческий организм, по мере освобождения себя от непосредственной власти естественной среды, все больше подпадает под влияние тех условий, которые развиваются вместе с ростом производительных сил.

Все меньше зависит он от естественной природы (солнца, леса, реки и проч.), все глубже погружается он в усложняющуюся искусственную среду, созданную производством, в среду общественную. Рост индустриальной техники последнего столетия перекраивает заново всю установившуюся в период примитивного земледелия систему безусловных рефлексов человеческого организма. Люди пользуются конечностями, органами чувств, дышат и т. д. в современных городах, при современном типе борьбы за существование, далеко не так, с сильно изменившимися приемами, в сравнении с тем, как это проделывалось их предками несколько столетий назад. Это меняет, конечно, и всю установку внутренних органов. Все так называемые „инстинкты“, все так называемые „типические“ законы пола, возраста, наследственности,—все установившиеся некогда нормы основных функций (пищеварение, кровообращение, дыхание, и т. д.) претерпевают сейчас, под давлением гигантски усложняющегося производственно-общественного бытия, глубочайшие и достаточно быстро развертывающиеся метаморфозы. Некогда твердая, мощная система безусловных рефлексов человеческого организма, дававшая право говорить о почти прочных законах человеческой физиологии, зашаталась, раздробилась и начала расползаться по всем швам. Но окружающая производственно-общественная среда меняется сейчас с чрезвычайной быстротой, и человеческий организм не успевает зафиксировать устойчивую серию новых безусловных рефлексов, способных, как бронирующий фонд, переходить по наследству. Большинство вновь приобретаемых сочетаний рефлексов оказываются легко разрываемыми и требующими беспрестанных, все новых и, поневоле, пока хрупких поправок“ [1]).

И далее [2]): „Чудовищно архаически звучат теперь „авторитетные“ утверждения о незыблемости и единстве физиологических законов. Физиологические законы должны быть пересмотрены в соответствии с социальной действительностью и вне всякой связи с сознательным и бессознательным физиологическим мистицизмом подавляющего большинства современных исследователей. Антропофизиология должна учесть гигантскую как дезорганизующую, так и организующую роль социально-экономического фактора“.

Что антимарксистского высказано в этой основной мысли моей книги, т. Вайнштейн? Где здесь „физиологический идеализм“? Где вы нашли „биологизацию социологии“?

Далее [3]): „Психотерапия категорически подтверждает социально благоприобретенную природу многих человеческих болезней, обнажая в этом факте богатейший социальный динамизм человеческой физиологии, сложнейшую его личную изменчивость под непосредственным влиянием социальных условий, могущих как болезнетворно подкопаться под добрую половину физиологических функций, так и исцелять социогенно заболевшие функции“.

— „Психогенная болезнь—это пронизывающая все органические функции боевая социофобия (бегство от общества, страх общества), своего рода биологический саботаж. Недаром в психогенных болезнях и в огромном большинстве так наз. „нормальных“ социальных рефлексов (где их разыщешь в хаосе капиталистического строя?) социофобиями связана подавляющая часть энергии организма, при ре-

---

[1]) „Оч. культ.“, стр. 12.
[2]) „Оч. культ.“, стр. 13.
[3]) „Оч. культ.“, стр. 25.

флекторной установке его на совершенно нецелесообразные пути. Психогенные болезни представляют собою сейчас массовую болезнь деклассирующихся социальных групп Запада, потерявших свою устойчивую социальную базу и потому „убегающих в психоневроз“ (социофобия). Задача лечения—в отыскании общественно-целесообразного русла для этой ущемленной энергии, в социальной ее сублимации. Можно смело утверждать, что социальной сублимации [1]) подлежит не меньше половины сейчас парализованной и потому гнилородной человеческой энергии, цепко связанной явными и скрытыми социофобиями“.

— „Таким образом разрешение проблемы о биологии человека, т.-е. медицинской проблемы, по мере общественного усложнения человеческого организма, все более становится социальным вопросом. Узкого и тусклого подхода, допускаемого старой санитарией и гигиеной, совершенно недостаточно. Для современного человеческого организма, представляющего собою все более усложняющуюся систему общественных рефлексов, требуются новые лечебные и предупредительные способы. Лечение человеческого организма в настоящее время в значительной своей части фактически сводится к изменению его общественной рефлекторной установки“ [2]).

Тов. Вайнштейн, где здесь биологизм, „биологическая морализация“?

— „Развитие общественных рефлексов организма, т.-е. все более подавляющая часть человеческой физиологии, целиком определяется классовой борьбой внутри человеческого общества [3]). Однако, и та часть патологии, которая проистекает из непосредственно грубого анатомического или химического нарушения организма, тоже возникает из классового строения общества. Ведь туберкулез, сифилис, наследственные психозы, алкоголизм, инфекционные болезни,—на девять десятых продукт определенного строения общества, состояния его техники и культуры, т.-е. и определенной стадии классовой борьбы. Разрешить правильно современную проблему здорового и больного человеческого организма возможно, лишь исходя из классового понимания общества и заняв в классовой борьбе определенное осознанное и действенное положение“.—„Медицинская нейтральность—это низведение глубоко социального человеческого организма к малосоциальному типу более низких животных, это ветеринарный подход к человеку“.

По-вашему, уважаемый критик, это называется биологизмом?

Критикуя работу первого психоневрологического съезда, я пишу [4]): „педологическая секция, по скверному старорусскому обыкновению, покорно копировала ученый Запад, вприпрыжку за ним поспевая и почти совершенно не учтя того взрывно-научного своеобразия, которое революция создала для многих научных отраслей, в том числе и для педологии. В первую голову отметим чудовищное засилье того, что мы называем биогенетическим максимализмом, или, еще вернее, биологическим атавизмом. Можно думать, что на секции речь шла о зоопедологии (наука о звериных детенышах), а не об антропопедологии (наука о человеческом детеныше); совершенно забыта была в секции гигантская разница между обычным животным

[1]) Социально полезные переключения.
[2]) „Оч. культ.“, стр. 28.
[3]) „Оч. культ.“, стр. 30.
[4]) „Оч. культ.“, стр. 74.

организмом и глубоко социально дифференцированным, резко в последние столетия потрясенным во всех своих биологических основах человеком. Вместо все более текучей, все более динамизирующейся человеческой биологии, секция дальше реакционного биогенетического принципа пугливо не шла. Революционизирующее значение учения о рефлексах, в корне перекраивающего наши представления о связи биологических напластований с давящим влиянием социальных условий, секцией ни в малейшей степени не учтено. Чрезвычайной ценности соображения фрейдовской школы о психосексуальных этапах развития ребенка,—соображения, проливающие яркий методологический свет на социальную обусловленность и текучесть сокровеннейших уголков человеческой биологии, не нашли в секции никакого отражения“.

Планируя учебную работу педагогических вузов, я пишу [1]): „Из отдельных дисциплин педология (детская биология) должна предусмотреть также биологическую историю человека с точки зрения классового расслоения общества (классовая психофизиология и детство); детская психопатология должна изучаться с точки зрения социальных, классовых причин детских психопатий и социальных же методов борьбы с ними“.

При анализе детских психопатий, те же социальные моменты определяют собою все болезненные детские группировки [2]).

При описании общих проявлений половой жизни решающим моментом оказывается все тот же социальный фактор [3]): „Расплющив целую серию естественных биологических проявлений, извратив пищевые, двигательные, дыхательные устремления человеческих организмов антигигиенической обстановкой производства, эксплоатации и гнилой атмосферой „культурных“ городов, классовый строй создал все условия для ложного направления энергетического фонда“.—„Фонд современного полового опыта является нагромождением совершенно разнородных элементов, происходящих из глубоко отличных источников, объединенных лишь случайной технической связью—„общим эмоциональным знаком“. Современная общественная жизнь, подавляя естественные общебиологические и социальные проявления, старательно нагнетает всю выдавленную ею из человеческих организмов энергию в сторону полового,—удивительно ли, что в результате подобной „работы“ нас постигло целое половое наводнение“.

При критике фрейдизма [4]),—указывая на серьезнейшие метафизические опасности, заключающиеся в этом учении, и, в частности, на опасности биологизации социальных явлений, порождаемые фрейдовской сексуальной теорией и фрейдовской „комплексологией,—даже фрейдовской психоаналитической терапией,—я в то же время выделяю плодотворные, психофизиологические части учения, подтверждающие колоссальное значение социального фактора для биологических процессов: „Ослабление у Фрейда примата наследственности, в сравнении с приобретенным социальным опытом (в согласии с учением об условных рефлексах), является плодотворнейшим методологическим преддверием для диалектического изучения биологической изменчивости человека под влиянием социальной среды и для построения оптимистической революционно-марксист-

[1]) „Оч. культ.“, стр. 186.
[2]) „Оч. культ.“, стр. 50.
[3]) „Оч. культ.“, стр. 59.
[4]) „Оч. культ.“, стр. 59.

ской педагогики, в противовес господствующим статически-педологическим течениям, базирующимся целиком на реакционнейшей—так назыв. биогенетической теории и на учении о конституциях в биопатологии" (т.-е. на чистейшей биологизации человека) [1]).

Высказываясь по поводу „военных психоневрозов", я подвожу читателя к социальным их предпосылкам. Военный психоневроз—это, в массе своей, бегство чуждых войне социальных слоев от войны в болезнь. Социальная конъюнктура СССР, приближающая цели войны к социально-экономическим интересам подавляющей части армии, уменьшает стимулы к этому бегству от войны (что фактически подтверждается сейчас и уменьшением количества психоневротиков в Красной армии, в сравнении с царистским периодом). В качестве терапевтического фактора при этом надо также учесть и демократизацию комсостава, и допризывную подготовку, и терсистему, и шефство над Красной армией, и глубокую идеологическую ее связь с мирным тылом.—Неужели все это тоже биологизация?

Итак, как видит читатель, по всей книжке, на каждой странице, всюду основной нитью проходит вполне недвусмысленная, настойчивейшая борьба именно с тем биологизмом в социологии, в котором так старательно, неустанно, непрерывно обвиняет меня критик.

Как назвать такую критику? В психо-неврологии подобный метод мышления называется систематизированной галлюцинацией: за основу рассуждения принимается вымышленный объект, к нему настойчиво подбирается всякая мелочь для обоснования именно этого, нужного сейчас, момента (положительная галлюцинация), и, при этом, столь же настойчиво не замечается масса крупнейших фактов и доводов, направленных как раз против вымышленной идеи (отрицательная галлюцинация). Это „незамечание" чаще всего связано с состоянием страха, с паникой—при чем паника обычно питается областями, по конкретному своему материалу мало известными ее испытывающему.—Паническая критика т. Вайнштейна как раз и отличается настойчивым обсасыванием мелких положительных галлюцинаций (вымышленные им пустяки),—еще более настойчивым „незамечанием" всего содержания книги в целом,—и происходит это, видимо, в значительной степени потому, что область критической атаки — психоневрология—мало известна т. Вайнштейну.

В самом деле, что нашел критик в нашей книжке, что сказал он по поводу нашей книжки?

Во-первых, он взял под свою высококомпетентную защиту (надо же знать рецензируемую область, т. критик) старую психо-неврологию (видимо, за избыток ее социологизма) от „опасных биологических посягательств" на нее т. Залкинда.

Старая психоневрология, отстаивая самодовлеющую биологическую эволюцию человека, является непримиримым врагом всякого революционизма в подходе к культуре: „неумолимая" наследственность, вялое формирование новых навыков, настойчивое удерживание старых накоплений,—все это не мирится с революционным процессом в человеческой общественной жизни. Вот почему психо-неврология

[1]) Серьезная, внимательная попытка т. Юринец („Под Знам. Маркс.", № 8—9) отрицательного философски-социологического анализа фрейдизма (кое в чем и спорная) ничуть не противоречит, по существу, признанию ряда психофизиолог. ценностей этого учения. Большие сомнения, однако, вызывает позиция т.т. Троцкого и Радека в вопросе о фрейдизме. Судя по их высказываниям („Литер. и Револ.", „Правда", 1923 г.), можно полагать, что фрейдизм для них приемлем полностью. Эта позиция, конечно, очень опасна.

всегда была озлобленнейшим врагом всякой революции, как носительницы „биологического разложения", „беспорядка", „вырождения", ничем биологически положительным не окупающегося (см. Тарда, Ковалевского, Лебона, Сикорского и др.). Залкинд же, о ужас, переводя марксистское понимание общественной жизни на удобопонятный для биологов производственный язык, пытался реабилитировать революцию от ненаучной—биологизированной, психо-неврологической на нее хулы. Очень сжато (эта сжатость стиля в мало известной критику области, видимо, сильно повредила ходу его рассуждений), т. Залкинд разъяснил психо-неврологам (не социологам, т. Вайнштейн, а психо-неврологам,—вот откуда психо-неврологический язык книжки, так сбивший вас с толку), что когда производственные отношения из формы развития производительных сил превращаются в их оковы,—в это время господствующий класс оказывается и биологически вредным, а революционный класс тогда—единственный носитель и биологического прогресса. Революция же,—эта, казалось бы, биологическая разрушительница,—в конечном счете приносит неисчислимейшие биологические блага. Революция, формируя собой новые общественные отношения, меняет вместе с тем и условия существования нервной системы людей, создавая для масс более благоприятные жизненные обстоятельства (ужасно, ужасно,—восклицает критик,—значит по Залкинду, нервно-психические законы руководят общественным бытием!—Наденьте логические очки, близорукий рецензент, и еще раз прочтите статью: в ней повсюду говорится лишь о том, что новая социальная среда создает новые условия, т.-е. и новые законы для нервно-психической жизни. Понять это наоборот можно лишь при „логике наоборот"). Так было непосредственно после французской революции, когда производственно, т.-е. биологически, раскрепостилась мелкая буржуазия,—так будет навсегда и в пролетарскую революцию, когда производственно, т.-е. и биологически, раскрепостится вся трудовая масса. В частности,—либеральствующей, реформистской, биологизированной санитарной гигиене, нудно скулящей о том, что лишь повседневной гигиеной и санитарной грамотностью можно оздоровить человечество, я противопоставил соображение, что противофеодальная французская революция, освободив капиталистическую, в том числе и санитарную технику, во много раз более способствовала технике гигиенического усовершенствования, чем самая настойчивая повседневная борьба со вшами и грязной водой: т.-е., в переводе не только на производственный, но и на биологический язык,—революция—явление благодетельное [1]).

Что может спокойный, неиспуганный марксист опротестовать в этих скромных соображениях? Что, собственно, в них марксистски нового, способного напугать не панические сердца? Я и не претендовал открыть ими Америку (да и вся книжка на это не претендует),

[1]) Биологическая прогрессивность всякой буржуазной революции, конечно, временная, так как собственность—этот создатель хаоса—все же остается. Абсолютный биологический прогресс заключается лишь в плодах коммунистической, последней революции,—о чем я и пишу („О. К.", стр. 30): „система единственно целесообразных общественных рефлексов создается в социалистическом (коммунистическом) строе. Плановое хозяйство, четко регулируя общественные взаимоотношения, должно создать в организме наиболее рациональные общественно-рефлекторные сочетания (биологический тейлоризм) и сведет к нулю все травматизирующие биохимические факторы. Борьба за здоровье превращается в борьбу за социализм",—иначе „медик будет пребывать в позиции квалифицированного ветеринара". Напрасно, между прочим, бросают меня в общую кучу с оголтелыми фрейдианцами: я от них не менее далек, чем т. Юринец. Чтобы разобраться в этом, надо лишь хорошо знать Фрейда и внимательно читать то, что я пишу.

а разъяснял наши азбучные истины коллегам (врачам, педагогам), не привыкшим к чисто социологическим формулировкам, а потому, нуждающимся в применении последних к биологическому, своему профессиональному материалу (это называется производственной пропагандой, т. Вайнштейн). В какой части этих соображений скрывается „тонко" подмеченное критиком покушение на приоритет экономической структуры, — расшифруйте же нам ваше „открытие", т. Вайнштейн.—Этот приоритет предполагался автором всюду сам собой, как общая предпосылка для столь напугавшей критика статьи, но статья [1]), в тезисном порядке, лаконически печаталась сначала в неиспугавшейся „Правде", где азбучных истин марксизма повторять, конечно, не надо; посвященная предстоявшему тогда второму психо-неврологическому съезду, она лишь вкладывала готовые марксистские формулировки в удобопонятные для психо-неврологов производственные понятия.

Я пишу,—что „во время революции прорывается огромная нервно-психическая энергия" [2]). Критик же „противопоставляет" этому „идеалистическому соображению" мысль т. Ленина о том, что одним из признаков революции является обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов" [3]). Это „противопоставление"—плод психо-неврологической научной девственности критика. Та же рефлексология, перед которой, тоже не поняв ее, не к месту распинается дальше т. Вайнштейн,—учит, что наиболее сильные энергичные возбуждения, прорывы—бывают в результате предшествующего длительного торможения: „обострение же выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов",—что это такое, как не конденсированное торможение? Конечно, ни т. Ленин, ни скромный автор столь обруганной Вайнштейном книжки,- ни секунды не предполагали, что в этом прорыве или в этой нужде лежит конечная причина революции. Это не причина, а проявление социального процесса,—так это и поймет в моей статье всякий непредубежденный читатель, не страдающий логической атаксией, паникой. А если так, при чем же тут выдуманный критиком „психо-неврологированный" марксизм?

— „Это психо-неврологический, а не марксистский взгляд на революцию",—жестоко казнит нас т. Вайнштейн,—„его претензии на ортодоксально-марксистскую точку зрения могут быть оправданы, пожалуй, только... с психопатологической точки зрения,—это патологическая идеология, патологический марксизм".

Напраслина, т. критик! С больной головы на здоровую. Дело не в психо-неврологическом марксизме,—а в патологической, панической критике.

Особую жестокость (самая сердитая жестокость—жестокость паники) проявляет рецензент по поводу моей фразы: „материалистическая социология опирается на биологические факторы (борьба за жизнь").

— „Теперь ясно,—ликует т. Вайнштейн,—кто понимает материалистическую социологию, как учение о борьбе человеческих организмов за жизнь, тот органически способен договориться до всего, вплоть до патологического марксизма".—Разрешите, т. Вайнштейн, преподнести вам небольшой урок стилистической грамотности: опираться на что-либо—это не значит объяснять движущие стимулы и законы движения орудием опоры. Опираться на палку—это вовсе не значит

[1]) „Револ. с психоневрол. точки зрения" („О. К", стр. 64).
[2]) Там же.
[3]) „Под Знам. Маркс.", стр. 297—298.

ходить палкой. Ходят ногами,—стимулы для ходьбы имеются во внешней среде (целевые раздражатели) и в нервной системе; палка же, давая организму точку опоры, позволяет этим стимулам проявиться в организованных движениях. Это по поводу стиля,—теперь по существу. И Маркс, и Энгельс неоднократно указывали своим паническим ученикам, что исходным моментом всего исторического развития явились биологические потребности: они и дали толчок социальному процессу. Тов. Ленин, говоря о значении Маркса, вместе с Энгельсом указывает, что Маркс, взамен того, чтобы искать стимулы исторического процесса в человеческих головах, в идеях - открыл их в элементарных материальных (т.-е. биологических) потребностях человека: потребности в питании, в тепле, жилище и пр. Это, конечно, не значит (неужели т. Вайнштейн нуждается в подобных разъяснениях?), что биологический момент, дав толчок общественному развитию, каким-то самодовлеющим порядком вмешивается в создавшуюся социальную закономерность,—но это все же значит (и всякий психически здоровый, т.-е. действительный последователь Маркса и Ленина это подтвердит), что не будь биологического момента, т.-е. живого человека с его потребностями,—исчезни они с лица земли,—не было бы и социального развития и установленной Марксом экономической всеобусловленности. Толчок, живое движение этому развитию, этой закономерности—дает, давала человеческая жизнь, человеческие потребности, т.-е. биология, не вмешиваясь уже затем в самое существо этой закономерности. История не объясняется биологическими факторами,—последние были исходным двигательным стимулом для исторического процесса и только. Только это и означала моя „ужасная" фраза, только это и могла она значить для всякого, добросовестно прочитавшего книгу.—„Орудия производства постепенно связывают человеческие организмы во все более сомкнутые общественные группы, определяя собой в дальнейшем форму и содержание этих групп, т.-е. и изменения отдельных организмов внутри этих групп"; „развитие общественных рефлексов организма, т.-е. все более подавляющая часть человеческой физиологии, целиком определяется классовой борьбой внутри человеческого общества" [1]).—Изменяя природу, мы изменяем и сами себя,—не так ли, тов. Вайнштейн?

Где же здесь щель для прорыва биологического фактора в социальный процесс? Наоборот, речь всюду идет о все более и более углубляющейся зависимости биологических явлений от социальной среды. Это соответствует реальным фактам,—и это вполне приемлемо для марксизма. Кричать „караул" или отплясывать радостное антраша над „поверженным" противником—не от чего. Это больной испуг, больная радость,—радость паники.

Но паника стойка, критик продолжает оставаться беспощадным. Галлюцинации „психо-неврологированного" марксизма особенно пышно мерещатся ему в статье—„о язвах РКП" [2]). „В проблеме РКП Залкинд и здесь выступает в роли морализующего биолога; анализ РКП он проделывает не под углом социальности, а под углом эмоциональности [3]); эмоциональность у него сама по себе напрягается в период революционных боев, в период строительства не находит применения, прорывает себе ходы и выходы по естественным и окольным путям".—„Это не так,—говорит критик своему призрачному

[1]) „О. К.", стр. 30.
[2]) „Под Знаменем Марксизма", стр. 298.
[3]) Курсив мой всюду.

противнику,—именно после периода битв, благоприятствовавшего положительному отливу эмоциональной энергии, но уступившего место периоду мирного строительства, эмоциональная энергия РКП не только не оказалась перед тупиком, но, напротив, обнаружила громадный творческий размах". (О ужас... ортодоксальный марксист Вайнштейн позволяет себе говорить об отливах в творческих размахах эмоциональной энергии, т.-е. о понятиях, только что Вайнштейном же названных в устах Залкинда ренегатскими). И дальше убийственный вывод: „У Залкинда субъективно-эмоциональный подход к вещам, который исчерпывается этической и биологической фразеологией; это метод осуждения без уяснения социальных причин того содержания, которое он догматически осуждает" [1]).

Для объективного судебного следствия лучший путь—знать материал обвинения, вменяемого подсудимому, т.-е. в данном случае знать его книжку. В самом деле, что пишет в своей книжке „обвиняемый" по поводу „язв РКП" [2]): „Революционный переворот, затрагивая собою и включая в себя гигантский фонд основных жизненных интересов масс, создает тем самым мощный взрыв эмоций (чувствований)". Далее я указываю, что эти эмоции развиваются по линии социально-экономических влияний, подчиняются задачам социально-экономического развития. Итак, не эмоциональность создает революционный процесс, а сама им создается. Что здесь не марксистского? Разве в действительности революционный процесс не создает крупного эмоционального возбуждения? Если бы речь шла о самостоятельном влиянии этой эмоциональности на основную линию революционного процесса,—дело другое,—но об этом нигде в книжке не говорится. Чего вы испугались, панический критик?

Далее [3]): „Революционная партия, организованно выявляя основное социальное содержание революционного процесса, впитывает в себя подавляющую часть этой эмоциональной силы, превращающейся в самое ценное боевое богатство партии".—А разве это не так,—разве история РКП, по психологической своей технике, не есть история умелой, настойчивой, непрерывной организации этой классовой эмоциональности? Разве борьба т. Ленина за воспитание в рабочем классе боевых качеств (хотя бы 1905 год) не есть гениальный педагогический подход к организации этой эмоциональности?—Умоляю, однако, критика не пугаться: я говорю не о корнях революционного развития, а лишь о психологической технике организации революции.

Далее [4]): „Наступает вторая стадия революции. Не вся эмоциональность революционной партии рационально используется в этот второй, строительский этап революции. Настолько новы созданные революцией социально-экономические соотношения, настолько оригинальны пути и способы органического революционного строительства, настолько мало еще усвоены необходимые для этого, невиданные еще строительские навыки, что примениться к практическому делу части революционных бойцов удается не без некоторого, подчас и очень большого труда, который тем более усложняется, что уж очень быстр, резок и внутренне нов переход от боевой полосы к обстановке строительства. Особенно трудно удается это приспособление тем слоям

[1]) „Под Знам. Маркс." № 4—5, стр. 299.
[2]) „О. К.", стр. 121.
[3]) „О. К.", стр. 122.
[4]) „Под Знам. Маркс.", стр. 300.

революционной партии, которые за время революционных боев потеряли свою былую производственную базу. Еще более тяжело оно дается тем элементам партии, которые пришли в революционные ряды из не вполне родственных революции социальных групп. Положение усугубляется, еще более запутывается сложными, непредвиденными зигзагами новой социальной политики".—Казалось бы, детальнейшим образом разъясняется, что для направления психических процессов (эмоциональности тож) всюду существуют директивные социальные предпосылки,—при чем же здесь рожденная критической паникой „самодовлеющая, первозданная эмоциональность"?

— „Незачем ухищряться в биологической фразеологии, в различении сексуалистов и пьяниц",—кончает т. Вайнштейн свою высокосправедливую критику „язв РКП",—незачем приходить в моральное негодование,—вот Энгельс в этаких случаях говорил, что такое состояние моральной деградации, коренясь в условиях, создаваемых капиталистической эксплоатацией, толкает пролетариат к борьбе с буржуазией,—к борьбе, не знающей перемирия и долженствующей кончиться победой пролетариата над буржуазией. Относительно же выдвигаемого т. Залкиндом указания на необходимость сублимировать сексуальную энергию в сторону более ценного социального эффекта, нужно заметить, что РКП стоит перед решением таких общественных задач, разрешение которых само обусловливает целесообразное и общественно-полезное направление этой энергии" [1]).

— Во-первых, закрывать глаза на наличность в партии „сексуалистов" и „пьяниц" незачем: серенькое лицемерие боевой пролетарской партии не к лицу. Не закрывают на это глаз и судьи, этические врачи партии—авторитетнейшие наши контрольщики, неустанно о сем пишущие и говорящие. Что же касается „морального осуждения", то это уже один из многих ваших поклепов, т. критик. Ни как марксист, ни как спец-психотерапевт, никогда я не был склонен к моральному осуждению, и незамеченный вами весь текст книжки—тому свидетельство.

— Что, однако, говорит сам „подсудимый" об этом,—не вайнштейновский призрак, а действительный автор раскритикованной книжки? О первой группе дезорганизованных партийцев, „фрондерской" [2]): „Основным в этих уклонах является, конечно, брожение различных мелких социальных оттенков партийного состава, опирающихся на соответствующие движения в массах"; о второй группе, „психоневротической": „Отвлеченные за время революции от производства и обычных своих интересов в сложный калейдоскоп партийной работы, накопив богатый фонд нового опыта, новой энергии и растерявшись затем при нэпе на почве неосмысления своей социальной позиции, эти товарищи весь заряд, полученный ими от революции, обратили против себя, питая организм избыточными напряжениями, создавая в нем уклон к затягиванию болезненных процессов, к болезненной инерции (патоинерция). „Излечимость" этих товарищей—точно так же в значительной степени—в руках агитпропов, учраспредов и контрольных комиссий, умелыми координированными и достаточно тактическими приемами (все-таки больные) имеющих возможность исправить эту поневоле паразитическую установку подчас очень ценных товарищей". По поводу неизлечимой части третьей группы, „сексуалистов": „Революция захватила их социально

[1]) „Под Знам. Маркс.", стр. 300.
[2]) „Оч. культ.", стр. 123—127.

лишь в первый свой период, а может быть, они были вовлечены в ее водоворот не столько органическими, сколько летучими социальными мотивами, столь характерными для деклассированных (разрушения, эмоциональная обстановка, риск и пр.) и т. д., и т. д. Наконец, вывод: „Организм партии в целом здоров,—эти язвы—симптомы временной болезни,—главным образом, болезни переходного периода революции. Вобрав в себя с начала революции социально несколько разнородные элементы, творя историю в условиях социально невиданных,—партия, понятно, далеко не сразу в силах переработать весь попавший в нее ценный материал, не говоря уже о накипи, которую она, несмотря на первую чистку, не всю еще успела снять. Поздороветь—дело дальнейшей партийной работы и, в конечном счете, дальнейшего развертывания революционного процесса, который уже сам подскажет партии метод действия по отношению к разным ее слоям, зачастую попросту плохо используемым или недостаточно воспитываемым. Социальные силы революции, конечно, произведут свою чистку и свое перевоспитание, но внутрипартийная работа в этой исторической фильтровке и исторической педагогике должна также сыграть колоссальную роль“.

Всюду, как видим, анализу проявлений внутрипартийной дезорганизации предшествуют отчетливые указания (для страдающих галлюцинациями панической предвзятости они „расплываются“) на социальные предпосылки,—методы „лечебного воздействия“ точно так же всюду даны не биологические, не этические, а социальные. Нужно обладать глубоко изуродованным логическим зрением, чтобы этого не заметить. Вообще же о социальных предпосылках эмоциональной дезорганизации я пишу следующее [1]): „Социальное бытие определяет собою не только сознание,—оно накладывает свой неизгладимый отпечаток и на весь организм в целом. Мы знаем типические элементы классовой психофизиологии с дополнительными, специфически классовыми чертами в общечеловеческих заболеваниях. Нам известна особая группа профессиональных болезней. На болезни влияет и типическая историческая эпоха: эпоха войн, революций, голодовок. Определенная стадия культуры имеет и свои болезни и свои типические черты в общих болезнях: болезни пастушеского, земледельческого периода, болезни зарождающегося или зрелого капитализма,—конечно, не одно и то же. „Психофизиология России до революции и сейчас резко отлична друг от друга не только в отрицательном, но, твердо это повторяем снова [2]), и в положительном отношении. Различные общественные группы России, конечно, по разному реагировали на „социально-биологические“ обстоятельства революции, в зависимости от своих общеклассовых потерь или приобретений (дворянство купечество, пролетариат и т. д.), в зависимости от характера своей позиции в революции (активность, пассивность, жертва), в зависимости от общего тона своих органических функций (победитель, побежденный) и, наконец, в связи с непосредственно биологическими элементами своего бытия (голод, сытость, холод, тепло и т. д.)“.—„Недаром западные клиницисты, работающие в массовом масштабе, главным образом над разоряющейся буржуазией и над пролетаризирующимся мещанством, т.-е. над деклассирующимися слоями, так упорно твердят о „крахе миросозерцания, этики,

[1]) „Оч. культ.“, стр. 106.

[2]) Это ударение необходимо, так как и западные, и российские психо-неврологи слишком часто писали о дегенеративных корнях и плодах Октябрьской революции.

идеалистического оптимизма“, как о первопричинах биологической хрупкости своих пациентов. Дело, конечно, первично не в крахе миросозерцания, а в процессе разложения экономической устойчивости этих групп, выражением какового разложения и является, между прочим, прогнивание их миросозерцания. Нарушена система социальной устойчивости этих групп, расшатаны тем самым и социально-биологические функции вообще, так как человеческая биология в современном сложном и глубоко дифференцированном обществе насквозь социализирована“.

Против кого направлены „методологические“ стрелы критика? Кого, наконец, он поучает сублимационному социальному оптимизму, которыми, „между прочим“, как раз и пересыщена вся непризнанная им книга? Напуганный психо-неврологическими терминами, критик за их деревьями, в панике, не заметил леса социальных предпосылок всего этого психо-неврологического материала. Самих же конкретных фактов книги критик, конечно, отрицать не станет. В чем же дело?

При паническом построении рецензии, немощно выглядят и „положительные“—партизанские ученые ее вылазки в область психо-неврологии [1]): „Сексуализм Фрейда, авторитетно поучает критик на протяжении трех строчек, лишь постольку правомерен, поскольку теория психоанализа связана с явлениями травматической истерии, болезни, психологической дезорганизации“.—Вероятно, в других ученых трудах почтенного критика имеются, специально о Фрейде, более убедительные доказательства в пользу марксистской приемлемости сексуальной теории Фрейда и в пользу чистой психопатологичности фрейдизма,—мы же имеем смелость доказывать,—не наобум, а в ряде печатных работ [2]),—что пансексуализм Фрейда—не приемлем ни для нормы, ни для болезни,—что колоссальное значение фрейдистской психофизиологии—в глубочайших научных переворотах, создаваемых им на первом плане именно в общей психологии (психофизиологии). Но против смелых трех строчек Вайнштейна сейчас, конечно, не попрешь,—даю лишь совет критику: о таком новом для марксизма предмете, как Фрейд, не выступать с безапелляционными фразами.

То же и с „экскурсиями“ в Павлова: Мерило ценности учения о рефлексах для Вайнштейна—объективизм и материализм учения. Подобному „открытию“, однако, не надо было посвящать четверть рецензии, так как и рецензируемая книжка сделала это „открытие“ не менее убедительно. А вот о реакционных вмешательствах павловской рефлексологии в социологию, о попытках физиологически-экспериментально разрешить социальные проблемы, о претензиях рефлексологии на философское исчерпание проблемы познания упомянуть стоило бы; о необходимости использования учения о рефлексах для подтверждения колоссального влияния социального фактора на человеческий организм говорить компетентному критику тоже следовало бы, тем более, что политически реакционные творцы учения о рефлексах никак не хотят мириться с нашим социальным динамизмом, противопоставляя ему, на базе того же учения о рефлексах, исчерпывающий биологизм. Но высококомпетентный критик, истратив четверть рецензии на азбучную похвалу Павлову,—лишь бы нашлепать неугодному Залкинду,—очевидно не заметил этой

[1]) „Под Знам. Марк.“, стр. 299.

[2]) В частности, см. нашу статью „Фрейдизм и марксизм“ („Красн. Новь“ с. г., № 4), издающ. сейчас, с небольш. измен., брошюрой.

стороны павловского учения, которой, „между прочим“, посвящена добрая доля осужденной книжки,—как, симптоматически уставившись критическими очами „совсем в другую сторону“, не заметил он и много другого в книжке. „Идол пещеры“,—обвиняя в узкой предвзятой установке, вкусно назвал меня критик в своей рецензии. Кто именно оказался идолом пещеры, кто беспробудно засел в берлоге самой нелепой предвзятости,—пусть судит теперь читатель... Материал имеется.

Ряд научных дисциплин, под влиянием обще-идеологической революции, претерпевает сейчас глубочайшие потрясения. Служба новому классу должна серьезно изменить, уже изменяет и методологию и методику научной работы. В частности, от обновленной психоневрологии ждут революционного оздоровления—советская педагогика, социальная гигиена и многие другие первоочередные области классовой практики. К исканиям в этих областях надо подходить с сугубой осторожностью, так как ввиду новизны подхода, серьезные ошибки неминуемы. Были, есть и будут, конечно, ошибки,—возможно, серьезные ошибки и у пишущего эти строки,—но, для защиты здоровых марксистских позиций от подобных ошибок, нельзя выдвигать паническую стражу.

Паника, да еще адресованная не реальному противнику, а призраку,—разве это стиль воинствующего материализма в стране диктатуры пролетариата?

P. S. Довожу до сведения т. И. Вайнштейна, что другой критик, некий Я. Ш.,—„наоборот“, совсем не испугался моей книжки. Он тоже, конечно, выругался, но лишь потому, что считает содержание книжки... „избитой истиной“. Видите, как хорошо быть спокойным? Рядом с этим тот же Я. Ш., на соседних страницах („Книгоноша“ с. г., №35), лирически славословит (спокойствие изменило) самые зловредные, самые сектантские стороны фрейдизма (психоанализ детской пансексуальности, практический психоанализ в педагогике), с которыми, конечно, всякому грамотному марксисту надо непримиримо бороться. И все это делается от имени официального органа Отдела Печати ЦК РКП. Уж и сам не знаешь, что хуже: неофициальная паника т. Вайнштейна, или, выражаясь мягко,... официальное „спокойствие“ Я. Ш.?

Марксистская психология, или патологический марксизм [1]).

И. Вайнштейн.

Врачу, исцелися сам!

Тов. Залкинд начинает с утверждения того, что в стране, где марксизм является идеологической диктатурой, критическая паника на-руку врагам марксизма. Жонглируя словом „паника“, т. Залкинд вопиет, что критик „не уловил целей автора, не учел аудитории, не понял, наконец, самой книги“, что критику просто захотелось позлорадствовать над спецом психо-неврологом, пишущим о марксизме. Совершенно напрасно т. Залкинду мерещатся такие коварные и злорадные замыслы критика. Критик пытался только осветить некоторые положения т. Залкинда с точки зрения революционного марксизма, что он и делал совершенно спокойно и объективно, без капли злорадства, руководимый законным стремлением выяснить подлинное значение того, что у т. Залкинда претендует на марксистское откровение. Поэтому наилучшим ответом т. Залкинду мы считаем разбор по существу хотя бы нескольких положений в его книге, чтобы на анализе их показать, насколько действительно далек т. Залкинд от подлинного марксизма.

Когда я определил марксизм т. Залкинда, как патологический марксизм, то я имел в виду его теоретическую концепцию. Приведем несколько примеров. Теоретизируя о революции, т. Залкинд говорит, что исторически побежденной оказывается та общественная группа, которая, „потеряв, благодаря развитию производительных сил, свое производственное значение (а почему она потеряла это значение?—*И. В.*), становится все менее нужной для общества, а потому нервно-психически вырождается и заболевает при этом, благодаря своему господствующему значению, явлением паразитизма и всеми его многообразными формами“. Куда же, спрашивается, отнести подобную интерпретацию революционного переворота под углом зрения нервно-психического вырождения, здорового нового психического общественного начала, если не к патологической разновидности марксизма? Тов. Залкинд восклицает: „Русская Октябрьская революция вполне ясным уже для нас победоносным своим течением твердо обосновала перед наукой свои твердые, здоровые, нервно-психические корни“. До какого же ослепления, спрашивается, нужно дойти, чтобы изречь такую фразу? Разве корни революции — нервно-психические? Корни пролетарской революции Октября скрываются, конечно, не в нервно-психическом начале, а в условиях империализма, когда достигшие своего апогея противоречия капитализма повелительно диктовали пролетариату не-

[1]) Редакция считает ответом т. Вайнштейна в данной плоскости полемику исчерпанной.

обходимость прямого штурма твердынь капитализма. „Либо отдайся на милость капитала, прозябай по-старому и опускайся вниз, либо берись за новое оружие,— так ставит вопрос империализм перед миллионными массами пролетариата“ (Сталин). Вот где корни пролетарской революции, если рассуждать с точки зрения революционного, а не патологического марксизма. Корни же эти вскрывает не наука вообще, а марксистский анализ экономики империализма и наличествующих при последнем классовых соотношений. Вообще же революция для Залкинда есть результат избытка энергии, которая до революции хронически затормаживалась, чтобы после напряженных исканий выхода бурно прорваться в революционном процессе. Очень знаменательно для марксизма т. Залкинда, что у него этот колоссальный избыток „огромной потенциальной нервно-психической энергии“ революционный класс накопляет—вообразите где—„под прессом старого строя“. Удобная почва для накопления энергии!

Возьмем другой пример, приводимый т. Залкиндом. Он полагает, что Великая Французская Революция, как „массовая лечебная мера“, была полезнее для здоровья человечества, чем миллионы бань, водопроводов и тысячи новых химических средств“. Если бы т. Залкинд обладал достаточным пониманием революционного марксизма, он должен был бы догадаться, что французская революция возникла на базисе этих же самых бань, водопроводов и химических средств, т.-е. на почве развития производительных сил,—что, следовательно, неуместно и нелепо подобное противопоставление.

Для т. Залкинда, который чувствует себя, точно рыба в воде, в психо-терапии, но не в марксизме, подобные противопоставления, повидимому, кажутся оригинальными и марксистскими.

Вот еще перл: „Понятие социально-контактной установки во много раз шире понятия идеологии, так как охватывает собой весь организм в целом со всеми его функциями, в которых нет разницы между чувством, представлением и физиологической реакцией“.

Социально-контактная установка, охватывающая весь организм со всеми его функциями, оказывается гораздо шире понятия идеологии. Идеология таким образом является только частью организма, согласно „марксизму“ т. Залкинда. Такое понимание идеологии, как части организма, означая органическое понимание совершенно неорганического явления, так как в свете революционного мировоззрения Маркса идеология является не частью организма, а социально-классовым отражением общественного бытия в его данной исторической стадии, узаконяет квалификацию марксизма т. Залкинда, как марксизма патологического, рассматривающего процессы действительности под углом зрения органического здоровья или органической болезни.

Повторяю, самая беспристрастная и объективная оценка марксизма т. Залкинда вынуждает к такой его квалификации, а вовсе не паника, как хотел бы внушить читателям т. Залкинд.

Наконец, что представляет собой его рефлекс революционной цели? Залкинд поясняет следующим образом этот рефлекс: „Специальные черты коммунистической психо-физиологии и в основе не отличаются от типических черт пролетариата, сгущенным олицетворением коего РКП является. Однако, будучи боевой квинт-эссенцией класса, прочно закаляясь в специфических условиях авангардного боя и лавирования, РКП приобретает на общеклассовой основе особо углубленную серию революционных условных рефлексов“. Что сие означает? Что означает эта нелепая пародия на марксизм,—РКП, как сгущенное олицетворение, приобретающее, однакоже, на общеклассовой основе

серию углубленных условных рефлексов революционной цели? Что это означает? Если кто-либо подумает, что подобный рефлекс цели находится у т. Залкинда в какой-либо связи с определением и освещением исторических условий освобождения пролетариата, то горько ошибется. Рефлекс цели, толкование которого Залкинд вполне приемлет у Павлова, „находится в теснейшей аналогии с главным хватательным рефлексом организма — пищевым рефлексом“ (Оч., 118). Довольно! Кто после этого усумнится в патологической природе марксизма Залкинда, тот находится не в сфере влияния революционного марксизма и под давлением психо-терапевтических внушений т. Залкинда, от которых следовало бы в первую голову освободиться самому же врачу.

Почерпнув у Павлова такую замечательную находку, как рефлекс цели, т. Залкинд, на основании этой находки, начинает рассуждать о состояниях и колебаниях класса. „Колебания общей позиции класса вызывают не только идеологические и прочие „надстроечные“ его колебания, но и грубое общебиологическое его потрясение, выражающееся в определенных изменениях всех физиологических функций его представителей. Разрушение целевой установки класса, разрушение рефлекса социальных целей разрушает вместе с тем всю систему его социально-физиологической установки, его социальных рефлексов, отзываясь тягостным образом на всем его физиологическом содержании. Отсюда тот отмеченный, но не понятый клиницистами глубокий повод для повышения заболеваемости деклассирующихся слоев; отсюда же недоуменные разговоры о „нарушении миросозерцания, как источнике болезней“. Не нарушение миросозерцания, а нарушение рефлекса социальных целей, т.-е. и всех функций вообще“ (Очерки, стр. 119). Словом, выражаясь попроще, класс с разрушенной целевой установкой, с надорванным рефлексом классовой цели начинает, по Залкинду, чувствовать себя тягостно и скверно, испытывать не только социальную, но и физиологическую боль.

Прежде всего, откуда т. Залкинд знает, что, например, империалистическая буржуазия себя так скверно и тягостно чувствует? Кто ему об этом поведал? Но если предположить это, то неужели это на основе разрушенного рефлекса классовой цели? Разве империалистическая буржуазия, несмотря на исторически нисходящую линию, не преследует с порядочной классовой энергией свою цель, выражающуюся в стремлении ослабить, подавить, обескровить рабочий класс, вовлечь его в сферу своего идеологического воздействия? Пускай у нее пищеварение скверное, что т. Залкинд так горячо отстаивает, но ее целевой аппетит по отношению к рабочему классу уж не так расстроен, как это пытается представить т. Залкинд. Этот же рефлекс открывает т. Залкинду глаза на „отмеченный, но не понятый клиницистами глубокий повод для повышенной заболеваемости деклассирующихся слоев“, открывает ему глаза на недоуменные их разговоры о нарушении миросозерцания, как источнике болезней. Не нарушение миросозерцания, — восклицает Залкинд, — а нарушение рефлекса социальных целей. Нарушенный рефлекс социальной цели таким образом повинен в повышенной заболеваемости деклассирующихся слоев и, конечно, также класса, у которого разрушен рефлекс классовой цели, например, класса капиталистов.

Если, согласно Марксу, производственный порядок обусловливает социальный, политический и духовный процесс жизни, то с этой точки зрения, не рефлекс цели, потрясенный или здоровый, какого-либо класса или деклассированных слоев, — это ни больше, ни меньше,

как психо-неврологическая телеология, перенесенная на общественное бытие, — является источником вырождающегося или возрождающегося классового бытия, а роль класса в производстве, которую даже т. Залкинд не может идентифицировать с рефлексом цели. „Вместе с уменьшением числа магнатов капитала, — говорит Маркс, — захватывающих в свои руки и монополизирующих все выгоды этого процесса превращения, растет нужда, гнет, порабощение, вырождение, эксплоатация, но одновременно и возмущение рабочего класса, все более возрастающего численно, постоянно дисциплинируемого, объединяемого и организуемого самим механизмом капиталистического способа производства“.

Если под вырождением нужно понимать и повышение заболеваемости и понижение энергии, то у Маркса такое явление связывается не с рефлексами целевыми, а с механизмом капиталистического способа производства, т.-е. с производственной структурой данного общества в ее диалектическом развертывании. Но, — скажет т. Залкинд, — Маркс ведь был, главным образом, экономист, и поэтому целевые рефлексы вообще не входили в поле его мышления. Однако, такое оправдание было бы совершенно неуместно. „Мы будем исходить из реально деятельных людей, пытаясь вывести из их реального жизненного процесса также и развитие идеологических рефлексов и отражение этого жизненного процесса“ („Нем. Идеология“). Маркс таким образом говорит об идеологических рефлексах, которые у него вытекают из реальной деятельности людей.

Рефлекс цели у Залкинда, который, повидимому, тоже является идеологическим рефлексом, тоже связан с чем-то, но, конечно, не с реальной деятельностью людей, а — подумайте только! — с пищевым рефлексом. Что же означает его рефлекс революционной цели? „Основной и профессиональной чертой (она же и классовая) психо-физиологии активного коммуниста является отчетливо и прочно выраженный рефлекс революционной цели“ (Очерки, 120). Конечная цель движения, необходимо сказать, играет в революционном мышлении Маркса громадную роль, которая совершенно аннулирована в известной формуле оппортунизма: „Движение—все, конечная цель — ничто“. Если историческое призвание пролетариата заключается в революционном акте общественного присвоения средств производства, то эта цель вовсе не выражается в психо-физиологических рефлексах рабочего и коммуниста, а в осознании исторических путей, закономерно ведущих к осуществлению этой цели, неразрывно связанной с причинностью исторического процесса. Исследовать же его исторические условия и, следовательно, самый характер его и довести таким образом до сознания угнетенного класса условия и сущность работы, к которой он призван, это составляет задачу теоретического выражения пролетарского движения — научного социализма (Энгельс. „Анти-Дюринг“, стр. 320). Задача революционной теории состоит, согласно Энгельсу, в доведении до сознания угнетенного класса условий и сущности его революционной деятельности, которая превращает эту теоретически осознанную революционную цель в пружину революционной работы. Но психо-физиологический рефлекс цели, связываемый притом с пищевым рефлексом, — извините, т. Залкинд, — никакого злорадства не требуется, чтобы предать смеху всю эту галиматью. „Мы называем коммунизмом р е а л ь н о е движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Условия этого движения вытекают из имеющихся теперь налицо в действительности предпосылок“ (Маркс и Энгельс. „Нем. Идеология“). Если коммунизм есть цель, то

эта цель есть реальное движение и осознание его не в психо-физиологических рефлексах, а в ясных теоретических представлениях и законах исторического развития, гарантирующих непреложное осуществление этой причинно-обусловленной цели. Вся же целевая рефлексология т. Залкинда — грубейшее извращение подлинного понятия цели, как она понимается в мировоззрении Маркса.

„Особенную жестокость, — говорит т. Залкинд (самая сердитая жестокость—жестокость паники!), — выявляет рецензент по поводу моей фразы: „Материалистическая социология опирается на биологические факторы (борьба за жизнь)“. И вот ученый профессор начинает поучать: „И Маркс и Энгельс неоднократно указывали своим паническим ученикам, что исходным моментом всего исторического развития являлись биологические потребности: они дали толчок социальному процессу. Всякий психически здоровый, т.-е. действительный последователь Маркса и Энгельса подтвердит (как видите, у т. Залкинда психическое здоровье отождествляется с ортодоксальным марксизмом; а что Каутский, Кунов—психически больны?—*И. В.*), что не будь биологического момента, т.-е. живого человека с его потребностями, — исчезни он с лица земли, — не было бы и социального развития и установленной Марксом экономической всеобусловленности“. Если „ученый профессор“ хочет этим сказать, что не будь человека, не было бы человеческой истории, то он просто высказывает ненужную тавтологию, так как история и есть история людей, но откуда, спрашивается, он почерпнул, из каких источников, что для Маркса, Энгельса и Ленина биологические потребности являются исходной точкой исторического развития, дают ему толчок, что об этом они многократно указывали своим ученикам? Как настоящий идол пещеры, повторяю я, этот профессор не способен выйти за пределы своей узкой сферы, перенося биологические понятия на такую сферу, где биологический момент, как момент определяющий, совершенно неуместен. Конечно, если человечества не было бы, то не было бы также и человеческих сил. Но что кладет начало человеческой истории в ее социально-историческом своеобразии? Элементарные биологические потребности, в которых, будто бы, Маркс и Энгельс искали стимула исторического процесса (любопытно, что т. Залкинд ссылается при этом на Ленина, не находя, однако, нужным указать место ссылки), — они, что ли, положили начало историческому процессу? Послушаем по этому поводу Плеханова, который, повидимому, принадлежит к числу учеников Маркса и Энгельса: „Гельвеций сделал попытку объяснить развитие человеческих обществ, основываясь на ф и з и ч е с к и х п о т р е б н о с т я х людей. Его попытка была обречена на неудачу, так как, собственно говоря, следует принимать во внимание не потребности человека, н о с р е д с т в а и п у т и их удовлетворения. У животного имеются так же физические потребности, как у человека. Но животные не производят; они просто з а х в а т ы в а ю т предметы, производство которых, так сказать, предоставляется природе“ („Очерки по истории материализма“, стр. 150).

Ну, что же, почтенный профессор? Плеханов, оказывается, говорит, что в человеческой истории, и также в ее отправных моментах, дело идет не о биологических потребностях, которые также имеются и у животных, но о путях и средствах их удовлетворения. А удовлетворяются человеческие потребности посредством орудий труда, которые и являются исходной точкой исторического развития человечества. Человек есть животное, производящее орудия. Применение орудий труда, которое в зачаточной форме встречается и в животном

мире, имеет решающее влияние на изменение образа жизни людей. Маркс поэтому и говорит, что „употребление и создание средств труда, хотя и свойственное в зародышевой форме некоторым видам животных, составляет специфически характерную черту человеческого процесса труда“ („Капитал“, том I, стр. 53). Если бы т. Залкинд не страдал от невежества по части теории и истории марксизма, он знал бы, что подобный взгляд, усматривающий отправной стимул исторического процесса в биологических потребностях, является не взглядом Маркса, а французских историков, например, Гизо. Тов. Залкинд возмущается противопоставлением его понимания революции, как прорвавшейся огромной потенциальной нервно-психической энергии, пониманию Ленина, который усматривает один из признаков революционной ситуации в обострении выше обычного нужды и бедствий угнетенного класса, считая оба эти взгляда идентичными. Ведь рефлексология учит,—восклицает Залкинд,—„что наиболее сильные и энергичные возбуждения, прорывы бывают в результате предшествующего длительного торможения“. „Обострение же выше обычного нужды и бедствий угнетенного класса — что это такое, как не конденсированное торможение? Конечно, ни т. Ленин, ни скромный автор столь обругнной Вайнштейном книжки, ни секунды не предполагали, что в этом прорыве, или в этой нужде (обратите внимание, как т. Залкинд отождествляет свои прорывы с нуждой Ленина!) лежит конечная причина революции. Это не причина, а проявление социального процесса“.

Ленин таким образом в понимании Залкинда считает „конденсированное торможение“ одним из признаков революционной ситуации, которую он считает не конечной причиной революции, а проявлением социального процесса. О, почтенный профессор! И такими фразами, как проявление социального процесса, думаете вы доказать свою безукоризненную марксистскую выдержку? Вряд ли, однако, это удастся. Все, что совершается в общественной жизни, есть проявление социального процесса, поэтому для освещения какого-либо общественного явления мало сказать, что оно — проявление социального процесса, необходимо выявить его конкретно-историческую обусловленность. Способно ли выявить такую конкретно-историческую обусловленность конденсированное торможение? Для т. Залкинда революция, это—прорвавшаяся после длительного торможения огромная потенциальная нервно-психическая энергия, достигшая максимального накопления, которая не может больше продолжаться и прорывается в революции. Согласно т. Залкинду, Ленин говорит точь-в-точь то же самое. И говорится это без единой запинки!

Ленин в освещении общественных явлений прежде всего оперировал диалектическим методом, который, согласно Ленину, „требует всестороннего исследования данного общественного явления в его развитии и сведения внешнего, кажущегося, к коренным движущим силам, к развитию производительных сил и классовой борьбе“. В какой это связи находится с конденсированным торможением? Для Ленина революционная ситуация в ее главных и основных признаках означает экономический и политический кризис. А для Залкинда? Достаточно конденсированного торможения, чтобы заторможенная энергия сейчас же бурно прорвалась в революционном процессе. И это называется солидарностью Ленина с Залкиндом.

Теперь следующий перл. „Рефлекс цели — в идеологии, динамика — в работе, диалектика—в мыслительных процессах, могли бы, конечно, протекать в одиночестве, в „эгоистической“, „эгоцентрической“ деятельности, как это бывает с целым рядом типических буржуазно-общественных работников, постоянно взаимно конкурирующих, обособленных, несмотря на внешние связывающие партийные узы“ (Очерки, 109).

Мы недоумеваем. Что это такое? Повидимому, профессор совершенно не ведает о том, что диалектика заключается в понимании мира не как комплекса вещей, а как комплекса процессов, т.-е. что разделять диалектику и динамику можно только не при материалистическом, а при патологическом понимании мира. Но далее т. Залкинд разделяет диалектику и идеологию, не думая о том, что материалистическая диалектика и есть революционная идеология пролетариата. Диалектика для Залкинда совершается в мыслительных процессах,— он не имеет понятия о том, что диалектический материализм есть наука о всеобщих законах движения как в человеческом сознании, так и в истории, во внешнем мире. Для идеологии же он оставляет рефлекс цели, который, как нам известно, находится в самой тесной связи с пищевым рефлексом!.. Чем не биологизация социологии и не патологический марксизм?

Теперь несколько слов о Фрейде. Повторяем, мы не разбираем здесь теории психо-анализа, поскольку она имеет дело с явлениями психологической дезорганизованности. Но если рассмотреть фрейдизм в плоскости мировоззрения, то оценка его т. Залкиндом, как представляющего известную ценность для материалистической системы марксизма, просто абсурдна и не выдерживает никакой критики. Можно ли, например, согласовать с марксизмом понятие „сверх я“, которое у Фрейда играет очень видную роль? „Сверх я“ является чуть ли не душевным законодателем, который располагает по отношению к „я“ не только императивной, но и запретительной силой, властвуя над „я“ то как совесть, то как бессознательное чувство вины. Подобное перенесение кантовского категорического императива в область психических процессов, притом еще в форме мистического „сверх я“,— что это, как не мистицизм? Когда же один последователь Фрейда заявляет, что психо-анализ есть освобождение от „материалистического обскурантизма“, это верно постольку, поскольку материалистического в теории психо-анализа действительно ничего нет. Мистицизма же у Фрейда есть немалая доля. Так, Фрейд выступает против требования, которое он считает совершенно законным, „чтобы наука строилась на основании ясных, точно определенных, твердых положений“. Согласно же Фрейду, даже самая точная наука не начинается с таких определений, а научная деятельность состоит в описании явлений, „которые впоследствии группируются, приводят в порядок и взаимную связь“.

Диалектик Гегель считает рассудочное начало в эмпирических науках чрезвычайно важным, так как оно способствует установлению точных, ясных и твердо-определенных понятий. Маркс же определяет самую науку, как рационалистическое овладевание эмпирическими данными. Для Фрейда же необходимые идеи, из которых впоследствии развиваются основные понятия науки, „поневоле должны оставаться в известной мере неопределенными“.

Наконец, что общего имеет с марксизмом гедонизм Фрейда, для которого „деятельность самых высоких по своему развитию душевных аппаратов также подчиняется принципу наслаждения“? Гедонизм, как выражение идеологического декаданса, характерен для Фрейда, учение которого носит на себе все следы упадочности: мистицизм, гедонизм.

Мы нарочито брали примеры лишь из рецензированной нами книги, чтобы еще раз демонстрировать эклектизм т. Залкинда. Нам остается рекомендовать читателю новейшие работы т. Залкинда (статья в сборнике „Половой вопрос", „Революция и молодежь"), чтоб обеспечить ему и веселые и грустные минуты. Веселые,—так как редко удается читать что-либо более напыщенно-несуразное и мещански-пошлое, грустные,—так как до сих пор, к сожалению, все это выдается за марксизм и обращается к молодежи.

Ответ т. Милонову.

А. И. Варьяш.

Моя статья „Marx als Mathematiker" („Internationale Presse-Korrespondenz", № 92) вызвала очень резкую критическую заметку т. К. Милонова, помещенную в № 8—9 „Под Знаменем Марксизма". Эта заметка чрезвычайно характерна, с одной стороны, как проявление необычайной и смелости, а с другой—столь же большой неосторожности т. Милонова.

Т. Милонов не знает, кого он собственно критикует: меня или Маркса. Но это не ослабляет его решительности и самоуверенности. Он не знает, кто собственно автор тех мыслей, которые изложены в моей статье, однако, это не мешает ему признать эту статью „не аутентичной духу марксизма". Он пишет: „...Мы... наталкиваемся на одно серьезное затруднение. Заключается оно в том, что т. Варьяш не приводит в подтверждение своих взглядов на Маркса, как математика, ни одной выдержки из Маркса" (стр. 300). И хотя т. Милонов и сомневается в том, не принадлежит ли все, что я говорю, Марксу, это все же не может остановить его страстного желания опровергнуть меня.

Все, что я говорю в своей статье, действительно есть у Маркса. Поэтому, все стрелы, которые он адресует мне, летят не в меня, а именно в Маркса. Ко мне лично имеет отношение только один упрек,—что я не цитирую математических работ Маркса. Этот упрек, однако, не совсем верен. Уже во втором абзаце я привожу то место из письма Маркса Энгельсу от 8 января 1868 года, где Маркс говорит о большой услуге, которую оказала ему математика при решении проблемы наемного труда. Кроме того, я цитирую несколько раз Энгельса. Привожу, например, его речь на могиле Маркса, где он говорит, между прочим, о работах Маркса в области математики. Относительно самого содержания этих работ я привожу письмо Энгельса об определении производной функции. (В нем Энгельс резюмирует результаты исследований Маркса, о которых тот писал ему.)

Может быть, т. Милонов имеет в виду то, что я не цитирую вновь открытой большой рукописи Маркса, находящейся в Институте Маркса—Энгельса в Москве. Это действительно так. Но это объясняется целым рядом причин. Во-первых, эта рукопись лежит в библиотеке института Маркса—Энгельса и еще не издана. Я не имел права опубликовывать рукопись, право издания которой принадлежит не мне. Во-вторых, если т. Милонов (а может быть, найдутся и другие) не верит моему изложению рукописи, то разве он стал бы лучше относиться к цитатам, которые не могут быть проверены, раз рукопись не издана?

Этих двух обстоятельств было уже вполне достаточно, чтобы я воздержался от цитат из рукописи.

Т. Милонов очень отважный человек. Он цитирует меня и разбивает в пух и прах Маркса. Однако не особенно хорошее знание немецкого языка подводит его, и выструлы его оказываются холостыми.

Он переводит место из моей статьи: „Все другие области, даже физика, не говоря уж об общественных науках, представляют прикладной диалектике такую необозримую сложность, что основную схему—аксиоматику диалектики—можно с надеждой на успех искать лишь в математике". Не ограничиваясь переводом „ввиду важности" места, т. Милонов дает и немецкий текст. Немецкий текст гласит. „Alle anderen Gebiete, selbst die Physik, geschweige denn die Gesellschaftwissenschaft stellen eine solche unübersehbare Komplizeirheit der angewandten Dialektik dar, dass das Grundschema: die Axiomatik der Dialektik nur in der Mathematik mit Hoffnung auf Erfolg gesucht werden kann".

Из перевода т. Милонова явствует, что я как будто приписываю самостоятельное существование наукам, с одной стороны, и прикладной диалектике, с другой стороны, при чем науки представляют для прикладной диалектики необозримую сложность. Иными словами, не наука является прикладной диалектикой, применением диалектики, а существует какая-то свалившаяся с неба абстрактная и в то же время прикладная диалектика и независимая от нее наука.

Я не знаю, так ли понимает т. Милонов диалектику, но у меня нет ничего подобного. Своим „переводом" т. Милонов подсовывает мне такую сумасшедшую нелепость, от которой только диву даешься. Между тем моя мысль ясна для каждого, кто знает немецкий язык. Т. Милонов перевел слово „darstellt" словом „представляет", а не „является" и не различил дательного и родительного падежа.

Я говорю в этом месте, что науки (физика, химия и т. д.) являются сложными случаями прикладной диалектики, являются сложными диалектическими науками и, значит, не так просты, как математика. И смысл всей моей статьи сводится к тому, что из одной единственной необозримо сложной действительности, т.-е. из вселенной, различные науки отвлекают неодинаково сложные моменты. Наименьшая сложность диалектического переплетения имеется в математике, большая—в механике и т. д., но существует только один единственный бесконечно сложный диалектический процесс, и наука старается исчерпать эту сложность, каждая сообразно своей задаче и в тех моментах действительности, которые она исследует. Это значит, что наука никогда не достигнет конца. Только интеграл всей культуры, распространенный от нуля до бесконечности, даст абсолютную картину действительности. Наука любого исторического поколения всегда будет отрывочной, т.-е. отчасти верной, но все же не исчерпывающей.

Так я понимаю диалектику. Только „искусный" перевод т. Милонова может навязать моей статье иной смысл.

Перейдем, однако, к существу вопроса. В моей статье нет ничего, кроме краткого изложения выводов Маркса и указаний на некоторых современных математиков, идущих по тому же пути, что и Маркс. Поэтому критические замечания т. Милонова адресованы не мне, а самому Марксу. Маркс старался свести основные теоремы анализа (главным образом, теоремы Тэйлора, Мак-Лорена и Лагранжа) к простой арифметике. Это стремление только пятьдесят лет спустя, только в наши дни нашло продолжателей среди математиков, не имеющих, конечно, никакого представления о Марксе. Оценка значения этих попыток и дана в моей статье.

„Процитировав" так удачно место из моей статьи, т. Милонов выносит, нисколько не колеблясь, свой решительный и суровый приговор. „Это место,—говорит он,—замечательно тем, что здесь на пространстве трех—четырех строчек сконцентрирована целая куча ошибок". (Ошибка в переводе тут не идет в счет.) Каковы же эти ошибки Маркса? (Потому что это и есть утверждение, ясно выраженное Марксом и—как мы увидим—Энгельсом.) Тов. Милонов перечисляет их. По его мнению, из приведенного места следует: 1) что „разрабатывать диалектику во всех других областях, даже физике, не говоря уже об общественных науках, совершенно незачем. Никакой надежды на успех, ввиду необозримой сложности, здесь нет. Вывод... идущий вразрез с марксизмом, диалектическим материализмом". (Кто утверждал это?—*В.*) 2) Аксиоматика диалектики невозможна: аксиоматика и диалектика „по существу противоположны друг другу".

Разберемся с этими выводами т. Милонова. Начнем с первого. Прежде всего, я нигде не говорю, что поиски диалектики в других науках, кроме математики, заранее обречены на неуспех. Я говорю только, что основные принципы диалектики легче найти в математике, чем в других науках. Математика проще других наук, поэтому основы диалектики в ней установить легче. Посмотрим, что говорят по этому поводу Маркс и Энгельс. Маркс: 1) поставил себе задачу свести анализ к его первоначальной простоте; 2) что он эту простоту нашел в арифметике дифференциального исчисления, т.-е. в новом обосновании анализа. Это обоснование он называет arithmetika generalis; найдя ее у Ньютона, он старается дополнить и использовать ее для того, чтобы свести к ней анализ бесконечно малых. Чтобы не оставалось неясностей, Маркс утверждает, что операции этой арифметики (не старой, а его собственной) являются основными для окончательного понимания анализа.

Это есть суть работы Маркса, цитировать которую я не могу, так как я не склонен нарушить общепризнанное правило, заключающееся в том, что из неизданной рукописи нельзя цитировать без разрешения владельца рукописи.

Но есть у Маркса появившееся сочинение, где он в таком же духе говорит. В введении к критике политической экономии Маркс говорит вот что. Он поднимает вопрос, кто поступит правильнее, — те, которые исходили в объяснении экономических явлений из населения, из общественного целого, т.-е. конкретного, и „пришли из представляемого конкретного к все более тонким абстрактным положениям вплоть до достижения самых простых условий" (Bestimmungen у Маркса.—*В.*) или обратно. На первом пути полное представление улетучивается в отвлеченном условии (Bestimmung); на втором—отвлеченные условия ведут к воспроизводству конкретного посредством мышления. „Последний метод,—говорит Маркс,—является, очевидно, научно-правильным" (стр. XXXV — XXXVI. Изд. Каутского).

Значит, по Марксу, надо начать с абстрактных, но более простых условий и так продвигаться к полному конкретному, что вовсе не значит, что конкретное таким же образом возникло. Вот как пони-

мает Маркс свой метод, из-за чего он немедленно и получит суровый выговор от т. Милонова.

Т. Милонов, вероятно, не поймет сразу, о чем тут идет речь. Попытаемся объяснить ему. Маркс хочет построить математическую дисциплину—арифметику дифференциального исчисления (т.-е. анализ бесконечно малых) и свести всю математику к основным операциям этой искомой им новой науки. Тов. Милонов, вероятно, скажет, что Маркс не хотел этим утверждать, что основные принципы (или аксиоматику) диалектики следует искать в математике, т. Милонов думает, что математика—сама по себе, а другие науки, со своими методами,—тоже сами по себе. В этом пункте как раз и проявится полное непонимание им диалектики.

Нет никакой оторванной от естествознания и общественных наук математики (и диалектики). Математика со своим „имманентным" методом, с одной стороны, и естествознание и общественные науки со своими снова „имманентными" методами, с другой стороны, существуют лишь в голове т. Милонова. Если же т. Милонов станет возражать против приписывания ему такого разграничения наук, тогда он должен будет ответить на вопрос, где общие диалектические законы, значимые для всех наук, должны выражаться в более простой форме—в математике или в физике или, например, в политической истории? Маркс и Энгельс определенно отвечают на этот вопрос: в математике. Поэтому установление основных принципов математических операций должно в то же время сделаться и установлением основных и наиболее общих принципов диалектики.

Но, может быть, т. Милонов все еще не понял своей ошибки и считает мою точку зрения слишком произвольным толкованием Маркса и Энгельса? Обратимся еще раз к ним. На этот раз мы приведем мнение Энгельса. В письме к Марксу от 30 мая 1873 г. он пишет о диалектике в естествознании. Предмет естествознания—движение. „Самая простая форма движения (курсив мой. *В.*), это—перемена места... механическое движение". „Затем следует: „собственно физика... химия... организм". Как упорный человек, т. Милонов может на это сказать: тут нет ничего о математике. Но Энгельс—не т. Милонов. Он знал, что для механики, для понимания „самой простой формы движения" математика обязательна. Несколько ниже он, например, говорит следующее: „законы круговых движений (орбит) и ведут к взаимному движению многих тел" и т. д. Ясно, что законы круговых движений Энгельс понимал как такие законы, которые могут быть выражены математически, и что вообще механика немыслима без математики. Только об этом и идет речь. Нет оторванных от всей совокупной природы математических истин. Энгельс перечисляет в своем письме различные науки в порядке их сложности (механика, физика, химия и т. д.). Мне кажется совершенно очевидным, что математика стоит в этом ряду не на конце, а предшествует механике, так как она представляет собою еще большее упрощение действительности, чем механика.

Вся путаница т. Милонова имеет своим источником его идеалистический взгляд на математику. (Впрочем, эта ошибка довольно распространена, и ею грешат и другие более опытные люди, чем т. Милонов.) Он рассуждает, повидимому, таким образом. Природа существует, ее отображение в нашей голове и есть естествознание. Но математика? Что соответствует ей? Она существует лишь в нашей голове и является лишь способом рационализации природы

(т.-е. ее рационального понимания). В природе самой по себе нет ничего математического. Математика—только наш субъективный метод. Между тем, если бы т. Милонов внимательно прочитал Анти-Дюринга, то он понял бы, что надо „оперировать с этими формулами (речь идет о производных функциях.—*В.*), поступать с dy и dx, как с действительными, хотя и подчиненными известным исключительным законам, величинами" („Анти-Дюринг", стр. 124 русского издания); dx, dy действительные величины, говорит Энгельс. А это значит, что величины, это—реальные отношения реального (материального) мира, так как если dx, dy реальны и представляют собою действительные отношения мира вещей в себе, то тем более реальны x, y [1]). В некоторых головах, может быть, не укладывается, как это возможно, что пустяковые буквы (для не-математиков это часто только буквы) могут существовать не только в наших головах, но и в природе. Они не поймут мнения Энгельса об объективности математики, потому что они отождествляют отображения объективных отношений с самими отношениями. Они не поймут, что только понятия, т.-е. отображение реальных отношений, находятся в наших головах (и то далеко не во всех головах).

Я никогда не говорил, что разрабатывать диалектику в других науках „нет никакой надежды на успех ввиду необозримой сложности" их. Т. Милонов приписал это мне исключительно из желания во что бы то ни стало раскритиковать меня. Он воспользовался тем обстоятельством, что в Советском Союзе моей статьи никто не успел прочесть (она появилась в Вене). Я говорю только о том, что аксиоматику диалектики легче всего можно установить на основе математики.

Но тут т. Милонов прервет меня. „Аксиоматику диалектики,—скажет он,—но ведь они по существу противоположны друг другу". И он великолепно аргументирует это, утверждая смело вот что: „Аксиома ведь принимается без доказательства... диалектика же без доказательства не может приниматься" (стр. 301). Т. Милонов настолько не в состоянии понять элементарной идеи аксиоматики, что, цитируя меня, он сразу же искажает мою мысль. Он приводит из моей статьи определение: „аксиома есть основное положение, принимаемое в какой-нибудь науке без доказательств". Из этого, однако, не следует, что аксиома вообще принимается без доказательств, как думает т. Милонов. Это значит лишь, что данная наука, принимая определенную истину за аксиому, не доказывает ее; доказательство это может даваться какой-нибудь другой наукой. Например, механика (в этом случае кинематика) принимает закон о сложении параллелограмов скоростей, не доказывая его; ей достаточно, что на опыте он оправдывается. Но вся теория комплексных чисел имеет одною из своих главных целей как раз доказательство этой истины (что и дает реальное значение и смысл понятию мнимого числа). Т. Милонов различает доказательство известной истины и принятие ее из опыта. Но если это так, то я спрашиваю, где Маркс дает доказательство своего понятия стоимости? Это понятие взято из опыта и проверяется опытом. По мнению т. Милонова, опытная проверка не есть еще доказательство. А так как

---

[1]) В математике величины обозначаются буквами. То положение, что данная величина меньше, чем заранее данное произвольно малое положительное число, в математике обозначается двумя буквами, например, dx, где d значит, что надо принимать x очень малым (бесконечно малым).

„диалектика без доказательства не может приниматься“, то из этого следует, что стоимость не есть диалектическое понятие. Этого требует простая последовательность. Однако я сильно подозреваю, что последовательность совершенно исключена из той концепции диалектики, какая имеется у т. Милонова.

„Аксиоматика и диалектика по существу противоположны друг другу“. Так ли это? Я думаю, что ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов, ни Ленин так не думали. Можно найти много мест, где все эти основоположники марксизма говорят об основных принципах диалектики, об их значении и важности их установления. Я позволю себе привести только одно место. Т. Ленин цитирует „Анти-Дюринга“: „Откуда берет мышление эти принципы (и добавляет: „речь идет об основных принципах всякого знания“)—из себя самого? Нет... Формы бытия мышление никогда не может почерпать и выводить (выводить, т.-е. доказать, т. Милонов.—*В.*) из себя самого, а только из внешнего мира. Принципы—не исходный пункт исследования, а его заключительный результат. Эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них“... („Материализм и эмпириокритицизм“, стр. 26). Эти принципы я и называю аксиоматикой.

Т. Милонов, вероятно, скажет, что принципы или основные посылки, это—одно, а аксиомы, это—другое. Но для того, чтобы убедить меня в этом, ему нужно сказать, какая разница существует между принципом и аксиомой. Я тщетно ищу ее. Я знаю, что аксиома, это—греческое слово; в латинском переводе оно означает—принцип, и что принцип, это—то же самое, что и основная посылка. Кроме того, я знаю, что любое научное утверждение есть или доказанное положение, или одна из основных посылок, которые сами собою разумеются в пределах данной науки, а иногда и вовсе не доказываются, так как их мышление „нельзя выводить их из самого себя, а только из внешнего мира“.

Какая существует третья возможность для любого научного предложения, кроме двух, что оно есть или принцип (аксиома), или доказанное предложение? Т. Милонов считает диалектикой только доказанные предложения. Принципы же или аксиоматику он отбрасывает в сторону, так как они „принимаются без доказательств, иными словами, на веру, или непосредственно из опыта“. Это разграничение и обнаруживает весь формализм его мышления.

Очень характерно для формализма его мышления и то, как он разделяет математику с точки зрения диалектики. Он порицает Маркса за то, что тот хотел свести анализ к элементарной математике переменных величин. Он поучает Маркса: „Элементарная математика, т.-е. арифметика, в значительной своей части построена на данных формальной логики. Анализ же бесконечно малых (на это указывал Гегель) является прогрессом в сторону диалектики по сравнению с арифметикой. Поскольку это так, постольку ясно, что надо проанализировать подробно, как Маркс понимал данную задачу и в какой период своего развития он ее перед собой ставил. Нетрудно ведь понять, что все теперешние решения, предшественником которых т. Варьяш считает Маркса, отнюдь не согласуются с общим духом теории марксизма“ (стр. 300).

Т. Милонов таким образом утверждает, что арифметика, т.-е. элементарная математика, в значительной своей части построена на данных формальной логики, и с необычайной для него осторожностью деликатно называет анализ „прогрессом в сторону диалектики по

сравнению с арифметикой“ [1]). Энгельс держался на этот счет несколько другого мнения. „Это уже полное отсутствие понимания природы диалектики,—говорил он,—если т. Дюринг (он мог бы сказать и т. Милонов) считает ее орудием простого доказывания, подобно тому, как формальную логику или элементарную математику можно при ограниченном взгляде (курсив мой.—*В.*) истолковать в этом смысле... Элементарная математика, математика постоянных величин, движется, по крайней мере в общем и целом, в рамках формальной логики; а математика переменных величин, значительную часть которых составляет исчисление бесконечно малых, есть, в сущности, не что иное, как диалектика, примененная к математическим отношениям. Простое доказательство здесь решительно отступает на задний план перед различными применениями метода к новым областям исследования. Но все доказательства высшей математики, начиная с дифференциального исчисления, с точки зрения элементарной математики, строго говоря, ошибочны“ (курсив мой.—*В.*) („Анти-Дюринг“, стр. 121).

Как видите, мнение Энгельса несколько иное, чем мнение т. Милонова. Энгельс точно определяет, что в математике на формальной логике основывается лишь теория постоянных величин, т.-е. низшая арифметика. Уже теория уравнений не сводится к формальной логике. На странице 123 Энгельс приводит формулу: $-a \times -a = +a^2$, где a уже „любая алгебраическая величина“, как классический пример диалектики в элементарной алгебре. Анализ же, по утверждению Энгельса, является вовсе не „прогрессом в сторону диалектики“, а „есть не что иное, как диалектика, примененная к математическим отношениям“. Итак, Энгельс считает, что математика, в том числе и элементарная алгебра ($-a \times -a = +a^2$), является прикладной диалектикой. Разумеется, эта диалектика более проста, чем физика (т.-е. прикладная диалектика движений материи), химия и т. д. Т. Милонов не может этого понять. Не даром же он „перевел“ эту мысль в моей статье так, что получился какой-то бред. Диалектика т. Милонова в этом отношении сильно хромает.

Чрезвычайно интересно, как не в состоянии понимать т. Милонов как диалектику, так и математику, об этом свидетельствует его утверждение, что математический метод с точки зрения диалектики не является универсальным методом. „Материализм обязан ограничить сферу ее приложения (математики.—*В.*) доказав, что универсальным методом математика не является, хотя и... сохраняет свое значение в известной, ограниченной области“ (стр. 299, в статье Милонова). Тов. Милонов не знает, что „математический метод“ существует лишь в его голове. Есть универсальный метод и он оправдывается в математике тоже, т. Милонов, а это именно диалектика. Словом: по отношению к методу тоже нет никакой привилегии для математики.

Совсем непонятно окончание статьи т. Милонова. Он говорит: „Если кто-нибудь будет утверждать возможность аксиоматики диалектики, то это будет неверно, так как 1) диалектика тем и сильна, что в каждом отдельном случае надо учитывать своеобразие сферы ее

[1]) Как неохотно признает т. Милонов не только диалектику в математике, но и вообще существование математики, покажет еще ярче следующее его утверждение: „Марксизм не может, не имеет права, абсолютно отвергать математику“ (стр. 299). Еще бы!

приложения; 2) это будет означать новое протискивание формальной логики, целиком покоящейся на аксиомах" (стр. 301). Путаницу с аксиоматикой мы уже разобрали. Но тут есть еще какое-то недоразумение. Из этой фразы т. Милонова видно, что он разбивает мир на две части: а) на диалектику и в) на самый мир. „Применяя" к этому миру диалектику, надо учитывать все своеобразие мира.

Т. Милонов не может понять, что своеобразие мира и есть как раз его диалектика. Он видит в диалектике какую-то субъективную (даже не гегелевскую, не говоря уже о марксовой) сущность, идею в нашей голове. Мне кажется, что это самая грубая ошибка, которую только можно сделать в этой области. Я уже формулировал свой взгляд на диалектику, взгляд вполне совпадающий со взглядами Маркса и Энгельса. Повторяю его еще раз. Существует мир (в том числе и общество), как единый бесконечный диалектический процесс; математика же охватывает из этого диалектического всеединства некоторые сравнительно простые отношения. Механика берет более сложные отношения, физика—еще более сложные и т. д. Это вовсе не значит, что есть диалектика, как самостоятельный, обособленный от мира, существующий лишь в наших головах метод, который мы применяем к независимому от диалектики миру. Последний взгляд не имеет ничего общего с марксизмом. Между тем, как раз им-то и грешит т. Милонов.

Все ошибки т. Милонова вытекают из этого коренного непонимания диалектики. Он не может понять, что весь мир представляет из себя бесконечный диалектический процесс и диалектика как наука не применяется к нему, а представляет собою отражение этого процесса. „Применить" диалектику к природе, как это превосходно сказал Энгельс, совсем не значит „доказать" в смысле силогизации (тут „мои" понятия, а там мир и понятия „применяются" к нему), а значит систематически наблюдать и констатировать реальные свойства и реальные отношения частей единого материального мира, в котором эти части живут не оторванно друг от друга, но слитно друг с другом. Части мира только наши абстракции, наши упрощения. Реально они существуют лишь в отношениях с другими частями. Такова моя точка зрения. Т. Милонов думает, что она „не аутентична духу марксизма". Это, конечно, его право. Но я думаю, что всякий, кто прежде, чем критиковать меня, постарается меня понять, тот не согласится с т. Милоновым.

Тов. Милонов слишком слабо знает математику, чтобы писать о ней. Было бы гораздо лучше, если бы, прежде чем критиковать, т. Милонов постарался основательно изучить то, что он собирается критиковать. „Смелость, конечно, города берет", но одной смелости для того, чтобы говорить о диалектике в математике, совершенно не достаточно. Получится кавалерийский наскок, неизбежно кончающийся конфузом.

Чтобы показать, что думают о моей работе люди, знающие математику не так, как т. Милонов, я позволю себе привести пару выдержек из письма, полученного мною от одного голландского коммуниста, т. Струика, известного в математическом мире в качестве крупного специалиста по дифференциальной геометрии. Он пишет мне: „Я читал ваш краткий реферат в „Inprekore" № 92, с большим интересом. К сожалению, он слишком краток, чтобы дать ясную картину о ценности марксовых математических работ, хотя их чрезвычайно важное значение видно очень ясно и выпукло... Хотя я сам не являюсь специалистом в области теории множеств—моя специальность дифференциальная геометрия (интересно, в какой области математики специализируется т. Милонов),—все же я достаточно ориентирован, чтобы понять все значение такого рода работы"... В другом письме тот же самый товарищ извещает меня о том, что он поместил статью в одном из партийных органов коммунистической партии Голландии, посвященную моему реферату, и что он известил профессоров Вейля и Брауэра, которых я считаю продолжателями исследования Маркса, о рукописях Маркса и о моей статье, посвященной их разбору.

Слов нет, ни Вейль, ни Брауэр не коммунисты. Но если буржуазные ученые становятся на точку зрения Маркса, мы, марксисты не должны этого стыдиться. Диалектика—не категорический императив. Она есть действительный закон действительного мира. Поэтому неудивительно, что ученые делаются диалектиками. Энгельс очень гордился этим. Он говорил, что хотя многие буржуазные ученые и отрицают диалектику, это „ничуть не мешает множеству математиков признавать диалектику в области математики" („Анти-Дюринг", стр. 109, см. также стр. 122 и 128).

Какие же положительные выводы можно сделать из статьи т. Милонова и чему она может научить? Мне кажется, что полезные выводы из нее сделать можно. 1) Если цитировать, то надо цитировать точно, чтобы не получился обратный смысл тому, что автор имел в виду. 2) Если тебе хочется критиковать математику Маркса, делай открыто и не делай вида, что ты критикуешь меня. (Вся критика т. Милонова адресована Марксу.)

БИБЛИОГРАФИЯ.

Библиография по истории естествознания и техники.

По мере продвижения нашего в направлении социалистического строительства все ширится круг вопросов, которые мы стремимся осознать и марксистски обработать. Одной из областей, к которой мы еще только начинаем подходить, является история естествознания и техники. В данное время интерес к этой области уже настолько возрос, что история естествознания и техники делается предметом систематического изучения.

Но большим препятствием нашим молодым силам в этой области является, с одной стороны, недостаточность литературы на русском языке, с другой—плохое состояние библиографического дела, особенно в затрагиваемой области.

Автор этих строк поставил себе задачей пособить стремлению изучить историю естествознания и техники сведением воедино, по возможности, всей литературы по истории естествознания и техники как оригинальной, так и переводной, которая имеется на русском языке. Сверх того, указываются в небольшом количестве, главным образом, самые общие и могущие служить справочными пособиями сочинения на иностранных языках. Литература на них чрезвычайно обширна и, во всяком случае, составляет несколько тысяч монографических работ, не считая журнальной литературы. Из имеющегося у автора материала было взято лишь самое общее. Новейшая литература была приведена, поскольку о ней имелись сведения.

Чтобы облегчить работу начинающего читателя, звездочкой обозначены авторы, работы которых рекомендуются, как основные. Из иностранных указаны те, которые являются главными справочными пособиями.

Относительно приведенной литературы на русском языке можно отметить несколько моментов, которые бросаются в глаза. Прежде всего из всей литературы на русском языке около 40% является переводной. Это—одно. Другое, это—то, что интерес к истории естествознания быстро возрастает с 1905 г. До 1905 года только после 60-х годов XIX столетия замечался сильный интерес к истории естествознания. Результатом этого было появление в 80-х и 90-х годах ряда фундаментальных русских работ. После 1905 г., особенно начиная, примерно, с 1910 г., количество литературы по истории естествознания быстро возрастает. Так, с 1890 г. до 1900 г. имеем 20 книг, с 1900 г. до 1910 года—32, с 1910 г. до 1920 г.—33 и с 1920 г. до 1925 года—около 50-ти.

За все указания о недочетах в приведенном списке автор будет очень благодарен.

Список литературы.

I. Журналы.

1. Вестник Опытной Физики и Элементарной Математики. Одесса.
2. Физико-математические науки в настоящем и прошедшем. Журнал. Т. I—X (1885—1893 г.). М. Под ред. Бобынина.
3. Журнал Министерства Народного Просвещения. СПБ.
4. Математическое Образование. М.
5. Математический Листок.
6. „Журнал Русского Физико-Химического Общества“ и др. научные журналы.
7. Различные толстые журналы, как „Вестник Европы“, „Русская Мысль“, „Современник“, „Отечественные Записки“ и др.
8. „Под Знаменем Марксизма“ с 1922 г. М.
9. Популярно-научные журналы: „Природа“, „Искра“, „Природа и Человек“ и др.

---

1. Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. (Leipz. Vogel.)
2. Abhandlungen zur Gesch. der mathemat. Wissenschaft.
3. Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie.
4. Geschichtsblätter für Technik, Industrie und Gewerbe.
5. Zeitschrift für die Gesch. der mathemat. Wissenschaft.
6. Bibliotheca Mathematica. Журнал, посвященный истории математики и изд. Eneström'ом.

II. История техники.

1. Аристов. Промышленность древней Руси. СПБ., 1866 г.
2. Брандт. Очерк истории паровой машины и применение паровых двигателей в России. П., 1892 г.
3. Бобрик, Бетгер, Коль и Лукенбахер. Подвиги человеческого ума. Общепонятное изложение изобретений и техники производства. Т. I—III. СПБ. и М., 1870—1871 г.г.
4. Булгаков. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства. Т. I. СПБ., 1899 г.
5. *Вейле. Химическая технология первобытных народов. М., 1924 г., стр. 117.
6. Лихачев. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. СПБ., 1891 г.
7. Каменский. Джемс Уатт. 1891 г. СПБ. Изд. Павленкова.
8. Оствальд, В. Изобретатели и исследователи. СПБ., 1909 г.
9. Павленковские биографии: Гутенберг, Дагер и Ниепс, Стефенсон и Фультон, Эдиссон и Морзе. СПБ.
10. *Промышленность и техника. 10 т.т. Изд. „Просвещения“. СПБ.
11. *Радциг. Джемс Уатт и изобретение паровой машины. П., 1924 г., стр. 98.
12. Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и технологии. Изд. Щегловым и др. Т. I—VIII. СПБ., 1824—1832 г.г.

13. Щелкунов. Искусство книгопечатания в его историческом развитии. М., 1923 г., стр. VIII+215.
14. Чудеса техники. Обзор успехов, достигнутых человеком на пути к завоеванию воздуха, земли и воды. СПБ., 1910 г.
15. Хмыров. Металлы и металлические изделия в древней Руси. СПБ., 1875 г.
16. Энгельмейер. Технический итог XIX в. М., 1898 г.

---

1. *Beck. Geschichte des Eisens in technischer und Kulturg. Bez. 1892—1899.
2. Berndt. Entwicklung der Lokomotive.
3. Blümner. Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, 1875—1887. B-de I—IV. Новое перераб. изд. 1912 г.
4. *Darmstädter. Handbuch zur Gesch. der Naturwissensch. nnd Technik. 1908, стр. 1260 (искл. хронология).
5. Diels. Antike Technik. 1920.
6. Feldhaus. Die Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und Naturvölker. 1913.
7. Feldhaus. Ruhmesblätter der Technik von den Urerfindungen bis zur Gegenwart. 1910.
8. Klinckowström u. C. Feldhaus. Geschichtsblätter für Technik und Industrie.
9. *Karmartsch. Gesch. der Technologie. 1872, стр. 932.
10. Lippmann, Ed. Beiträge zur G. der Naturwiss. und Technik. 1923.
11. Matschoss. Die Entwicklung der Dampfmaschine. 1908.
12. Maigne. Histoire de l'Industrie. 1874.
13. Neuburger. Die Technik des Alterthums. 1919.
14. *Poppe. Gesch. der Technologie bis XVIII. 1807. B-de I—III.
15. Rühlmann. Vorlesungen über Gesch. der technischen Mechanik und theoretischen Maschinenlehre. 1885.
16. Rössing. Gesch. der Metalle. 1901.

III. История естествознания.

1. Блох. Синоптические таблицы по истории творчества. 1923.
2. Бугров. Рассуждение о первом ходе и распространении наук. М., 1814 г.
3. Вальден. Наука и жизнь. Ч. I, II и III (содержат биографические сведения о Ломоносове, Менделееве, Пастёре и др.).
4. Вант Гофф. О развитии точных естественных наук в XIX в.
5. *Гюнтер. История естествознания в древности и средние века.
6. *Даннеман. История естествознания. Одесса, 1913 г., стр. 484.
7. Итоги науки в теории и практике. 12 т.т.
8. Карцов, В. Натурфилософия Аристотеля. М., 1911 г.
9. Лавров. Важнейшие моменты в истории мысли. М., 1903 г.
10. Мензбир. Исторический очерк воззрений на природу. М., 1920 г., стр. 54.
11. Оствальд. Великие люди.
12. *Тимирязев, К. Наука. Очерк развития естествознания за III века (1620—1920 г.г.). М., 1920 г., стр. 63.
13. Тимирязев, К. Пробуждение естествознания в третьей четверти XIX в.
14. Тимирязев, К. Наука и демократия. Сб. статей (содержит биогр. данные о Дарвине, Лебедеве П., Бертло и др.). М., 1920 г., стр. 478.

15. Таннери. Первые шаги древне-греческой науки. СПБ., 1902 г., стр. XI+330+119.
16. Уэвель. История индуктивных наук. III тома. СПБ. 1867—1869.
17. Фигье. Светила науки. 3 т. т. СПБ. 1872 г.
18. *Унтерманн. Наука и революция. Историческ. очерк развития теории эволюции и влияние классовых интересов на философск. и научн. теории. Харьков, 1923 г., стр. 115.
19. Умов. Из истории союза науки и техники.
20. Алексеев, Н. Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов. М., 1912 г.
21. Дрэпер. История умственного развития в Европе. СПБ. 1880 г.

---

1. Burckhart. Beiträge aus der Gesch. der Naturwissen. 1909.
2. Cuvier. Histoire des sciences naturelles depuis leur origine. T. I—V, 1841—1845.
3. Darmstädter. Hadb. zur Gesch. der Naturwiss. und Technik. 1908, стр. 1260 (хронология).
4. *Dannemann. Die Naturwissenschaften in ihrer Entwickl. und ihrem Zusammenhange. 1922—1924. B-de I—IV (лучшая работа).
5. *Dannemann. Aus der Werkstatt Grosser Forscher. (Allgemeinverständliche, erläuterte Abschnitte aus den Werken hervorragender Naturvorscher aller Völker and Zeiten). 1922.
6. Günther. Gesch. der anorganischen Naturwiss. in XIX j-h. 1901.
7. Günther. Gesch. der Naturwissensch. 1909.
8. Lippmann. Abhandl. und Vorträge zur Gecsh. der Naturwiss. 1900.
9. Liebig, I. Die Entwicklung der Ideen in der Naturwissensch. 1866.
10. Müller. Gesch. der organischen Naturwissensch. XIX j-h. 1902.
11. De Rochas. Les origines de la science et ses premiers applications. 1884.
12. Strunz. Naturbetrachtung und Naturerkenntniss im Altertum. 1904.

IV. История математики.

1. Архимед, Лежандр, Гюйгенс. О квадратуре круга. Одесса, 1911 г., стр. 142.
2. Архимеда русские переводы см. у Попова „Псаммит Архимеда".
3. Адамантов. Краткая история математических наук с древнейших времен и история их первонач. развития в России. Киев, 1904 г. (до XVI в. в Европе и до XVIII в. в России).
4. *Беллюстин. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. М., 1922 г., стр. 203.
5. Бобынин. Происхождение и первоначальное развитие письменного счисления. „Математич. Листок". Т. I.
6. Бобынин. Биографии знаменитых математиков XIX в. Вып. I. Грассман. 1886 г. Вып. V. Гаусс. 1889 г. Вып. VI. Авель. 1889 г.
7. Бобынин. Состояние математических знаний в России до XIX в.
8. Бобынин. Очерки развития физико-математических знаний в России (XVII ст.). Вып. I—1886 г.; вып. II—1893 г.
9. Бобынин. Древне-египетская математика в эпоху владычества Гиксов. Ж. М. Н. П. 1909 г., октябрь.
10. Бобынин. Исследования по истории математики: I. Периоды, направления и школы в развитии наук математических. 1877 г. II. Очерки истории до научного периода развития арифметики. М., 1896 г. III. Очерки истор. развит. математич. наук на Западе. 1896 г.

11. Бобынин. Математика древних египтян (по папирусу Ринда). М., 1882 г.
12. Бобынин. М. Е. Головин. Этюд из истории физико-математических наук в России в XVIII в. М., 1912 г.
13. Бобынин. Алгорифм Бинэ и его употребление в древности (из „Математич. Образования", 1913 г.).
14. Бобынин. Вторая стадия развития счисления дробей (оттиск из „Вестника").
15. Бобынин. Яков Бернулли и теория вероятностей (из „Математическ. Образования", № 4, за 1914 г.).
16. Бобынин [1]). Пути открытия и доказательства древними математиками приписываемого Платону правила образования рациональных треугольников. М., 1915 г.
17. Бубнов. Арифметическая самостоятельность европейских народов. Т. I, II и III. 1908 г., стр. 408.
18. Бубнов. Происхождение и история наших цифр. Киев, 1908 г., стр. 196.
19. Бубнов. Подлинное сочинение Гебера об Абаке. Киев, 1911 г., стр. 510.
20. Бубнов. Абак и Боэций. П., 1912 г., стр. 311 („Журнал Мин. Нар. Просв.", 1907—1909 г.г.).
21. *Васильев, А. В. Целое число. П., 1922 г., стр. 268.
22. Васильев. Введение в анализ. Казань. Вып. I. 1913 г., стр. 135. Вып. II. 1910 г., стр. 188.
23. Васильев. О числовых суевериях. Казань, 1885 г.
24. Васильев. Броннер и Лобачевский.
25. Ващенко-Захарченко. История математики. Т. I. Киев, 1883 г., стр. 624.
26. Галанин, Д. Д. История методических идей по арифметике в России. Ч. I. XVIII в. М., 1915 г.
27. Галанин. Л. Ф. Магницкий и его арифметика. Вып. I—III. М., 1914 г.
28. Гейберг. Новое сочинение Архимеда. Одесса, 1909 г.
29. Виппер, Ю. Сорок пять доказательств Пифагоровой теоремы. М., 1876 г.
30. Золотарев. Как люди научились считать. М., 1910 г.
31. *Зутер. История математических наук. СПБ., 1905 г., стр. 134.
32. *Кэджори. История элементарной математики. Одесса, 1910 г., стр. 386.
33. *Лебедев, В. Кто изобрел алгебру. Стр. 64.
34. *Лебедев, В. Кто автор первых теорем геометрии. М., 1916 г., стр. 59.
35. *Леффлер. Цифры и цифровые системы культурных народов. Одесса, 1913 г., стр. 101.
36. Лицманн. Теорема Пифагора. Одесса, 1912 г., стр. 80.
37. *Лафарг. Экономика, естествознание, математика. СПБ. „Исторический Материализм". Изд. Семковского. 1923 г., стр. 125—131.
38. *Попов, Г. Культура точного знания в древнем Перу. П., 1923 г., стр. 72.
39. *Попов, Г. Очерки по истории математики. П., 1923 г., стр. 165.
40. Попов, Г. История математики. Т. I. М., 1920 г., стр. 236.
41. *Попов, Г. Псаммит Архимеда. П., 1923 г., стр. 96.
42. Попов, А. Очерк развития арифметики. Казань, 1873 г.
43. Покровский. Историч. очерк теории ультра-эллиптических и абелевых функций. М., 1886 г.
44. Некрасов, П. А. Московская философско-математическая школа и ее основатели. М., 1904 г.

[1]) Кроме перечисленных, у Бобынина имеются еще другие многочисленные работы по истории математики на русском и иностранных языках.

45. Павленковские биографии: Декарт, Лаплас и Эйлер, Лейбниц, Лобачевский, Ковалевская, Ньютон.
46. *Тропфке. История элементарной математики в систематическом изложении. Ч. I. Арифметика. М., 1914 г., стр. 146.
47. *Фаццари. Краткая история математики с древних времен и кончая средними веками. 1923 г., стр. 214.
48. Фрейсинэ. Очерки по философии математики.
49. Филиппов. О геометрии Лобачевского в „Математическом Листке" за 1894 г.
50. *Фурре. Очерки истории элементарной геометрии. Одесса, 1912 г., стр. 52.
51. Шаль. История геометрии. 1883 г., стр. 428.
52. *Шереметевский. Историческ. очерк развития анализа и его приложений к геометрии (300 стр.). (Помещен в т. I. Лоренц—„Элементы высшей математики".)
53. Эвклид. „Начала". Русские переводы см. у Лебедева. „Кто автор первых теорем геометрии".

---

1. Boyer, I. Histoire des mathématiques. 1900.
2. *Cantor, M. Gesch. der Mathematik. B-de I—IV. 1908. (Лучший труд.)
3. Gerhardt. Gesch. der Mathematik in Deutschland. 1877.
4. Hankel. Zur Gesch. der Mathem. in Alterthum und Mittelalter. 1874. S. 204.
5. Marie. Histoire des sciences mathématiques et physiques. 12 tomes. 1883—1888.
6. Picard. Le développement de l'analyse. 1905.
7. *Tropfke. Gesch. der elementar. Math. B-de I—VII. 1921—1924.
8. Suter. Gesch. der mathematischen Wissenschaften. T. 1 u. 2. 1873.
9. Wieleitner, H. Gesch. der Mathematik (von Cartesius bis zur Wende der XVIII Jahrhund.). 1911.

V. История астрономии.

1. Араго. Биографии астрономов, физиков и математиков. СПБ. 1860.
2. Аррениус. Представления о развитии вселенной. 1914.
3. Ассонов. Галилей и Ньютон. 1871.
4. Баев. Трехсотлетие первых телескопических наблюдений („Известия Русск. Астрономич. Об-ва", 1910 г.). СПБ., 1910 г.
5. *Берри. Краткая история астрономии. М., 1904 г., стр. 606.
6. Веселовский. Бруно. „Вестник Европы", декабрь, 1871 г.
7. *Кларк, А. История астрономии в XIX ст. Одесса, 1913 г., стр. 656.
8. *Классические космогонические гипотезы. М., 1923 г., стр. 170. (Кант, Лаплас, Фай, Дарвин, Пуанкаре.)
9. *Лакур и Аппель. Историческая физика (часть посвящена астрономии).
10. *Покровский. Успехи астрономии в XIX в. СПБ., 1902 г., стр. 274.
11. Святский. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. П., 1915 г., стр. 214.
12. Савич. Исторический взгляд на открытие малых планет или астероидов. СПБ., 1855 г.
13. Трельс-Лунд. Небо и мировоззрение в круговороте времен. Одесса, 1912 г., стр. 233.

14. Павленковские биографии: Галилей, Кеплер, Коперник, Ньютон, Бруно, Колумб.
15. Лодж. Пионеры науки. 1901.

---

1. *Delambre. Histoire de l'astronomie. 1817—1827.
2. Duhem. Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernique. 1913.
3. Repsold. Zur Gesch. der astronomischen Messwerkzeuge von Purbach bis Reichenbach (1450 bis 1830). 1908.
4. Saunier. Die Gesch. der Zeitmesskunst von der ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. 1902.
5. Servus. Die Gesch. des Fernrohrs bis auf die neueste Zeit.
6. *Wolf. Gesch. der Astronomie, 1877.

VI. История физики.

1. Вин, В. Новейшее развитие физики и ее применений. Одесса, 1922 г., стр. 113.
2. Гельмгольц. О сохранении силы. М., 1922 г., стр. 71.
3. Дю-Буа-Раймон. Г. Гельмгольц. СПБ., 1910 г., стр. 70.
4. Дюгем. Физическая теория, ее цель и строение. СПБ., 1910 г., стр. 326. (Касается более истории философии и методологии физики.)
5. Дюринг. Критическая история основных принципов механики. М., 1893 г.
6. Замятин. Роб. Мейер. 1921 г.
7. Истории физики XIX ст. Очерки трудов ее деятелей—Кирхгоф, Мейер, Фарадэй. М., 1897 г.
8. *Карно, С. О движущей силе огня. М., 1923 г., стр. 74.
9. Карпов, В. Очерк общей теории микроскопа в ее историческом развитии (Гельмгольц, Аббе, Релэй). М., 1907 г.
10. Курляндцев. Речь о начале, постепенном развитии и настоящ. состоянии опытной физики. Одесса, 1832 г.
11. *Лакур и Аппель. Историческая физика. Одесса, 1908 г. Т. I и II.
12. *Любимов. История физики. Т. I—III. СПБ., 1892 г.
13. *Лебедев, В. Как постепенно образовался первый круг сведений о магнетизме и электричестве. М., 1919 г., стр. 144.
14. *Лебедев, В. Колесница пророка Илии. М., 1924 г.
15. Лебединский. В. Томсон-Кельвин. Л., 1924 г., стр. 37.
16. Лебедев, П. Н. Собрание сочинений (есть статьи, посвященные истории физики).
17. Мах, Э. Механика. Историко-критический очерк ее развития. СПБ., 1909 г., стр. 446.
18. Мах. Принцип сохранения работы. История и корень его.
19. Перевощиков. Ньютон. „Современник". Т. 33.
20. Пуанкаре. История математической физики.
21. Ремюз. Ньютон. „Отечеств. Записки". Т. III, стр. 484.
22. *Розенбергер. Очерки истории физики. Ч. I, II и III. 1883—1894 г.г.
23. Румовский. Речь о начале и приращении оптики до нынешних времен. СПБ., 1763 г.
24. Столетов. Очерк развития наших сведений о газах. М., 1879 г.
25. Успехи физики. Сборник статей. Одесса, 1910—1911 г.г.
26. Хвольсон. Характеристика развития физики за последние 50 лет. Л., 1924 г., стр. 218.
27. Шиллер. Возникновение и развитие понятия о температуре. Киев, 1899 г.
28. Павлецковские биографии: Ньютон, Фарадэй, Паскаль.

---

1. Auerbach. Entwicklungsgeschichte der modernen Physik. 1923.
2. Fischer. Gesch. der Ph. seit der Wiederherstellung der Künste und Wissenschaften. 1803. B-de I—VIII.
3. *Gerland und Traumüller. Gesch. der physikalischen Experimentierkunst. 1899.
4. Heller. Gesch. der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit. B-de I—II. 1882—1884.
5. Hoppe. Gesch. der Elektricität. 1884.
6. Helm. Energetik in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 1898.
7. Kistner. Gesch. der Phisik. II B-de. 1907. Samml. Göschen.
8. *Rosenberger. Gesch. der Ph. B-de I—III. 1882—1890.
9. Poggendorf. Gesch. der Phesch. 1879.
10. Wilde. Gesch. der Optik. 1843.

VII. История химии.

1. Аренс. Успехи химии в XIX веке.
2. Безредка. Опыт истории развития стереохимических представлений. Одесса, 1892 г.
3. Блох. Жизнь и творчество Вант Гоффа. 1923 г.
4. Бутлеров. Исторический очерк развития химии за последние 40 лет. 1879—1880 г.г.
5. *Вальден. Теории растворов в их исторической последовательности. П., 1921 г., стр. 195.
6. *Вальден. Очерк истории химии в России. Одесса, 1917 г., стр. 300. Приложение к книге Ладенбург „Очерк развития химии".
7. Вальден. История принципа сохранения энергии. „Журн. Русск. Физико-Химич. Общ". Отд. хим. 1912 г.
8. Вюрц. История химических воззрений от Лавуазье до наших дней.
9. *Герц. Очерк истории развития основных воззрений химии. Л., 1924 г., стр. 242.
10. Горбов. История развития теоретических воззрений в органической химии. В словаре Брокг. и Ефр.
11. Гофман. Химик Ж. Б. А. Дюма. СПБ., 1885 г.
12. Губкина. Воспоминания о Д. И. Менделееве. 1908 г.
13. Коген. Сто лет в молекулярном мире. Харьков, 1912 г.
14. Кондаков. О некоторых чертах развития химии в России. „Бюллетени русск. химич. литературы", под ред. Челинцева. 1917 г.
15. Каблуков. Очерки из истории электрохимии за XIX в. М., 1901 г.
16. Каблуков, И. В. В. Марковников.
17. *Ладенбург. Очерк развития химии от Лавуазье до наших дней. Одесса, 1917 г., стр. 360.
18. Ломоносовский сборник. Материалы для истории развития химии в России. М., 1901 г.
19. *Ломоносов. Физико-химические работы. М., 1923 г., стр. 117. См. также его собр. сочинений.
20. Меншуткин. М. Ломоносов. П., 1911 г., стр. 160. См. также „Ж. Р. Ф.-Х. О." за 1904 г. Вып. 6—9.
21. Меншуткин. Зинин.
22. Меншуткин. Очерк развития химических воззрений.
23. Меншуткин, Б. Жизнь Н. Меншуткина.
24. *Мейер. История химии от древнейших времен и до настоящего времени. СПБ., 1900 г.
25. *Морозов, Н. В поисках философского камня.
26. Морозов. Д. И. Менделеев. М., 1908 г.

27. Морозов. Периодические системы вещества.
28. Оствальд. История электрохимии. СПБ., 1911 г., стр. 251.
29. Оствальд. Эволюция основных проблем химии. М., 1909 г.
30. Оствальд. Путеводные нити в химии. М., 1908 г., стр. 206.
31. Рамзай и Оствальд. Из прошлого химии. 1919 г.
32. Рамзай. Прошедшее и будущее химии.
33. Савченков. История химии. 1872 г.
34. Тильден. Химические элементы. СПБ., 1911 г., стр. 93 (Кр. история периодич. сист. элементов).
35. Тищенко. Д. И. Менделеев. „Ж. Р. Ф.-Х. Общ." Т. 41 за 1909 г.
36. *Уинди. О значении работ русских химиков для мировой химии (Истор. русск. химич. школы). Л., 1924 г. стр. 49.
37. Флавицкий. Очерк развития знания о химических элементах. Казань, 1894 г., стр. 53.
38. *Центнершвер. Очерки по истории химии. Одесса, 1912 г., стр. 318.
39. Челинцев. Органическая химия в биографиях ее главнейших деятелей. Саратов, 1914 г.
40. *Чугаев. Открытие кислорода и теории горения. П., 1919 г.
41. Чугаев. Периодические системы вещества.
42. Шиндельмейзер. Кратк. историч. очерк развития судебной химии. Юрьев, 1902 г.

---

1. Bauer. Geschichte der Chemie. B-de I—II. 1907. Sämml. Gösch.
2. Délacre. Histoire de la Chimie. 1920.
3. Groebe. Gesch. der organischen Chemie. 1920. S. 406.
4. Hjelt. Gesch. der organ. Chemie. 1921. S. 556.
5. *Kopp. Gesch. der Chemie. 4 B-de. 1893—1897.
6. *Lasswitz. Gesch. der Atomistik. 1890. 2 B-de.
7. Meyer, E. Gesch. der Chemie. 1914. S. VIII + 616.
8. Weitz. Gesch. der Chemie. 1924.

VIII. История геологии, минералогии, географии, метеорологии.

1. Анучин. Древняя география. М., 1886 г. (лит.).
2. Вернадский. О значении трудов М. Ломоносова в минералогии и геологии. М., 1900 г.
3. Вальдо. Современная метеорология. Очерк ее прошлого и настоящего. СПБ., 1897 г.
4. *Гюнтер. История географических открытий и успехи научного землеведения в XIX в. М., 1903 г. (Приложение к журналу „Землеведение" за 1902 и 1903 г.г.)
5. *Павлов. Очерк истории геологических знаний. М., 1921 г., стр. 84.
6. Павлов. Полвека в истории науки об ископаемых организмах. М., 1897 г.
7. Павлов, А. Значение Ломоносова в истории почвоведения. Стр. 12. Оттиск из „Почвоведения" за 1911 г.
8. Руднев. Рассуждение о постепенном распространении сведений о земной поверхности. М., 1830 г.

---

1. Günther. Studien zur Geschichte der mathematisch. und physik. Geographie. 1879.
2. Günther. Entdeckungsgesch. und Fortschritte der wissensch. Geographie. 1902.
3. *Günther. Gesch. der Erdkunde. 1904.

4. *Kobell. Gesch. der Mineralogie von 1650 bis 1860; 1864.
5. *Zittell. Gesch. der Geologie und Paläontologie. 1899.

IX. История биологии.

1. *Берг. Из истории эволюционных идей. „Научн. Известия". Сб. № 4. М., 1922 г.
2. Благовещенский. К. А. Тимирязев. Краснод., 1923 г., стр. 36.
3. Вернадский. Начало и вечность жизни. П., 1922 г., стр. 58.
4. Веревкин. История оспы в России. СПБ., 1867 г.
5. *Гезер. Основы истории медицины. Казань, 1890 г.
6. Гутнер. История открытия кровообращения. М., 1904 г.
7. Дриш. Витализм. Его история и система. М., 1915 г., стр. 275.
8. *Джедд. Возникновение и развитие идеи эволюции. М., 1924 г., стр. 112.
9. Зембицкий. Взгляд на состояние зоологии до половины XVIII ст. СПБ., 1842 г.
10. Ковнер. История медицины. I—III т.т., стр. 1900. Киев, 1878—1888 г.г. (I т.—медицина Востока и древней Греции до Гиппократа; т. II—Гиппократ; т. III—от Гиппократа до Галена включит.). Содержит богатые библиографические указания за старые годы.
11. *Коршиков. Эволюционные теории в историческом изложении. Харьков, 1924 г., стр. 186.
12. Коровин. Дженнер. М., 1883 г.
13. Кузнецов. Бэр в „Вестнике Рыбо-Промышл." за 1892 г.
14. Мельник. И. И. Мечников. 1924 г., стр. 171.
15. Мечников. Пастёр.
16. Материалы для истории научной и прикладной деятельности в России по зоологии. М., 1888 г. Т. I.
17. Новомбергский. Врачебное строение в до-петровской Руси. Томск, 1907 г.
18. Новомбергский. Материалы по истории медицины в России. 1907 г.
19. Омелянский. Луи Пастёр.
20. Овсянников. Очерк деятельности Бэра. „Записки Академии Наук". СПБ., 1879 г.
21. *Перье. Основные идеи зоологии в их историческом развитии с древнейших времен до Дарвина. СПБ., 1896 г. (Приложен. к журн. „Мир Божий").
22. *Понятский. Великий ученый-революционер. К. А. Тимирязев. М.—П., 1923 г., стр. 47.
23. Павленковские биографии: Гарвей, Дарвин, Дженнер, Кювье, Линней, Лайель, Мальтус, Бэр, Боткин, Пирогов.
24. Рихтер. История медицины в России. М., 1814—1820 г.г. Т. I—III.
25. *Тимирязев, К. Главнейшие успехи ботаники в начале XX ст. М., 1920 г., стр. 49.
26. Он же. Ч. Дарвин и его учение. М., 1919—1921 г.г. Ч. I, стр. 196; ч. II, стр. 278.
27. Он же. Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов. М., 1920 г., стр. 58.
28. Он же. Столетние итоги физиологии растений. М., 1918 г., стр. 78.
29. Он же. Исторический метод в биологии. М., 1922 г., стр. 167.
30. Он же. Основные черты истории развития биологии в XIX в. М., 1908 г.
31. Филиппов. Философия действительности. Т. I и II. П., 1897 г. (Излагает историю биологических взглядов с древнейших времен).
32. *Филипченко. Эволюционная идея в биологии. Исторический обзор. эволюц. учений XIX в. М., 1923 г., стр. 288.

33. Холодковский. Мальпиги. Берлин, 1923 г., стр. 34.
34. Он же. Ян Сваммердам. Берлин, 1923 г., стр. 49.
35. Чистович. Мечников. Берлин, 1923 г., стр. 81.
36. Шиховский. Воспоминания о Линнее. Речь в Петерб. университете. 1847 г.
37. Эвелинг. Ч. Дарвин, жизнь и деятельность. М., 1923 г., стр. 39.

---

1. Burkhardt. Geschichte der Zoologie. 1907.
2. Carus. Gesch. der Zoologie. 1872.
3. Hertwig. Die Entwicklung der Biologie im 19 Jahrhund. 1900.
4. Meyer. Gesch. der Botanik. 4 B-de. 1854—1857.
5. Neuburger-Pagel. Handbuch der Gesch. der Medizin. 3 B-de. 1902—1905.
6. Sachs. Gesch. der Botanik. 1875. [1])

А. Максимов.

„Воинствующий материалист".

(Сборник, книга I, кн-во „Материалист", Москва, 1924 г., стр. 408.)

История марксизма в России за последнее десятилетие богата и поучительна, как и сама эта бурная общественным движением эпоха. Два таких всемирно-исторических события, как война и революция, нашли отражение в бессмертных марксистских произведениях т. Ленина: „Империализм" и „Государство и революция". Октябрь открыл широчайшие возможности для дальнейшего развития, углубления и распространения марксизма. Не будем останавливаться на отдельных произведениях отдельных марксистов (Ленин, Бухарин и др.), достаточно указать на появление целого ряда журналов и учреждений, ставящих себе целью изучение и распространение революционного марксизма. Так, „Под Знаменем Марксизма", „Вестник Коммунистической Академии", „Архив Маркса и Энгельса"; из учреждений: Коммунистическая Академия, Институт Маркса и Энгельса, Институт Ленина, Институт красной профессуры и др.

В то время, как соглашательская практика II Интернационала привела к полнейшему опошлению теории революционного марксизма, Коминтерн, РКП своей революционной практикой дали возможность марксизму воинствовать и побеждать. Весной прошлого года в Москве было учреждено Общество воинствующих материалистов, поставившее своей задачей борьбу за воинствующий материализм и борьбу против идеализма „во всех его проявлениях".

Рецензируемый нами сборник „Воинствующий материалист" и представляет собой первую книгу трудов этого Общества. Хотя редакция сборника и не высказалась о своих целях и задачах во вступительном заявлении, как это обычно водится, но их вполне определяет само название сборников. Тем более, что в конце сборника напечатан устав Общества, где об его задачах говорится следующее:

„1. Задачами ОВМ является:

а) научная разработка основ диалектического материализма;

б) разработка диалектического метода в области естественных наук;

[1]) В дальнейшем список будет пополняться. В него не вошли все сочинения по философии естествознания, по истории философии и истории культуры, зачастую касающиеся истории естествознания.

в) исследовательская работа в области исторического материализма;

г) научно-исследовательская разработка истории материализма и естественных наук;

д) борьба с философским и естественно-научным идеализмом во всех его проявлениях;

е) борьба с извращением и упрощением диалектического материализма" (стр. 406).

Вне сомнения, что те же задачи стоят и перед „Воинствующим материалистом". Посмотрим же, как они выполнены в первом его сборнике.

Т. Деборин в своей статье „Последнее слово ревизионизма" говорит о новейших сдвигах и поворотах в австро-германском ревизионизме с одной стороны, и католицизме, с другой. Содержание этого сдвига заключается в том, что ревизионизм (Альберт Кранольд, Макс Адлер) и католицизм (Штейнбюхель) совместно ищут путей взаимного сближения в теории. Католики приспособляют католицизм под социализм, а ревизионисты, давно уже сделавшиеся идеалистами кантовского толка, фальсифицируют марксизм под поповство. „Достаточно вспомнить,—говорит т. Деборин,—совместную деятельность в коалиционных правительствах партии центра и социал-демократии. Естественно, что социал-демократическая практика последних лет нуждается в теоретическом обосновании. Практический оппортунизм самым тесным образом связан с теоретическим ревизионизмом. Коалиционная политика, сближение между католицизмом и социализмом на политической почве должно иметь своим логическим последствием сближение в области теоретической" (стр. 4). Это делается путем отказа от марксизма и замены его не только идеалистической, но прямо-таки религиозной идеологией, замены науки религией и т. д. Статья т. Деборина являет собой блестящий образец воинствующего материализма.

Дальше следует библиографическая заметка т. Невского (почему-то помещенная не в библиографическом отделе, именуемом в этом сборнике „Полемика на полях") о новой книге т. Луппола „Дидро".

Очень высоко оценивая книгу, т. Невский, однако, признает существенные, с его точки зрения, недостатки в ней. Все они, по его мнению, сводятся тому, что т. Луппол, „исследуя генезис идей Дидро, не так подробно выяснил то революционизирующее влияние, которое оказало естествознание на французскую мысль XVIII века" (стр. 22). Не отрицая этого „революционизирующего влияния", нужно все же сказать, что это указание по отношению к Дидро не так уж существенно. Дидро—не ученый естественник, делающий эпоху в этой области, а, главным образом, общественный деятель, публицист, идеолог революционной буржуазии.

И поэтому чрезвычайно интересно найти в истории общественной мысли, философии, науки, атеизма самой Франции на протяжении двух столетий (XVI и XVII, в связи с историческими условиями, основные элементы, которые вошли в состав идеологии революционной буржуазии, как она (идеология) была формулирована воинствующими материалистами XVIII века, в том числе и Дидро. „Элементы, из которых сложилось так называемое просвещение, были подготовлены предшествующим развитием. Атеистические идеи имели длинную предъисторию... Мыслители XVIII века воспитывались на произведениях Монтеня, Шаррона, Бейля, Декарта, Гассенди и английских философов, равно как и на идеях Спинозы" (А. Деборин. Предисловие к „Системе природы" Гольбаха, стр. IX).

Исследовательская статья И. Орлова „Материализм и развитие нравственности", задавшаяся целью рассказать нам, „что такое нравственность и в чем заключается основной закон ее развития" (стр. 55), во многих отношениях заслуживает нашего внимания.

Т. Орлов так объясняет происхождение нравственности: „Страх или инстинкт самосохранения и является тем основным первоначальным мотивом, из которого развилась вся нравственность“ (стр. 59). И далее: „Какая же психическая (!? *Е. Г.*) сила скрепляет такое первобытное общество? Такой силой вначале может быть (как категорично! *Е. Г.*) только страх“ (стр. 60). Трудно сказать, что так перепугало т. Орлова, что всю социальную жизнь он видит только сквозь очки страха.

На той же странице т. Орлов дает и закон развития нравственности. Послушаем. „В этой необходимой для организма (обратите внимание—„для организма“! *Е. Г.*) замене астенических аффектов стеническими и заключается причина развития нравственности“ (стр. 60). Т. Орлов критикует Каутского (хорошо, что это делает), но неужели он не понимает, что, так критикуя Каутского, он идет не вперед, а назад... прямо... прямо... к... к... Энчмену. Не верите? Так слушайте: „Автор (т.-е. Энчмен), прорвавшись к проблемам библейской и христианской религии, обнаружил, что в отличие от всех других соседних религий, в библейской религии в понятии бога художественно отражались не „благоприятствующие ведению хозяйства силы природы“, а содержание центрального, самого мощного анализатора из 15 анализаторов теории новой биологии, художественно отражалось обще-биологическое понятие органического угнетения (астенизм), органической нерадостности“ (18 тезисов, стр. 35—36).

Между Орловым и Энчменом принципиальной разницы нет никакой, разве только то, что Энчмен „прорвался“ к религии, а Орлов „прорвался“ к нравственности. Понимание этих надстроек у них обоих одно и то же.

Положения т. Орлова никак нельзя примирить с диаметрально-противоположными взглядами, высказываемыми т. Дебориным в упоминаемой выше статье: „Марксизм учит, что в классовом обществе мораль есть лишь отражение социального и экономического положения каждого класса“ (стр. 14). Здесь забыто старое плехановское правило для журналов:

„Чтоб сотрудники не противоречили друг другу, чтоб не было разноголосицы и диссонансов не было, чтоб по всем затрагиваемым вопросам редакция имела определенные взгляды, с точки зрения которых и рассматривала бы представляемые ей статьи“ (Плеханов, т. X, стр. 399).

Столь же неудачна неоговоренная — редакцией статья т. Цейтлина „Рациональный и формальный диалектический материализм“, полемизирующая с т. Орловым по поводу его статьи „Что такое материя“ („Красная Новь“, июль 1924 г.). Всячески реставрируя и модернизируя идеи Декарта, не только физические, но и метафизические, т. Цейтлин защищает механический материализм, подводит естественно-научный базис под теорию „врожденных идей“ и т. д., совершенно забыв, что Декарт был одновременно и материалистом (его физика) и идеалистом (его метафизика). „Метафизика XVII века, главным представителем которой во Франции был Декарт, с самого рождения своего должна была бороться с материализмом“ (Маркс о французском материализме XVIII ст.).

Чтобы закончить наш обзор философских статей этого сборника, нужно еще отметить статью т. Милонова „Об одном новейшем перевороте“, указывающую на антимарксистский характер основных положений доклада т. Варьяша „История философии и марксистская философия истории“ („Вестник Коммунистической Академии“, книга 9, стр. 253). Тов. Милонов в своей критике по существу прав, если не считать спорного в марксизме вопроса о возможности марксистской социологии, но нужно признать его критику неполной. Так, он совершенно не останавливается на попытке т. Варьяша соединить марксизм с фрейдизмом, а по-нашему, это—существо вопроса.

Статья т. Ротштейна „Соглашательство в английском рабочем движении“ глубоко интересна и актуальна, поскольку она исследует исторические корни английского соглашательства, но, несомненно, она выходит за пределы задач, ставимых себе сборниками. То же самое хочется сказать и о статье Козьмина „Ткачев и Лавров“.

Сугубо актуальна статья т. Ленина „Аграрная программа социал-демократии в русской революции“, впервые напечатанная на русском языке. Она представляет собой конспект более обширной работы т. Ленина „Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—7 годов“.

Для понимания сегодняшней дискуссии необходимо точное усвоение аграрной программы большевиков и меньшевиков (известно, что „перманентники“ стояли на точке зрения меньшевиков). Статья т. Ленина должна быть одним из основных источников для этого. Интересно, что и в этой статье т. Ленин повторил: „Пусть мещане спешат „вить гнездышко“ в спокойных муниципалитетах будущей демократической России. Задачей пролетариата является организация масс не для этой цели, а для революционной борьбы за полную демократию сегодня, за социалистический переворот завтра“ (стр. 143).

Интересна также полемика между Лениным и Масловым, главным адептом меньшевистской аграрной программы, стяжавшим себе славу ревизией земельной ренты К. Маркса.

Нетрудно себе представить, как бы Ленин использовал в борьбе с меньшевиками черновой набросок Маркса о национализации земли, если бы он был ему доступен. Маркс пишет:

„Будущее решит, что земля может быть только национальной собственностью. Отдача земли в руки ассоциаций сельских рабочих означает отдачу всего общества исключительно одному классу производителей. Национализация земли произведет полную перемену в отношениях между трудом и капиталом и в конечном счете совершенно уничтожит капиталистическое производство как промышленное, так и земледельческое. Только тогда исчезнут классовые различия и привилегии вместе с экономическим основанием, от которого они произошли, и общество превратится в ассоциации свободных производителей. Жизнь трудом других станет делом прошлого. Не будут больше существовать правительства или государства, отдельные от самого общества“ (стр. 164).

В области деятельности, которую наметили себе ОВМ и его орган „Воинствующий материалист“, работы непочатый край. В наших теперешних условиях сборники полезны и необходимы. Пусть только они с честью выполняют свои задачи. Пусть они не забывают своих целей, формулированных в уставе. Пусть также они помнят и философское завещание Ленина в статье „О значении воинствующего материализма“—„Под Знаменем Марксизма“: „Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он становится, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым“ („Под Знаменем Марксизма“, № 3, март 1922 г., стр. 10).

Первый же сборник в этом отношении слишком мало дает как раз воинствующего материала, слишком много дает спорного материала, производит пестрое впечатление.

Пожелаем же в будущем сборникам более выдержанно проводить точку зрения подлинного воинствующего материализма, марксизма Маркса и Ленина, давать больше материала по философии марксизма, чем это имеет место в первом сборнике.

Е. Гирчак.

Я. С. Розанов. Исторический материализм. Библиография книжной и периодической литературы за 1865—1924 г.г. Гос. Изд. Украины. 1925, стр. 153.

Несомненно нужная и полезная книга. Я. С. Розанов сделал попытку собрать воедино сведения обо всех книгах, статьях и рецензиях, написанных за период 1865—1924 г.г. о марксизме, как теории исторического материализма, при чем последний автор принимает, как „философско-социологические основы марксизма". Задача эта в более узкой постановке ставилась уже однажды библиографическим указателем, приложенным к сборнику С. Семковского об „Историческом материализме", но то, как она там была выполнена, давно устарело, не включая новейшего материала и содержа в себе достаточно значительное количество пропусков. Однако, именно в силу того, что работа Я. С. Розанова дает в руки читателя очень важный справочный материал, нам хотелось бы к следующему ее изданию сделать ряд замечаний, которые и облегчили бы пользование ею, и заполнили бы имеющиеся в ней пробелы.

1. Как признает и сам автор, в работе очень плохо отграничены подлежащие ее охвату области. Так, например, включая в свою орбиту всю литературу по философско-социологическим основам марксизма, библиография, давая специальные отделы в предметном указателе „марксизму и махизму", „марксизму и кантианству", Фейербаху, Гегелю,—должна была бы включать в себя и такой же отдел о французском материализме XVIII в. и не опускать ни одной марксистской работы, посвященной истории философии. Между тем, бросается в глаза отсутствие указаний на новейшие статьи марксистов о Демокрите (Юринец, Гр. Баммель, Р. Пикель), из старых—отсутствие вступительной статьи В. Констанса к его переводу Ламетри „Человек-машина".

Не ясно затем, ставил ли себе составитель задачей охватить всю философско-социологическую марксистскую критику или нет. Как будто бы первое. Если да, то почему нет, например, статьи Ст. Кривцова „Методология общественных наук С. Франка", ряда различных рецензий хотя бы из „Под Знаменем Марксизма"? Если нет, то чем он руководствовался в своем выборе?

2. Неизвестно также, каким сроком кончается обзор литературы. Книжка помечена 1925 годом издания, но она заведомо не охватывает всего вышедшего даже в первую половину 1924 г.

3. Есть пропуски книг, может быть, впрочем, объяснимые тем, что указатель выпущен в провинции, откуда трудно следить за последними новинками книжного рынка; например, нет книги Н. Бухарина „Атака", нет указаний на новейшую критику марксизма в эмиграции, вроде Бердяевской „Философии неравенства". Следовало бы включить и их, если включаются ранние работы тех же господ и в том же духе.

4. Не совсем удовлетворяет нас и предметный указатель, приложенный в конце книги. Укажем несколько бросающихся в глаза пропусков: в отделе диалектики нет указания на указанную в общем списке очень важную работу А. Деборина „Маркс и Гегель", в отделе этики не указана блестящая работа Э. Фукса „Иллюстрированная история нравов" и нет очень важной речи Ленина на съезде комсомола, в отделе методологии литературной критики нет Плеханова.

5. Желательно было бы улучшить кое в чем и технику указателя:

а) указывать и в предметном указателе, где помещены те или иные статьи и рецензии;

б) ко всем книгам давать все имеющиеся отзывы, печатавшиеся на них;

в) не помещать, как особых авторов, псевдонимы вроде „Читатель" и т. п.; наоборот, псевдонимы типа Б. В. печатать в алфавитном указателе

со второй буквы. Рецензии за псевдонимами типа „Читатель" помещать лишь в списке отзывов на ту или иную книгу;

г) число страниц указывать не только к статьям, но и к книгам.

6. Не удовлетворяет нас группировка авторов по направлениям в предметном указателе. Тов. Я. С. Розанов делит всех на последовательных марксистов, исправителей и врагов. При этом в число последовательных марксистов попадает, например, А. В. Луначарский с его „Религией и социализмом", а в число исправителей—вообще не имеющий к марксизму отношения В. Чернов. Следовало бы делить, может быть, лучше для ориентировки читателя на ортодоксов, примыкающих исследователей-специалистов, ревизионистов и откровенных врагов.

7. Следовало бы в следующем издании приложить, по примеру С. Семковского, хотя бы и неполный указатель книг на иностранных языках.

Пожелаем же к следующему изданию работы т. Розанова, которое безусловно скоро понадобится, исправить все эти недочеты и дать нам действительно полную библиографию литературы по философии и социологии марксизма.

Н. К.

И. Степанов. Исторический материализм и современное естествознание. Марксизм и ленинизм. Очерки современного мировоззрения. Госиздат. Москва. 1924 г. Стр. 84.

I. Чему учит нас тов. Степанов.

Тов. Степанов выпустил книжку под многообещающим заголовком. Книжку эту, несомненно, будут читать и перечитывать десятки тысяч нашей учащейся молодежи, десятки тысяч коммунистов. Автор ее слишком хорошо известен нашей читающей публике, как выдающийся марксистский писатель, чтобы не поинтересоваться его мыслями по принципиальным вопросам марксизма. Тем более строгой и требовательной должна быть критика по отношению к книжке тов. Степанова: кому много дано, с того много и спрашивают.

В начале книжки т. Степанов совершенно справедливо бичует нейтрализм социал-демократии по отношению к марксистской философии, ибо под флагом нейтрализма протаскивается кантианство, фихтеанство и др. буржуазные теории, идеологически оправдывающие предательское поведение социал-демократии. Между тем как „в обще-философских воззрениях Маркса, внутренне-связанных с историческим материализмом, а вместе с тем и с революционной тактикой пролетарской классовой борьбы, социал-демократия может найти только беспощадное осуждение своей теперешней роли".

Не ограничиваясь решительным разоблачением классовой подоплеки социал-демократического нейтрализма в вопросах теории, т. Степанов переходит к разрешению вопроса по существу. Чтобы выяснить полную несовместимость философского идеализма с историческим материализмом, он ставит и решает вопросы „что такое философский материализм, и что такое исторический материализм, и что утверждает тот и другой" (стр. 10). Вообще основную задачу своей работы т. Степанов видит в том, чтобы дать „выяснение общих соотношений между философским материализмом и историческим материализмом или, что то же самое, между методами современных наук о природе (современного естествознания) и методами современных наук об обществе (современного обществознания, каковым его сделали рабсты Маркса и Энгельса)" (стр. 60).

Как же автор решает все эти вопросы? Размеры рецензии не позволяют нам дать подробное изложение взглядов т. Степанова по затронутым выше вопросам. Поневоле придется ограничиться схематическим изложением самого существенного и характерного, что имеется в разбираемой нами книжке.

Прежде всего т. Степанов полагает, что философский материализм совпадает с тем, что можно назвать общей теорией или методом естествознания. Об этом он заявляет весьма недвусмысленно в нескольких местах книги. Приведем только одну цитату: „Исторический материализм продолжает то дело, которое в одной своей части выполнено философским материализмом, или, употребляя более ясное и прямое выражение, выполнено современным естествознанием...“ (стр. 56).

Понимая так сущность философского материализма, т. Степанов, естественно, около двух третей своей работы посвятил выяснению вопросов о происхождении земли и органической жизни на ней, о развитии органических форм вплоть до человека, а также о принципах борьбы за существование и естественного отбора.

Далее, рассматривая общественную жизнь человека, как продолжение его естественной жизни, т. Степанов вместе с тем подчеркивает, что употребление человеком искусственных орудий отделяет его от остального животного мира, противопоставляет „человеческое общество“ „природе“. Общественная жизнь людей приобретает такие особенности, которых нет в остальной природе. Отсюда ясно, что „как и отдельные общественные науки, исторический материализм, наиболее общая из общественных наук (общая наука об обществе), беря выводы биологических наук (наук о живой природе), как готовые данные, рассматривает явления, происходящие в человеческом обществе, с какой-то своей особенной точки зрения. Вследствие этого особого способа изучения общественных явлений (особого метода, подхода к ним) науку об обществе никак нельзя считать отделом, частью биологических наук“ (стр. 43).

Дав на первый взгляд такое ясное разграничение между явлениями общественными и биологическими (почему только биологическими?), т. Степанов ставит вопрос о развитии общественных форм—вообще и производительных сил в частности. Здесь нужно заметить, что само общественное развитие т. Степанов рассматривает, по аналогии с биологическими явлениями, с двух сторон: а) „каким образом удерживаются и закрепляются уже появившиеся изменения“ и б) „каким образом эти изменения возникают“. Под таким двойным углом зрения т. Степанов решает, в частности, и вопрос о развитии производительных сил. Каковы ответы? По первому пункту ответ таков: „Проследив историю военного дела,—как и развитие мирного производства,—мы придем к выводу, что естественный отбор,—выживание особей, по своему организму наиболее приспособленных к условиям существования,—для человека уже давно сменился техническим отбором: победой тех обществ, орудия которых более совершенные“ (стр. 49). Итак, война, например, с этой точки зрения выступает в качестве формы, при помощи которой происходит технический отбор и совершается смена одной общественной формации другой.

А вот ответ и по второму пункту (о возникновении изменений): „Каждая ступень в развитии производительных сил предполагает наличность двух тесно-связанных между собой, глубоко соотносительных, но тем не менее различных явлений: наличность таких-то орудий труда и наличность соответствующего им человека с такой-то нервно-мозговой системой и вместе с тем наличность у этого человека таких-то знаний, по-своему подытоживающих, резюмирующих весь прошлый трудовой опыт“ (стр. 54). Тут, следовательно, проблема развития производительных сил получает своеобразное

разрешение на основе взаимодействия, строго говоря, не двух, а трех факторов: орудий труда, биологических свойств человека и его знаний.

Очертив таким образом философский материализм и исторический материализм, т. Степанов пытается решить проблему непрерывного превращения одних форм в другие, каковое превращение охватывает „все явления природы и человеческого общества“. Эта грандиозная проблема разрешается на основе закона сохранения энергии. Итог, к которому приходит т. Степанов, таков: „Механистическое понимание природы, раскрывая, что и область психической жизни не дает исключений из закона сохранения энергии, идет к своему завершению и вместе с тем к величайшему торжеству“ (стр. 67).

Крайне досадно, что автор обходит вопрос о конкретном соотношении закона сохранения энергии с законами общественной жизни. Из отдельных положений („технический отбор“, объяснение человеческого мышления рефлексами и др.) можно предполагать, что т. Степанов склонен применить закон сохранения энергии и к пониманию общественных явлений. Но как он себе представляет это соотношение, ясного и понятного ответа в книжке не имеется. А в этом вся суть.

В последней главе т. Степанов рассматривает вопрос о роли сознания, теории, и, наконец, в нескольких строчках дает формулировку ленинизма. Последний он понимает довольно своеобразно: „Марксизм, до конца выработавший теорию классовой борьбы на ее решающих, заключительных ступенях и давший практическое применение этой теории, становится ленинизмом“ (стр. 82).

II. Диалектический материализм и ошибки т. Степанова.

По прочтении книжки т. Степанова первым, естественно, напрашивается вопрос, куда девался диалектический материализм[1])? Не растворен ли он под видом философского материализма в естествознании? Так оно, видно, и случилось, ибо оказывается, что „Исторический материализм продолжает то дело, которое в одной своей части выполнено философским материализмом, или, употребляя более ясное и прямое выражение, выполнено современным естествознанием; для марксистов не существует области какого-то „философствования“, отдельной и обособленной от науки: материалистическая философия для марксистов—последние и наиболее общие выводы современной науки“ (стр. 56 и 57).

Это—сплошной ряд ошибок.

Во-первых, совершенно неверно, что диалектический материализм есть естественно-научный метод, что он совпадает с естествознанием. Тов. Степанов пытается истребить диалектический материализм, как особую науку, под весьма благовидным предлогом, ибо всякому понятно, что ни один марксист не станет отстаивать „область какого-то „философствования“, отдельную и обособленную от науки“.

Конечно, не „вне“ науки, а „внутри“ нее развертывает диалектический материализм свое содержание. Однако грубейшей ошибкой было бы думать, что „наука“ просто покрывается естествознанием и обществознанием. Вопрос „немножко“ сложнее, чем думает т. Степанов. Присмотревшись к делу повнимательнее, мы заметим, что диалектический материализм имеет, если хотите, свою „отдельную область“ изучения, чего никак не могут понять „чистые“ эмпирики.

---

[1]) Заметим мимоходом, что т. Степанов на протяжении всей своей книжки упорно избегает употреблять понятие диалектики.

Попробуем разобраться в этом вопросе. Что значит в данном случае „отдельная область"? Всякая наука имеет свой предмет [1]), который существует объективно, который она изучает. Например, политическая экономия изучает производственные отношения буржуазно-капиталистической формации общества. Это—ее „отдельная область", выражаясь языком т. Степанова. Исторический материализм изучает общие законы человеческого общества, которые существуют объективно, независимо от человеческого сознания. Это—опять-таки его „область".

А где же „отдельная область" диалектического материализма? Есть такая. Выражаясь языком Гегеля, предмет диалектического материализма, это—наиболее общие определения бытия: материя, качество, количество, мера, причинность, субъект—объект и др. Все указанные нами понятия в одинаковой степени применимы как к естествознанию, так и к обществознанию, но в то же время они не сливаются ни с тем, ни с другим.

Диалектический материализм есть особая наука, которая дает нам первый и наиболее общий подход к действительности. Последняя в данном случае выступает еще не расчлененной на „природу" и „общество".

Науки обычно определяются, как система суждений, добытых путем исследования, опыта и наблюдения над действительностью [2]). Но самое действительность люди, в зависимости от многих условий, о которых здесь распространяться нет возможности, понимают по-разному: материалистически, идеалистически и эклектически. Вот тут-то выступает диалектический материализм и разъясняет, какое понимание действительности является истинным. Ему, а не частным наукам, принадлежит здесь решающее слово.

Диалектический материализм, с одной стороны, существует и развивается в неразрывной связи со всеми остальными науками; он им не противопоставляется; но, с другой стороны, диалектический материализм есть нечто большее, чем отдельные частные науки, будь то естествознание или обществознание. Он есть результат всего предшествующего развития человеческой мысли, а также продукт определенных общественных отношений.

Здесь мы разрешили одну сторону вопроса, поскольку развернули точку зрения на диалектический материализм, как на особую науку. Теперь перейдем к другой стороне вопроса. Диалектический материализм, будучи особой наукой, вместе с тем по отношению к обществознанию и естествознанию выступает в качестве диалектически-материалистического метода, и потому,

во-вторых, совершенно неверно, что диалектический материализм—последние и наиболее общие выводы современной науки.

Прежде всего тут мы имеем безусловно недопустимое смешение метода и результатов его применения. Правда, истина материалистической философии, т.-е. диалектического материализма необходимо обнаруживается в истинах (выводах) естествознания. Но она никогда в них не растворяется, ими не покрывается. В одинаковой степени истинность диалектического материализма обнаруживается и в выводах обществознания.

Применение диалектического материализма в естествознании (а таковое имеет место и, к сожалению, пока в ничтожных размерах) аналогично применению его в обществознании. Но как исторический материализм не тождествен диалектическому материализму, так равно последний не тождествен специфически естественно-науч-

[1]) Понятие предмета науки не совпадает, конечно, с вульгарным словоупотреблением, где под предметами понимаются пространственно-обособленные вещи.

[2]) Это определение науки в общем и целом принадлежит Л. И. Аксельрод.

ной теории, каковая еще, к слову сказать, только рождается в наше время, испытывая на своем пути колоссальные трудности и подвергаясь различным извращениям и искажениям (теория относительности Эйнштейна и др.).

Этого коренного вопроса об отношении диалектического материализма к естествознанию и обществознанию т. Степанов по-марксистки не разрешил. Он боролся против схоластической философии, хотя бы и в материалистических одеждах, которая не считает нужным оглядываться на успехи естествознания и обществознания, которая свои истины рассматривает самодовлеющими, не связанными с конкретной действительностью. В этой борьбе со схоластицизмом т. Степанов абсолютно прав. Но он, к несчастью, впал в другую недопустимую крайность, которая означает ликвидацию диалектического материализма.

Например, основной „кит" диалектического материализма—материя—разве это последний (!) вывод современной науки? Но позвольте,—скажет т. Степанов,—ведь материя не означает ничего иного, как то, что природа и общество существуют независимо от сознания людей. И разве не естественные науки (геология и др.) обосновали этот коренной взгляд материализма? Мы согласны с тем, что развитие естествознания блестяще подтвердило истину материализма, но от этого сам материализм отнюдь не стал выводом естествознания. Вопрос гораздо глубже и сложнее. Прежде всего необходимо помнить, что категория материи означает признание не только просто „существующего" независимо от сознания. Эта категория говорит и о том, что „существующее" материально, чем мы отметаем все виды идеализма, в том числе и объективный идеализм (который, как известно, признает „существование", независимое от человеческого сознания). И еще одно обстоятельство должно быть теперь ясным, что принципиальное признание материального единства мира не есть только результат современных наблюдений и опыта современной науки. Оно (признание), подобно всему диалектическому материализму, есть результат многовекового развития человеческой мысли (где, конечно, и естествознание играло далеко не последнюю роль) и вместе с том продукт определенных общественных отношений.

Или, например, попробуйте превратить категории „субъекта и объекта" в последние выводы современной науки! Пустая затея!

Однако, довольно примеров. Из приведенных достаточно ясно, что т. Степанов спутал и смешал в одну кучу метод и результаты, диалектический материализм в целом и отдельные его моменты и, наконец, диалектический материализм и естествознание. Вот еще пример этой путаницы. Тов. Степанов пишет: „Идеалистическую философию марксизм отвергает потому (курсив наш. *А. В.*), что она мнит, будто бы обладает какими-то иными способами познания мира, кроме применяемых наукой, а на практике подменяет действительное знание произвольными построениями и прямыми фантазиями".

Конечно, всякому способу познания и исследования характерны и известные средства этого исследования и познания. Например, марксизм единственно-научными средствами познания признает наблюдение и эксперимент.

Однако недостаточно сказать, что идеализм мы отвергаем только потому, что он мнит себя обладателем каких-то особых средств познания мира, кроме наблюдения и эксперимента. Сказать только так, значит смазать основную принципиальную разницу между материализмом и идеализмом, заключающуюся не только и не столько в средствах познания, но в диалектически-материалистическом методе познания и исследования в целом.

Ленин в своей известной работе „Материализм и эмпириокритицизм"

все время проводит различие между „философским“ и „физическим“ пониманием материи. Приведем одну только цитату: „Материализм и идеализм различаются тем или иным решением вопроса об источнике нашего познания, об отношении познания (и „психического вообще“) к физическому миру, а вопрос о строении материи, об атомах и электронах есть вопрос, касающийся только этого „физического мира“ [1]). По мнению Ленина, неразличение философского и физического „определения“ материи ведет к вульгаризации марксизма.

III. „Исторический материализм“ тов. Степанова на распутьи.

Всем известно, что исторический материализм есть применение диалектического материализма к объяснению общественных явлений. Знает это и т. Степанов. Но фактически он занимался выяснением другого вопроса,—о соотношении законов естественных с законами общественными и решил его туманно, путанно, потому что ликвидировал диалектический материализм. Диалектика мстит за себя!

Какова правильная точка зрения по данному вопросу? Общественная жизнь людей есть продолжение их животной жизни. Ее нельзя рассматривать, как нечто абсолютно изолированное от „природы“. Напротив, „природа“ есть необходимая предпосылка общества. Но вместе с тем общественная жизнь содержит в себе такие качественные особенности, которых нет в „природе“. И постольку специфические общественные законы не сводимы к законам „природы“. Тов. Степанов не знает диалектической меры сводимости, и потому, взяв правильный исходный пункт, сбился на пол-дороге. В результате получилось что-то совершенно неопределенное.

Тов. Степанов согласен к объяснению мышления применить механистический закон сохранения энергии, но побаивается открыто сказать, что этот закон он склонен применять к объяснению всех общественных явлений, хотя говорит о техническом отборе и механистической закономерности при рассмотрении жизни общества.

Тов. Степанов нащупывает путь к установлению монистического взгляда на процессы природы и общества. Он хочет развернуть непрерывную цепь причинных превращений всех форм,—одной в другую. Но это ему явно не удается в силу ошибочности его взглядов, о чем мы уже говорили выше. В частности, по данному вопросу обнаружились однобокость и ошибочность понимания т. Степановым причинности (опять результат пренебрежения к диалектическому материализму и диалектике)! На стр. 24 своей книжки он пишет: „Понять какую-нибудь группу явлений означает для нее истолковать ее, как непрерывно текущий процесс, в котором одна стадия или ступень (рассматриваемая, как причина) неизбежно порождает другую (являющуюся следствием)“. Это—очень вульгарное и по существу неверное понимание причинности, ибо оно игнорирует самое основное, что содержится в диалектическом материализме: процесс диалектического опосредования, обнаруживающий различия „сущности“ и „явления“. Например, по Марксу, коренная причина общественных переворотов заключается в том, что „на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества впадают в противоречия с существующими производительными отношениями“... Разве это противоречие есть ступень непрерывного процесса, неизбежно порождающая другую ступень?—Ничего подобного.

[1]) Вл. Ильин. „Материализм и эмпириокритицизм“, стр. 309, изд. 1909 г. („Звено“).

И разве монизм в причинном соотношении между „природой“ и „обществом“ заключается только в том, что общественная жизнь есть продолжение (новая ступень) естественной, необходимое порождение последней?—В лучшем случае, это—монизм с точки зрения происхождения. Но он ровнехонько ничего не дает для понимания соотношения законов „природы“ и законов „общества“.

Точка зрения диалектического монизма заключается в том, чтобы в вопросе соотношения между „природой“ и „обществом“ диалектически сочетать оба момента причинности: непрерывность и прерывность.

Вскроем конкретное содержание данной точки зрения. Как было указано выше, специфически-общественная закономерность не сводима на закономерность „природы“. Это—момент прерывности. Однако общественные законы не отменяют, не упраздняют законов „природы“. Последняя является необходимой предпосылкой общества, из которой выскочить нельзя. Естественные законы влияют (но не определяют) на закономерный процесс общественной жизни. Это—момент непрерывности. Например, общественное мышление насквозь объяснимо из законов общественных (развитие производительных сил, экономика, классовая борьба и т. д.). Никакая ссылка на рефлексы, климат, „природу“ тут ничего не поможет. Однако достаточно физически повредить мозг, перерезать рефлекторные пути, как мышление прекратится. Таково значение предпосылки.

Далее, стоит только нарушить нормальное функционирование некоторых эндокринных желез, как начинает изменяться настроение человека, затрудняется процесс мышления и т. д. Таково значение „влияния“ естественных явлений на общественные.

Тов. Степанов безнадежно запутал эти вопросы потому, что он плохо знает диалектику, в частности, потому, что он игнорирует качество и, следовательно, качественный момент в явлениях.

Не разрешив четко и ясно вопроса о диалектическом соотношении законов „природы“ и „общества“, т. Степанов, естественно, не мог правильно объяснить развитие производительных сил и условий перехода одной общественной формации в другую. Как мы выше видели, его взгляды по этому вопросу крайне сбивчивы. Понятия производительных сил, техники и производственных отношений не связаны друг с другом или связаны неправильно. Например, по т. Степанову, отношения собственности вырастают из техники. Ничего подобного в действительности не происходит.

В общем и целом, теория тов. Степанова о развитии производительных сил, это—типичная эклектика: на-ряду с правильными марксистскими положениями,—тут и тенденции биологизации марксизма, и немножко дарвинизма, тут и кусочек „технических“ воззрений Богданова.

Факты и соображения, которые т. Степанов приводит в подтверждение своей теории, совершенно неубедительны. Он думает: „Если бы китайские орудия труда перенести к австралийцам, они остались бы неиспользованными или получили бы диковинное, чисто-австралийское применение. Развитие орудий труда приостановилось бы, или, вернее, они, частично разрушившись, быстро опустились бы до австралийского уровня, до уровня, определяемого общим строем нервно-мозговой системы и запасом трудового опыта у работника-австралийца, т.-е. у австралийского дикаря“ (стр. 54).

Опять диалектика подвела! Развитие производительных сил в качестве своей предпосылки имеет „природу“, в том числе и биологические факторы. Но здесь еще нет искомой причины, а есть только „предпосылка“ и „влияние“ [1]). Что касается ума и знаний, то, конечно, они необхо-

[1]) Маркс в I томе „Капитала“ приводит пример эксплоатации дикарей жарких стран, которые, благодаря исключительно благоприятным естественным условиям, могут жить

димы для того, чтобы человек мог трудиться. Но не из знаний мы исходим, когда объясняем причины развития производительных сил. Ум здесь так же не при чем, как он не при чем, например, в отношении объективного закона ценности.

Правильная точка зрения по вопросу о развитии производительных сил в основном следующая. Как известно, производительные силы есть синтез орудий труда и рабочей силы людей. Выдергивать из этой связи орудия труда или технику значит заниматься пустым абстрагированием.

Производительные силы общества мы должны рассматривать в необходимой связи с производственными отношениями. Прав был Плеханов, когда писал: „Производительное воздействие общественного человека на природу и совершающийся в процессе этого воздействия рост производительных сил, это—содержание; экономическая структура общества, его имущественные отношения, это—форма, порожденная данным содержанием (данной ступенью „развития материального производства)“ [1]). В этом диалектическом единстве формы и содержания вскрываем мы те общественные противоречия, которые объясняют развитие общественной формы, в том числе и развитие производительных сил.

Интересную мысль по данному вопросу мы находим у Ленина: „...Маркс дает возможность видеть, как развивается товарная организация общественного хозяйства, как превращается она в капиталистическую, создавая антагонистические (в пределах уже производственных отношений) классы буржуазии и пролетариата, как развивает она производительность общественного труда (курсив наш. *А. В.*), и тем самым вносит такой элемент, который становится в непримиримое противоречие с основами самой этой капиталистической организации“ [2]).

К сожалению, мы вынуждены ограничиться этими несколькими положениями о развитии производительных сил.

Но и приведенного, полагаем, достаточно, чтобы притти к заключению, что „исторический материализм“ т. Степанова нуждается в коренных исправлениях и изменениях.

В настоящей и без того затянувшейся рецензии затронуты лишь самые основные взгляды т. Степанова в области исторического материализма и диалектики. Подведем итоги.

IV. Выводы.

1. Тов. Степанов ликвидирует диалектический материализм, как особую науку или марксистскую методологию. Эта ликвидация означает грубое принижение марксистской теории.

2. Тенденция сводить общественные законы к естественным, а также недиалектическое понимание самого „сведения“ ведут к механистической метафизике, что, само собой разумеется, не есть марксизм.

Эти выводы неизбежно вытекают из критического разбора книжки т. Степанова с точки зрения диалектического материализма.

Как известно, истина выше Платона. От ее защиты отказаться мы не можем, несмотря ни на что.

А. Вишневский.

на весьма низкой заработной плате. Вследствие этого чрезвычайно возрастает норма эксплоатации. Но разве на этом основании можно прибавочную ценность объяснять из естественных условий?

[1]) Плеханов. „Г-н П. Струве в роли критика Марксовой теории общественного развития“. Статья 1-я.

[2]) Ленин. Собр. соч., том I, стр. 72.

Проф. Б. М. Козо-Полянский. Новые принципы биологии. Очерк теории симбиогенеза. Изд. „Пучина“. Ленинград—Москва. 1924 г. 144 стр.

Рецензируемая книжка, несомненно, привлечет внимание читателя как своим названием, так и теми смелыми выводами, которые она содержит. Мы также признаем большой интерес этой области биологии, которая занялась изучением интереснейших фактов „внутриклеточного симбиоза“ и достижения которой впервые в русской литературе дает в своей книжке Козо-Полянский; эти факты, несомненно, представляют большой интерес, открывают перед биологией в целом широкие и интересные перспективы и заслуживают того, чтобы с ними познакомить широкие круги читателей. Суть этого „нового принципа в биологии“ сводится в его фактической части к тому, что есть основание предполагать, а в некоторых случаях это даже и окончательно доказано, что мелкие форменные образования внутри клеток, которые ранее рассматривались, как „органоиды клеток“, на самом деле являются самостоятельными бактериоподобными организмами, находящимися во „внутриклеточном симбиозе“ со своим хозяином — клеткой.

Таковы факты. Но Козо-Полянский из этих бесспорно интересных фактов делает чрезвычайно интересные выводы и обобщения, и в этом отношении следует основательно предостеречь легковерного читателя. Выводы Козо-Полянского идут на тысячи верст впереди фактов, мало того, самый фактический материал передан автором в неправильном одностороннем освещении, принимая чаемое за уже доказанное, истолковывая с огромными натяжками нейтральные факты и голословно отклоняя факты, для его теории невыгодные.

В этом отношении книжка представляет хороший пример той односторонне понятой роли ученого, который, по существу и твердо отстаивая свою точку зрения, должен дать все же объективно критический анализ всех трудностей теории—и вместо того вносит смятение в умы читателей, бездоказательно отрицая и отвергая все ранее ему известное и взамен предлагая в конце концов весьма сырую и мало прилаженную в своих частях теорию.

В конце концов книжка вызывает отрицательную реакцию отнюдь не новизной и смелостью своих построений, как в этом хочет заранее убедить своего читателя автор, а той легкостью, и я бы решился сказать даже резче — легковесностью, с которою автор разделывается с целым рядом спорных вопросов.

Не касаясь здесь в виду недостатка места менее близкого мне ботанического материала, отмечу лишь, что автор слишком непростительно поспешно, в угоду своей теории, принимает за факт, что якобы пересаженные органы отлично прививаются к телу чужого животного, — наоборот, все новейшие данные, сильно возросшие в своем числе в связи с сенсационными опытами Штейнаха и Воронова, вновь приводят, повидимому, к выводу о крайней трудности, если не невозможности, длительного приживления. Совершенно так же голословно автор разделывается с рядом вопросов категорическими утверждениями, что якобы то или иное положение автора „не подлежит научному оспариванию“ (стр. 112, 1-й абзац), что „большинство наиболее авторитетных знатоков дела“ и т. д.

Все эти категорические и безапелляционные заявления автора способны, конечно, запугать и смутить робкого читателя, но именно потому они и недопустимы в популярной книге, если она рассчитана на серьезное научно-образовательное значение, а не на дешевый минутный успех.

Таковы наши замечания по форме изложения книги. Но эта форма окупается масштабом и значительностью самого содержания предлагаемой

автором теории,— и тогда должны умолкнуть все эти упреки мелких критиков „большой теории“.

Признаться, пока мы не видим основания—по существу признать в новой теории что-либо большое, способное заменить основные положения принятой в науке клеточной теории, хотя бесспорно, что новые факты, разрабатываемые симбиогенетиками, кое в чем интересно дополняют старые воззрения.

Теория подкупает и завоевывает победу тогда, когда она объединяет и объясняет что-либо до того непонятное и вместе с тем согласуется с заранее известным, по крайней мере, не хуже старых теорий. Теория же Козо-Полянского, в том виде, как она сейчас дана, делает непонятным даже то, что было ясно раньше. По существу, наконец, Козо-Полянский, взявши в основу принцип Дарвина и воззрение на клетку, как на микрокосм, дал ему ложное толкование: для нас не представляет сомнения, как и для Козо-Полянского, что клетка не есть конечная единица строения организма, но такими единицами, следующими за клеткой-атомом, должны быть не бактериоподобные „цитоды“ и не цианеи, а значительно более мелкие структурные единицы, находящиеся, возможно, за пределами видимости в микроскоп.

Наконец, самая идея рассматривать организм, как сожительство самостоятельных единиц есть идея чисто спекулятивная, которая может удовлетворить морфолога, мыслящего формальными понятиями, но которая не мирится с принципом физико-химического анализа жизненных явлений, когда мы стремимся понять жизнь во взаимодействии ее частей, а не расчленяя ее на остающиеся для нас во все той же непонятности автономные и наделенные самостоятельностью симбионты.

Эта черта Козо-Полянского—формально спекулятивное мышление—пронизывает все изложение книги, а она, на наш взгляд, не может примирить его теоретические построения с диалектикой, как автор ни старается подчеркнуть диалектичность своей теории. Ибо никакая диалектика не может простить такого, например, способа доказательств „по аналогии“, который дает Козо-Полянский: лондриозомы, по мнению некоторых авторов, и в том числе по мнению Козо-Полянского (мнению, еще в самой своей основе спорному), являются симбиотирующими с клетками-бактериями; и из этого спорного по существу положения, по принятому Козо-Полянским с отмеченной выше категоричностью за непреложный факт, он делает следующие выводы, так как „есть указание“, что сетчатый аппарат гольджи, по крайней мере, в некоторых случаях, „совпадает с лондриозомным аппаратом“, то его „нельзя не сравнить“ с колонией бактерий симбионтов, окружающей ядро у амеб“.

„При желании, — продолжает автор (курсив наш), — эти бактерии могут быть приняты за „аппарат гольджи“.

Таким же образом, „при несомненном желании“ Козо-Полянского, оказывается, что так как „физоды“, „миофибрилли“, т.-е. сократимые волокна мышечной ткани, блефаробласты, алеороновые зерна и целый ряд других внутриклеточных образований похожи на лондриозомы, то, следовательно, это также есть самостоятельные бактериоподобные единицы.

И на таком фактическом основании, сложенном из ряда рискованных сомнительных, пока еще не доказанных аналогий, автор строит свою теорию, которая в его представлении должна заменить устаревшую клеточную теорию!

Естественно, что пока мы не можем рассматривать всю теорию симбиогенеза Козо-Полянского иначе, как нагромождение одной спекуляции на другую. А это очень жаль, так как в ней, несомненно, есть здоровое ядро, а если бы автор отнесся серьезнее к своей задаче и дал бы нам хороший критический, а не—да простит он нам за это слово—несколько рекламистский тон изложения, и если бы он не стал насиловать факты до такой степени, что читатель теряет мерило для суждения о том, где кончаются реальные факты и начинаются фантазии и вымыслы увлекшегося автора, то его книжка принесла бы большую пользу, познакомивши широкого читателя с несомненно интересной, вновь открытой страницей в учении о строении живого существа.

Еще одна оговорка: несомненно, что и в самых безумных мыслях скрывается здоровое зерно. В данном случае здоровое зерно заключается в том, что перед современной биологией стоит заманчивая задача разложить клетку на ее более мелкие структурные единицы точно так же, как химик разложил атом на его составные части — электроны.

Но эта мысль не Козо-Полянского, она имеет свое происхождение еще от Дарвина, она проникает все современные построения биологии, которые конструируют современные генетики. Между тем, Козо-Полянский, со свойственной ему в его книге способностью отождествлять теории на основании чисто-формальных признаков, причисляет к „лику святых“ симбиогенетиков таких ученых, как Альтмана, И. Мечникова, вплоть до Дарвина. Неудивительно поэтому, что когда со временем улягутся страсти, наука включит в свой окончательный актив известные достижения, с одной стороны, симбиогенетиков, а с другой—структурной карты клетки, Козо-Полянский найдет формальное сходство между будущей теорией внутриклеточного строения и своей теорией симбиогенеза. Мне отнюдь не улыбается доставить ему это удовольствие—зачислить меня в число обскурантов науки, и поэтому я заранее уведомляю, что мои возражения идут не по линии общего отрицания „атомного строения клетки“, но против той конкретной и мало убедительной теории симбиогенеза, которую развивает Козо-Полянский и которая, на наш взгляд, не только не продолжает воззрения Дарвина на клетку, как на „микрокосм“, но находится с нею в прямом противоречии...

С другой стороны, мы не исключаем возможности, что со временем, когда Козо-Полянский излечится, по меткому выражению одного из коллег-биологов, от „детской болезни левизны в биологии“, он найдет для своей теории симбиогенеза более спокойные и умеренные и более критические формы, под которыми мы подпишемся обеими руками. Это тем более вероятно, что еще недавно профессор Козо-Полянский в своей прекрасной книжке „Последнее слово антидарвинизма“ нашел много хороших теплых слов по адресу нашего российского метафизика, проф. Берга. Теперь ему нужно преодолеть в себе самом те элементы явной метафизики и формально спекулятивных построений, которые являются основными грехами теории симбиогенеза в его настоящем виде.

Б. Завадовский.

Сборник статей по вопросам физико-математических наук и их преподавания, издаваемый Центральным Физико-Педагогическим Институтом в Москве под редакцией А. И. Бачинского и А. А. Михайлова. Том I. Госиздат. Рецензируемый сборник составлен разнообразно и интересно. Кроме статей и заметок, относящихся к научно-лабораторной и школьной практике, мы находим статьи по общим вопросам.

Прежде всего обращает внимание статья А. И. Бачинского „О принципах механики“. По существу, статья содержит защиту принципов механики Ньютона от тех нападок, которым она подвергалась и подвергается.

А. И. Бачинский указывает, что все существенные принципиальные возражения против системы Ньютона были сформулированы еще в XIX столетии. В основном возражения сводятся к следующему: говорить о движении можно только по отношению к чему-нибудь; поэтому, говоря о том, что тело

в силу инерции движется по прямой, надо указать те координатные оси, по отношению к которым тело движется подобным образом. Так как надежными координатами в данном случае не могут служить ни отдельные материальные точки, ни звезды, то принцип инерции представляет собой утверждение, которое не может быть проверено. Далее, тело по инерции должно проходить равные пути в равные времена. Времена отмериваются часами, а часы требуют постоянной проверки и проверяются посредством движений небесных тел. Здесь, стало быть, получается логический круг.

Такой же логический круг получается якобы и во втором законе движения Ньютона. Второй закон есть, собственно, определение силы. Сила определяется (как мы теперь выражаемся) произведением из массы на ускорение. Но что такое масса? Это, по Ньютону, произведение плотности на объем. А что такое плотность?—Это не что иное, как частное массы на объем.

Рассматривая все такие возражения, Бачинский приходит к выводу, что все эти нападки относятся не к содержанию Ньютоновых законов, а к той форме, в которой эти законы были выражены Ньютоном. Механике Ньютона, говорит Бачинский, недостает одного—модного фасона. Современная научная мода видит идеал научного изложения в том, чтобы сначала была дана полная совокупность аксиом, не содержащая ничего лишнего, а затем из них чисто-логическим путем выводились бы теоремы. Но достижение такого идеала трудно даже в геометрии, а механическая аксиоматика труднее геометрической. Попытку такой механической аксиоматики три десятка лет тому назад дал Герц. Однако система Герца мало удовлетворяет Бачинского. Она очень изящна, но мало отвечает своему назначению быть выражением реальных соотношений в природе. Слишком много приходится допускать гипотетических скрытых масс, вследствие чего самые простые вопросы превращаются в сложные и трудные. Последним недостатком страдает и механическая система Эйнштейна. Бачинский отдает должное талантам Эйнштейна, однако он указывает, что шум и споры по поводу теории Эйнштейна локализуются среди физиков и даже только среди тех из них, которые наиболее интересуются общей логической конструкцией физической науки. Что касается специалистов-механиков, они, по словам Бачинского, не чувствуют себя особенно задетыми. Почему же механики не чувствуют себя увлеченными и сохраняют полнейшее хладнокровие? Может быть, просто наш механик не верит эйнштейновской аргументации и, подобно некоторым видным современным физикам (Герке, Ленарду), считает случай с теорией относительности просто за грандиозное массовое внушение? Бачинский отвергает такой взгляд и признает, что система Эйнштейна во всяком случае дает желаемую степень приближения к соотношениям в природе. Специалист-механик не увлекается системой Эйнштейна потому, что она по своей сложности не пригодна для практического употребления. Применить ее, это—все равно, что применять не-Эвклидову геометрию к практическим задачам.

В таком случае остается только механика Ньютона, как раз „сшитая по мерке природы“, недостатком которой является лишь отсутствие модной одежды „аксиоматики“.

Интересна также статья покойного математика В. В. Бобынина, содержащая отповедь нападкам Л. Н. Толстого на математику и на всю современную науку вообще. Из других статей сборника отметим: Н. Никитин „Катодные лампы“, А. И. Бачинский. „Из истории световых явлений“, Н. А. Умов „Автобиографический очерк“.

И. Орлов.

М. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX в.в. Курс лекций. Изд. „Красная Новь“, стр. 232.

„Очерки“ тов. Покровского представляют собой стенограмму лекций которые были прочтены автором в 1923—1924 г. на курсах секретарей укомов. Как и все другие работы т. Покровского, его новая книга крайне интересна, тем более, что она затрогивает основные вопросы той истории, которая совершалась на глазах нашего молодого поколения,—лекции заканчиваются анализом Февральской революции 1917 г.

Нельзя, однако, не отметить, что т. Покровский, обычно очень далекий от искусственных схем, давая в настоящей книге новую конструкцию истории революционного движения в России, в отдельных частях своей работы перегибает палку в сторону излишнего „конструктивизма“. Особенно это сказывается в первых лекциях.

Если подойти к книге т. Покровского только как к популярному очерку, то, может быть, значительная часть наших сомнений в правильности тех или иных построений т. Покровского отпала бы,—в популярной литературе свет и тени резки, выводы наиболее заострены. Но, во-первых, именно в популярных книгах, а особенно в таких, которые читаются, как все работы т. Покровского, требуется исключительная четкость и осторожность формулировок; во-вторых, по словам тов. Покровского, его лекции „отражают точку зрения автора четырехтомника в ее теперешнем виде“ (стр. 4).

Остановимся на некоторых положениях, выдвигаемых т. Покровским.

Анализируя движение декабристов, тов. Покровский переносит наше внимание с Петербурга на Украину, от Северного общества к Южному и к обществу Соединенных Славян (о последнем мы только теперь узнаем много интересного). Что касается Южного общества, то нам кажется несколько ошибочной характеристика Пестеля, как идеолога мелкой буржуазии. Нельзя, конечно, спорить против того, что как экономическая, так и политическая программа Пестеля имеет много буржуазных черт. Но это еще, однако, не значит, что он „был довольно далек от классовых помещичьих интересов“ (стр. 35). Выдвигая проекты уничтожения сословий, полунационализации земли, Пестель в то же время в достаточной степени бережно относился к интересам помещиков. Так, например, он указывал, что и после переворота дворяне, наверное, будут избираться на высшие государственные должности. А первым правилом, которым должно руководствоваться будущее правительство, Пестель считал обеспечение „прибытков“ того же дворянства:

„1) освобождение крестьян от рабства не должно лишить дворян дохода, ими от поместий своих получаемого“ („Русская Правда“. Изд. „Культура“. 1906 г. СПБ., стр. 89, курс мой.—*Н. Р.*).

Мелкий буржуа, т.-е. если говорить о 20-х г.г.,—идеолог крестьянства, не стал бы так заботиться о помещиках и настаивать на „постепенности“ крестьянской реформы (см. там же, стр. 89).

Правда, т. Покровский объясняет подобного рода невязки в аграрном проекте Пестеля тем обстоятельством, „что, будучи практиком, он (Пестель.—*Н. Р.*) приспособлялся к известным условиям. И у нас сначала были отрезки, потом муниципализация, и затем постепенно перешли к декрету о земле 1917 г. Так и Пестель, приспособляясь к тогдашним условиям, выдвинул программу деления земли на 2 части, не проводя национализации до конца“ (стр. 32).

Доказательств этого приспособленчества тов. Покровский не приводит. Ссылка же на то, что программу половинчатой национализации земли нельзя логически соединить с охраной интересов помещика, не является убедительной. В русском помещике, как это с исчерпывающей ясностью доказал сам

тов. Покровский, всегда боролись два естества — буржуазное и феодальное, и если в период подъема хлебных цен брало верх первое, то от этого помещик еще не переставал быть помещиком.

Еще бо́льшие сомнения возникают, когда мы подойдем к анализу тов. Покровским народничества. Правильно устанавливая „появление на сцену рабочего вопроса“ еще при Николае I, тов. Покровский стремится вывести из рабочего движения весь народнический социализм. „Бурное развитие промышленности было связано с нарождающимся рабочим вопросом; в связи с этим настроенные оппозиционно элементы интеллигенции естественно шли по социалистической линии“ (стр. 53). Но почему русские социалисты 50—70-х г г. исходили от общины, в то время как „вся эта музыка,—по выражению тов. Покровского,—шла от фабрики и фабрично-заводского пролетариата“ (там же). Ответа на этот вопрос тов. Покровский ищет в мелкобуржуазности интеллигенции того периода: „...поскольку тогдашняя интеллигенция,—говорит он,—была типичными ремесленниками-одиночками, она не могла воспринять пролетарского социализма...

...Совершенно естественно, что для той интеллигенции, которую я охарактеризовал, революционной массой, на которую она возлагала все свои надежды, было крестьянство“ (стр. 53).

Но факты упорно не укладываются в схему тов. Покровского. Чем, например, объяснить то явление, что интеллигенция, революционное движение которой было, по мысли тов. Покровского, обусловлено движением рабочего класса, что эта интеллигенция едва ли не до 80-х г.г. не замечала пролетариата. Мы согласны с тем, что интеллигенция не могла воспринять пролетарского социализма. Но разве отсюда следует, что она непременно должна была воспринять деревенский мелкобуржуазный социализм? Ведь и учение Прудона было мелкобуржуазным, но это была теория не крестьянина, а городского ремесленника. И если основным фактором революционного движения интеллигенции был рост пролетариата, почему у нас в 60—70-е г.г., хотя бы в зародыше, не развился мютюэлизм, тред-юнионизм, наконец, экономизм?

Хронологическое сопоставление стачек и последующих подъемов революционного движения народников ничего не доказывает. Верно, что хождение в народ имело место после волны стачек в Питере. Но ведь шли „в народ“ не на фабрику, где была стачка (кстати сказать, за 4 года до „хождения“), а в деревню. Тов. Покровский говорит, что „единственно серьезные и прочные революционные организации, какие попадаются нам в 70-х г-г., как раз группировались около рабочего населения“ (стр. 75).

Но ведь нельзя забывать, что Кропоткин, Бардина и др., на которых ссылается тов. Покровский, видели в рабочих только будущих агитаторов в деревне, будущих пропагандистов идеи крестьянской революции.

Нам думается, что нет надобности механически соединять подъем промышленности в 40-х г.г. с кружком петрашевцев и стачки 60—70-х г.г. с народничеством. Между прочим в начале 60-х г.г. не было стачек, а промышленность едва ли не двинулась назад, и, однако, именно в это время появляются „Великоросс“, „Молодая Россия“, „Земля и Воля“.

Говоря о деятельности первых рабочих организаций — Южно-Русского и Северно-Русского рабочего союза, тов. Покровский, как нам кажется, несколько перегибает палку в сторону недооценки революционности старого союза. Между тем, если Южно-Русский союз считал, что членом его может быть „каждый трудящийся человек, ведущий близкие сношения с рабочими,

а не с привилегированными классами и сочувствующий своими поступками основному желанию рабочих—борьбе с привилегированными классами во имя своего освобождения“, то Северный союз принимал в свои ряды „исключительно только рабочих“ (цит. по документам, приложенным к „Очеркам по истории РКП“ тов. В. И. Невского).

Во втором случае сознание классовых интересов отчетливее. От характеристики тов. Покровским Северного союза получается впечатление, что Обнорский и Халтурин создали мирное пропагандистское общество. Но ведь такие пункты программы Северного союза, как „ниспровержение существующего политического и экономического строя“, упоминание о „социальной революции“, это—не столь далеко от „насильственного переворота“ Южного союза.

Надо сказать, что излишняя модернизация прошлых событий тов. Покровским, несомненно, оживляя изложение, приводит его иногда к не совсем верным выводам. Так, например, благодаря разделению всех народников на тогдашних большевиков и меньшевиков, скрадываются, очевидно, помимо воли автора, некоторые отнюдь „небольшевистские“ стороны деятельности русских бланкистов и бакунистов. Далее. О терроре народовольцев тов. Покровский пишет: „...я считаю, что тактика народовольцев в этом случае не заслуживает, объективно рассуждая, такого безусловного отрицания, которому ее подвергали в период борьбы с террористической тактикой эсеров. Почему террористическая тактика эсеров в начале XX века никуда не годилась? Да по той простой причине, что у нас в 1905 г. была уже революционная масса, и потому вести партизанскую борьбу не имело никакого смысла... Но этих условий не было в 70-х г.г., и потому... тогдашние революционеры могли или итти на террор, предпринимать какие-нибудь партизанские действия, или ограничиться бесплодным словоистечением“ (стр. 82).

Как пример того, что партизанские действия иногда бывают необходимы, тов. Покровский приводит восстание в декабре 1905 г.

Мы не согласны ни с оправданием террора народовольцев, ни с примером тов. Покровского. Здесь неправильно смешиваются два понятия — партизанской борьбы и единоличного террора, который в нашем понимании увязывается с лавристским учением о критически мыслящих личностях. (Эту увязку дал сам тов. Покровский в сжатом очерке.) Нельзя сравнивать поэтому, например, покушение на Александра II с борьбой рабочей дружины на Красной Пресне в декабре 1905 г.: разница не в „типах“ одной тактики, а в самой тактике. Народовольцы убивали министров и царя, чтобы устрашить правительство (теория экспитативного террора была выдвинута гораздо позднее эсерами), пресненские рабочие стреляли в драгун, чтобы захватить власть, уничтожая военные и полицейские силы государства.

Необходимо еще указать на неясность объяснения тов. Покровским народовольческой программы. „Материально... они (народовольцы. — *Н. Р.*) зависели от буржуазии, — говорит тов. Покровский, — и эта материальная зависимость от буржуазии мало-по-малу приводит к тому, что „Народная Воля“ перестает быть практически социалистической партией“ (стр. 90). Объяснение это не исчерпывает вопроса, тем более, что неосвещенной остается другая сторона дела: почему буржуазия финансировала террор? Нам кажется, что в сжатом очерке тов. Покровский ответил на этот вопрос, выяснив, что, главным образом, неудача русско-турецкой войны толкала буржуазию к оппозиции против царизма.

На-ряду с указанными выше неясностями и неточностями нельзя, конечно, не останавливаться на исключительных достоинствах „Очерков“.

Новая книга тов. Покровского заставляет нас раз навсегда покончить с целым рядом довольно-таки закоренелых предрассудков. Так, например, тов. Покровский опровергает шаблонное представление о николаевском царствовании, как о „периоде глухой реакции“ и доказывает, что „эпоха застоя (30-х г.г.—*Н. Р.*) это, наоборот,—эпоха чрезвычайно быстрого роста русского капитализма и русской промышленности... как раз на мертвую казарменную эпоху Николая I приходятся знаменитые 40-е годы, выступление Белинского, выступление Герцена, расцвет русской литературы“... (стр. 49).

Еще более важное значение представляет анализ результатов столыпинской реформы. „Земельная политика Столыпина, — пишет тов. Покровский, — вовсе не была жалкой демагогией, как изображали ее кадеты (и, надо добавить, как изображается в наших школах политграмоты, совпартшколах и т. д.—*Н. Р.*), рассчитанной на то, чтобы приманить на сторону правительства кулаков..., а была весьма удачной попыткой раскрыть перед промышленным капитализмом последнюю дверь, которая еще оставалась закрытой, при чем дверь была распахнута настежь“... (стр. 142) „...на $^1/_3$ он (Столыпин.—*Н. Р.*) общину сломал“ (стр. 148). В результате вырос кулак, который „кушал сахар и крыл свою избу железом..., всячески обрастая жиром и своим жиром питал русскую промышленность“ (стр. 147).

Это новое объяснение итогов столыпинской реформы, которое дает нам ключ к пониманию русской деревни перед революцией и даже поздней, например, в 1917 и в 1918 г.г., надо будет учесть при построении новых программ партийных школ и т. д.

Наконец, основным преимуществом книги тов. Покровского следует признать большевистскую трактовку роли крестьянства в русской революции, — вопрос, который приобрел исключительную остроту во время последней литературной полемики в нашей партии. В этом смысле „Очерки“ могут послужить для каждого партийца незаменимым орудием в борьбе со всякого рода „перманентными“ уклонами. Здесь достаточно будет привести лишь наиболее яркие места. Говоря о росте рабочего класса в России 80-х г.г., тов. Покровский обращает особое внимание на роль аграрного кризиса. Разорение крестьянства, при падающих хлебных ценах— это „...процесс, без которого невозможно себе представить той быстрой пролетаризации России, какая происходила в тех же 80—90-х годах, а без этой интенсивной пролетаризации нельзя себе представить и того пролетарского движения, которое составляло авангард русской революции... самыми корнями своими это пролетарское движение экономически, объективно упирается в крестьянскую массу“ (стр. 109, 110; курсив мой.—*Н. Р.*).

Отсюда тов. Покровский выводит и стачечное движение 90-х г.г. „Деревня“ же в значительной степени обусловила революционный подъем рабочего движения в 1911—12 г.г. После столыпинской реформы „на рынок рабочих рук была выкинута новая масса в $2^1/_2$ миллиона“ (стр. 146)... „в результате предприниматели могли держать заработную плату на выгодном для себя уровне благодаря громадной конкуренции предлагавшихся рабочих рук“. Таким образом „жестокая эксплоатация обостряла экономическое положение рабочей массы и толкала ее к все более активным формам движения“ (там же), Революция 1917 года „была рабоче-крестьянской революцией“ (стр. 103).

Заканчивая рецензию, мы хотели бы сказать несколько слов по поводу замечаний тов. Слепкова об „Очерках“ („Большевик“ № 14).

Присоединяясь к той их части, которая касается трактовки империализма, мы должны указать на то, что тов. Слепков несправедливо обвиняет

тов. Покровского в „сплошной“ постановке вопроса о социальном характере крестьянского движения“ (стр. 119 „Большевика“). Именно тов. Покровский указывает на те стремления, которые толкали крестьянина против помещика в каждый отдельный исторический момент. Но это—в сторону. Главное—то, что тов. Слепков в своей критике „Очерков“ дошел до ревизии основного положения марксистской историографии России. Тов. Слепков возражает против определения тов. Покровским самодержавия, как „политически организованного торгового капитализма“, указывая на то, что в истории России имели место случаи борьбы торгового капитала с помещиками. „Можно ли помещика и купца объединять в одну категорию торговых капиталистов— спрашивает т. Слепков—и отвечает:—Конечно, нельзя. Купец и помещик играют различную роль в процессе производства, они имеют поэтому и различные источники дохода“ (стр. 114, 115). С этим утверждением нельзя согласиться. В том-то и дело, что и помещик, и купец выкачивали свои доходы из одного резервуара,—из мелкого производителя, т.-е., главным образом, из крестьянина. Значит, по основной линии была общность их интересов, а не „некоторые общие интересы“, как это думает тов. Слепков например, общий фронт против промышленного капитала в определенную эпоху: промышленнику нужен был безземельный пролетарий, но это было невыгодно для помещика и купца. Само собой разумеется, общий фронт не исключал „семейных недоразумений“.

Тов. Слепков признает, что во второй половине XIX века помещичье самодержавие начинает перерождаться в сторону капитализма. А что же, например, в 1810—1815 г.г., самодержавие представляло интересы одних только помещиков, вдобавок не затронутых капитализмом? Как объяснит тогда тов. Слепков разрыв России с Францией в 1812 г., войны с Турцией и Персией в 1820-х г.г?

Самодержавие, даже тогда, когда оно было близко к промышленному, а впоследствии к финансовому капиталу, не переставало отражать интересы, главным образом, торгового капитала. (И здесь особенно ценным является замечание тов. Покровского о том, что „различие промышленного и торгового капитала... далеко не исчезает в „империалистическую эпоху“. „Очерки“ стр. 124.) В „сплошной“ постановке вопроса виноват сам т. Слепков.

Помимо фактической неверности, в возражениях тов. Слепкова кроется некоторая методологическая опасность. Приняв резкое ограничение купцов от помещиков, мы лишаем себя возможности правильно объяснить всю государственную политику самодержавия с XVI века до 1917 года.

Н. Рубинштейн.

Antonio Graziadei. Professor der Universität Parma. **Preis und Mehrpreis in der kapitalistischen Wirtschaft** (Kritik der Marxschen Werttheorie). Verlag von R. L. Prager. Berlin 1923.

Недавно вышедший немецкий перевод книжки проф. А. Грациадеи стоит того, чтобы остановиться на этой книжке. Как показывает подзаголовок, она принадлежит одному из критиков Маркса, но этот критик совсем особого рода; уже ради оригинальности его позиции нужно посвятить ему несколько строк. Как известно, остальные критики Маркса начинали обыкновенно с его практических выводов; желая их избежать, они подвергали своей критической обработке теоретическую основу учения Маркса. Наш критик, оставляя в полной неприкосновенности практические выводы из теории Маркса, пытается подвести под них иной теоретический фундамент. Хотя нужно признать, что этот фундамент представляет какую-то неесте-

ственную теоретическую кашу из изрядной доли воззрений австрийской школы предельной полезности, но вульгаризированных, доведенных до абсурда, в смеси с самыми пошлыми и самыми вульгарными взглядами наивульгарнейшей буржуазной экономии.

Вполне понимая, что это—весьма трудная задача, автор спешит прикрыться авторитетом таких видных марксистов, как т. Ленин и т. Бухарин. Среди сторонников коммунистического движения,—говорит Грациадеи,—принято думать, что „научный труд Карла Маркса для того времени, когда он появился, представляет нечто совершенное". Конечно,—продолжает он,—они не отрицают, что со времени смерти Маркса появилось много новых явлений. Более того, „они признают даже необходимость включить также и эти проблемы в круг марксистских доктрин и дать им марксистское истолкование" (стр. 9). В качестве примера такой работы Грациадеи указывает на книжку т. Ленина „Империализм, как новейший этап капитализма". Дальше он ссылается на „очень удачную" (sehr glückliche) речь т. Бухарина на IV конгрессе Коминтерна. „Так, например, он (т. Бухарин) признает,—так излагает речь т. Бухарина наш критик,—что Маркс в то время, когда писал свой труд, мог наблюдать только такую форму конкуренции, которая ведет к понижению цен, поэтому для него оказалось невозможным исследовать другие формы, действия которых отличны и имеют в настоящее время такое важное значение. Бухарин признает также, что те же самые исторические основания воспрепятствовали Марксу уже в то время правильно оценить все значение государства, как экономического фактора" (2—3 стр.). Мы понимаем, что хотел сказать т. Бухарин: появились новые явления экономической жизни; то, что раньше было в неразвитом состоянии, теперь развилось,—все это делает необходимым дальнейшую обработку их марксовым методом на основе марксовой теории. Но Грациадеи, заслонившись т. Бухариным, смело уже идет по раз избранному пути: подобные стремления говорят только об узости кругозора именно потому, что эту обработку думают производить на основе теории Маркса и его методом. Ибо как раз марксова теория и не выдерживает критики; она грешит в двух направлениях, а именно: „Остается, однако, установить, какие пункты экономической теории Маркса спорны. Мы ограничиваемся только важнейшими и думаем, что их два: теория ценности, которая ведет свое начало в действительности не от Маркса, и теория концентрации капитала" (стр. 8). Теорию концентрации мы оставим в стороне, ибо и наш критик ограничивается только указанием, что она неприложима к земледелию. Остановимся на теории ценности: чем же она провинилась в глазах Грациадеи? Возражение его простое и к тому же очень старое — его можно найти еще в „глубокомысленной" критике Бем-Баверка: теория Маркса не отвечает реальной действительности, при этом идут ссылки на цены картин известных и уже умерших художников, на цены скаковых лошадей, на землю, на доходные дома, ценные бумаги и т. д., и т. д.; теория ценности Маркса, по мнению Грациадеи, страдает односторонностью (стр. 163). Почему же упрямые марксисты так цепко держатся за эту теорию? Они полагают, и вполне ошибочно, заявляет Грациадеи, что иначе останется необоснованной теория прибавочной ценности. Но это не так; эксплоатация капиталиста налицо, но под нее можно подвести совершенно иной фундамент. Грациадеи и стремится подвести под нее свою теорию цены. В чем же она заключается? Мы не можем излагать ее подробно; наметим только ее основные черты. Исходный пункт ее — теория предельной полезности: цена есть результат оценок покупателя и продавца, в основе которых лежит полезность. Но чтение Маркса, повидимому, кое-что дало Грациадеи. Он замечает тот порочный круг, который лежит в ее основе и который вскрыт т. Бухариным в его работе „Политическая экономия рантье". Но — и в этом своеобразие

теории цены Грациадеи — он этот порочный круг принимает за спасательный круг, на котором старается выплыть из стихии экономических противоречий. Как известно читателю, знакомому с работой т. Бухарина, все те предельные полезности, которыми оперирует австрийская школа, страдают одним недостатком: для количественного сравнения этих полезностей отсутствует общее мерило: они несоизмеримы друг с другом. Эта соизмеримость получается у теоретиков школы предельной полезности путем молчаливого допущения цены в качестве предпосылки. Но эту предпосылку Грациадеи и кладет в основу своей теории цены. Цена базируется на оценке, а оценка базируется на цене, правда, цене вчерашнего дня. Совсем как в Библии: оценка роди цену, а цена роди оценку. Это и есть последнее слово экономической теории, он называет это великим историческим законом „непрерывности" (Kontinuität). Тем же, которые скажут, что это вообще не есть решение вопроса, ибо природа цены так и остается загадочной, Грациадеи ставит глубокомысленный вопрос: что раньше появилось—яйцо или курица? Вопрос о сущностях есть, очевидно, вопрос метафизический; позитивизм таких вопросов ставить не может, а Грациадеи обеими ногами стремится стоять на почве позитивизма. Можно ставить вопрос только о тех или иных изменениях цены, но нельзя поставить вопроса о причине цены, ее „первичном элементе" (Urelement).

Нужно определенно сказать, что в теории цены Грациадеи удалось переменгерить самого Менгера. Научное значение этой теории скорее всего может быть охарактеризовано отрицательной величиной.

Посмотрим теперь, как он эту теорию подводит под теорию прибавочной цены (Mehrpreis). Но несколько слов о капитале: капитал для него прежде всего логическая категория. Далее, в качестве типичных примеров капитала, он указывает скаковых лошадей, дрессированную обезьяну „Консул", голоса певцов, землю, ценные бумаги и суда. Тут же мы находим у него и такую тираду: „До сих пор мы приводили примеры, которые касались неодушевленных производственных благ (die unbelebte Produktivgüter betreffen). Теперь мы займемся такими, которые относятся к одушевленным, производственным благам, т.-е. услуг, которые доставляют животные и люди. Хотя теперь в обществе, основанном на „праве и справедливости", можно только в непрямом смысле (nur indirekt), говорить о животных и людях, как о капитале, однако, эти примеры, которые мы хотим привести, касаются тех производственных благ, которые находятся в прямой зависимости от предпринимателя и практически рассматриваются, как капитал, т.-е. как средство получения прибыли" (стр. 77). И далее идут скаковые лошади и упомянутая обезьяна „Консул", как капитал par excellence.

Как же получается прибыль? Отбросив теорию ценности и прибавочной ценности, Грациадеи хватается за прибавочный труд. Но так как прибавочный труд существует не только в капиталистическом обществе, а всюду, где имеет место эксплоатация, то Грациадеи сваливает все виды эксплоатации в одну кучу. Единственное отличие капиталистической эксплоатации заключается в том, что здесь рабочий получает цену средств существования в денежной форме. Что эта форма обусловливает собою и более глубокие отличия по существу, Грациадеи просто не замечает. Но этот прибавочный труд тут же дает осечку. Оказывается, что величина прибавочной цены вовсе не определяется величиной прибавочного труда: „Нужно признать,—говорит он,—что если прибавочная цена (Mehrpreis) не может быть мыслима без прибавочного труда (Mehrarbeit), однако, может быть, что равным количествам прибавочного труда могут соответствовать различные прибавочные цены, и что может быть также прибавочный труд „без того, чтобы имелась прибавочная цена" (стр. 184). В таком случае одно, можно сказать: незачем было и огород городить. В конце концов оказывается, что приба-

вочная цена, это — просто разница между продажной ценой и издержками производства (включая и процент на капитал); получается она в результате эксплоатации капиталистами рабочих и потребителей, при чем иной раз трудно даже сказать, чья эксплоатация играет бо́льшую роль в образовании прибыли. Возможны даже случаи эксплоатации рабочими потребителей. Таковы „многознаменательные" результаты теоретического труда Грациадеи. В научном отношении книжка не представляет абсолютно никакой ценности; остановиться на ней пришлось лишь в виду претензии Грациадеи подвести новый фундамент под теорию эксплоатации, вместо теории ценности Маркса. Единственное значение, которое она имеет, это — наглядный пример того, куда может привести подобная ревизия теории Маркса, хотя бы предпринятая и с добрыми намерениями.

В. Позняков.

Содержание журнала „Под Знаменем Марксизма"

за 1924 год.

М. Абрамович. Фр. Энгельс, как военный теоретик (№ 6—7, стр. 217).

Арк. А—н. Элементы диалектического и экономического материализма в воззрениях Ш. Фурье (№ 3, стр. 202).

— Ш. Фурье о положении женщины, любви и браке (№ 4—5, стр. 201).

— Трудовая школа у Ш. Фурье (№ 6—7, стр. 247).

А. Аросев. Ленинцы (№ 4—5, стр. 5).

Архивная справка института В. И. Ленина (№ 2, стр. 92).

Гр. Баммель. К вопросу об историч. реальности родоначальника древн. материализма (№ 1, стр. 95).

— Ленин и логика революции (№ 2, стр. 47).

А. Бернштейн. Ф. Лассаль (№ 10—11, стр. 153).

Н. Бухарин. Империализм и накопление капитала (№ 4—5, стр. 160).

— Империализм и накопление капитала (продолжение) (№ 6—7, стр. 157).

— Империализм и накопление капитала (продолжение) (№ 8—9, стр. 210).

Б. Быховский. Материализм и диалектика в творчестве В. И. Ленина (№ 2, стр. 240).

— О гносеологической экскурсии проф. Синицына (№ 3, стр. 240).

В. Ваганян. Величайший из мастеров революции (№ 1, стр. 29).

— В. И. Ленин и искусство вооруженного восстания в свете первой русской революции (№ 2, стр. 117).

И. Вайнштейн. Тектология и тактика (№ 6—7, стр. 90).

— Г. Лукач и его теория „овеществления" (№ 10—11, стр. 23).

П. Виноградская. Этика Канта с точки зрения исторического материализма (№ 4—5, стр. 60).

— Дени Дидро (№ 8—9, стр. 115).

С. Вольфсон. Современные критики марксизма (№ 8—9, стр. 246).

Р. Выдра. Объективный момент в парциальном мышлении (№ 12, стр. 111).

С. Гинцбург. Сен-симонизм (№ 12, стр. 185).

А. Гольцман. Эйнштейн и материализм (№ 1, стр. 114).

С. Гоникман. Учение Гегеля о „действительности" (№ 1, стр. 81).

— Учение Гегеля о „действительности" (№ 3, стр. 24).

Б. Горев. Н. К. Михайловский и марксизм (№ 1, стр. 188).

— Российские корни ленинизма (№ 2, стр. 83).

И. Гроссман-Рощин. Личность, необходимость, реальность (№ 12, стр. 134).

Д. Гульбе. Дарвинизм и теория мутаций с точки зрения диалект. материализма (№ 8—9, стр. 157).

Ш. Деволайцкий. В. И. Ленин, как экономист (№ 3, стр. 126).

А. Деборин. Ленин—воинствующий материалист (№ 1, стр. 10).

— Ленин—воинствующий материалист (окончание) (№ 2, стр. 5).

А. Деборин. Маркс и Гегель (№ 3, стр. 6).
— Маркс, Ленин и современная культура (№ 6—7, стр. 5).
— Г. Лукач и его критика марксизма (№ 6—7, стр. 49).
— Фихте и Великая Французская Революция (№ 10—11, стр. 5).
— Фихте и Великая Французская Революция (продолжение) (№ 12, стр. 33).

Г. Зайдель. Теодор Дезами (№ 1, стр. 205).
— Теодор Дезами (продолжение) (№ 3, стр. 188).
Н. Звенигородцев. Ленин и диалектика (№ 8—9, стр. 32).

Ник. Карев. К двухсотлетию со дня рождения Э. Канта (№ 4—5, стр. 37).
— Гальфердинг против социализма (№ 6—7, стр. 234).
— О том, с чем не следует соединять марксизм. (№ 12, стр. 50).
В. Кирпотин. Кунов о государстве (№ 12, стр. 174).
К. Корнилов. Диалектический метод в психологии (№ 1, стр. 107).
Ст. Кривцов. „Друзья народа" и современность (№ 2, стр. 109).
— Партия пролетариата или мелкой буржуазии (к истории выработки программы РСДРП) (№ 12, стр. 18).

А. Лабриола. Письма Ф. Энгельсу (№ 1, стр. 41).
П. Лафарг. На следующий день после революции (№ 3, стр. 157).
— Социализм во Франции (№ 3, стр. 165).
Леб. Химические основы родовых и видовых признаков, с предисловием Б. Завадовского (№ 12, стр.).
В. И. Ленин. Иенский съезд германской с.-д. рабочей партии (№ 2, стр. 93).
— Отрывок из письма к М. Горькому (№ 3, стр. 5).
Б. Лившиц. К постановке денежной проблемы (№ 8—9, стр. 224).
И. Луппол. Ленин, как теоретик пролетарского государства (№ 2, стр. 173).
— Трагедия русского материализма XVIII в. (к 175-летию со дня рождения Радищева) (№ 6—7, стр. 27).
— О новом учебнике по историческому материализму (№ 12, стр. 100).

А. Максимов. К вопросу о диалектике в истории естествознания (№ 4—5, стр. 138).
— К вопросу о диалектике в истории естествознания (окончание) (№ 6—7, стр. 97).
Я. Мирошкин. „Закон" убывающего плодородия почвы в системе экономического учения Маркса (№ 12, стр. 219).
Материалист. „Аптекарские весы" и революционный опыт (№ 2, стр. 275).
П. Месяцев. Старые ошибки в новом освещении (№ 1, стр. 232).
В. Милютин. Ленин и проблема движущих сил социальной революции (№ 2, стр. 97).
Ф. Михалевский. Этюды по теории кредита (№ 6—7, стр. 171).
С. Моносов. Насилие и Французская революция (№ 8—9, стр. 272).

В. Невский. Ленин (№ 1, стр. 5).
— Ленин, как материалист в своих первых работах (№ 2, стр. 24).

И. Орлов. Существует ли актуальная бесконечность (№ 1, стр. 136).
— Классическая физика и релятивизм (№ 3, стр. 49).
— Химическое сродство и валентность по новейшим исследованиям (№ 4—5, стр. 108).
— Логика формальная, естественно-научная и диалектика (№ 6—7, стр. 69).
— О законах случайных явлений (№ 8—9, стр. 93).
— Научная деятельность Уильяма Томсона (Кельвина) (№ 10—11, стр. 56).
— Математика и марксизм (№ 12, стр. 86).
Мих. Павлович. В. Ленин и национальный вопрос (№ 1, стр. 164).
— Ленин и теория сверх-империализма (№ 2, стр. 196).

В. Позняков. Капитализм и внешний рынок (№ 10—11, стр. 133).
В. Полянский. Ленин и литература (№ 2, стр. 232).
— „Писатели об искусстве и о себе" (№ 3, стр. 230).
М. Покровский. Ленин, как тип революционного вождя (№ 2, стр. 63).
— Несколько замечаний на статью т. Рубинштейна (№ 10—11, стр. 210).
Е. Преображенский. Ленин, партия, рабочий класс (№ 2, стр. 74).

И. Рубин. Производственные отношения и вещные категории (№ 10—11, стр. 115).
М. Рубинштейн. Остатки капиталистических отношений при пролетарской диктатуре на Западе (№ 6—7, стр. 196).
Н. Рубинштейн. М. Н. Покровский—историк России (№ 10—11, стр. 189).
В. Румий. В. И. Ленин и его дело в переписке Мартова и Аксельрода (№ 2, стр. 256).
Д. Рязанов. К письмам А. Лабриолы (№ 1, стр. 35).
— Предисловие к статьям П. Лафарга (№ 3, стр. 154).

В. Сергеев. Война на идеологическом фронте за 500 лет до нашей эпохи (№ 3, стр. 37).
В. Сережников. Учение Канта о времени и пространстве перед судом физиологии (№ 4—5, стр. 50).
П. Стучка. Ленин и аграрный вопрос (№ 3, стр. 111).

А. Тальгеймер. Двухсотлетие со дня рождения Канта в Германии (№ 4—5, стр. 20).
— Ленин, как философ (№ 8—9, стр. 5).
— Заметки о Ленине, как философе (продолжение) (№ 12, стр. 5).
А. Тимирязев. Эйнштейн, материализм и тов. Гольцман (№ 1, стр. 127).
— Ленин и современное естествознание (№ 2, стр. 221).
— По поводу статьи П. Хейля (№ 4—5, стр. 92).
— Теория относительности и диалектический материализм (№ 8—9, стр. 142).
— Теория относительности и диал. матер. (окончание) (№ 10—11, стр. 92).
— Ответ на возражения тов. Цейтлина (№ 12, стр. 168).
У. Томсон. О вихревых атомах (№ 10—11, стр. 65).
А. Троицкий. Философия на службе революции (№ 4—5, стр. 12).
— Новое из наследства Маркса и Энгельса (№ 6—7, стр. 212).
Г. Тымянский. Джон Толанд (№ 10—11, стр. 32).

Ц. Фридлянд. Две книги о К. Марксе и Фр. Энгельсе (№ 1, стр. 218).
— Ленин и война 1914—1918 г.г. (№ 2, стр. 148).
В. Фриче. Главнейшие течения послевоенной литературы Запада (№ 1, стр. 148).

П. Хейль. Здравый смысл теории относительности (№ 4—5, стр. 93).

З. Цейтлин. Теория относительности А. Эйнштейна и диалектический материализм (№ 3, стр. 77).
— Теория относительности А. Эйнштейна и диал. матер. (окончание) (№ 4—5, стр. 115).
— Метод доказательства закона взаимодействия тяжелых и электрических масс Ньютона—Кавендиш—Максвелла сравнительно с методом исследования К. Маркса и Фр. Энгельса (№ 6—7, стр. 122).
— Схоластический эмпиризм (№ 8—9, стр. 167).
— Вихревая теория материи, ее трактовка и значение (№ 10—11, стр. 78).
— Ответ А. К. Тимирязеву (№ 12, стр. 159).

Ф. Шмит. Диалектика развития искусства (№ 12, стр. 231).

В. Юринец. Фрейдизм и марксизм (№ 8—9, стр. 51).

А. Эйнштейн. К столетию со дня рождения лорда Кельвина (№ 10—11, стр. 62).

Трибуна.

В. Астров. О социальных корнях оппортунизма (№ 4—5, стр. 256).

И. Вайнштейн. Марксистская психология или патологический марксизм (№ 12, стр. 275).
А. Варьяш. Ответ т. Милонову (№ 12, стр. 283).

С. Гоникман. Ревизор (№ 10—11, стр. 213).

А. Залкинд. Нервный марксизм или патологическая критика (№ 12, стр. 260).

Ник. Карев. О действительном и недействительном изучении Гегеля (№ 4—5, стр. 239).
— О „новой эре" в философской критике (№ 10—11, стр. 222).

Н. Ленцнер. О литературном наследстве Р. Люксембург (№ 3, стр. 247).

М. Покровский. О пользе критики, об абсолютизме, империализме, мужицком капитализме и о прочем (№ 12, стр. 250).

В. Румий. Фамусовы наших дней (№ 1, стр. 240).

В. Струминский. Несколько замечаний на рецензию т. Троицкого (№ 3, стр. 250).

А. Троицкий. Ответ В. Струминскому (№ 3, стр. 255).

Библиография.

М, Абрамович. Ф. Мерринг. Очерки по истории войны и военного искусства (№ 8—9, стр. 319).

В. Евгений. „Большевик", полит.-экон. двухнедельник ЦК РКП (№ 4—5, стр. 283).
В. Ваганян. С. Васильченко. „Карьера подпольщика" (№ 3, стр. 301).
В. Волин. В. Святловский. „История социализма" (№ 3, стр. 283).
С. Вольфсон. Georges Plekhanoff. Anarchisme et socialisme. Force et violence (№ 8—9, стр. 306).
А. Вишневский. И. Степанов. „Историч. материал. и соврем. естествозн." (№ 12, стр. 307).

С. Гирчак. Воинствующий материалист, сб. 1-й (№ 12, стр. 302).
С. Гоникман. Н. Ленин. „Тактика большевизма" (№ 2, стр. 280).
И. Горшенин. Наумов. Введение в изучение экономической науки (№ 6—7, стр. 310).

Б. Завадовский. Ю. Я. Филипченко. „Изменчивость и ее значение для эволюции" (№ 10—11, стр. 261).
— Козо-Полянский. „Новые принципы биологии. Очерк теории симбиогенеза (№ 12, стр. 315).
А. Зайцев. Н. Бухарин. „Атака". Сборник теоретических статей (№ 6—7, стр. 289).

Негудимлов. „Проблема преступности", сб. ст. (№ 1, стр. 265).

И. Капитонов. С. Гожанский. „Очерки по политической экономии", выпуск I (№ 6—7, стр. 305).
К—в, И. И. Дашковский. „Конспектир. курс политич. экономии" и Ф. Михалевский, „Начальный курс политической экономии" (№ 6—7, стр. 304).

К., Н. Н. Н. Попов и Я. А. Яковлев. „Жизнь Ленина и ленинизм" (№ 2, стр. 283).
К., Н. Анри Гильбо. „Ленин" (№ 2, стр. 283).
К., Н. О книге Ю. Мартова. „Мировой большевизм" (№ 4—5, стр. 273).
К., Н. Л. Мечников. „Цивилизация и великие исторические реки" (№ 4—5, стр. 291).
К., Н. Макс Адлер. „Энгельс, как мыслитель" (№ 10—11, стр. 251).
К., Н. Я. Розанов. Исторический материализм (№ 12, стр. 306).

Ник. Карев. Профессор истории в круговороте жизни (№ 1, стр. 257).
— М. Адлер. „Маркс, как мыслитель" (№ 8—9, стр. 283).
— Обзор книг по ленинизму (№ 10—11, стр. 230).

Ст. Кривцов. Ю. Борхгардт. „Введение в научный социализм" (№ 1, стр. 264).

Л. Н. Герман Вендель. „А. Бебель" (№ 1, стр. 283).
Л—р., Н. Ю. Стеклов. „Поль Лафарг". „Боец револ. коммун. (№ 3, стр. 288).
Л—л., И. Садынский. „Социальная жизнь людей" (№ 6—7, стр. 293).
Л—л., И. П. Гольбах. „Здравый смысл" (№ 3, стр. 268).
Л—л., И. Хрестоматия по французскому материализму, вып. II, под ред. Плотникова (№ 4—5, стр. 288).
Л—л., И. К. Каутский. „Марксова теория государства в освещении Кунова" (№ 6—7, стр. 291).
Л—л., И. О. Трахтенберг. „Беседы с учителем по историч. материал." (№ 8—9, стр. 302).
Л—л., И. Д. Рахман. Джон Локк. Его учение о познании, праве и воспитании, субъективная и объективная психология" (№ 10—11, стр. 247).
Н. Лупол. А. Г. Вульфиус. „Основные проблемы эпохи „Просвещения" (№ 1, стр. 262).
— Новые книги по вопросам права и государства (№ 3, стр. 260).
— История философии в марксистском освещении, ч. I, сост. В. Столпнер и П. Юшкевич (№ 4—5, стр. 286).
— То же, часть II (№ 10—11, стр. 234).
— Попов-Ленский. „Антуан Барнав и материал. понимание истории" (№ 8—9, стр. 304).
Х. Лурье. Эд. Бернштейн. „Социализм и демократия в Великой Английской Революции" (№ 10—11, стр. 264).

А. Максимов. Акад. В. Стеклов. „Математика и ее значение для человечества (№ 1, стр. 267).
— „Искра" (№ 8—9, стр. 308).
— Обзор литературы по истории естествознания и техники (№ 12, стр. 292).
В. Максимовский. Аграрная политика в России (№ 1, стр. 276).
К. Милонов.—Жебелев. „Сократ" (№ 6—7, стр. 284).
— Varjas Marx als mathematiker (№ 8—9, стр. 298).
С. Моносов. Н. М. Лукин. „Максимилиан Робеспьер" (№ 8—9, стр. 316).

В. Невский. С. Васильченко. „Карьера подпольщика" (№ 3, стр, 301).

О—в, И. Цвета и краски (№ 3, стр. 299).
И. Орлов. Новые идеи в физике, сб. 10 (№ 3, стр. 291).
— В. Станкевич. „Менделеев. Великий русский химик" (№ 3, стр. 298).
— А. Бергсон. „Длительность и одновременность" (№ 4—5, стр. 293).
— Хвольсон. „Характеристика развития физики за последние 50 лет" (№ 6—7, стр. 295).
— Философия науки, ч. I, вып. 2 (№ 6—7, стр. 296).
— Ф. А. Астон. „Изотопы". Новые идеи в химии, сб. 9. Изотопы (№ 10—11, стр. 253).
— А. Ферсман. „Химические проблемы промышленности" (№ 8—9, стр. 313).
— А. Чижевский. „Физические факторы исторического процесса" (№ 8—9, стр. 315).
— Сборник по вопросам физико-математических наук (№ 12, стр. 317).
П., В. К. Радек. „О Ленине" (№ 2, стр. 285).

Н., В. В. Гриневич. „Народное хозяйство Германии“ (№ 10—11, стр. 268).
В. Пепел. „В дни скорби“ (сб. ст.) (№ 2, стр. 287).
— В. Астров. „Экономисты—предтечи меньшевиков“ (№ 3, стр. 278).
В. Петрова. А. И. Молок. Очерки быта и культуры Парижской Коммуны (№ 8—9, стр. 317).
В. Позняков. Гриневич. „Народное хозяйство Германии“ (№ 10—11, стр. 308).
— A. Graziadei. Preis und Mehrpreis in der kapitalistischen Wirtschaft (№ 12, стр. 323).
Я. Розанов. Указатель марксистской библиографии (№ 3, стр. 305).
В. Румий. По провинциальным журналам (№ 1, стр. 250).
— Маркс Баскин. „Что нужно знать подготовленному марксисту“ (№ 1, стр. 285).
Н. Рубинштейн. М. Н. Покровский. Очерки по истории револ. движений (№ 12, стр. 319).

С., В. Бюллетень Института В. И. Ленина (№ 2, стр. 285).
С., В. А. Вегенер. „Происхождение луны и ее кратеров“ (№ 3, стр. 296).
С—ко, В., В. Нернст. „Мироздание в свете новых исследований“ (№ 3, стр. 294).
С—л, В. „Ленин“ (сб. ст.) (№ 2, стр. 284).
С., П. А. Чесник-„Томас Гоббс“ (№ 8—9, стр. 291).
П. Сапожников. Очередное извращение марксизма (№ 8—9, стр. 293).
— Ленинский сборник—I (№ 10—11, стр. 238).
В. Семенченко. Классики естествознания, кн. IX (№ 3, стр. 293).
В. Сокол. „Великий строитель“ (сб. ст.) (№ 2, стр. 285).
Н. Сомов. Сборник статей о Ленине (№ 2, стр. 286).
Я. Стэн. Н. Ленин. „О партийном строительстве за 20 лет“ (№ 2, стр. 278).
— Руднянский. „Беседы по философии марксизма“ (№ 8—9, стр. 285).

Т., А. Марксизм и философия (о статье K. Kosch'a) (№ 4—5, стр. 267).
Т—ий, А. И. Луппол. „Дени Дидро“ (№ 4—5, стр. 290).
А. Троицкий. А. Деборин. „Книга для чтения по истории философии“, т. I (№ 4—5, стр. 284).
В. Тэр. Г. Зиновьев. „История РКП“ (№ 3, стр. 272).
Г. Тымянский. Кржижицкий. „Развитие нравственности“ (№ 6—7, стр. 287).
— Г. Геффдинг. „Учебник истории новой философии“ (№ 8—9, стр. 289).
— Людвиг Фейербах. Сочинения, том III, пер. А. П., с предисловием А. Деборина (№ 10—11, стр. 235).

Ц., З. Анри Пуанкаре. „Последние мысли“ (№ 6—7, стр. 298).
Ц., З. Новые идеи в физике, сб. 9 (№ 6—7, стр. 300).
Ц., З. Н. А. Белов. „Физиология типов“ (№ 8—9, стр. 311).
Ц., З. Проф. Я. И. Френкель. „Теория относительности“ (№ 10—11, стр. 257).
Ц., З. В. Лебединский. „Вильям Томсон—лорд Кельвин“ (№ 10—11, стр. 255).
З. Цейтлин. О. Д. Хвольсон. „Строение атома и рентгеновы лучи“.
— Проф. Д. А. Гольдгаммер. „Невидимый глазу мир“ (№ 1, стр. 273).

Список рецензированных книг.

Аграрная политика в России (книга П. Месяцева, изд. „Новый агроном“) (№ 1—В. Максимовский).
М. Адлер. Маркс, как мыслитель (№ 8—9—Н. Карев).
— Энгельс, как мыслитель (№ 10—11—Н. К.).
В. Астров. „Экономисты—предтечи меньшевиков“ (№ 3—В. Пепел).
Ф. В. Астон. Изотопы. Современные проблемы естествознания, кн. 14. (№ 10—11—И. Орлов).

Марк Баскин. Что нужно знать подготовленному марксисту (№ 1—В. Румий).

Н. А. Белов. Физиология типов (№ 8—9—З. Ц.).
А. Бергсон. Длительность и одновременность (№ 4—5—И. Орлов).
„Большевик“, Политико-эконом. двухнедельник ЦК РКП (№ 4—5—Евгений В.).
Ю. Борхардт. „Введение в научный социализм“ (сб. ст.) (№ 1—Ст. Кривцов).
Н. Бухарин. Атака. Сборник теоретических статей (№ 6—7—А. Зайцев).
Бюллетень Института В. И. Ленина при ЦК РКП, № 2 (№ 2—В. С.).
Э. Бернштейн. Социализм и демократия в Велик. Английской Революции (№ 10—11—Х. Лурье).

Varjas. Marxs als mathematiker (№ 8—9—К. Милонов).
С. Васильченко. „Карьера подпольщика“ (№ 3—В. Невский и В. Ваганян).
А. Вегенер. „Происхождение луны и ее кратеров“ (№ 3—В. С.).
„В дни скорби“ (сб. ст.) (№ 2—В. Пепел).
„Великий строитель“ (сб. ст.) (№ 2—В. Сокол).
Герман Вендель. А. Бебель (№ 1—Н. Л.).
А. Г. Вульфиус. Основные проблемы эпохи „Просвещения“ (№ 1—И. Луппол).
Воинствующий материалист, сб. 1-й (№ 12—С. Гирчак).

Г. Геффдинг. Учебник истории новой философии (№ 8—9—Г. Тымянский).
Анри Гильбо. „Ленин“ (№ 2—Н. К.).
С. Гожанский. Очерки по политической экономии, вып. I (№ 6—7—П. Капатонов).
П. Гольбах. „Здравый смысл“ (№ 3—И. Л—в).
Граццаделе. Preis und Mehrpreis in der kapitalistischen Wirtschafft (№ 12—В. Позняков).
Гриневич В. Народное хозяйство Германии (№ 10—11—В. Позняков).
Проф. Д. А. Гольдгаммер. Невидимый глазу мир (№ 1—З. Цейтлин).

И. Дашковский. Конспектированный курс политической экономии (№ 6—7—И. К—в.).
А. Деборин. Книга для чтения по истории философии, т. I (№ 4—5—А. Троицкий).

Жебелев. Сократ (№ 6—7—К. Милонов).

Г. Зиновьев. История РКП. (№ 3—В. Тэр).

„Искра“ (№ 8—9—А. Максимов).
История философии в марксистском освещении, ч. I, сост. В. Столпнер и П. Юшкевич (№ 4—5—М. Луппол).
История философии в марксистском освещении, часть II (№ 10—11—И. Луппол).

К. Каутский. Марксова теория государства в освещении Кунова (№ 6—7—И. Л—в).
Классики естествознания, кн. IX (№ 3—В. Семенченко).
Козо-Полянский. Новые принципы биологии (№ 12—Б. Завадовский).
Кржижицкий. Развитие нравственности (№ 6—7—Г. Тымянский).
В. Лебединский. Вильям Томсон—лорд Кельвин (№ 10—11—З. Ц.).
Ленинский сборник, I (№ 10—11—П. Сапожников).
Н. Ленин. О партийном строительстве за 20 лет (№ 2—Я. Стэн).
— „Тактика большевизма“ (№ 2—С. Гоникман).
„Ленин“ (сб. ст.) (№ 2—В. С—л).
Н. М. Лукин. Максимиллан Робеспьер (№ 8—9—С. Моносов).
И. Луппол. Дени Дидро (№ 4—5—А. Т—ий).

Марксизм и философия (о статье K. Kosch'a) (№ 4—5—А. Т.).
Ю. Мартов. „Мировой большевизм“ (№ 4—5—Н. К.).
Ф. Мерингъ. Очерки по истории войны и военного искусства (№ 8—9—М. Абрамович).
Л. Мечников. Цивилизация и великие исторические реки (№ 4—5—Н. К.).
Ф. Михалевский. Начальный курс политической экономии (№ 6—7—И. К—в).
А. И. Молок. Очерки быта и культуры Парижской Коммуны (№ 8—9—В. Петрова).

Паумов. Введение в изучение экономич. науки (№ 6—7—И. Горшенин).
В. Нернст. „Мироздание в свете новых исследований" (№ 3—В. С—ко).
Новые идеи в физике, сб. 9 (№ 6—7—З. Ц.).
Новые идеи в физике сб. 10 (№ 3—И. Орлов).
Новые идеи в химии, сб. 9, Изотопы (№ 10—11—И. Орлов).
Новые книги по вопросам права и государства (№ 3—И. Луппол).
— Ф. Коенофонтов.—Государство и право.
— Вл. Вегер.—Право и государство переходного времени.
— Е. Пашуканис.—Общая теория права и марксизм.
— И. Разумовский.—Социология и право.
— Г. С. Гуревич.—Нравственность и право.

Обзор литературы по истории естествознания и техники (№ 12—А. Максимов).
Обзор книг по ленинизму (№ 10—11—Ник. Карев).
— Н. Ленин.—Собр. сочин., т. т. I—XIX.
— И. Сталин.—О Ленине и ленинизме.
— Н. Бухарин.—Ленин, как марксист.
— А. Деборин.—Ленин, как мыслитель.
Очередное извращение марксизма (сб. ст.) (№ 8—9—П. Сапожников).

Н. Н. Попов и Я. А. Яковлев. „Жизнь Ленина и ленинизм" (№ 2—Н. К.).
Попов-Ленский. Антуан Барнав и материал. понимание истории (№ 8—9—И. Луппол).
Georges Plékhanoff. Anarchisme et socialisme. Force et violence (№ 8—9—С. Вольфсон).
По провинциальным журналам (обзор) (№ 1—В. Румий).
Профессор истории в круговороте жизни (П. Виппер—Круговорот истории) (№ 1—Н. Карев).
„Проблема преступности" (сб. ст.) (№ 1—Иегудилов).
Анри Пуанкаре.—Последние мысли (№ 6—7—З. Ц.).
М. Н. Покровский. Очерки по истории револ. движений (№ 12—Н. Рубинштейн).

Д. Рахман. Джон Локк. Его учение о познании, праве и воспитании, субъективная и объективная психология (№ 10—11—Л—л).
К. Радек. „О Ленине" (№ 2—В. П.).
Я. Розанов. „Исторический материализм" (№ 12—Ник. Карев).
Руднянский.—Беседы по философии марксизма (№ 8—9—Я. Стен).

Садинский. Социальная жизнь людей (№ 6—7—И. Л.).
Сборники статей о Ленине (№ 2—Н. Сомов).
— Г. Зиновьев.—В. И. Ленин.
— Г. Зиновьев.—В. И. Ленин.
— Г. Зиновьев.—На смерть Ленина.
— Г. Зиновьев.—На смерть Ленина.
— А. Маргынов.—Великий пролетарский вождь.
— Ленин—вождь трудящихся (сб. ст.).
— И. Ходоровский. (В. И. Ленин).
— В. И. Невский.—В. И. Ленин.

В. Святловский. „История социализма" (№ 3—В. Волгин).
В. Станкевич. „Менделеев. Великий русский химик" (№ 3—И. Орлов).
Сборник по вопросам физико-математических наук (№ 12—И. Орлов).
Акад. *В. Стеклов.* Математика и ее значение для человечества (№ 1—А. Максимов).
Ю. Стеклов. „Поль Лафарг. Боец револ. коммун." (№ 3—Н. Л—р).
И. Степанов. Историч. материализм и современное естествознание (№ 12—А. Вишневский).

О. Трахтенберг. Беседы с учителем по историч. материализму (№ 8—9—И. Л—л).

Указатель марксистской библиографии (№ 3—Я. Розанов).

Л. Фейербах. Соч., т. III. Пер. А. П., с предисл. А. М. Деборина (№ 10—11—Г. Тыманский).
А. Ферсман. Химические проблемы промышленности (№ 8—9—И. Орлов).
Ю. А. Филипченко. Изменчивость и ее значение для эволюции (№ 10—11—В. Завадовский)
Философия науки, ч. I, вып. 2 (№ 6—7—И. Орлов).
Проф. Френкель, Я. И. „Теория относительности" (№ 10—11—З. Ц.).

Ф. Д. Хвольсон. Строение атома и рентгеновы лучи (№ 1—З. Цейтлин).
Хвольсон. Характеристика развития физики за последние 50 лет (№ 6—7—И. Орлов).
Хрестоматия по французскому материализму, вып. II, под ред. Плотникова (№ 4—5—И. Л—л).

Цвета и краски (№ 3—И. О—в).

А. Ческис. Томас Гоббс (№ 8—9—П. С.).
А. Чижевский. Физические факторы исторического процесса (№ 8—9—И. Орлов).

Издатель: Государственное Изд-ство. Отв. ред.: Редакционная Коллегия.